11.1976

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВАЛЬТЕР ВОМАКА (ГДР)
Наша жизнь. Стенной фриз

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

Содержание

11 1976 НОЯБРЬ

Рассказы венгерских писателей

БУЛЧУ БЕРТА, ИШТВАН САБО, МИКЛОШ ВАМОШ, ИШТВАН ГАЛЛ *(Переводы с венгерского Л. Васильевой и Т. Воронкиной)* 3

Р. А. Д. ФОРД — Стихи *(Перевод с английского Олега Чухонцева. Вступление А. Зверева)* 30

ДЖУЗЕППЕ Д'АГАТА — Четверо повешенных на пьяцца дель Пополо *(Повесть Перевод с итальянского Ю. Добровольской. Послесловие Г. Смирнова)* 36

АБД АР-РАХМАН АЛЬ-ХАМИСИ — Поэма *(Перевод с арабского Н. Горской)* 71

Литературное наследие

ГРАСИЛИАНО РАМОС — Сан-Бернардо *(Роман. Вступление и перевод с португальского Лилианы Бреверн)* 76

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Портрет художника в юности *(Роман. Продолжение. Перевод с английского М. Богословской-Бобровой)* 119

Критика

ВИТЕЗСЛАВ ЗЗОУНЕК — Новые черты современной чешской прозы *(Перевод с чешского Н. Аросевой)* 175

Заметки писателя

ЮРИЙ НАГИБИН — Островитянин. Сон о Юхане Боргене 181

Письма из-за рубежа

КЭНКИТИ ЯМАМОТО — Кунио Янагида: жизнь и творчество *(Вступление Т. Григорьевой. Перевод с японского В. Т. Федянинова)* 192

Культура и современность

Заметки на полях

Д. Ершов — О мерах и полумерах. Виктор Бейлис — Африканский роман: социология и социологизирование. Н. Матяш — Испания и мировая культура 200

Публицистика

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — II. Раскрытие заговора и последствия *(Окончание. Перевод с немецкого А. Науменко. Послесловие Л. Безыменского)* 209

Документы

Курсом интернационализма

Свидетельства дружбы 221

СЛАВ ХР. КАРАСЛАВОВ — Дань великому художнику 222
Н. ФЕДОРЕНКО — Интернационалист Мате Залка. ✦ Нерасторжимые связи 223
Г. КУНГУРОВ — Академик Б. Ширендыб 225
МИХАЙ БЕНЮК — В пушкинских краях 227

Антирубрика

ОГДЕН НЭШ — Видеть — значит верить *(Стихи)*. Незнакомец в доме *(Рассказ. Перевод с английского Александра Жукова)* 231
ПЕТР НЕЗНАКОМОВ — Флорентийский чиновник Америго Веспуччи, или Сила обмана *(Рассказ. Перевод с болгарского Лидии Баша)* 240

Наши гости

Е. Гениева — Эмма Смит (Великобритания). В. Чернышев — Бхишам Сахни (Индия). С. Пархомовская — Болгарские писатели в «Иностранной литературе» 247

Среди книг

Издано в СССР

Фернандо Намора — История моей книги. Т. Ротенберг — Сопротивляясь своей эпохе... И. Бочкарева — О мечтателях и одиночках. 254

Издано за рубежом

Ю. Гусев — Итоги тридцатилетнего пути. Сергей Львов — Жизнь Жан Поля Фридриха Рихтера, рассказанная Гюнтером де Бройном. В. Шагаль — Проза Южного Йемена: новое имя. М. Фрядман — Первопроходцы. А. Петриковская — Страницы австралийского детства. А. Мельников — История Генри Мейра — поэта и рабочего 259

Из месяца в месяц 269

Авторы этого номера 285

На обложке. фрагмент стенной росписи работы испанского художника ХОСЕ РЕНАУ.

© «Иностранная литература», 1976

БУЛЧУ БЕРТА

Влюбленные, сотканные из солнечного света

Три дня они лежали друг возле друга, и юноша считал звезды в глазах девушки. Триста девяносто семь сияющих звездочек насчитал он. Сто девять — в первый день, сто восемь — во второй, восемьдесят три — в третий и девяносто семь — в тот день, когда они вышли из чужой квартиры на залитую солнцем улицу. Три дня они лежали друг возле друга, и вот уже два дня они на пляже. Но теперь это было иначе, потому что они ехали в поезде, смотрели на других людей, которые тоже ехали, на рабочих, ожидавших поезд, на пионеров, чьи флаги развевались на ветру между палатками.

Солнечный свет щедро заливал балатонский берег, люди погружались в этот свет, вбирали его в себя. Каждый понимал: Балатон — это не только то, что за линией волнорезов, он простирается гораздо дальше, потому что и зелень деревьев, и воздух, и цвет неба и гор, и даже ветер, налетавший с далекого камышового берега,— все сияло от воды. И свет, который затоплял берег и иногда даже переливался за края стоящих на страже гор, тоже был Балатоном. В струящемся свете плавали парусники и самолеты. Парусники отходили от пристаней, расположенных неподалеку, и марево слегка приподнимало их. Самолеты взлетали с аэродрома, который был тоже недалеко,

© Bertha Bulcsu, 1964.

и каждые десять минут прочерчивали небо над головами людей, загорающих на пляже. И люди прикладывали ладони козырьком к глазам и провожали их взглядом.

Юноша и девушка лежали на берегу и впитывали в себя свет. Губы девушки были слегка раскрыты, и зубы ее сверкали. Юноша иногда прикрывал глаза и думал об этих трех днях, проведенных в чужой квартире. Ему вспоминались сиреневые тона и всякие шумы, долетающие с улицы: велосипедные звонки, детские голоса, «привет», «привет», и снова велосипедные звонки, и потом другие звонки — один длинный, один короткий, где-то включили радио, и потом тишина. И голос девушки: «Я твоя, я всегда буду только твоей, с другим я бы никогда не пошла на это...», «Ты милый, большой ребенок...», «Ты мой муж, хотя и незаконный...», «Ты мой муж, не надо никаких записей, ты и так мой муж...», «Это неправда, неправда, что меня можно полюбить...», «Ты хитрюга, может, ты и не любишь меня вовсе?..», «Ты знаешь, что такое абсолютная наивность? Это когда мать думает, что ее дочь...», «Ты милый, большой ребенок...», «Ты скажешь, когда разлюбишь?» И на другой день: «Я буду знаменитой пианисткой, с завтрашнего дня начну заниматься. По шесть часов в день», «Ты даже не слышал, как я играю, у меня абсолютный слух...» И на третий день: «Конец... Не могу поверить, что уже конец... Это так много для меня значило... Я никогда не была так счастлива... Я даже не была так счастлива, когда играла... Теперь все начну сначала... Ты хитрюга...»

Юноша открыл глаза и увидел, что ресницы девушки сомкнуты. Он перевернулся на спину и снова стал думать о тех трех днях...

На берегу кто-то засвистел. Несколько раз дунул в дребезжащий, резкий свисток — и тут поднялся страшный гвалт. Юноша открыл глаза и огляделся. Пионеров вели купаться. На пирсе стоял учитель в белой рубашке с красным галстуком и дул в свисток. А потом взлетел самолет, и на минуту не стало слышно ни гомона пионеров, ни их свистка.

Девушка тоже поднялась.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего, это самолет...

Девушка взглянула на небо, потом повернулась к юноше.

— Ночью тоже летали, я два раза просыпалась, не люблю самолетов.

— Они нужны.

— Войны больше не будет...

— Знаю, что не будет, но они все равно нужны.

— Давай лучше о другом.

— Хорошо, расскажи мне что-нибудь.

— Что бы тебе рассказать?.. Я тебе говорила, что у моего отца есть алмаз?.. Не говорила?.. Так вот, у него есть алмаз. Большой, красивый, он и стекло режет.

— Где вы его храните?

— В мастерской, а возможно, отец носит его с собой, ведь он столяр,— сказала девушка и улыбнулась.

— Ты опять меня обманываешь...

— Да нет, я правду говорю. А тебе интересно узнать, что делают этим алмазом?

— Интересно. И ты не обманываешь меня, Арлекин... Ты такая красивая, что не можешь меня обмануть...

— И женственная?

— Ты очень красивая девочка, Арлекин.

— Поцелуй меня...

— Сейчас?..

— Да... Никто не заметит, все уставились на солнце.

Он снова опустился на траву и поцеловал девушку. Они долго лежали рядом не двигаясь, их руки и ноги соприкасались. Легкое движение — и они приникли друг к другу. Ослабев от близости, они не чувствовали, сколько прошло времени. Из полураскрытых губ девушки беззвучно струилось дыхание.

И тут рядом с ними упал мяч, и оба вздрогнули. Девушка испуганно вскинула голову.

— Ой, мы очень близко лежали... Здесь нельзя...

— Никто ничего не видел... В самом деле никто. У них на носах зеленые листочки, и они все уставились на солнце. Возможно, они нас и не могут увидеть... Ведь мы из солнечного света. Арлекин, ты девушка из солнечного света.

— Мы оба из солнечного света... На нас смотрят, но не видят. Роберт, мастер по росписи фарфора, и Арлекин, его возлюбленная, сотканная из солнечного света!

— Хорошо нам, у всех зеленые листики на носах и все смотрят на солнце.

— А мяч? Ведь мяч все еще здесь.

— За ним никто не пришел?

— Нет, никто...

— Смотри-ка, это не мяч... Это земной шар...

— Нет, это мяч, какая-то западная фирма выпускает... В прошлом году я уже видел такой. Цветной пластик...

— Суша на нем слишком желтая, а моря уж чересчур синие.

— А посмотри на наше небо, оно такое же синее, как эти моря...

— Интересно... Чей это может быть мяч?

— Спроси у капитана, вон под деревом, может, его?

— Откуда ты знаешь, что он капитан?

— Кто-то позвал его: «товарищ капитан», наверное, он полицейский...

Юноша с удивлением посмотрел на нее, оглянулся. Помедлил с минуту, потом подошел к мужчине, лежавшему в шезлонге.

— Товарищ капитан, это не ваш мяч? Арлекин говорит, что он с вашей стороны к нам упал...

— Арлекин? А кто это?

— Это девочка... Видите ли, я зову ее так, потому что у Пикассо есть такая картина, и когда она во французской пижаме, то в точности как... извините, этот мяч... не ваш?

— Нет, не наш... Спасибо, что побеспокоились... Спросите еще товарища Кеслера, вон он, лежит на песке, у него полно этого синтетического барахла.

Девушка, приподнявшись на локте, смотрела на своего возлюбленного из солнечного света, смотрела, как он перешагивает через загорающих людей, балансируя и высоко держа мяч одной рукой. Она видела, как он что-то спрашивал у человека по имени Кеслер, а тот покачал головой и показал на кого-то другого. Она видела, как ее возлюбленный перешагивал через чьи-то тела, подходил к группе людей и показывал им мяч. И люди каждый раз качали головой, потом поправляли на носу листочек и снова поворачивались лицом к солнцу. Мастер по росписи фарфора, сотканный из солнечного света, наконец, устало остановился посреди лужайки, высоко держа над собой мяч. Несколько человек посмотрели на него с удивлением и потом снова сонно погрузились в истому сияющего дня. Юноша еще раз повертел на пальцах мяч, пожал плечами и направился к девушке.

— Никому не нужен,— сказал он и опустился рядом с девушкой.

Два самолета со стреловидными крыльями внезапно врезались в небо, покружили в нем и исчезли за горами.

Юноша, зажав мяч между колен, проводил пальцами по изображениям материков. Медленно, старательно обвел он указательным пальцем берега Африки и повернулся к девушке:

— Это самая богатая часть земли...

— А Европа какая?

Юноша перевернул мяч и провел ладонью по другим континентам.

— Европа чем-то напоминает пергамент, ей как будто не хватает воды или у нее авитаминоз... Точно не знаю, чего ей не хватает...

— Посмотри еще Америку...

Юноша снова крутанул мяч. Но теперь наверху оказался Тихий океан. Он стал рассматривать его.

— Слышишь, Роберт, давай посмотрим Америку.

— Гонолулу, должно быть, здесь...

— Что ты сказал?

— Гонолулу... И здесь, возможно, остров Джонстона... Помнишь, Арлекин... Тогда в понедельник поезд мчал нас к городу. Было часов десять. Мы стояли у окна... Уже остались позади абалигетские виадуки, мы закрыли глаза и под мерный стук колес говорили о том, а что если бы поезд сейчас оторвался от рельсов и помчался бы в бесконечность... В те самые минуты американцы взорвали свои ядерные бомбы...

— Почему ты сейчас говоришь об этом?

— Взгляни сюда... Гонолулу... И где-то здесь, наверное, остров Джонстона...

— Это всего лишь мяч, мой сумасшедший мастер по росписи фарфора, сотканный из солнечного света.

— Знаю, что мяч...

— Мяч из цветного пластика, и карта сюда нанесена только по коммерческим соображениям.

— Чтобы мальчики и девочки по ту сторону океана думали, будто играют с земным шаром...

— А правда, Роберт, давай и мы поиграем с земным шаром... Идем в воду... Один раз и нам можно.

— Хорошо, но я не могу его поднять... Он ужасно тяжелый.

— Что ты говоришь, ведь это только мяч.

— И в самом деле, мяч...

— И мы можем спокойно взять его с собой в воду.

Юноша подбросил мяч, вскочил и ударил по нему головой.

— Какой легкий...

— Конечно, легкий, каким же еще ему быть, ведь он из пластика.

Девушка беззвучно рассмеялась, вскочила и схватила мяч, возлюбленный из солнечного света побежал вслед за ней к озеру. Они быстро спустились по ступенькам и бросились в зеленоватую, подернутую рябью воду. Мяч затанцевал на воде, и его стало медленно относить юго-западным ветром. Они быстро миновали купающихся и почти у самого красного буйка стали кидать друг другу мяч. Вода плескалась в их лица, и ветер подхватывал мелкие брызги. Юноша высоко подбросил мяч, и в сияющих солнечных лучах ярко вспыхнули на нем желтые материки. Девушка поймала его и, откинувшись назад, бросила прямо к солнцу. Мяч завертелся, океаны на нем закружились, потом он вдруг качнулся и упал у самых буйков перед бросившимся к нему мастером по росписи фарфора.

— Выше, Роберт! До самого солнца! — кричала девушка и легла на воду, чтобы видеть, как взлетает вверх цветной пластиковый шар.

Юноша с силой ударил по мячу, и тот, как снаряд, вонзился в небо. Над ними замелькали цвета — желтый, потом синева океанов, мяч все поднимался, как будто его манили далекие планеты и неизвестность. Потом налетел ветер, мяч качнулся и стал падать.

— Смотри-ка, он маневрирует,— поразилась девушка.

— И в самом деле, маневрирует, как пароход. Ты видела, как пароходы по небу плавают?

— Ты сумасшедший, Роберт! — сказала девушка, подплыла к нему и обняла. Вода ласково колыхалась около них...

Мяч, странно накренившись, поворачиваясь вокруг оси, проплыл над их головами и упал далеко за буйками.

— Мяч!

— Роберт!.. Мяч!.. Догоним его, а то ветром унесет...

Юноша взглянул на буйки и увидел, что на каждом из них крупными белыми буквами написано: «Плавать за буйки воспрещается».

— Мяч!.. Роберт, наш мяч!..

Юноша посмотрел на девушку и раскинул руки навстречу волнам, как будто хотел обнять весь Балатон. Они плыли рядом, энергично выбрасывая вперед руки и оставляя далеко позади себя белые барашки пены. Ветер медленно уносил от них мяч, но расстояние все-таки сокращалось. Они стремились к нему изо всех сил и были уверены, что вот-вот его настигнут. Расстояние уменьшалось с каждой минутой. Юноша уже улыбался и ободряюще поглядывал на свою возлюбленную. До мяча оставалось метров десять. Девушке показалось, что стоит только протянуть руку — и она до него дотронется. Они плыли к нему с радостным нетерпением, а мяч плясал перед ними на воде, все еще в десяти метрах, как будто бы они не плыли, а стояли на месте.

— Надо приналечь немного,— задыхаясь, проговорил юноша, и лицо его стало решительным.

Оба опустили голову в воду и еще энергичнее заработали руками. Они плыли молча, упорно. Только через пятьдесят — шестьдесят метров снова взглянули на мяч и с тревогой заметили, что расстояние до него увеличилось. Они напрасно напрягали силы и старались плыть быстрее, волны уносили его все дальше. Девушке порою казалось, что мяч покачивается на самом горизонте, как остывающее небесное светило.

Они, не сговариваясь, уже плыли медленнее, уныло подставляя лица волнам.

— Может быть, в бесконечности мы его и догнали бы,— заговорил юноша, поднимая голову над водой.

— А где бесконечность, Роберт?

— Вон та сине-зеленая полоса под небом, где встречаются вода и облака...

— Поплыли в бесконечность...

Они взглянули друг на друга. Девушка перевернулась на спину и, отдыхая, легла на воду. Юноша плыл рядом, потом вдруг оба посмотрели в сторону берега и быстро поплыли обратно. Они плыли долго, обратный путь был тяжелее и занял больше времени. Они только тогда заговорили друг с другом, когда, ухватившись за веревочные перила, стали взбираться по ступенькам, ведущим на берег. Их слегка покачивало. Юноша встряхнул головой и оглянулся.

— Уже только черная точка,— сказал он.

— Мне хотелось бы видеть, как он приплывает в бесконечность,— вздохнула девушка и прислонилась к веревочным перилам...

— Этого нельзя увидеть.

— А вообще-то, Роберт, что там в бесконечности?

— В бесконечности? Я думаю, что вода и воздух...

— Тогда и мы с тобой тоже в бесконечности, только на нас нужно смотреть издалека.

— Ты права... Хотя бесконечность — это нечто эфирное, голубое, светящееся и неосязаемое. А вокруг нас все зеленое и прочное и деревья с коричневыми стволами.

Тут перед ними скрипнула ступенька, и полная, невысокая женщина в темном нарядном платье сказала им:

— Купите билеты на пляж.

Юноша с удивлением взглянул на нее и с минуту раздумывал, почему именно сейчас им предложили купить билеты.

Потом он снова повернулся к воде, потому что его любимая спросила:

— Роберт... а могут в бесконечности расти деревья?

— Я думаю, что могут...

— Может, и камыш растет в бесконечности?

— Может, и камыш тоже... Но его уже никто не выловит...— Юноша глядел вслед уплывающему в бесконечность мячу.— А может, ветер прибьет его потом к дальнему камышовому берегу, и зимой какая-нибудь льдина перережет его пополам. Возможно, как раз там, где африканский материк, и тогда на лед посыплются алмазы... Такие, как у твоего отца, только еще крупнее... А может, льдины и не перережут его и ветер месяцами будет гнать, кружить его по ледяному крошеву...

Влюбленные, сотканные из солнечного света, взялись за руки и направились к покрытой зеленой травой лужайке. На берегу в белой рубашке и красном галстуке стоял учитель и дул в свой дребезжащий свисток.

ИШТВАН САБО

На остановке рейсового автобуса

Тропинка круто вела под гору и была настолько узкой, что спускаться по ней можно было только гуськом; справа тянулись виноградники, а слева — проволочные изгороди фруктовых садов. Фабиан шел вслед за отцом, приноравливаясь к его шагам, хотя вообще-то следовало поторопиться, чтобы успеть на автобус, отправляющийся в город в половине девятого. Он то и де-

© Móra kiadó, 1974.

ло поглядывал на ручные часы: до остановки было еще минут семь ходьбы.

Но Фабиан молча плелся сзади — на то, чтобы поторопить отца, у него не хватало смелости: если бы он даже отважился на это, старик удивленно спросил бы, к чему-де такая спешка. И еще, глядишь, остановился бы и только потом задал свой вопрос Фабиану. Вот сын и не стал рисковать — уж лучше помолчать — и, подавив в себе легкое раздражение, покорно шел вслед за отцом.

У Фабиана не было ни малейшего желания тащиться в город пешком — туда не меньше шести километров, к тому же пылища, жара, да и плестись-то они будут еле-еле. Правда, можно было бы потолковать по дороге, но за эту неделю они достаточно наговорились дома, рассказали друг другу все, что казалось важным. Вообще-то говорил в основном Фабиан, отец буркнет что-нибудь и молчит потом с угрюмым видом, даже трудно понять, слушает он сына или нет. Вот такой разговор, где только он один говорит, и предвидел теперь Фабиан, если они пешком пойдут до самого города, а от такой беседы устанешь больше, чем от самой дороги, и она пугала Фабиана сильнее, чем пыль и жара. Это была бы просто-напросто пытка... К тому же Фабиану иногда казалось, что отцу уже наскучили эти разговоры и ему было бы больше по душе, если бы сын и не затевал их. По угрюмому молчанию отца, по хмурому взгляду, упорно избегавшему его взгляда, Фабиан догадывался, что отец недоволен им, не одобряет перемен в поведении сына — и болтает он слишком много, да и все его новые замашки, которые он приобрел там, в Будапеште, старику не нравятся.

Фабиан знал за собой особенность: преувеличивать, выдумывать разные страхи. Он надеялся, что и теперь эти тревожные мысли только плод его воображения, возможно, отцу ничего такого и в голову не приходит, он смотрит на все гораздо проще, практичнее и далек от этой зауми. Ведь если бы сейчас Фабиан рассказал отцу, о чем он думает, тот либо не понял бы его, либо высмеял. Но почему тогда отец такой недовольный, угрюмый? Фабиан только добра хотел, когда затевал все эти разговоры, вернее, заставлял себя затевать их: ему хотелось, чтобы атмосфера в доме была дружеской, задушевной, хотелось доказать, что он не стал чужим, не отдалился от дома... Может, тут он и совершил ошибку? Может, он слишком старался и в этом-то и кроется причина? Он играл роль городского человека в родном селе, и отец почувствовал фальшь, и очень быстро. Чутье, здоровая реакция не подвели его. Поведение сына стало казаться ему подозрительным.

Фабиан прислушался, не гудит ли идущий со стороны Зида автобус, но пока было тихо, до половины девятого оставалось три минуты. При взгляде на часы Фабиан иронически улыбнулся: отец никак не может с ними смириться, неодобрительно, чуть ли не с ненавистью косится он иногда на запястье Фабиана, будто его сын только из бахвальства носит на руке часы; губы старика начинают кривиться, и он быстро отворачивается, всем своим видом выражая презрение. Фабиан теряется и злится: почему эти паршивые часы преступление, он и не собирается ими хвастаться, они ему нужны — и баста, и нечего к ним цепляться. Первые три дня он прятал их — так пугал его взгляд отца, но потом в нем заговорил дух противоречия, и с тех пор часы у него все время на руке, даже когда он помогает отцу по хозяйству. И стесняться их он и не думает.

Фабиан заметил также, что отец постоянно наблюдает за ним: за его движениями, за всем его поведением — какие там новые манеры пристали к нему, сравнивает прежнего сына с теперешним,

больше прислушивается не к тому, что говорит сын, а к тому, как он говорит, и все время выискивает какие-то подозрительные признаки, наивно полагая, что Фабиан ничего этого не замечает. Губы отца по временам вздрагивают, и тогда он быстро отводит глаза. Очевидно, отец подмечает в его поведении новые, чужие черточки. Фабиан иногда уже и сам невольно фиксирует их. Здесь, дома, они гораздо заметнее, потому что родительский дом напоминает ему о его прежнем «я», хотя для постороннего человека эти перемены, возможно, и не видны. Но отец уже подметил несколько новых жестов, движений, над которыми стоит задуматься; ведь только по ним он может судить, каким стал его сын. Он видит, что сигарету сын держит не в кулаке, а между указательным и средним пальцами, горящим концом наружу, по-господски; пепел иногда стряхивает, хотя он и сам упал бы, а так как в доме нет пепельницы, приспособил для окурков блюдце. Он как-то иначе ест и ложку держит не так, как прежде, его одежда, все вещи пештские,— словом, городские. Отец на своем веку повидал немало господ, и теперь это сходство с ними бросилось ему в глаза. «Как мучительно,— думал Фабиан, ловя на себе недоверчивый, испытующий взгляд отца,— ведь он считает, что и я барином стал». Ему хорошо были знакомы эти взгляды — настороженные, подозрительные,— уже много столетий так смотрят в деревне на посторонних, не мужиков. Еще недавно Фабиан и сам бы так поглядывал на чужака при ручных часах, который и курить-то без пепельницы не может, а теперь — хоть плачь, хоть смейся, но и он принадлежит к тому, другому лагерю; по крайней мере, отцовский взгляд причисляет его к нему.

Фабиана всю неделю мучила мысль, что с каждым его приездом домой они с отцом отходят все дальше друг от друга, и в то же время он чувствовал, что это не так и никакого отдаления нет. В это он искренне верил, тщательно проанализировав все «за» и «против». Когда у него бывало легкое, беспечное настроение, он приписывал эти тревожные мысли своей натуре, склонной видеть страхи там, где их нет. И возможно, он был прав. Но была и другая, очевидная истина: отец не гордится им, он не гордится своим сыном, как этого можно было бы ожидать — ведь его сын кое-чего добился. Напротив, отец очень скуп на слова, улыбки, более того, он чем-то все время недоволен. Фабиан тоже то и дело раздражается. Фабиан чувствовал, что фантазия может его сейчас далеко увести, он мысленно одернул себя и с раздражением подумал об отце: «Ему хотелось бы, чтобы я бегал с восьмидесятикилограммовыми мешками на спине. Вот тогда бы он гордился мною». Но он знал, что это неправда, что это тоже неправда.

Фабиан смотрел, как отец неторопливо спускается по тропинке, ведущей в долину, и не только не ускоряет шаг, а нарочно еще притормаживает — так и должен спускаться с горы умный человек. Его ноги уже по-стариковски согнуты, а колени как-то странно выпирают вперед, как будто ему тяжело идти,— на самом деле старики в шестьдесят восемь лет все так ходят. А вообще-то его отца годы пощадили: впереди Фабиана шел высокий, статный человек — такой, каким он его помнил с самого детства. Седая голова отца неторопливо поворачивается ко всему, что попадает в поле его зрения: виноградники, фруктовые сады, огороды его знакомых, отмечает, запоминает каждую мелочь, чтобы позднее все обдумать, переварить. Ни одно деревце не остается незамеченным под его цепким, проницательным взглядом, он прикинет и какой урожай будет, и когда; от его взгляда, можно сказать, ничто не укроется. Он и теперь не спешит, ведь ему незачем спешить, он и не подозревает, как нервничает

Фабиан, идущий за ним следом, как тот без конца поглядывает на свои часы и как торопит, понукает взглядом степенно шагающего впереди отца,— он не знает и того, какие нелепые мысли приходят в голову сыну. Внимание отца занимают простые, бесхитростные вещи; он делает то, что делал всю жизнь: идет и присматривается к тому, что находится по обе стороны дороги.

Фабиан теперь уже был доволен, что подгонял отца только взглядом, ничего не говоря ему. У них оставалась одна минута, он видел серое полотно шоссе, а автобуса нет и в помине. Они вовремя прибыли к остановке. Фабиан вспомнил, что эти рейсовые автобусы вообще запаздывают на десять минут, на четверть часа, а иногда и больше. Он шел теперь за отцом успокоенный, смягчившийся и так же осторожно и неторопливо, будто подражая ему. Фабиан даже усмехнулся про себя — глаза его теперь с нежностью смотрели в спину старика. Как только он понял, что они не опоздали, волнение улеглось, на душе стало весело, и он улыбнулся, вспомнив свои выдуманные страхи последней недели. Нет, они совсем не отдалились друг от друга, это все его нелепые фантазии, его привычка делать из мухи слона. «Совсем психом стал,— подумал Фабиан.— Везде-то я вижу проблемы... Даже когда их нет, то придумываю их. Так и свихнуться можно!»

Узкая крутая тропинка кончилась, они шли теперь по пологой дороге, которая скоро свернула влево и слилась с большаком. Фабиан сразу пошел рядом с отцом, ему надоело тащиться сзади. Обозначающий остановку столб с табличкой стоял на краю обочины в десяти метрах от них. Отец, не сбавляя темпа — только ноги в коленях сгибались уже не так сильно,— двинулся прямо по шоссе к городу, намереваясь пройти и эти шесть километров; Фабиан какое-то время шел рядом, а потом у столба с расписанием остановился.

Старик не сразу заметил, что идет один; сперва он подумал, что сын просто хочет закурить или завязать шнурки у ботинок, но когда он оглянулся, то увидел, что Фабиан стоит у белого столба и весело улыбается, заложив руки за спину. Тогда старик понял, что Фабиан не намерен идти дальше. Он тоже остановился и смерил сына неодобрительным взглядом.

— Ты чего?

— Подождем автобуса,— сказал Фабиан и взглянул на часы,— он скоро будет.

Отец оторопело уставился на него, в его глазах появилось то отчужденное, испытующее выражение, которое было хорошо знакомо Фабиану.

— И ты поэтому остановился? — спросил отец.— Автобусом поедешь?

— Не только я,— рассмеялся Фабиан,— и вы тоже.

Но отцу было не до смеха, его губы дергались, лицо потемнело от гнева. Пять-шесть шагов отделяли их друг от друга, старик все еще стоял посреди шоссе.

— Подите сюда,— уговаривал Фабиан,— немного придется ждать.

— Не стану я ждать. Я пока еще могу дойти до города и пешком.

Фабиан взглянул на дорогу, не появился ли из-за поворота автобус, а потом сказал:

— Нет смысла столько идти пешком. Сейчас сядем с вами в автобус, а там... увидите, в два счета будем на месте.

— В два счета! — язвительно передразнил его отец.— Ишь ты! В два счета! А ножками, ножками тебе уже не угодно?

— Нет, не угодно,— сказал Фабиан. Хорошее настроение вмиг улетучилось. От горькой догадки защемило сердце.— Для того этот злосчастный автобус и существует, чтобы им пользоваться. Вы небось ни разу не ездили на нем?

— Не ездил. И не поеду никогда.

— Что, мало вы прошагали пешком за свои шестьдесят восемь лет?

— Тот, кому лень немного пройти, пусть разъезжает на автобусе, а я пока еще потяну.

«Вот ведь беда»,— подумал Фабиан, глядя на стоявшего посреди дороги старого человека, своего отца: он казался сейчас олицетворением слепого упорства. Фабиан не надеялся побороть отца, и уговаривал он его уже скорей из чувства долга — с таким упрямством нельзя, невозможно мириться.

— Не верите, что так лучше будет? Пока вы доберетесь до центральной площади, вы так устанете, что только отдыхать впору. А ведь дело у нас в городе, а не на большаке, не в дороге нужно уставать. Вот автобус пусть и везет, сбережет нам силы.

— Сколько раз ходил и сейчас дойду...

— Сейчас дойду,— сердито повторил Фабиан.— А потом сами же станете жаловаться. Устал, мол, замучился. Я ведь вам добра хочу...

— А ты обо мне не пекись. Пусть каждый добирается как ему нравится.— Отец стоял на месте как вкопанный.— До двадцати лет и тебе небось хорошо ходилось пешком. Покуда дома был. Теперь уж не нравится?

— Если нет нужды, то я и не хожу пешком. Дурак я, что ли?

— Большим барином стал,— задумчиво протянул отец, неторопливо покачивая головой,— да-да, большим барином.

Фабиан от отчаяния не нашелся, что ответить, слова старика больно задели его, но тут, к счастью, со стороны города показался грузовик, и старику пришлось сойти с дороги. И пока Фабиан смотрел, как отец отходит на обочину, кровь, стучавшая было у него в висках, отхлынула.

Старик нехотя подошел к остановке, всем своим видом показывая, что он вовсе не собирается ехать на автобусе, просто дает дорогу машине. На одну-две минуты их окутало густое облако пыли. Они едва различали друг друга. Грузовик протарахтел мимо.

— Вот видите,— сказал Фабиан, откашливаясь и протирая глаза,— пока доберемся до города, столько пыли наглотаемся. Стоит ли из-за каких-то нескольких филлеров?

— Нескольких филлеров? — послышалось эхо.

— Два тридцать с человека. Неужели вам жалко?

— Ничего мне не жалко.

— Я плачу. И за вас.

— За меня-то зачем?

Фабиан вздохнул, все невеселые мысли последних дней снова захлестнули его, он чувствовал, его страхи не были только плодом воображения, между ними в самом деле пробежала черная кошка, и если он сейчас сядет в автобус, то совсем отдалится от отца: перечень его «новых замашек» пополнится, завершится еще одной, и тогда уже ничего не исправишь. И в то же время он твердо знал, что сядет в автобус. Просто не может не сесть. «К сожалению,— подумал он,— у каждого из нас своя дорога...»

Пыль осела, и они снова могли видеть поля кооператива, которые раскинулись по правую сторону большака. Фабиан сделал еще одну попытку, знал, что она ни к чему не приведет, и все-таки сказал:

— Много времени можем сэкономить, это дороже денег.

Отец даже не ответил. Он смотрел поверх его головы в сторону города.

— Отец, дорогой мой,— сказал Фабиан,— ведь в этом нет ничего плохого, если человек пытается облегчить себе жизнь.

— Это ты всегда любил.

— Барские замашки? — горько засмеялся сын.— Теперь и вы можете их приобрести. За два тридцать станете барином...

— Уж больно дешево,— бросил старик.

К остановке от деревни со всех ног бежала женщина, в руках ее была большая сумка, она раскраснелась, запыхалась.

— Ой, видно, успела все-таки,— радостно кричала она на бегу.— Вы ведь тоже автобус ожидаете, да? Добрый день! Ну и бежала я — что есть мочи. Вот хорошо, когда автобус запаздывает. А другой раз ждешь не дождешься и зло берет. Вы в город?

— Пивка бы сейчас холодного выпить,— сказал Фабиан.

— Да, в такую жару никто бы не отказался, я бы тоже выпила стаканчик, ей-богу! Дядя Йожи, и вы едете?

— Он только проводил меня сюда,— сказал Фабиан.

Женщина, часто дыша, кивала головой. Она все еще никак не могла успокоиться. Так они и стояли втроем у остановки, когда наконец из-за поворота вынырнул огромный, желтый, с широченными окнами автобус. Громоздкий, он занял собой всю дорогу, но шел довольно быстро. Фабиан покосился на отца, глаза старика были устремлены в другую сторону, он не обращал ни малейшего внимания на приближающийся автобус, его лицо и взгляд окаменели, как у идола. Сердце Фабиана сжалось при виде этой гордой неприступности, ему хотелось коснуться руки отца, заглянуть ему в глаза. Но тяжелый автобус остановился возле них, дверь открылась, и, пока женщина торопливо — первая — взбиралась по ступенькам, снова громко радуясь удаче, Фабиан быстро шепнул отцу:

— Я вас подожду на центральной площади. У гимназии.

Старик по-прежнему смотрел в сторону города, но как будто бы едва заметно кивнул. Фабиан поднялся в автобус, дверь захлопнулась, и мотор тотчас же заурчал, загудел. Машина тронулась и покатила по шоссе.

Фабиан не стал искать себе места, а подошел к заднему окну. Он ничего не увидел — такое густое непроницаемое облако пыли поднялось вслед за автобусом, но он знал, что старик решительно двинулся в это облако, что он шагает в этой ужасной пылище, задыхаясь и, быть может, даже закрывая глаза, и упрямо идет в город, невидимый. Облако поглотило отца, возможно, он даже ругается, но ругается только из-за треклятой пылиши.

Фабиан не мог отвести глаз от этой все заволакивающей тучи пыли, в которой брел сейчас его отец. Может, и он, Фабиан, виной тому, что эта пыль лезет отцу в глаза, в легкие, Фабиану хотелось хоть на мгновение увидеть фигуру отца, но тут кондуктор слегка тронул его за плечо.

— Докуда, молодой человек?

— До центральной площади.

— Два тридцать: ваша десятка, получите сдачу...

Фабиан рухнул на сиденье, думать он ни о чем не мог, в голове стучало одно-единственное слово, которое он уже много раз повторял дома — вслух и про себя. Единственное слово: мучительно.

Перевод Л. ВАСИЛЬЕВОЙ

МИКЛОШ ВАМОШ

Чужой дом

Каштан рос под самым окном. Каждую весну нанимали рабочих, те приходили с пилами и топорами и отсекали заслонявшие солнце ветки. И потом какое-то время каштан напоминал античный торс.

Конечно же, в саду были и другие деревья, ветки их тоже подрезали весной. Однако каштану доставалось больше других, потому что он стоял напротив окна. А из окна мать давала указания рабочим:

— Уберите еще вон ту!

Мне лично нравилось сидеть на балконе, потому что оттуда не видно было оголенных деревьев. А мать всегда очень радовалась: теперь солнце светило прямо в окно.

Чуть больше солнца, но в доме от этого существенно ничего не менялось. Теперь я спал в гостиной. Раньше мы жили в одной комнате вместе с сестрой, но, когда я подрос, меня выставили в гостиную.

Я поначалу обрадовался, думал: наконец-то буду один.

Но скоро радость угасла: существование мое отравляли бесконечные хождения домашних взад-вперед. Отец, к примеру, по вечерам (или, точнее, к ночи) выходил на кухню пить воду. С громким шипением била струя из открытого крана, слышно было, как урчали трубы. Ну, для чего это нужно человеку на ночь глядя накачиваться водой? А если уж так приспичило, то можно бы попить и в ванной.

Но, по правде говоря, это не слишком задевало меня: пусть себе ходит.

Мать — та часто одергивала меня за обедом или за ужином, доходило даже до ссор:

— Чего ты все ерзаешь? Не раскачивайся на стуле. Сиди как положено!

А мне нравилось ерзать, раскачиваться на стуле, болтать ногами.

— Допрыгаешься, стул сломаешь!

Вот этого следовало опасаться больше всего. Мать ужасно расстраивалась, если обнаруживала, что мы опять испортили что-нибудь из мебели или других вещей.

Мне-то на вещи было наплевать. Ведь жизнь человеческая — сколько она длится? Восемьдесят, от силы сто лет. Тогда почему же неодушевленные предметы должны жить так долго? Ломаются, ну и пусть ломаются, туда им и дорога.

Да и сам наш дом был дряхлый-предряхлый, со стен отваливалась штукатурка.

Стоило мне перевеситься с балкона и протянуть руку, как я нащупывал прямо-таки зияющие раны на наружной стене дома; чуть только до них дотронешься, сразу же сыпалась вниз мельчайшая

© Vámos Miklós, 1972.

пыль, а из более старых и глубоких проплешин выглядывали наружу ржаво-красные кирпичи.

Шло время.

В семье часто вспыхивали перепалки по одному и тому же поводу: как закрывать дверь. Излюбленная мамина тема: не хлопайте дверями, и прежде всего входной дверью, когда уходите из дома.

Сестрица моя всегда придумывала какие-нибудь оправдания:

— Было уже без четверти восемь, я и помчалась, чтоб не опоздать, потому и захлопнула...

— А я и хотела достать ключ, только в одной руке у меня была сумочка, а в другой — сетка, и, пока я перекладывала сумочку из одной руки в другую, чтобы достать ключ, дверь взяла и захлопнулась...

— Я приготовилась закрыть ключом, но тут налетел ветер, и дверь захлопнуло сквозняком...

Но эти оправдания, как правило, только подливали масла в огонь. Мать была страстной поборницей справедливости. Наслушавшись отговорок, она поставила на галерее рядом с входной дверью старый стул и наказала каждому: если у кого заняты руки — будь добр положи вещи на стул, пока достаешь ключ.

— Закрывать надо только ключом! Иначе стена потрескается от вашего хлопанья!

— Она и без того вся в трещинах.

— Оттого и в трещинах, что вы постоянно хлопаете дверью. Нет, это, кажется, выше сил человеческих приучить вас пользоваться ключом!

Ну а поскольку мы с сестрой каждый раз пытались что-нибудь возразить, то препирательствам этим не было конца.

Что касается меня лично, то я, если мать суетилась на кухне, волей-неволей вынужден был закрывать дверь ключом, потому как ссорами я был сыт по горло. Если же мать находилась в одной из комнат, куда — я знал — не доходит глухой стук двери, то я без зазрения совести захлопывал дверь. В конечном счете ведь двери для того и существуют, чтобы их захлопывать. Не носиться же с ними как с музейной редкостью! Бред какой-то да и только! Кроме того, штукатурка отваливается — если уж она действительно отваливается — совершенно не обязательно оттого, что хлопают дверью. Я, например, умею так осторожно обращаться с дверью, что почти не отличишь, захлопнули ее или закрыли ключом.

Уму непостижимо, зачем раздувать историю из-за какого-то пустяка!

В один прекрасный день, едва я успел переступить порог, как мать окликнула меня из глубины квартиры:

— Кто там?

Я отозвался.

— Иди скорей сюда!

Я вошел. В комнате все вверх дном, мебель сдвинута с места. Мать в халате, с косынкой на голове.

Оказалось, что она купила сервировочный столик. Мечта обзавестись вот этакой стеклянной этажеркой на колесиках давно не давала матери покоя.

— Теперь когда придут гости, можно поставить сюда бокалы, соленое печенье, сифон с газированной водой!

В действительности же гости у нас бывали очень редко; отец не отличался особой общительностью — кроссворды занимали большую часть его вечеров.

Ну а сейчас посреди комнаты красовался этот новенький сверкающий столик на колесиках, и мать, горя желанием подыскать для него

достойное место, принялась за перестановку. В качестве физической силы ей и потребовался я.

Без всякого энтузиазма отодвинул я от стены два тяжеленных шкафа, переставил с привычных мест кресла и кушетку. Мне еще повезло, что не нужно было двигать пианино, на этот раз его решили оставить в покое. А с пианино мне пришлось бы порядком повозиться, уж это проверено; дело в том, что перестановки для нас не редкость: найдет на мать этакий стих, и начинает она очередное переоборудование — чаще всего в нашей гостиной,— так что мебель мне приходилось двигать не раз, в том числе и пианино.

— Стоит чуть переставить мебель — и комнату не узнать! Смотрится совершенно по-новому,— объясняла мать.

Пот с меня лил в три ручья. Наконец, сервировочный столик был установлен на место журнального, в углу комнаты Мать расстелила на нем кружевные салфетки, на две нижние полки поставила по декоративному блюду, на верхнюю выложила коробку для сигарет и пепельницу. И, довольная, воззрилась на дело рук своих. Мною же мать отнюдь не была довольна.

— Что за люди у нас в семье, ничему не умеют радоваться!

Я вытер лоб и промолчал.

— Вечно норовят отравить радость ближнему.

Спрашивается, ну какого черта скакать от радости из-за обыкновенного столика! Красиво, нравится — ну и на здоровье.

В результате мать разобиделась на меня.

На другой день мать высаживала цветочную рассаду в жестяной ящик на балконе. Это еще одна ее мания — украшать дом цветами. К счастью, на этот раз мать выбрала себе в помощницы мою сестру.

А я улизнул из дому. Когда же я вернулся, то сразу почувствовал: атмосфера в доме явно накалена. Меня угораздило подоспеть к финалу очередной перебранки — на сей раз по поводу цветов.

— Ты почему не вытер ноги? — накинулась на меня мать.— Вечно вы тащите грязь в квартиру, а я знай только выгребаю за всеми. Сейчас же вернись обратно и вытри ноги, для чего, по-твоему, у порога лежит половик?

Я вошел в гостиную, зашвырнул ботинки под диван, сел. Черт знает что, какой-то сумасшедший дом!

Вечером мать поманила меня в прихожую — хотела, чтобы я полюбовался на только что купленный ею полированный деревянный ящичек с ручкой: отныне в нем будут храниться щетки для обуви, суконка и крем.

Я спокойно отнесся к очередному новшеству.

— Правда, красивая вещь?— Мать вертела ящичек и так и этак.— Надеюсь, теперь ты приохотишься чистить ботинки.

Я молча пожал плечами. Последнее время я вообще предпочитаю отмалчиваться.

Мать, конечно, с большими причудами. В один прекрасный день — я занимался на балконе — она ворвалась ко мне и принялась распекать: у меня-де прямо страсть какая-то все ломать и портить. К чему, спрашивается, я, когда занимаюсь колупаю со стены штукатурку?

На это я, естественно, не мог дать вразумительного ответа. Не признаешься же ей, что мне нравится смотреть, как кусочки штукатурки пикируют во двор, на траву.

Такое объяснение ей, безусловно, пришлось бы не по душе.

— Только бы тебе ломать да портить! Это по твоей части.

Не понимаю, из-за чего тут поднимать шум. Что он хуже, что ли, станет этот дом, если несколько кусочков штукатурки с глухим стуком шлепнутся оземь? Не говоря уж о том, что зрелище это само по

себе приятное — о чем, помнится, я говорил,— такое занятие настраивает человека на созерцательный лад.

Мать очень часто выходила на балкон и уличала меня:

— Опять колупал штукатурку!

Приходилось сознаваться. Я думал, она углядела с улицы, возвращаясь домой. Неужели я стал таким рассеянным, что не замечаю, как мать появляется из-за угла? Странно!

Но как-то раз я заметил: перед очередным разносом мать, стоя на балконе, долго и внимательно изучала что-то внизу.

Ага! Значит, сначала она проверяет, не валяются ли под балконом свежие кусочки штукатурки! Вот откуда берется ее уверенность.

— Ты опять ковырял штукатурку!

— И не притрагивался. Меня вообще дома не было, я только что вернулся от Фери,— парировал я самым решительным тоном, и пусть даже мне и не удалось переубедить мать, во всяком случае, на сегодня разбирательство дела было отложено.

Так и пошло у нас дальше: если меня не ловили на месте преступления, я начисто отрицал свою вину.

Мать терзали сомнения. Тогда я подсказал ей: я-де и сам замечал иногда, что штукатурка у нас ни с того ни с сего обваливается. Вот буквально минуту назад я слышал глухой шлепок — должно быть, отвалился и упал кусок штукатурки.

Мать вроде бы примирилась с тем, что штукатурка отваливается сама по себе, но с тех пор еще бдительнее стала следить за мной, пытаясь поймать с поличным, и из-за моей досадной неосмотрительности иной раз это ей удавалось.

Кроме того, были еще и другие поводы для перебранок в семье. К примеру, телефонный аппарат у нас стоял на деревянной решетке радиатора, и нужные номера я записывал на ней карандашом, чтоб они были всегда под рукой. Раз в месяц мать мыла оконные рамы и двери, а заодно и решетку радиатора, после чего мои записи становились неразборчивыми, если не исчезали начисто. Тогда самые необходимые номера я стал записывать чернилами. И опять скандал!

— Здесь тебе не свинарник! Будь твоя воля, мы бы давно ходили по колено в грязи. Не понимаю, как можно так по-хамски вести себя в приличной квартире.

Вечно эти громкие слова! Вот когда я обзаведусь своей собственной квартирой, я буду в ней жить, а не беречь ее, как музейную ценность. И мебелью и вообще всеми вещами стану пользоваться, чтобы было максимально удобно. А где, спрашивается, удобнее всего записывать номера телефонов, как не возле телефона?

— Для чего, по-твоему, существует бумага?

Листку бумаги легко затеряться, а на радиаторе записи всегда в сохранности и находятся ближе всего к телефону.

Вернее, находились раньше, потому что в воскресенье мать напала на них, вооружившись щеткой и ведром со щелочным раствором. Некоторые номера, правда, можно еще разобрать.

Но теми, что остались, практически пользоваться удалось недолго, потому что мать купила настольный фонтан! Поскольку же в привычный интерьер комнаты фонтан не вписывался, пришлось опять делать перестановку. В результате телефон перекочевал на сервировочный столик, то есть шагов на десять от моих записей.

Что касается настольного фонтана, то это, по-моему, уж и вовсе чушь собачья. Обыкновенная пластмассовая чаша, снизу она подсвечивается цветной лампочкой; чаша наполнена водой, и с помощью хитроумного устройства струя выбрасывается на восемьдесят сантиметров вверх. Зрелище совершенно дурацкое, что, однако, не помеша-

ло матери быть на седьмом небе от счастья. Каждые десять минут запускала она свою игрушку, да еще меня звала полюбоваться.

Или вспомнить, к примеру, историю с нашей уборной. Мать долгое время внушала нам: в унитаз-де можно спускать только туалетную бумагу, упаси бог, попадет обрывок газеты или оберточной бумаги. Я никак не мог взять в толк, какая разница, что именно попадет в канализацию.

— В унитаз вы заталкиваете невесть что. Вот дождетесь, когда-нибудь засорится труба, а я потом прочищай за вами!

Я не принимал всерьез эти ее пророчества. Но однажды труба у нас действительно засорилась. Спускаешь воду, но та не сбегает как положено, а поднимается кверху, к самым краям унитаза, и лишь через несколько минут постепенно сходит. Мать отыскала в кладовке алюминиевый карниз для гардин, согнула его под углом и принялась шуровать в унитазе. (С тех пор мать постоянно стала держать этот карниз в ванной, на всякий случай.)

Мать демонстрировала нам в белом тазу извлеченную ею из трубы целую груду мокрой бумаги.

— Теперь видите, сколько туда всего набилось! И ведь повторяла вам сотни раз: не спускайте в канализацию что попало! Но вы ничего не бережете! А потом сами же удивляетесь, отчего это в доме все приходит в негодность. В последний раз говорю: для того люди и придумали туалетную бумагу.— Мать рассерженно ткнула в рулон.— Городской унитаз — это вам не деревенский нужник, куда бросают что попало!

А я-то всегда считал, что мягкую, тонкую туалетную бумагу люди покупают исключительно ради удобства пользования. Никогда мне не приходило в голову, что весь секрет тут в деликатном устройстве канализации, которая засоряется более плотной бумагой.

Судя по всему, с годами люди становятся рабами вещей. Я хочу жить совершенно иначе!

После смерти отца мы не хотели, да и не могли больше оставаться в старой квартире. Мать зарабатывала слишком мало, чтобы содержать и оплачивать трехкомнатную квартиру с холлом. К тому же и здоровье матери расшаталось, теперь ей не под силу было блюсти чистоту в столь обширных покоях. Да и велика стала прежняя квартира для нас троих.

С обменом квартиры пришлось возиться мне. В конце концов переселились в двухкомнатную; кроме того, там была еще крохотная комнатка — для прислуги, ее заняла сестра (она все равно скоро выйдет замуж), в большой комнате обосновалась мать, а изолированная, в глубине квартиры, досталась мне. Мать на время переезда отбыла в санаторий.

Ну что сказать о новой квартире? Квартира как квартира. Не думаю, чтобы вообще существовала большая разница между той или иной квартирой. Впрочем, при обмене мы получили некоторую денежную компенсацию, потому что новая квартира была меньше и считалась наемной, а не нашей собственной; словом, при обмене наш партнер приплатил, и деньги эти пришлись как нельзя кстати: и на покупку мебели, и на ремонт квартиры, да и вообще трат было немало. По счастью, квартирная плата невелика.

Странное ощущение — выйти из подъезда с детства знакомого дома и знать, что больше ты уже сюда никогда не вернешься. Возможно, это звучит сентиментально...

Новая квартира показалась мне поначалу какой-то чудной, может быть, оттого, что она не была обставлена мебелью. Мне еще в жизни

не доводилось видеть квартиру с голыми стенами. Я подошел к окну в большой комнате. Обе рамы распахнуты настежь.

На первом этаже серого дома напротив разместилась лавочка: «Фазекаш Арминне. Делаю кисти и щетки. Скупаю щетину и конский волос».

«Так,— подумал я,— значит, отныне здесь мы будем жить». Грузчики тем временем таскали мебель; с работой своей они управились за полчаса, после чего мы остались вдвоем с сестрой. Принялись разбирать вещи, я — без особой охоты.

Ближе к вечеру пришел жених сестры помочь нам. Огляделся по сторонам и заметил:

— Стены какие грязные...

— Летом покрасим, а раньше не стоит, потому что сперва надо навесить дверь между комнатами,— ответила сестра.

Парень снова оглядел стены — изучающе, взглядом знатока.

— Давайте протрем их! — предложил он.

Оказывается, можно протереть стены хлебным мякишем, и тогда они станут почти такими же чистыми, как свежевыкрашенные.

В магазине на нас смотрели как на ненормальных: в общей сложности мы закупили тридцать килограммов хлеба, сделали шесть заходов. После чего три дня терли хлебным мякишем стены, и они действительно стали очень чистыми.

Затем настала очередь двери. Четверо суток по всей квартире были разбросаны кирпичи, инструменты, потому что мастер нам попался «левак», он приходил сюда подрабатывать только после обычного трудового дня. Но зато и взял недорого. Не сказать чтобы получилось очень уж красиво, но дверь есть дверь, ее можно закрыть. Наконец-то исчезла безобразная ниша между комнатами, а главное, комнаты теперь стали изолированными. У прежних жильцов двери не было, в нише висела портьера.

Неоднократная перестановка мебели и распаковка вещей заняли две недели. К тому времени, как мать вернулась из санатория, в доме уже было какое-то подобие порядка.

А еще через полгода сестра уехала от нас. Она вышла замуж.

Комната, где я живу, не прямоугольная. По мнению моей приятельницы, она в виде сектора. Но мне лично без разницы. Вместо одной из стен в комнате три окна, расположенных полукругом; вернее сказать, окон всего два, потому что среднее вовсе и не окно, а дверь, она выходит на крошечный уступчик балкона, где едва встать двоим. Моя мать так и говорит, что это даже не балкон, а просто выступ.

Большую часть старой мебели я продал в комиссионном. В комнату матери купил стенку из светлого дерева, а в холл — новый гарнитур. Зато в моей комнате осталось достаточно старой мебели, я купил пока только тахту.

Мать сшила занавески на окна, и в квартире стало уютнее.

Снаружи дом наш выглядит довольно мрачно.

Мать однажды разговаривала с кем-то по телефону (к счастью, в квартире есть телефон), и собеседник ее, должно быть, спросил:

— А куда вы переселились?

— В какой-то чужой дом! — ответила мать и назвала наш адрес.

Хуже всего, что я никого не знаю тут и меня никто не знает. В старом доме все жильцы были знакомы мне с детства.

Слева от нас живет одна старушка, мы обычно встречаемся с ней в гастрономе. Как-то раз она зазвала меня к себе.

В прихожей две стены сплошь увешаны старинными часами.

— Это моя коллекция.

От непрестанного звона, боя, крика кукушек впору было оглохнуть.

Старушка прожила в этом доме целых сорок лет.

— Э, сынок, мы с моим бедным супругом переехали сюда после войны (естественно, после первой мировой). Уж я-то всех знаю в этом доме.

— Вон там, напротив, кто живет?

— Высокий такой мужчина, с усами. Из дому уходит рано, а возвращается к пяти часам. Живет один. Иногда приводит к себе женщин. Стенка здесь тонкая, все слышно.

— А чем он занимается, какая у него профессия?

— Вот уж этого я не знаю.

— А еще что-нибудь о нем знаете?

— Еще... как же, знаю и еще. Еда у него часто пригорает, запахи доходят до самой моей квартиры.

— И больше совсем-таки ничего и не знаете?

— А чего еще знать-то? — старушка недоуменно уставилась на меня. По лбу ее к вискам побежали морщины.

— Да нет, я так...

Старушка скрестила на груди руки.

— Вы всех жильцов в доме так же хорошо знаете?

— А как же, всех! — закивала головой старушка.

Доброжелательная старушка: всегда получает для нас заказные письма, при случае оплатит счета.

Кроме того, я побывал еще у привратницы, когда относил документы на прописку. Квартирка у нее заглядение: прекрасно отремонтирована, все выкрашено белой масляной краской, а двери сверкают будто зеркальные. Только света, конечно, маловато, потому что квартира расположена в полуподвале.

Вот наша квартира гораздо светлее, и то ли еще будет летом, когда мы сделаем ремонт. Конечно, если уж говорить о свете, то с этой точки зрения было бы идеально снести серый куб напротив — пусть не весь дом, первый этаж можно оставить. Лавка Фазекаш Арминне не мешает.

Мать выставила на балкончик цветы в симпатичных красных горшках. И даже купила оригинальные кашпо, в них она посадила пеларгонии и развесила над балконом. Я, со своей стороны, взял за правило по утрам обязательно поливать цветы, а заодно уж и смахиваю с листьев пыль мягкой тряпочкой. В ясные дни солнце так и играет на сочной зелени.

К себе в комнату я купил два кресла. Теперь, когда придут гости, найдется куда посадить. Шкаф я тоже переставил очень удачно, к дальней стене, и столик с креслами оказались в центре комнаты; когда входишь через навешенную между комнатами дверь — вся обстановка сразу на виду, залюбуешься. Бывает, открою дверь и смотрю из соседней комнаты — просто сердце радуется.

Однажды нас зашла проведать моя сестра. Ей очень понравилась моя комната. И новые кресла тоже. В кресло она и села, откинулась этак непринужденно — кресло как затрещит. Мне стало жутко не по себе. Что за манера, обязательно развалиться, откинуться в кресле! Кресло существует для того, чтобы сидеть как положено.

Но я не стал делать сестре замечание, иначе она бы обиделась. Я ведь знаю, какая она у нас обидчивая.

С тех пор, когда к нам приходят гости, я усаживаю их не в кресла, а на тахту. Конечно, бывали случаи, что гостей у нас собиралось много, но и тогда я старался приберечь кресла для людей более уравновешенных по характеру и комплекцией полегче. Однако как ни остере-

гайся, а оплошностей в этом деле не избежать. Поэтому на многих своих гостей я из-за этих кресел — и сам того не желая — бросал неприязненные взгляды; гости понять не могли, в чем дело, а спросить стеснялись и норовили уйти пораньше. Тем лучше, вот уж из-за этого я ничуть не расстраивался.

Новая дверь тоже причиняла немало неприятностей. Во-первых, открывать и закрывать ее следовало очень бережно, потому что свежая штукатурка в два счета могла осыпаться, а ничто так не раздражает, как если видишь, что вещи портятся у тебя на глазах. Во-вторых, защелка у двери прилажена не совсем удачно; поэтому, если не сосредоточишь все свое внимание и раньше времени опустишь ручку, дверь так и останется отворенной.

Когда мать выходит из комнаты, я каждый раз затаив дыхание слежу, сумеет ли она закрыть дверь с первого раза. Или со второго? Или с третьего!!!

Признаться, это здорово действует мне на нервы. Я не выдерживаю, вскакиваю и закрываю сам. Но в таких случаях и у меня тоже не получается с первого раза, потому что нервы взбудоражены. Потом я несколько минут просто расхаживаю взад-вперед по комнате, ни за что не могу приняться, пока не приду в себя.

Идеальнее всего было бы вообще держать дверь открытой. Только вдруг тогда дверная створка оттянет вниз притолоку, и от этого дверной проем перекосится, испортится весь «каркас», как назвал его мастер. А когда дверь закрыта, то такая опасность не угрожает, разве что канительно немного каждый раз открывать ее и закрывать.

По счастью, моя приятельница умеет очень ловко управляться с защелкой, ей почти всегда удается с первого раза закрыть дверь, и мне тут здорово повезло, потому что ей я, наверно, не смог бы делать замечания.

У нее длинные каштановые волосы...

Очевидно, я женюсь на ней. Я купил себе ковер, чтобы повесить над кроватью. С длинным ворсом, ручной работы, так называемый «бахромчатый» настенный ковер, в красных, желтых и коричневых тонах. Вешать ковер на ту стену, возле которой сейчас стоит кровать, было бы ошибкой: тогда кресло закрыло бы по меньшей мере половину ковра. Поэтому я сделал в своей комнате новую перестановку: кровать и шкаф поменял местами. Так стало гораздо уютнее, чем прежде. Матери очень понравилось.

И подруге моей тоже понравилось. Кстати сказать, она заканчивает философский факультет...

Моя сестра была свидетельницей на нашей свадьбе, а вторым свидетелем — ее муж.

Мать сначала была против моей женитьбы, но затем примирилась.

В свадебное путешествие мы поехали в Балатонфюред.

Моя жена внесла несколько дельных предложений. К примеру, она посоветовала избавиться от огромного шкафа в нашей комнате и вместо него купить новый, поменьше: этот огромный монстр занимает слишком много места. Но уж если мы его продадим, то есть смысл поменять и остальную мебель. Можно было бы приобрести красивый модный гарнитур.

Две недели я ходил по мебельным магазинам. Никогда бы не подумал, что так трудно подобрать мебель — я имею в виду такую, чтобы была по душе и по цене подходила тоже.

Старую мебель в четверг с утра забрали в комиссионный, а уже после обеда рабочие из бюро доставки привезли новый гарнитур. Ко-

нечно, очень непросто было так подогнать сроки с доставкой и вывозом, мы оба с ног сбились, пока удалось все уладить.

Зато теперь мы имеем новехонький гарнитур: тахта, шкаф комбинированный, шкаф застекленный книжный, столик типа журнального, два небольших кресла и письменный стол. Незабываемый, прекрасный миг, когда все новоприобретенное оказалось в квартире!

До поздней ночи мы занимались расстановкой мебели. Работал я как вол, семь потов с меня сошло, но усталость я почувствовал только в самом конце, когда все было уже расставлено. Взглянул на себя — рубашку хоть выжимай.

В воскресенье я с женой был в гостях у одного ее знакомого, инженера-электрика. Мы застали его за работой, он чертил. Письменный стол у него был поставлен возле самого окна, так что инженер с утра до вечера мог работать при естественном освещении.

Идея поставить свой стол точно так же засела во мне занозой. Я сидел как на иголках, едва дотерпел, пока мы вернулись домой. Но здесь меня ждало разочарование: оказалось, что письменный стол у нас нельзя пододвинуть вплотную к окну, мешали радиаторы. Настроение мое было вконец испорчено. Ведь ясное дело: чем дальше стол отстоит от окна, тем меньше мы получаем света, сидя за ним.

Конечно, наша квартира вообще не такая светлая, как у того инженера. Там, как бы далеко ты ни отходил от окна, видишь, как повсюду на мебели играет солнечный свет. И сама планировка той квартиры гораздо удобнее. К комнатам примыкала огромная терраса, и, как я заметил, там поставлены круглый стол и шезлонги, а летом, наверное, он там и работает, на террасе чертит, этот инженер.

Я начал с завистью думать о квартире Золи (так звали инженера). Мне даже самому было не по себе, оттого что о чужой квартире я думал с бо́льшим восторгом, чем о своей собственной.

Часами двигал я письменный стол, пока не удалось установить его в максимально освещенном месте. При этом, конечно, пришлось сделать некоторую перестановку и другой мебели.

— Учти, что тебе нет нужды целыми днями корпеть за письменным столом подобно Золи,— сказала жена,— так что и глаза портить не придется. А по вечерам все равно можно писать или читать только при лампе. Зато наша квартира не в пример уютнее.

Она сказала неоспоримую истину. Иногда я пытался вспомнить, какой была наша прежняя квартира — сумрачной или светлой, но не мог. Прежде я как-то не задумывался над этим. Твердо помню только, что там был большой балкон.

Досадно, что здесь под самым балкончиком на улице торчит старый, искривленный каштан. Основание ствола его полукругом захватил асфальт тротуара. Верхние ветви дерева маячат на уровне моих окон и, можно сказать, затемняют комнату. Стоило бы обрубить верхние ветки, пусть не все, а только те, что видны, когда сидишь за письменным столом. Не забыть бы сказать привратнице.

Нам пришлось еще дважды делать перестановку в нашей комнате, прежде чем мы наконец достигли в своем роде идеала. Зато теперь мне все очень нравится, приятно войти в комнату. Иной раз, возвращаясь с работы, я лечу вверх по лестнице: скорей бы мне очутиться дома, в своей комнате. Я уютно устраиваюсь в кресле, ласкаю взглядом мебель, стены. Если бы в этот момент меня спросили, чем я занят, я бы ответил: живу, наслаждаюсь жизнью!

Постепенно я привык и к самому дому, и к окружающим людям. Не такой уж он чужой, этот дом. Вернее, чужим он кажется только постороннему человеку.

Жене пришла блестящая идея: чтобы поддерживать в квартире чистоту, мы решили впредь менять обувь в прихожей и ходить по комнатам только в тапочках. Чтобы ни нам самим, ни нашим гостям не таскать в дом грязь.

— На Западе почти в каждом доме заведен такой порядок!

Мать горячо одобрила эту идею. Они отправились вдвоем, купили шкафчик для обуви, поместили его в прихожей. На двух верхних полках расставили в ряд плетенные из соломки шлепанцы; какое счастье, что при переезде я их не выбросил! А ведь собирался было...

— И в гигиеническом отношении полезнее ходить в тапочках, нога дышит свободно.

Поначалу было непривычно. Мать часто забывала переобуваться, однажды дело дошло до ссоры, когда она в уличной обуви вошла к нам в комнату.

Скоро мы так привыкли, что уже машинально переобувались в тапочки, как только приходили домой.

Вчера я купил подвесную книжную полку. Приспособил ее над письменным столом. Вечером мы сидели в тапочках, любовались обстановкой.

Этим заполнена наша жизнь!

Сегодня ко мне зашел давний приятель. Когда я предложил ему в прихожей разуться и надеть шлепанцы, он так глянул на меня, что меня пот прошиб.

— Ты серьезно?

Я протянул ему шлепанцы.

— Мне-то все равно, но вот мать и жена, те настаивают... надоедает им убирать...

Вообще-то я говорил вполне серьезно.

Я повел гостя по всем комнатам. Но вскоре заметил: ему явно неинтересно, что я рассказываю о своей квартире, и слушает он меня не слишком внимательно. Сколько же еще эгоизма в людях! Никому нет дела до радостей ближнего.

Я провел его в свою комнату. Взгляду там еще с порога открывался безукоризненный порядок. Приятель закрыл дверь. Вернее, только хотел закрыть, потому что дверь, по своему обыкновению, опять отворилась. Я попытался было сказать, мол, оставь, не трогай, я сам закрою, но приятель опередил меня, ухватился за ручку — и хлоп!

На пол посыпались кусочки штукатурки. Я, должно быть, даже переменился в лице. Пришлось идти за совком и веником...

Приятель пробыл не более часа.

— Как ты изменился! — сказал он.

— Я?!

— Конечно. Ты буквально помешан на благоустройстве своей квартиры. Не понимаю, зачем так дрожать над вещами.

Зато я его понимал отлично: он потому так рассуждает, что у него самого нет такой красивой квартиры. Но, естественно, я не мог это высказать вслух.

— Что тут плохого, если человек бережно обращается с вещами? Разве запрещено любить свой дом?

Приятель покачал головой:

— Я хочу жить иначе.

Я вывел приятеля через ванную комнату, а то не дай бог уходя грохнет дверью.

Пять часов. Сейчас, когда я снова остался в своей квартире один, настроение у меня поднялось. Скоро вернется с работы жена, и мы по-

койно усядемся друг против друга, будем любоваться обстановкой, одним словом, наслаждаться жизнью.

Как странно вел себя сегодня мой приятель.

В следующий раз, если кто придет, я глаз с него не спущу, чтобы не вздумал хлопнуть дверью. Тут уж главное — сам не плошай.

Когда у нас будет ребенок, я не пожалею ни времени, ни сил, чтобы с малых лет приучить его не хлопать дверью. Счастье еще, что жена моя профессиональный педагог.

ИШТВАН ГАЛЛ

Лейтенант

Не знаю, как эту пору переносят другие, но что до меня, то каждую весну, когда набухают почки, грудь моя дышит полнее, похоже, что чувства мои расцветают, тянутся к миру, и в мае мне уже с трудом удается совладать с собою: эх, скакнуть бы повыше, до неба, сбить макушкой парочку звезд!

Но той весной у меня начисто отпала охота дурачиться. По счастью, зима в тот год выдалась мягкая, и весенние ветры за несколько дней подсушили оставшуюся после талого снега слякоть, иначе пахать бы мне носом грязь, потому что ходил я тогда повесив голову. Да и не только я один, у всех ребят в нашем взводе настроение было не лучше.

Тоска наполняла душу, как уксус — плетеную бутыль... По правде сказать, нам и впрямь тогда приходилось несладко. Мы жили в постоянном страхе. Я не стыжусь признаться в этом негероическом чувстве, по-моему, так куда хуже было бы замалчивать его. Да, в ту пору все мы испытывали страх. И нам было чего бояться!

Все началось с незначительного эпизода, когда на третий месяц военподготовки во время вечерней читки приказов нам объявили, что есть возможность записаться на курсы техников. После мы обсудили между собой это дело, прикинули так и эдак, и Крижан — а в таких вопросах он смыслил — заявил, что, мол, вот он, шанс на удачу, ведь тот, кто учится на курсах, караулов не несет, от летних маневров освобождается, и вообще такой человек в армии становится кем-то вроде мастерового; иначе что же, по-вашему, может означать слово «техник»?! Крижан считался среди нас головой, парень он был образованный, и очки придавали ему солидности... Вот мы и послушались Крижана и заодно с ним записались на курсы, из нашего взвода таких набралось несколько человек. Так и попали мы в то самое село, где случилась эта история...

Нас, курсантов, разместили в бывшей графской усадьбе, окруженной обширным старинным парком, и самый замок с его деревянными

панелями по стенам, паркетными полами в залах и скрипучей деревянной лестницей, с искусно облицованными каминами показался нам уютнейшим уголком. Однако едва улеглось возбуждение первых минут и мы было поверили, что фортуна нам улыбнулась, как объявили общее построение. Командиры и преподаватели курсов собрались, чтобы представиться нам, а заодно и взглянуть, что мы из себя представляем. Они тоже выстроились в шеренгу напротив нас, и командир роты держал речь, а мы слушали, вытянувшись по стойке «смирно», и лишь взглядами прощупывали своих будущих наставников.

Не знаю, с кого это началось, кто первым осторожно локтем толкнул соседа, но через минуту-другую все мы, как по команде тараща глаза, изумленно пялились на офицеров. Курсанты зашевелились, начали переглядываться — а это несвойственная для новичков вольность,— и видно было, что все мы одинаково ошеломлены. Стоящие в задних рядах почти откровенно перешептывались, шеренги как ветром качало, и страх с той самой минуты заполз в наши души.

Рядом с командиром роты стоял хромой лейтенант. За ним — старшина с лицом, исхлестанным и исполосованным шрамами, как поле после глубокой вспашки. Глаза наши углядели и младшего лейтенанта с изуродованным, как бы вывернутым наизнанку ухом. Да и остальные офицеры выглядели не лучше, все как есть увечные: у одного руки нет, у другого лицо искалечено... Что бы все это значило? Куда же мы попали?

Именно тут, на плацу, и при таких-то вот обстоятельствах мы и узнали, что нам предстоит стать минерами.

Харч был что надо, и занятия тоже по большей части проводились в здании, так что нам не приходилось дрожать и мокнуть под открытым небом, и все же нам было здорово не по себе, мы готовы были сбежать куда угодно, лишь бы не оставаться на теплом месте. Но это было невозможно.

Командиром нашего взвода назначили лейтенанта Габора, того, хромого. Невысокий, подтянутый, он прихрамывал на правую ногу, и, когда взвод двигался короткими перебежками, он подскакивал и подпрыгивал, волоча поврежденную ногу. Но при этом живой он был, точно ящерица; хромая на учебном плацу, вертелся юлой, ухитрялся поспеть повсюду, отрывистый голос его раздавался то тут, то там, и ребята из других взводов боялись нашего лейтенанта больше, чем мы сами. Лицо у лейтенанта Габора было вытянутое и, на первый взгляд, не слишком уж привлекательное. Нос был посажен чуть наискось, рот, когда лейтенант говорил, кривился, будто обладатель его постоянно корчил гримасы, а острый подбородок резко выдавался вперед.

Но больше всего мы боялись его глаз, испытующих, все подмечающих. Он никогда не говорил обидного слова, просто осуждал вас взглядом. Стоило нашему лейтенанту глянуть на брошенный кем-то на пол окурок, как разнесчастный этот окурок моментально вырастал в гору — в наших глазах конечно! — и мы наперебой бросались его поднимать. Если он замечал у кого-либо в походном котелке хоть одну приставшую крошку, он принимался изучать ее с таким укором и отвращением, что и самому хозяину котелка его посудина начинала казаться помойным ведром. Едва заметное пятнышко на свежевыскобленном полу в коридоре он тоже, бывало, разглядывал с таким пристальным вниманием, что дневальный невольно хватался за тряпку и принимался тереть пол заново.

Уже на следующий день по прибытии он всех нас знал не только в лицо, но и каждого называл по имени. А уж через неделю ему было досконально известно, от кого чего можно ждать. Крижан, скажем,

был сильнее других в теории, знал наперечет все виды взрывчатки и в мгновение ока мог высчитать требуемый заряд и необходимую длину бикфордова шнура, зато гимнаст из него был никудышный, на турник мы его подсаживали вдвоем, а он, подтянувшись три раза, бухался на землю: силенок не хватало. Полной противоположностью Крижану был Шпинат; этот курсант был так же невыносим, как и тот овощ, от которого он получил свою фамилию: здоровенный увалень и силен как вол, но при всем том крайне беспомощен. «Взялись — потащили!» — этим исчерпывались все его представления о многогранной человеческой деятельности. Так вот с двумя этими индивидами нашему лейтенанту пришлось-таки порядком помучиться, а все оттого, что оба панически боялись мин и взрывчатки, боялись до такой степени, что это выделяло Крижана и Шпината даже среди отчаянных трусишек в нашем не нюхавшем пороху взводе. Причем один из них боялся потому, что не понимал даже простейших операций минера...

Весной, когда на смену теоретической подготовке пришли практические занятия, солдаты нашего взвода, и раньше-то пребывавшие в страхе, совсем потеряли голову. Как я теперь понимаю, это был типичнейший случай массового психоза, всяк запугивал другого, и никакие разумные доводы не действовали. Понапрасну твердили нам, что минер, прошедший профессиональную выучку, никогда не подорвется, да, кроме того, живем мы в мирное время, и у нас просто не будет возможности для ЧП, а командиры наши получили свои ранения при разминировании сразу после войны, потому-то они и были назначены на курсы минеров преподавателями... мы, знай, твердили свое: мол, не желаем становиться калеками и к боевой мине ни за что не притронемся, пусть хоть подводят под трибунал! Панический страх, какой-то животный ужас Крижана и Шпината, подобно эпидемии, передавался нам; ведь эти парни на практических занятиях по взрывному делу чуть ли не выли от страха и не в силах были отвести глаз от маслянистых и плотных на ощупь зарядов, грозных своей разрушительной силой.

На первых занятиях мы должны были пообвыкнуть, приучиться к взрывам. Нам приказывали лечь строго по кругу радиусом метров в двадцать, на голове у каждого — каска, лицо плотно вдавлено в землю, а в центре круга клали тот заряд со взрывчаткой не больше нескольких сот граммов, запальный шнур от которого поджигал один из командиров отделения. Так мы должны были лежать неподвижно и слушать, как потрескивает горящий шнур, лежать, не пикнув, вжиматься в землю и с противным холодком в животе ждать взрыва, который — как он ни был мал — леденил страхом душу. А после каждого взрыва курсанты буквально заставляли себя отрываться от земли; сердце у нас колотилось бешено, лица становились белее мела, и мы ошалело таращились друг на друга, удивлялись, что остались целы... Позднее нам пришлось научиться самим поджигать запал, отработать систему укрытия, одним словом, познать на опыте все премудрости нашей специальности подрывника. Взвод постепенно втягивался в дело, привыкал к ежедневному треску и грохоту учебных взрывов, и все реже можно было увидеть, чтоб у кого-то из нас мелкой дрожью тряслись руки или дергалось веко. И пожалуй, все бы давно было в порядке и мы, точь-в-точь как солдаты других взводов, свыклись бы с этой требующей определенного мужества сугубо мужской профессией, если б нас не заражали своим страхом Крижан и Шпинат.

Случай, о котором пойдет речь дальше, произошел в мае; близился конец наших занятий на курсах, но мы по-прежнему вовсе не горели энтузиазмом! Больше того, чем ласковее пригревало весеннее солнышко, тем отчаяннее дрожали мы, от нас самих будто веяло зимним

холодом. Солдаты взвода ходили понурые, точно все поголовно схлопотали наряд вне очереди.

За околицей села тянулись холмы, густо усеянные камнем и потому не годные к пахоте. Земля там на метр поросла сорной травой и лопухами — это и был наш учебный плац. Погода наладилась — глаз не нарадуется: в небе застыла неподвижная голубизна, не замутненная даже тенью мимолетного облачка, вокруг зеленели поля, на тополях желтизной отливал первый лист, и возле самого горизонта тарахтели тракторы, взрывая плугом неподатливый верхний пласт. Прошлогодняя трава приникла к земле, пружиня под ступнею, будто ковер, к тому же и новая поросль лезла вовсю, светло-зеленая травка проталкивалась, пробивалась сквозь влажно преющие остатки прошлогодней травы. Новая зелень будто гудела своей тугой силой, так буйно она росла. Муравьишки суетливо сновали между камней, а ленивые тяжеловатые жуки раскачивались на стеблях репейника и, прежде чем сняться, подолгу трещали подкрыльями.

Весна шествовала во всем своем великолепии.

По вершинам холмов тянулись проволочные заграждения — свежеоструганные бревна и колючая проволока; заграждения были кое-где покорежены: дерево обгорело дочерна, а проволока разорвана и перепутана. На этом укреплении мы опробовали боевые заряды. Сейчас наш взвод отрабатывал взрыв мины замедленного действия. На двухметровой доске мы укрепили несколько килограммов взрывчатки, заложили в нее детонаторы и отмерили длинный запальный шнур. И тут появился лейтенант Габор.

— Пять минут передышки!

Мы разлеглись на траве, переглянулись и мрачно молчали.

— Ну, чего носы повесили? — спросил лейтенант.

Что на это ответить? Крижан буркнул — скорее из вежливости:

— Мы не повесили...

Лейтенант Габор сидел на большом камне, с травинкой в зубах, он машинально перекусывал стебель и сдувал с губ кусочки зелени. Задумавшись, он уставился перед собой, как человек, который пытается поглубже заглянуть к себе в душу. Мы разлеглись вокруг командира, как отара вокруг чабана; он же сидел не шевелясь, молчал и все покусывал травинку. Не скажу, в чем тут дело, может, и просто вольный воздух был тому причиной, но я чувствовал себя великолепно. Я лежал, свободно раскинув руки-ноги, солнышко пригревало и убаюкивало меня, я начинал уже сладко посапывать, но из-под полуопущенных ресниц поглядывал на лейтенанта. В те минуты я чувствовал: этот человек мне такой близкий, такой родной, будто старший брат. Некрасивое лицо лейтенанта сейчас казалось симпатичным, черты лица его смягчились, разгладились, и я все смотрел и смотрел на него, словно видел впервые. Должно быть, и остальные ребята испытывали то же самое чувство, потому что лица у всех подобрели, и, кажется, даже воздух вокруг сделался каким-то странным, наэлектризованным, и все мы повернулись к лейтенанту, потянулись к нему, точно почувствовали: сейчас что-то должно случиться.

Лейтенант поднял голову, обвел нас неторопливым взглядом и так же неторопливо указал вдаль.

— Видите вон то одиночное дерево? Оттуда, от тополя, не видно, что происходит здесь, по нашу сторону холма. Если действовать отсюда, то можно справа ползком подобраться вплотную к проволочным заграждениям, так что наблюдатель на тополе ничего не заметит. Смотрите! — И он указал налево.— За аллеей, на расстоянии двух километров, расположена батарея «противника». Оттуда орудия били по заграждению. Там же, на самом высоком дереве, выбрал себе позицию

их артиллерийский корректировщик, и при первом же подозрительном движении с нашей стороны он передаст на батарею: открыть огонь. А нам любой ценой необходимо сделать проход в этих проволочных заграждениях! — Взгляд лейтенанта испытующе скользнул по нашим лицам.— Нужны два самых ловких бойца! Назначаются Крижан и Шпинат — захватить взрывчатку и сделать проход в заграждениях!

Оба вызванных парня как загипнотизированные поднялись в рост, но тотчас хлестнул голос лейтенанта Габора:

— Ложись! Добираться только ползком!

На физиономии Шпината вспыхнула отчаянная решимость, лицо пошло пятнами, он неловко плюхнулся на землю и пополз, зажав под мышкой заряд, резко отталкиваясь руками и ногами. Крижан поправил очки, побледневшее лицо его нервно вздрагивало, но он тоже покорно двинулся вслед за товарищем.

Лейтенант подал нам знак рукой, и все мы тоже припали к земле. Оба парня работали на совесть, только жухлая прошлогодняя трава шуршала, когда они ползли, да еще на подковках сапог иной раз вспыхивали солнечные блики. Длиннющий заряд, покрытый желтыми чешуйками, змеился между двумя распластанными солдатскими фигурами в касках. Я перестал дышать и пристально, до боли в висках, впился в них взглядом. Лейтенант же присел на корточки; он то посматривал на обоих парней, карабкающихся вверх по склону, то цепко взглядывал на нас, и стоило кому-то из ребят приподняться, как он жестом приказывал снова залечь. Видно было, как все тело его напряглось, а лицо окаменело. Мы лежали будто завороженные, боялись даже вздохнуть полной грудью. Высоко над нами в небе парила какая-то птица, и я с колотящимся сердцем испуганно косил глазом на нее, будто бы и не птица это была, а вражеский самолет-разведчик.

Ребята тем временем подобрались вплотную к линии заграждений.

Шпинат неуклюже, выпятив зад кверху, пополз между двумя рядами колючей проволоки. Крижан подал ему заряд. Мы видели, как они по всем правилам инструкции разместили заряд поперек заграждений. Крижан достал коробок, а его напарник нырнул обратно, пролез между рядами проволоки. Теперь они возились, лежа друг подле друга. Вот очкарик взглянул на Шпината и о чем-то спросил, должно быть, не пора ли поджигать заряд. Шпинат согласно кивнул. И в напряженной тишине мы услышали сухое чирканье спички. Отсюда нам все было видно как на ладони; вот Крижан проворно отскочил назад и кинулся к заранее подготовленному укрытию. А Шпинат чего-то завозился, запальный шнур дымил и шипел вовсю, а он не двигался с места. Парень нервно суетился, застряв в проволоке, а мы все оцепенело глядели, как он дергает, пытаясь разорвать стальные путы.

И тут мы поняли, что случилось.

Когда Шпинат подползал под заграждения, ствол карабина мушкой зацепился за проволоку. Шпинат этого не заметил. И только когда стал потрескивать запаленный бикфордов шнур и Шпинат хотел было броситься прочь, в укрытие, он почувствовал, что проволока его не пускает, вцепилась в него намертво. А ремень карабина он еще раньше, перед тем как подползти к заграждениям, плотно затянул на груди, чтобы оружие прочно держалось на спине, и теперь он никак не мог скинуть этот проклятый ремень. Чем больше он двигался, пытаясь освободиться, тем больше запутывался в проволоке, и одним из таких вот резких толчков несчастный парень умудрился оттолкнуть от себя заряд, пропихнуть его дальше под проволоку и теперь уже не мог до него дотянуться, чтобы выдернуть детонатор...

Я хотел закричать, но голос пропал. Приподнявшись с земли, я подался вперед и теперь смотрел только туда, на своего товарища, на

его единоборство с неминуемой смертью; на виске у меня пульсировала жила, будто молотком колотили по голове. И лейтенанту теперь было не до нас, он тоже не отрывал взгляда от линии заграждений, глаза его готовы были выскочить из орбит, и напряженно, сдавленно, с хлещущей яростью у него вырвался крик:

— Крижан, помоги ему... Крижан!!

Но Крижан и не подумал высунуться из укрытия.

Лейтенант вскочил и захромал, подпрыгивая и припадая на искалеченную ногу. Спотыкаясь и удерживая равновесие, он какими-то немыслимыми скачками кинулся вверх по холму. До взрыва оставались, должно быть, считанные секунды, и у кого-то из нас вырвался испуганный вопль:

— Товарищ лейтенант, не надо!

Но лейтенант Габор уже ковылял по вершине холма. Этот его бег — неуклюжие подпрыгивания хромого человека — со стороны мог показаться смешным, но мы все оцепенели; с мгновенно взмокшими спинами и дрожащими губами мы застыли, не отрывая от него глаз.

Лейтенант Габор уже почти добрался до солдата, как вдруг упал на колени. «Конец!» — резанула мысль, но тут лейтенант последним усилием оторвал свое тело от земли, бросился на Шпината, рванул его из стальных колючек, притиснул к земле.

В это мгновение полыхнул взрыв.

Взрывной волной нас повалило с колен и прижало к земле. Камни и бревна взметнулись к небу, куски проволоки просвистели над головами... Но мы под градом летящих на нас камней разом вскочили на ноги и кинулись к месту взрыва.

Шпинат лежал, боясь шевельнуться, лицо его было заляпано грязью, веки испуганно вздрагивали. Он был цел и невредим: лейтенант Габор прикрыл солдата собственным телом. Однако пока мы до них добежали, лейтенант сполз на землю и теперь ощупывал свою окровавленную ногу.

— Товарищ лейтенант!..

— Ничего страшного,— процедил он сквозь зубы.— Дайте кто-нибудь брючный ремень! — Лицо его исказилось.

— А с ногой у вас что, товарищ лейтенант?!

— Э-э, на правую я и раньше хромал... Дайте же, наконец, ремень!

Лейтенант перетянул себе бедро. Мы подхватили его под мышки и, осторожно ступая, начали спускаться вниз с холма.

— Кто-нибудь пусть бежит вперед, надо предупредить врача! — приказал лейтенант и добавил: — Похоже, меня разделало под орех...

Весь он был в грязи и копоти. Он попросил меня отереть лицо.

— Теперь сами видите — в нашем деле нельзя поддаваться страху... Беда случается, если только струсишь... И потеряешь голову... Навсегда запомните этот закон, ведь я не вечно буду рядом с вами!

К тому времени, как его выписали из госпиталя, мы уже сдали экзамены. Больше нам так и не представилось случая встретиться со своим лейтенантом... Год спустя, когда меня направили на те же курсы обучать новобранцев, я надеялся, что снова увижу лейтенанта Габора. Но не застал его там. И теперь я сам твержу новичкам, когда подмечаю в глазах у них вспышку страха:

— В нашем деле нельзя терять голову! Помните, что беда случается, только если струсишь!

Перевод Т. ВОРОНКИНОЙ

■

Р. А. Д. ФОРД

Перевод с английского ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА

О канадской литературе мы знаем пока не так уж много. В памяти читателя оживут, пожалуй, имена классиков Э. Сетона-Томпсона и Стивена Ликока, нескольких современных прозаиков и поэтов.

На Западе распространен взгляд, согласно которому самостоятельность канадской культуры достаточно условна: слишком ощутимо воздействие культуры американских соседей, слишком тесны связи с художественными традициями Англии и Франции. Это верно только отчасти. За несомненной близостью не должна исчезать специфичность, за чертами сходства — черты различия, национального своеобразия, присущего канадскому искусству. Такие черты, наверное, подметит читатель и в поэзии Роберта Артура Дугласа Форда, с которой ему предстоит познакомиться.

Форд начал писать еще во время войны; печатал стихи в канадских, американских и английских журналах, но издал всего две книжки стихов: «Окно на север» (1956) и «Одинокий город» (1969); из второго сборника и взяты публикуемые стихотворения. Композиционное и стилистическое единство, строгость формы, чистота языка, точность художественных решений — все эти черты, присущие поэзии Форда, появились не вдруг и не сразу: сказывается высокая требовательность поэта к себе.

Сказывается и его большой опыт переводчика. Форд представил канадским читателям мастеров очень разных по мироощущению и по творческому складу: югославов Весну Парун, Оскара Давичо, француза Жака Превера, бразильца Мануэля Бандейру. Свободно владея и русским языком, он много переводил советских поэтов: Маяковского и Есенина, Ахматову и Пастернака, Кирсанова и Вознесенского... В сборнике «Одинокий город» переводы с русского составили особый раздел.

Поэзии Р. А. Д. Форда присущи высокая филологическая культура, отточенное стиховое мастерство. Как правило, Форд избегает верлибра, предпочитая белый стих, перемежающийся рифмованным, когда необходима поэтическая кульминация. На фоне сегодняшней англоязычной поэзии Форд — скорее традиционалист, не чуждый архаизации. Поэт не стремится к подчеркнуто современному поэтическому языку и подобно Роберту Фросту избрал для себя «старый способ быть новым», заключающийся в умении наполнять подлинным драматизмом и подлинно актуальным содержанием самые распространенные формы пейзажной, философской и любовной лирики.

С Фростом — автором «Нью-Гэмпшира» и «Просвета в горах» — у канадского поэта общность глубокая. Стихи Форда отмечены ощущением распавшейся связи между человеком и миром естественной, здоровой жизни; в них выражено стремление восстановить этот контакт. Духовное одиночество осознается как судьба, с которой необходимо и неизбежно конечное примирение — философское примирение, отнюдь не означающее пассивности, капитуляции перед жестокостью мира.

Вглядываясь в подробности обыденной жизни, поэт открывает в ней красоту и драматичность. Подчас, как в «Беглецах» и «Долине Красной реки»,— социальный трагизм. Еще чаще — ставшее привычным и незамечаемым горе униженных, боль тех,

«кто хром, безног, увечен», кто без цели и надежды скитается по улицам одиноких городов. Но — и любовь, пусть и пришедшую слишком поздно, чтобы предотвратить несчастье («Землетрясение»). Но — и неиссякаемое стремление к истине и познанию («Всеохватывающий взгляд»).

Стихи Форда — это лирический дневник много скитавшегося по свету и много пережившего человека, которого постоянно влечет к дому, к детству, к родным пейзажам и неброской северной красоте его родины. Они традиционны, однако это не имитация традиции, а ее наследование — органичное и глубокое. В них раскрывается незаурядная личность, в них чувствуется время и страна. В них есть цельность мироощущения, творческой позиции и художественного видения, а такая цельность — гарант Поэзии.

А. ЗВЕРЕВ

Древо вечера

Тьма без теней. Полей
Вечерняя молитва,
Сосущая дурман
Из повседневных ран.

Гниенья аромат
Молитве не развеять,
Запущенно болят
Живые язвы жизни.

Неведомых зверей
Беспутица следов,
Тела ли без сердец
Иль души без голов.

Немое древо тьмы,
Простертое в полях,
В редеющих ветвях
Звук песни похоронной.

И ты дрожишь, и я,
И стынут наши души,
Молясь перед приходом
Бессилия и стужи.

Землетрясение

Пылает время. Ветер с гор
Сух, как язык больной собаки.
Глаза рыбацких жен черны,
Запавшие в их темных лицах,
И дети вооружены.

Ничто на нервной мостовой
Не предостережет: жестокость
Безумная в тенях нависших
Или бесстыдная в лугах,
Где давят кактусы погибших.

Ничто, кроме любви — она
Бежит предупредить, что вскоре
Жилища рухнут, погребя
Оставшихся, и воды моря,
Вскипая, выйдут из себя.

Удар был небольшим, погибших
Немного, память коротка. Но не
О женщине, в огне, в крови
Бегущей с вестью запоздалой
И со свидетельством любви.

Дом в тропиках

За шторой проступает солнце
Пустынны улицы в окне
Уходит парус остается
Что сказано наедине

Рассвет дорогу размыкая
Все сводит на одной волне
На крик похожа синь морская
Ковчег любви отчалил вновь

Ковчег любви отчалил вновь
И время стиснуто и голо
День атакует нас извне
Как дождь из времени другого

Как дождь холодный за окном
Из полушария другого
И мысли бьются об ином
У рубежа берегового

Беженцы

Темны у этих беженцев глаза,
Как за намордниками окна лавок.
Они толпятся у тенистых стен,
И если луч случайный их коснется,
Так неприкаянно они глядят,
Как будто вытолкнуты в центр мира.

Это индейцы из высоких Анд,
Бегущие от ужаса какой-то
Войны гражданской. И невзгод у них
Как у других, но более известных,
И та же пропасть между нами, и
Надежды, похороненные в лицах.

Долина Красной реки

Вода вода кругом
Размыло берега
Снесло мешки с песком
И хлынула река
На пашни на луга
Где талые снега
Огромный водоем
Восходит в облака
И падает дождем
Как страшная рука

И дождь и смрад зараз
Я до костей промок
Я в месиве увяз
И слышу из-под ног
Дух преисподней газ
Броженья и гнилья
А там где мчит поток
Как тень плывет ладья
Труп лошади каркас
Уничтожения

Воспоминание

Вода замерзла. Перед тем,
Как снегу выпасть, отражался
Дрожащий свет в глазах пловцов.
Но те, кто плавал, были слепы
От жадного сердцебиенья.

В бассейне том же самом, летом,
Те же пловцы и с той же кровью
Клокочущей кружились жадно
В галопе счастья.

То место, где мы появились
Когда-то, неотступно с нами
Во мраке наших сновидений,
И луч надежды посылает
Слепым пловцам.

И, льдом покрытый, непрозрачный,
Бассейн сужает вены спящим.
Лишь слабое биенье пульса
Являет разделенный мир.

Вот одинокий город

Кто хром, безног, увечен,
Тем в тягость свет
Любви, костыль в пространстве,
Им упираться нечем.

И без надежд, без цели —
Им дела нет
До всех — стоят и медлят
В раздумье на панели.

Quomodo... sola civitas[1],

Прах нежности ущербный
С себя смахнут
И в город одинокий
Опять бредут.

И опускают шторы
На одинокий город.

Тщета всего

Это небо четкое пустое
Леденящее И мы идем
Городом и за город выходим
Кутаясь в самих себя

Это небо страшно голубое
Расколоться может каждый миг
Но и колокола голос глохнет
В холоде таком

Явно ощутим конец внезапный
В воздухе лишенное любви
Некое слияние бросает
Черный след на снег

И желанья наши неслиянны
Одиноки следа не найти
Друг на друге угасают в мыслях
О тщете всего

Всеохватывающий взгляд

Я пробужден готическим рассветом
С напрасным девятнадцатого века
Остроугольным очертаньем сосен
На фоне тех небес что нам сулят

[1] Каким образом... одинокий город *(лат.)*.

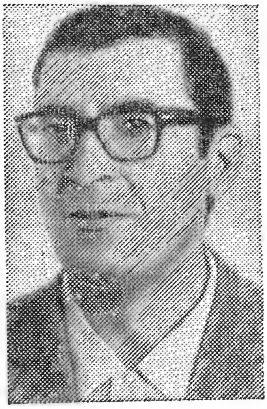
Двадцатитысячную без пяти
Декад эпоху Христианства или
Немногим более в которой мы
Имеем быть или верней на чьей
Поверхности живем то есть на ней

Так иль иначе я смотрю на свет
Зима континентальна небо прерий
Чьи облака разорваны как строй
Декабрьских нищих и в застывших позах
Страданья сосны с выщербом бойниц
Застигнуты Застигнутые сосны
Стоят Опять ты спросишь сколько можно
Постичь вместить в один-единый взгляд?
И сколько здесь любви и смерти будет?
Быть может снег как бельма на глазах
И образы стеклянных этих лет?
Или опять пейзаж окинуть взглядом
И конусы мерцающие сосен
И отсвет фонарей как он морозен

На фоне солнца снег и на снегу
Дрожащая крадущаяся кошка
За воробьем-оборвышем туманный
Взгляд познающий? Искаженный? Нет
Пожалуй более способный к правде
Приблизиться чем вспышка правды перед
Глазами И внезапный спуск к земле

И мир спрессованный в одно-два слова
Сухой и всеохватывающий
Как истина которую он ищет

■



ДЖУЗЕППЕ Д'АГАТА

Четверо повешенных на пьяцца дель Пополо

ПОВЕСТЬ

Перевод с итальянского Ю. ДОБРОВОЛЬСКОЙ

Включенные в эту книгу корреспонденции в течение марта — июля 1972 года еженедельно публиковались в журнале «Аут».

Посетите Италию и ее горилл

Слишком уж далеко тащиться, черт подери! Ваш старый добрый Джо ведь не посылка, это посылке наплевать на широты и часовые пояса. Не будь Джо у вас на службе, на службе у миллионов читателей, знаете, где бы он сейчас был? Не знаете? То-то...

Начнем с того, что говорить я вам буду правду, только правду и ничего кроме правды от начала и до конца,— такова первая заповедь специального корреспондента, человека, который мотается по свету, чтобы информировать тех, кто сидит дома, о том, что вытворяют в разных местах земного шара им подобные. Мне скажут: но это не событие, не новость, это дело совести всякого газетчика, вопрос корреспондентского ремесла! А я, дорогие мои читатели, отвечу вам на это, что вы вправе знать все, и прежде всего, кто и каким именно образом готовит бумажное варево, которое вы с такой жадностью поглощаете.

Вы говорите: событие. Я мог бы наплести вам целую историю: скажем, как после одного-единственного стакана виски уломал двух робких бандитов не угонять самолет, а вместо этого пожить в свое удовольствие в Риме. Но если уж для заполнения газетных полос надо непременно врать (все специальные корреспонденты врут), я предпочитаю загнуть что-нибудь позабористее.

Разумеется, не мне, писателю, специализирующемуся на сочинении романов, учить вас, что такое современная журналистика, объяснять, у кого есть настоящая мужская хватка и у кого ее нет. (Нечего хихикать, дорогая читательница, нам с тобой доподлинно известно: чтение, особенно чтение газеты,— занятие сугубо индивидуальное и потому бесстыдное, воспламеняющее воображение и кое-что еще.)

Положим, что это так. Но не кажется ли вам традиционный спор между журналистами, сообщающими голые факты, и журналистами, эти факты истолковывающими, догматичным и детски-наивным? По-

верьте мне, подлинная журналистика — это прежде всего приключение; даже самая банальная информация по разделу хроники текущих событий есть приключение, в которое непременно должен быть втянут и тот, кто его описывает, и тот, кто читает.

Речь идет скорее о границах правды... Погодите, дайте мне договорить. Неужели вы могли подумать, что старик Джо за ограничение истины?! Ни в коем случае. Но важно решить, сообщать или не сообщать больному, насколько серьезна его болезнь. А в том, что вы больны, дурачки вы мои миленькие, нет сомнения. Тяжелым недугом подточена вся система ценностей, которыми вы оперируете; стало быть, вам надо точно знать, как и почему наступит конец. Но мы еще об этом с вами поговорим, а пока расскажу, что со мной стряслось вчера.

Основной философский закон, управляющий человеческим общежитием, таков: когда тот, кто тобой командует, то есть твой начальник, отдает тебе приказ, это равносильно удару в лоб, которого тебе не избежать; самое большее, на что ты можешь рассчитывать,— если, конечно, крепко держишься на ногах,— это принять удар и постараться устоять. Так вот, мой начальник — литературный агент — вчера мне заявляет, что Гэллап моего успеха как прозаика, народника и моралиста угрожающе падает, что дерьмо, которое я сочиняю (надеюсь, вы понимаете, что с его стороны это просто дружеская «façon de parler»[1]), плавает на поверхности целого озера глупости,— короче говоря, что мои романы для нынешних читателей — не знаю, какого рожна им еще надо! — слишком легковесны.

Тем не менее, как ни верти, а старик Джо пишет хорошо, вы сами можете это засвидетельствовать, даже наша вшивая критика на сей счет единодушна. Но, видимо, этого уже мало. Невольно вспоминаются писательницы, которые, идя навстречу возросшим требованиям читателей, вкладывают в каждый экземпляр своей книги взращенный на собственном теле, нотариально заверенный волосок.

По словам моего литературного агента, мне позарез нужна сенсация; только с помощью какой-нибудь сенсационной шумихи я могу опять всплыть на поверхность, иметь успех, снова войти в оборот.

Начал он издалека — с рассуждения о том, не слишком ли я разленился; выпивка и кресло — очень уж ограничен этот мирок, писательское вдохновение рискует в нем зачахнуть. Я говорю: давай, давай, не бойся, бей прямо в подбородок! Джо считает, что критика сверху действует оздоровляюще; схлопотать по зубам — испытание для протеза, но в то же время проясняет мысли и даже способствует появлению новых... Давай выкладывай, дружище, все начистоту!

И тогда он сказал, что решил запродать меня одному газетному тресту в качестве корреспондента. Имя у меня есть, оно будет работать, а сама операция поможет стряхнуть пыль с моих книг, залежавшихся на издательских складах.

Я — на дыбы: как так, я же всю жизнь гнушался журналистики, а если и писал для газет эссе или очерки о проблемах морали и нравственности, то помещали их всегда особняком, строго отделяя от обычной газетной белиберды, пошлятины и тривиальной статистики — того, что именуется информацией. Моя проза неизмеримо выше всего этого. Максимум, на что я могу согласиться, это продать газетам серию фотографий, где я снят в разных позах голый. Или же... Но тут я заткнулся, потому что мой литературный агент, оказывается, уже подписал за меня контракт: чек у него в кармане. Можете себе представить, друзья читатели, мое состояние.

---

[1] Манера речи *(франц.)*.

Первое, что мне пришло в голову, это что я могу настрочить несколько корреспонденций о ловле семги: насчет охоты и рыбной ловли мне пальца в рот не клади. Но, по-видимому, настоящий спецкор лишь тот, кто пишет о войнах, партизанском движении и революциях. Плохо, что я, так же как и вы, всю жизнь считал политику грязным делом, плевал на нее с высокого дерева; для меня хуже нет копаться в этой помойке.

— А ты пиши правду, Джо,— сказал мне в аэропорту мой агент,— пиши подлую правду, и дело с концом!

Старуха Мэри остановила свой выбор на Италии. Откровенно говоря, выбор был богатый: войн, партизанских движений, революций, восстаний на карте мира хоть отбавляй. Италию Мэри выбрала потому, что там, кажется, заварилась какая-то каша; к тому же девчонка давно мечтает побывать в стране «третьего мира». (Боюсь, не думает ли она, что Италия расположена где-нибудь в Латинской Америке или на Ближнем Востоке, а не в дряхлой, загаженной Европе.)

Что касается меня, то в Италии я, можно сказать, как дома. Помню, однажды за полночь, в Барселоне, мы с одной блондинкой... Нет, лучше я вам расскажу насчет барселонской блондинки в другой раз, когда не о чем будет писать. Жаль, что эта история не имеет отношения к делу.

Покуда я сижу и читаю все, что положено знать об Италии,— самая длинная река, самая высокая гора и тому подобное,— я пытаюсь сам себе ответить на вопрос, что же все-таки значит писать правду; задача эта не из простых, и я хотел бы на минутку задержать на ней ваше любезное внимание. Учтите, что Джо, как вы уже знаете,— писатель-прозаик, привыкший говорить почти исключительно о себе, придавать должное значение тому, как он пьет, ест, дерется, совокупляется.

Вот вам пример... Мэри спит, я же в самолете спать не могу — встаю, чтобы размяться, походить, благо самолет почти пустой, а немногочисленные пассажиры впали в своего рода зимнюю спячку — все, кроме меня и, как я вскоре обнаружил, одной альбиноски.

Я подхожу со стаканом виски в руке, представляюсь и занимаю место, на котором только что лежали альбиноскины ноги; она их убрала, но не прикрыла. Оказалось, что она читала одну из моих книг.

— Котик, ты в Италию? — тихонько спросила она.

Ей самой надо в Анкару — судя по всему, выступать в ревю.

Альбиноска попивает виски; тряхнув головой, она с улыбкой объясняет, что охотно со мной побеседует: не каждый день попадается под руку писатель. Я устраиваюсь поудобнее и... Тут я ставлю многоточие, так как еще не совсем уяснил себе социальный облик моих читателей. Альбиноска — большой знаток своего дела, можете мне поверить; одновременно она сообщает мне точный адрес, где в Анкаре можно приобрести изумительные ковры.

Привет, альбиносочка! Хочу надеяться, что, если мне все же доведется попасть в Анкару, мы с тобой непременно встретимся — вернее всего, в каком-нибудь маленьком баре; я бы махнул за тобой и сейчас, но не могу: читатели с нетерпением ждут моих статей.

Подобные вещи, наверное, случались и с вами, и рассказал я это вам вовсе не как из ряда вон выходящий случай, а лишь для того, чтобы наглядно показать, что именно я понимаю под журналистской правдой. Согласитесь: ведь то, что ваш Джо пропускает через себя на пути к правде,— это тоже правда? Я считаю, что да.

С Мэри в данном случае никаких проблем. Она вообще-то не в восторге от моих сочинений: с ее точки зрения, я давно исписался, но

перед отъездом мы с ней твердо договорились, что я целиком принадлежу моим читателям. Другими словами, против альбиноски, независимо от того, было у меня с ней что-нибудь или нет,— никаких возражений. Мэри выше этого, она никогда бы не стала влезать тебе в печенку — ущемлять право писателя на самовыражение. Когда-нибудь, когда представится случай или потребуется для дела, я вам опишу ее достоинства. Мэри — молодая женщина, типичная для моей страны, а потому выше всяких похвал,— можете смело на нее положиться. Но в данный момент я предпочитаю поставить другой вопрос: следует ли начисто отделять писателя от журналиста, и если да, то когда и где эта мучительная операция должна произойти.

Друзья мои, сдается мне, что нам положено выражаться загадками, витиевато и двусмысленно. Одно могу вам сказать: это нехорошо, потому что не отвечает нашему традиционному здравому образу мыслей.

Итак, насколько я понял, Италия — это республика, где есть президент, правительство, палата депутатов и сенат. Как все эти институты между собой соотносятся,— иначе говоря, у кого власть,— хрен их знает, не поймешь. Вот ведь до чего они тут, в Европе, докатились — одно слово: бедлам. И все из-за своей маниакальной приверженности к политическим теориям; политика — это, по их мнению, искусство. Делают вид, будто забыли азбучную истину, известную даже малым детям: что первейшая и реальная власть — это власть экономическая; общество заинтересовано в том, чтобы она находилась в руках людей способных и честных, а не бесчестных, даже если они способные; мы все должны этому содействовать, не поддаваться на разные европейские штучки, не кидаться на подарочки, которые Европа нам все время подкидывала, начиная от Макиавелли и кончая Марксом.

И еще: в Италии слишком много партий. Иные из них были созданы специально для того, чтобы под предлогом каких-то эфемерных различий завлекать в свои предвыборные сети простофиль.

Но этого им показалось мало, добавились так называемые «внепарламентские группы», то есть такие, которые поставили себя вне, точнее, против существующих установлений, а еще точнее — вне закона. Придуманы они для того, чтобы вызывать глубочайшее возмущение добропорядочной буржуазии, которую именуют правой, так как она производит материальные ценности, трудится и стоит за порядок; чтобы вызывать возмущение наиболее здоровой и, следовательно, преобладающей части государственных служащих, армии, полиции — точнее, всех ее разновидностей — и, наконец, духовенства. В последнее время активизировались профсоюзы: задумали играть такую же роль, как предприниматели. Все хотят заниматься политикой. Студенты — и те, вместо того чтобы увлекаться спортом, ударились в политику. Понятно? Мало им профессиональных политиканов, у них еще шуруют неопытные люди, дилетанты!

Теперь разберемся, какие произошли перемены.

— В этой стране ни хрена не поймешь! — заявил культурный атташе нашего посольства, приехавший встретить меня в аэропорт Фьюмичино.— Но ты, Джо, не расстраивайся. Продержишься на местном колорите, а в остальное время можешь загорать.

Он невозмутимо спокоен и вызывает доверие — еще бы: в каких только странах он не работал. Не случайно его первые слова совпали с классической формулой, с которой обычно начинаются все секретные донесения наших дипломатов: «В этой стране ни хрена не поймешь». И говорят они, к сожалению, чистую правду.

— Но прошел слух, что тут в самом разгаре революция! Если это так, то какого дьявола бездействуют наши, чего они смотрят?! — взволнованно спросила старуха Мэри.

Прежде чем привести ответ атташе — тем более что ответил он ерунду,— я прошу читателя по достоинству оценить язык вашего Джо — не какой-нибудь чистоплюйский, а реалистический, выразительный, каким и положено быть языку журналиста нового типа.

Культурный атташе ответил, что его задача — смотреть в оба, но ему совершенно ясно: никого, даже НАТО, пока тревожить нет смысла.

Определив таким образом место этой проклятой революции в международном разрезе, я считаю своим долгом прежде всего заверить вас, дорогие читатели, что Италия — это не Вьетнам.

Присмотримся поближе к тому, что тут происходит.

Уже вечер. В залах аэропорта масса народа: туристы, люди, отправляющиеся на отдых, воры-карманники, несколько военных; изредка попадаются полицейские. Но я уверен, что больше всех здесь именно полицейских в штатском. В среднем из шести итальянцев один, прямо или косвенно, служит в полиции. Занимаются этим все, начиная от приходских священников, включая почти всю сферу обслуживания, и кончая дворниками.

Я прохожу как VIP [1], но других журналистов, я уверен, здесь не пропускают: задерживают, обыскивают, бесцеремонно гонят в шею.

Покуда мы дожидаемся своих чемоданов — получение багажа взял на себя атташе, он себя ведет в аэропорту по-хозяйски,— я мысленно прикидываю, как бы поэффектнее озаглавить свою первую корреспонденцию. «На подступах к революции» — неплохо, а? В этот момент Мэри крикнула:

— Смотри, смотри, ведут заключенных! — И показала мне на сотню людей, которые брели по взлетной дорожке под конвоем взвода полицейских. Я было хотел кинуться вслед за ними, а Мэри бы следовало их сфотографировать, но тут, как на грех, привезли багаж.

Атташе объяснил:

— Это футболисты. Возвращаются после матча.

Я-то уверен, что это политические заключенные. А посему, друзья,— внимание! Версиям дипломатов, особенно отечественных, доверять нельзя хотя бы потому, что им важнее всего уберечь вас от неприятностей. Впрочем, есть еще одна причина, объясняющая такое благодушие: ведь Италия — наша колония.

Мы садимся в машину, на номере буквы ДК [2]. Стоит тропическая жара. Мэри — ее прогноз погоды подкачал — раздевается почти догола; впрочем, она всегда это делает с охотой.

На первый взгляд в городе все нормально: никаких застав, Рим не объят пламенем, выстрелов не слышно, даже не объявлен комендантский час. Реальность всегда пресна, читатель, даю слово романиста, можешь своему старому Джо поверить! Хорошо еще, что помимо реальности видимой есть реальность скрытая, та, которую я обязан познать.

На пьяцца дель Пополо промелькнули четверо повешенных. А может, мне только померещилось. Наш сопровождающий очень уж спешил доставить нас в гостиницу. Вполне понятно: люди устали с дороги.

---

[1] Very Important Person — особо важное лицо *(англ.)*.

[2] Дипломатический корпус.

Политика? Это как гланды

Есть о чем поговорить, друзья... Вы только послушайте!

Я оставил Мэри среди столиков, у входа в гостиницу. Подруга моя слегка ошарашена, но упрямо твердит свое: не может быть, чтобы все магазины были закрыты, такая уйма туристов, уж сувенирами-то наверняка торгуют... Святая простота! Моя Мэри никак не может сообразить, что мы находимся в стране, переживающей грандиозную политическую ломку.

«За работу, Джо!» — говорю я себе и окунаюсь в уличное движение на виа Венето, вернее, в поток истории, в гущу революции, которая, насколько я понимаю, возвращает человеческий облик стране, некогда называвшейся «бель паэзе» — прекрасной Италией.

А теперь, дорогие читатели, хорошенько запомните, что вам скажет ваш старый, верный Джо, который бросил ради вас свой рабочий стол с видом на море и на поросшую вереском пустошь, расстался со своей электрической пишущей машинкой (именно из-под ее клавиш выходили потрясающие, столь высоко вами ценимые за язык и стиль очерки) и засучив рукава принялся за грубое и опасное ремесло спецкора в стране, охваченной революцией.

Так вот, Джо со всей присущей ему прямотой заявляет вам: вы вправе знать все, как оно есть, знать правду-матку. Разве не за это вы платите деньги, когда покупаете газету, поддерживаете ее с помощью свободной рекламы?! Вы же не какие-нибудь дикари, вы не потерпите, чтобы предназначенную вам информацию кромсали и препарировали; вам нужен человек, который пользовался бы вашим доверием. И Джо чувствует себя как раз таким человеком, потому он и согласился впервые в жизни ступить на землю Италии.

На мне костюм из светлой чесучи. Вид что надо, но для нынешнего лета в Риме не самый идеальный. (Уместнее было бы запастись шахтерской каской.) Статистическими данными, кажется, доказано, что революции происходят, как правило, в летнее время. Впрочем, было одно существенное исключение.

Автомобили здесь небольшие, только малолитражки; это сразу создает ощущение демократичности нравов. Но общий уровень ниже нашего: наш средний автомобиль значительно крупнее. Прошу обратить внимание: я говорю о демократии в бытовом, а не в политическом значении слова, хотя именно она, политическая демократия, и лежит в основе происходящего переворота. Тут кое-что было бы полезно перенять и нам; не помешало бы, хотя общеизвестно, что революции — товар не экспортируемый.

На центральных улицах все выглядит нормально. Как всегда в этой стране, встречается много людей в форме. Автомобиль, как всегда, можно ставить где вздумается; дело в том, что торговцы, которые принадлежат к категории самых рьяных революционеров, добились отмены обязательных стоянок: хотят приохотить автомобилистов останавливаться прямо возле магазинов, делать больше покупок.

Ах ты, черт возьми, моя старуха Мэри была права: магазины действительно открыты. Фантастика! Эта революция просто чудо, клянусь, ребята.

Вы наверняка усекли, что я имею в виду. Нет? Ладно, Джо вам растолкует, для того его сюда и послали.

Если революция влечет за собой лишения, неудобства и другие неприятности, то население пугается, досадует и выступает против. Ясно? Если же ты все делаешь как надо, уважаешь мнение молчаливого и, следовательно, благонамеренного большинства, блокируешь

цену на бензин, обеспечиваешь снабжение рынков продовольствием, римских баров — рогаликами и кофе с молоком, а главное, сдерживаешь рост цен на приемлемом уровне,— например, путем замораживания заработной платы (но не жалованья государственным служащим), словом, если ты контролируешь стоимость жизни средних слоев, ты в полном порядке, за тобой пойдут и легко позволят тебе произвести расчистку загаженной политической арены. Более того, тебе еще охотно помогут.

Очевидно, за последние годы Италия каким-то образом стала наглядным и устрашающим примером того, что получается, если предаваться такому гнусному — хуже наркомании! — пороку, как политика. Сами посудите: профсоюзы, все, кроме одного правого, единственного, похожего на наши, не только не пожелали встать на сторону предпринимателей, не только считают себя вправе вмешиваться в трудовые конфликты, но добиваются политической власти и даже требуют реформ. Нынче, насколько я могу судить, их поставили на место, и в мире труда снова восстановлено равновесие: с одной стороны — хозяин, с другой — трудящийся, на равных, как мужчина с мужчиной.

Так называемый «человек с улицы» — тот, настоящий, что держится в стороне от партий и не позволяет политиканам морочить себе голову,— откровенно признает, что ему осточертела демократия старого типа, сиречь «партикратия», то есть власть партий, чуждая самой природе римского мира и особенно чуждая истинно итальянскому миру — южной Италии. Человек с улицы, будь то мужчина или женщина,— за социальный мир, за прекращение конфликтов, которые при всеобщем противоестественном попустительстве грозили перекинуться с предприятий и учебных заведений на семью и расколоть по горизонтали все существующие установления; человек с улицы — за восстановление авторитета государства, за соблюдение законов. Наконец, больше всего и прежде всего он любит, выехав туристом за границу, хвастаться тем, что он итальянец. Можем ли мы поставить ему в упрек эти желания или счесть их чрезмерными, при том, что нас-то с вами озолоти — мы бы итальянцами быть не согласились.

Вот почему человек с улицы — за революцию. Впрочем, за такой реставрационный, благодатный переворот ратовали бы даже вы, мои прилежные читатели. Наши бюро путешествий должны были бы устраивать экскурсионные поездки по здешним местам, с развлекательными и познавательными целями,— это куда полезнее, чем ездить в Испанию.

Мне говорят, что директивные центры революции так многочисленны и так весомы, что для добросовестного выполнения обязанностей спецкору пришлось бы разорваться пополам, расчленяться на четыре части, размножиться; к сожалению, старик Джо один, и он останется в целости и сохранности, по крайней мере покуда будет воздерживаться от виски.

Дворец, некогда принадлежавший римскому патрицию, дремлет на солнце, и тем не менее в нем есть что-то от петроградского Смольного. Попробуйте представить себе его во власти смуглых революционных бойцов: всюду, на лестницах и в залах, кипит жизнь, стучат подбитые гвоздями башмаки, бесшумно ступают теннисные туфли — ведь сейчас лето.

Вот услышанный на ходу краткий разговор двух унтеров:

— После революции моим людям не захочется снова мыкаться без работы. Хотел бы я посмотреть, у кого хватит смелости отнять у них автоматы!

— Но никто им постоянной занятости и не обещал. Ревслюция не ремесло, друг мой.

— Знаю, но они уже привыкли кое-что зарабатывать.

— Выход может быть только один: перманентная революция.

Меня подмывало остановиться и объяснить: революции нужны идеи, фантазия, воображение, поэтому делать ее надо было бы нам, писателям, недаром «культурную революцию» придумал поэт, хоть и китайский. Как бы там ни было, теперь я знаю, что́ мне надо спросить во время предстоящей аудиенции: что значит управлять революцией? Неплохо, да?

Руководитель принимает меня в своем рабочем кабинете. Вместо военной формы на нем кашемировый свитер. Сразу замечу: одна из характерных черт этих революционеров — нарочитая раскованность, антиконформизм. Обращаются они друг к другу на «ты», чинами и званиями не кичатся. Если применить общепринятую мерку, которая здесь не в ходу, я бы сказал, что это правые, желающие выглядеть левыми. То, что следовало бы называть реставрацией, они выдают за революцию,— как ни странно, своей терминологии у них нет.

Руководитель, в прошлом технократ, внушает уважение; он не здешний, не римлянин.

Ответил он мне, не дожидаясь моего вопроса:

— Всякая революция требует расходов. Велика она или мала, надо располагать денежными фондами. Революция, особенно если это революция современная, то есть начинание, которое нельзя пустить на самотек — элемент случайности, импровизации, стихийности тут недопустим,— предполагает тщательную предварительную подготовку, иными словами, детально разработанный технический и финансовый проект.

Отказавшись назвать мне, во сколько обойдется нынешняя революция, он продолжал:

— Буржуазная революция, то есть решительное вмешательство в ход истории, ставящее своей главной целью охрану частной собственности и обеспечение прибылей — основы основ экономики Запада, с грабежом, воровством, бандитизмом несовместима. Это был бы нонсенс: пришлось бы грабить жилища рабочих или экспроприировать батраков — не знаю, доходит ли до вас моя мысль. Наша революция побеждает благодаря тому, что протекает в условиях сохранения существующего строя и добивается торжества новой, просвещенной и высококачественной демократии.

Прежнюю демократию, делавшую ставку на количество, мы критикуем справа за то, что при голосовании она создала нелепую уравниловку между силами и группами, не равными по их роли, значению и заслугам. Вы поспеваете за ходом моего рассуждения? Нет? Подумайте: разве мог хозяин, располагающий всего одним голосом, противостоять голосам с обратным знаком, поданным его подчиненными?

Какое же это равенство, черт возьми?! Буржуазии приходилось поступаться значительной частью своего капитала, своих ресурсов, чтобы иметь возможность манипулировать сознанием. К каким только средствам она не прибегала! Тут и бесчисленные мероприятия, направленные на то, чтобы обеспечить себе поддержку так называемой «клиентуры», и увеличение разрыва в оплате, и шантаж занятостью — иначе говоря, угроза увольнений и искусное перетягивание кое-кого на свою сторону.

И все это ради того, чтобы заручиться голосами нескольких миллионов дураков!

У вас, в вашей великой стране, дело поставлено правильно: зачем голосовать всем? Голосует только тот, кто записался заранее.

Именем читателей, которых я представляю, людей, в политике не разбирающихся, я прошу этот разговор прекратить и цитирую мнение одного знаменитого директора газеты, согласно которому великий журналист — тот, который стоит на уровне самого отсталого, а не передового своего читателя.

— Правильно. Значит, революция — это не только глубинный толчок к обновлению, не только test [1], которому нас подвергает история, но и задача управленческая: банковские счета, векселя... да, да, и векселя! В истории революций эти вещи не фигурируют, можно подумать, что революционеры питаются воздухом и песнями. В действительности каждый участник нам обходится свыше десяти тысяч лир в день: его надо прокормить, выдать ему жалованье, пособие, отдать ему его долю. Хорошо еще, что нам ничего не стоят солдаты. Наконец, планирование расходов дает нам то преимущество, что революция не продлится больше, чем это необходимо.

На площади Навона — она теперь уже не пешеходный островок, как раньше,— духовой оркестр из воспитанников военного училища исполняет допотопные (не иначе как времен Траяна [2]) военные марши. Люди с улицы, безбородые, коротко остриженные, лакомятся мороженым и слушают музыку, контрапунктом которой служит привычная перекличка автомобильных гудков.

Ага, четверо повешенных, которых я мельком видел вчера вечером по дороге из Фьюмичино, все еще висят на пьяцца дель Пополо. Может быть, это просто куклы, пластмассовая реклама?.. И все-таки это не имитация, а настоящие рабочие.

Сейчас я вам объясню, как было дело,— чтобы лучше понять сущность и внешние проявления этой революции, стоит послушать. Представьте себе завод с четырьмя сотнями рабочих; предприниматель захотел свое предприятие перестроить и довести число рабочих до ста; тогда рабочие решают завод занять (?), как будто он их собственность. Что оставалось делать бедняге предпринимателю? Он связался по телефону с революционной милицией, та вмешалась; но вместо того, чтобы прибегнуть к грубому насилию надо всеми без разбора, ограничилась тем, что путем жеребьевки из четырехсот имен отобрала четыре. (Понятно? Всего по одному из ста.) Эти четверо были арестованы и повешены — но не на месте преступления, а здесь, на пьяцца дель Пополо, дабы казнь послужила одновременно рекламным целям: действительно, на комбинезонах, в которые одеты четверо повешенных, крупными буквами значится название предприятия.

Таким образом, напряжение, создавшееся на одном из заводов, удалось снять, и притом не прибегая к крайностям; можно поручиться, что революционное движение экстремистского толка не колеблясь прикончило бы поголовно всех взбунтовавшихся рабочих, так беспардонно противопоставивших себя закону.

О революциях следует судить по их стилю — так считает ваш Джо.

В Трастевере царит порядок

Старуха Мэри отколола очередной номер — какой именно, неизвестно, так как этой ночью она в гостинице не ночевала и до сих пор о ней ни слуху ни духу. Я предпочитаю сидеть и выжидать, делая

[1] Испытание *(англ.)*.

[2] Траян — римский император (род. в 52-м, ум. в 117 г. н. э.).

вид, будто ничего не случилось. Ну их к дьяволу, еще нарвешься на дипломатический скандал... Впрочем, если бы меня из этой вонючей помойки попросили убраться восвояси, я был бы только рад. Но тогда я нарушил бы данное вам, друзья-читатели, обещание! Воображаю, что бы с вами было, если, развернув газету, вы бы вдруг обнаружили, что ваш Джо вас обманул, не явился на тайное свиданье. Могу себе представить, какие оскорбления и угрозы обрушили бы вы на голову добряка директора!

С другой стороны, Мэри, при всей своей мягкости и даже некоторой наивности, не раз доказывала, что умеет с честью выйти из любого положения. Помню, был даже такой случай, когда она решила стать медсестрой,— если не ошибаюсь, в отряде вьетконговцев; за каким чертом ее понесло во Вьетнам, не помню, а может, она мне так и не объяснила.

Не могу сказать, чтобы я здесь развлекался, хотя в Риме есть для этого все условия. Как писателя с мировым именем, меня тут привечают, наперебой зовут в гости. Все это время я работал на вас не покладая рук и могу сообщить кучу разной вонючей информации; не уверен только, что почтово-телеграфная цензура всю ее пропустит.

Не буду вам плакаться, как трудно воссоздать точную картину здешнего положения; словами делу не поможешь, так же как и двойными порциями виски, к коему беспрестанно прикладывается ваш старый Джо. Ведь описывать приходится нечто невероятно от нас далекое, чуждое нашим простым и точным социально-политическим параметрам, то есть всему самому передовому и культурному, что есть на свете и о чем этот гнусный мир может только мечтать.

Кто знает, почему, несмотря на все наши благодеяния, столько людей нас ненавидят. Имей я вес в ЦРУ, я бы сказал: точка, хватит пускать на ветер деньги и раздавать синекуры!

Сегодня, впервые после долгого перерыва, снова начали выходить газеты. Все они независимые, информационные и совершенно одинаковые, одна копирует другую; вся разница лишь в названии — да и то небольшая. Зато их много — таким образом, у читателей широкий выбор. Впрочем, тираж их таков, что на каждом экземпляре вполне можно было бы набирать типографским способом фамилию покупателя.

На первой странице — политические новости: их курирует министерство внутренних дел временного правительства, именуемое также министерством общественного здоровья. Как правило, тут говорится, что в стране царят тишь и гладь: те, у кого есть работа, работают; политические процессы над красными возмутителями спокойствия — коммунистами и иже с ними — проводятся ускоренными темпами, поскольку ведают этим делом не обычные суды, а куда более расторопные военные трибуналы.

Особенно важно, что восстановлена третья полоса, где, благородно состязаясь друг с другом, выступают наиболее авторитетные представители современной итальянской художественной литературы. Наконец-то писателям не приходится компрометировать себя и унижаться выклянчиванием возможности печататься в газетах сугубо политического или, во всяком случае, узко партийного толка. Это послабление дает о себе знать в плавном течении их филигранной и бесполезной прозы. Признаться, я им завидую: кто знает, когда мне удастся вернуться к моим романам... Точит меня и другая мысль: здешние впечатления в моих книгах не используешь — войны и революции не мой жанр. А то, что пишешь для газеты, увы, живет ровно столько, сколько требуется, чтобы перевернуть страницу.

Но — нечего распускать нюни. Джо своего золотого времени не жалеет; романы, которые не напишет он, напишут другие. Ничего не случится, не так ли? Дефицитным может стать все, что угодно, только не художественная проза, ее на наш век хватит с избытком.

На остальных полосах газет — реклама, спорт и неизменно окрашенная в розовые тона хроника местных событий.

Политическую тюрьму — крепость, построенную в девятнадцатом веке,— овевают морские ветры. Заключенные, содержащиеся, ввиду переполнения камер, во дворах, до того загорели, что выглядят питомцами оздоровительной элиотерапевтической колонии. Начальник тюрьмы тоже выдержан в темных тонах — ходит в черной шелковой рубашке. Это пожилой, но хорошо сохранившийся мужчина с военной выправкой, которую приобретают годами — с ходу такая не дается.

— Скажи мне правду, друг, на чьей стороне ты воевал? — спрашиваю я у него.

— Видишь рубашку?

— Вижу.

— Нет, ты всмотрись как следует!

— Понятно. И тебя после этого оставили в живых?

— Со всеми почестями. Прежняя демократия была дура. Скажи, что нет?

— И потому вы ее — к ногтю?

— Пинком под зад — впрочем, без особого удовлетворения, потому что она, по-моему, сама напрашивалась. Однако мне, журналист, на политику наплевать; смотри, чтобы тебе не взбрело в голову писать, будто это тюрьма политическая. Тут сплошь уголовники.

Разрешения вступать в контакт с заключенными у меня нет, здесь строгий карантин: марксизм считается сверхзаразной болезнью. По воле молчаливого большинства практикуются смертные казни, однако тюремное начальство предпочитает квалифицировать их как несчастные случаи в результате попыток к бегству, совершаемых бандитами и ворами, то есть лицами, покусившимися на частную собственность.

На центральном дворе возятся с оружием несколько солдат из взвода, который приводит в исполнение смертные приговоры. Ветеран (бывший муниципальный служащий) чистит винтовку и заливается — поет. «Родная винтовка!» — вставляет он между куплетами. Юный солдат (из безработных) у него на подхвате; его голубые глаза светятся страстным желанием стать стрелком-отличником.

— Перед тем как выстрелить, ты в него целишься, стараешься обязательно попасть?

— Весь взвод стреляет.

— Но ты-то стараешься попасть или нет?

— Едрит твою... чего привязался?

— Чтобы знать, как быть, когда придет мой черед.

— Ну, ладно. Я целюсь в сердце, в самую середку.

Паренек кладет руку себе на грудь.

— А как это делается?

— Нет ничего проще: проведи мысленно две линии: одну от левого плеча, другую от подбородка; они должны образовать прямой угол. В этот угол и цельсь — будь уверен, попадешь в самое сердце.

Паренек смотрит на свою грудь, примеряется.

— Правильно, сердце тут,— подтверждает ветеран.

— Ты уверен?

— Как хирург! Хирург, перед тем как резать, точно знает, что обнаружит. Надо же все-таки, чтобы хоть кто-нибудь из взвода знал, как это делается. Если все промахнутся, что тогда?

— Пришлось бы расстреливать по новой.

— Ну это уж было бы бесчеловечно.

— И смешно!

Паренек весело хохочет; ветеран смотрит на него понимающе. «Ох, уж эта молодежь,— наверное, думает он.— Ничего, пусть пока резвится; постарше будет, уймется, жизнь заставит».

Солдатик делает вид, что стреляет:

— Пиф-паф! Прямой угол, а в углу сердце. Покойник гарантирован.

Ветеран велит ему перестать. Паренек признается:

— Жду не дождусь, когда наконец дадут попрактиковаться. С тех самых пор мечтаю, как начал играть в жулики-сыщики. Бывало, прошу своего дружка: как только я крикну «пиф-паф», падай замертво!

— Будь спокоен, уж если я участвую в расстреле, добивать не приходится.

— А что, храбрый человек мог бы управиться и один!

— Пожалуй, да,— согласился ветеран.

Понятно? Я записал этот разговор слово в слово, чтобы было ясно: история воздаст им должное — быть может, заклеймит как негодяев или кровожадных насильников, это ее дело, то есть истории, но то, что эти революционеры не дилетанты,— бесспорно.

Приговоренный к смерти молод, у него черная кудлатая голова. Повстречались мы с ним, когда его вели к стенке расстреливать. Зрелище не из приятных, друзья мои. Мужественно встретить смерть он не смог, плача, бубнил, что он не красный и не студент, что втерся в левацкую внепарламентскую группу как провокатор, чтобы оправдать репрессии против экстремистов. Начальник тюрьмы, ухмыляясь, посоветовал мне не обращать на него внимания: если даже установить личность не удалось, расстрелять все равно надо; сразу видно, что за птица: одет как все эти смутьяны — студенты, отрастил длинные патлы, бороду, наверняка развел вшей,— одним словом, неряха, а может, и наркоман.

На обед мы ели «сердитые перья» [1] и козлятину «не обожги пальцы» [2].

Потом мы с начальником расположились на одной из террас крепости. Все время, покуда он, развалясь в шезлонге, спал, а я, под тентом, наслаждался прохладным морским ветерком, у меня не выходила из головы Мэри, моя дорогая старуха Мэри.

Нет, нет, погодите о ней печалиться. Если бы она узнала, что причинила вам беспокойство, она бы расстроилась.

А посему я, с вашего разрешения, попробую сообщить вам несколько отрывочных сведений о периоде, который предшествовал революции и спровоцировал ее.

Вы не можете себе представить, какой в это время царил в Италии бедлам. Джо не может не задать вместе с вами вопрос: как это наша страна, в чью задачу входит охранять мир во всем мире, при-

[1] Макароны с острой подливкой.

[2] Ребрышки козленка, которые едят прямо с огня, «обжигая пальцы» (римские блюда).

бегая для этого в случае надобности даже к войне, позволила, чтобы дело дошло до такого загнивания, до такого полного разложения?! Нам бы следовало быть, мне кажется, более бдительными.

Так вот, буржуазия осуществляла свою власть, контролируя группу партий, состоявшую из клерикалов, социал-демократов и либералов; кроме того, в запасе у нее имелась резервная сила — откровенные фашисты, то есть те, кто в отличие от коллег, удобно и прибыльно пристроившихся в вышеозначенных партиях или якобы отстранившихся от политики, предпочитал выступать в открытую, отрядами или как провокаторы-одиночки, мастера насилия и террора, дабы удерживать умеренную и трусливую мелкую буржуазию в сфере влияния правящего блока буржуазии.

Этот правящий блок был втянут в следующую игру: железной рукой (обратите внимание на эту деталь) добивался тех же реформ, которых требовала оппозиция — красные коммунисты и часть социалистов,— реформ как основного средства от недугов страны. Тогда почему же, спросите вы, с помощью железной руки, а не соглашения? Тут мы соприкасаемся с тонкостями непостижимой для нас итальянской политики, с ее двуличием, противоречием между сутью и видимостью. На самом деле по логике вещей буржуазия не могла сознательно и всерьез одобрять предлагаемые реформы. Не знаю, улавливаете ли вы почему: клерикалы, самая сильная правительственная партия, представляла одновременно и интересы всей (не только католической) буржуазии и совершенно противоположные интересы значительной части неимущих классов. А это ее сковывало. Самое большее, на что она была способна, это залатать какую-нибудь прореху, если что-то грозило нарушить шаткое равновесие. Словом, положение было аховое. Когда же гражданское и демократическое созревание общества, мастерски поощряемое левыми, дошло до точки максимального напряжения, как могла клерикальная партия проводить реформы, которые непременно затронули бы большую часть священных привилегий буржуазии, тех самых привилегий, которые она была призвана защищать?! Зачем ей было удовлетворять требования одного класса в ущерб другому, ущемлять имущих, не будучи уверенной, что она сможет удовлетворить пролетариев? Для лидеров партии это было бы равносильно политическому самоубийству: сама партия распалась бы, и в выигрыше оказались бы лишь немногочисленные, но люто ею ненавидимые левые клерикалы. А главное, по всей вероятности, неудержимо разверзся бы путь к социализму. В самом деле, с помощью каких-то сложных выкладок относительно расстановки сил и содержания политических процессов эти дьяволы-марксисты, видимо, вычислили, что к социализму можно прийти и путем реформ, не прибегая к насилию, не ниспровергая основ существующего строя, а просто слегка потеснив паразитов, ужав кое-чьи доходы и привилегии.

...Что за чертовщина: напротив меня, с противоположной террасы, упал человек! Я так подскочил на месте, что разбудил начальника тюрьмы; но тот глянул и даже бровью не повел.

— Это беспартийный экстремист,— объяснил он мне,— из тех, что мечтают об отмирании государства. Ну да, анархист. Заключенные этого типа охотно идут на летные эксперименты, которые устраивал еще Леонардо да Винчи. (Известно, что Италия свято верит в непреходящую актуальность своих гениев.)

Оснащенные крыльями или без оных они прыгают с довольно большой высоты, а ученые, с помощью специальных инструментов, фиксируют результаты этих бесстрашных упражнений.

Автомат: инструкция по злоупотреблению

Я иду вслед за моим гостеприимным хозяином; он хочет, чтобы мое знакомство с тюрьмой было исчерпывающим. Легкий западный бриз обдувает узников, чьи спины в перевоспитательных целях исполосованы плетьми.

Я с удивлением обнаруживаю, что одно крыло здания отведено для заключенных женского пола. Презрением и насмешкой кривятся мужественные губы моего чичероне, когда он меня предупреждает, что это вовсе не женщины, а переодетые мужчины, одна из самых отвратительных разновидностей гомосексуалистов.

Скажите, пожалуйста... а с виду писаные красотки, уверяю вас. Вон ту я бы охотно приласкал, прямо сейчас, не сходя с места.

И вдруг вижу: Мэри! Будь я проклят, если это не она! Я ее окликнул, и Мэри, естественно, отозвалась. Ну, погоди, начальник, я тебе устрою конец света! Но этого сукиного сына ничем не проймешь: он рассыпался в извинениях и немедля подписал ордер об освобождении. Оказывается, Мэри была арестована как подозрительная иностранка, а к педерастам ее поместили потому, что она довольно миловидная и к тому же блондинка.

— Синьорине в будущем следует быть осмотрительнее: скажем, разговаривая по телефону, не упоминать о гашише — ведь из соображений государственной безопасности телефонные разговоры уже не носят частного характера. Единственный допустимый вид частного общения,— подмигивая, инструктирует нас на прощанье начальник тюрьмы,— это прямой устный обмен мнениями, да и то лишь на открытом воздухе, с собеседником, заслуживающим доверия.

Как только мы остались одни, Мэри взорвалась:

— Дурак ты безмозглый! Чего ты ждешь, почему не открываешь своим вшивым читателям правды?!

Признайтесь, вы такого выпада, такого удара в солнечное сплетение не ожидали.

— О чем ты говоришь, Мэри? В своем ли ты уме?

Тут Мэри достала географическую карту Италии (вы можете найти такую же в своем атласе, в разделе «Европа») и изложила мне все, что узнала в тюрьме.

Рассказ ее вкратце сводится к следующему. Буржуазная революция, начавшаяся несколько дней тому назад в Риме, не охватила всей страны; она протекает в разных областях по-разному, в зависимости от местных условий, вследствие чего Италия разделилась на зоны, резко отличающиеся одна от другой. Словом, полностью дал себя знать старый закон, согласно которому буржуазия побеждает там, где преобладают люди, получающие жалованье от государства. Вот почему государственный переворот, совершенный бдительной частью вооруженных сил вкупе с буржуазными слоями, умеренными правительственными политиканами и правыми — как традиционными, так и новоиспеченными, крайними,— пока что удался лишь в центрально-южной Италии, в то время как в центрально-северной, прежде всего в Тоскане и Эмилии, создано демократическое народное правительство, отражающее интересы Исторического блока, названного так в отличие от Блока порядка, который господствует здесь. Еще дальше к северу положение неясное — точных сведений оттуда нет; но, видимо, дальнейший ход событий определится именно там, поскольку большая часть богатств этой злополучной, многострадальной страны сосредоточена как раз на севере.

Спокойно, друзья. Не думайте, что ваша информация так и останется расплывчатой или приблизительной. Чего бы это ему ни стоило,

даже если придется прыгать с парашютом, ваш Джо при первой же возможности отправится в Болонью и в Милан и вы получите сведения из первых рук, можете твердо на это рассчитывать.

Мэри тем временем продолжает:

— Рожденная недавней революцией центрально-южная Италия тоже по-своему любопытна. Самые отдаленные южные районы превращены в своеобразную индейскую резервацию, Кайенну, гетто, куда сослана с заданием решить проблемы юга внепарламентская правая группа. Таким образом ей развязали руки: пусть дают волю своему далеко не элегантному экстремизму. По сути, буржуазия, в силу пристрастия называть вещи как угодно, только не своими именами (потому-то она и именует свой государственный переворот «революцией»), предпочитает себя не раскрывать. Так, она заявляет, что в области культуры правые — «out» [1], что фашистская помпезность — это сусальное золото, типичный «Kitsch» [2] и что на фашистов надо махнуть рукой.

Согласен, но ведь по меньшей мере неблагородно, что революция, едва придя к власти, уже стремится в некотором смысле избавиться как раз от тех, кто столько сделал для ее победы! Правда, история изобилует подобными несправедливостями: политика с добросердечием и порядочностью несовместима; потому-то она ничего кроме отвращения и не вызывает, так что советую вам, мои дорогие читатели: держитесь от нее по-прежнему как можно дальше, не ошибетесь. К счастью, наши партии политически настолько однородны, что, даже голосуя с закрытыми глазами, наугад за ту или за другую, ничем не рискуешь — опрометчивого или безответственного шага при всем желании не совершишь.

Теперь вы поняли, что за стерва эта Мэри? Я бы сказал: у нее настоящий журналистский талант! Ведь из официальных источников я ни черта не мог выудить, хоть ты лопни. Еще немного — и я бы послал эту г... революцию в... Но с информацией шутки плохи, лапочки мои милые! Раз уж читатели загнали Джо в эту выгребную яму, раз ему предписано жрать дерьмо, не пытайтесь внушить ему, что это шоколад.

Итак, если не ошибаюсь, в прошлый раз я завел с вами разговор о предреволюционной борьбе за реформы между большинством и оппозицией,— точнее, о борьбе не на партийную жизнь, а на смерть между клерикалами и социалистами, столпами двух лагерей, слившихся в историческом — то братском, то смертоубийственном — объятии. Так вот, вслед за последней попыткой создать левый центр наступил затяжной кризис. Тут было все: и роспуск обеих палат, и неоднократные безуспешные досрочные выборы в обстановке развязанного фашистами террора, и правительства, не способные править, и истерические вопли малых буржуазных партий, пробавляющихся ошметками власти. При этом коммунисты все время нажимали — требовали создать правительство решающей альтернативы, эти сукины дети студенты только и делали, что бунтовали, профсоюзы все более наглели, у предпринимателей опускались руки, экономика переживала застой. (Старая песня: если лошадь не хочет пить, силой ее не заставишь.) Короче говоря, дело дошло до того, что стали раздаваться голоса, беззастенчиво требовавшие обобществления средств производства. Что это такое, ни вы, ни я не знаем, но маститые ученые уверяют, что это самое страшное бедствие, какое может обрушиться на цивилизованный мир.

---

[1] Здесь — ноль, ничто *(англ.)*.

[2] Образец дурного вкуса *(нем.)*.

Раздираемая между антифашизмом севера и фашизмом юга система очутилась на грани крушения, хотя имелись и факты, свидетельствовавшие о ее добротности и жизнеспособности. Так, антифашистская реформаторская борьба трудящихся масс сопровождалась стремительным процессом фашизации сил порядка — армии и государственного аппарата. Как известно, в моменты острого кризиса занять независимую позицию — значит занять правую. Наряду с забастовками рабочих, вызванными головокружительным ростом дороговизны, вспыхивали необузданные забастовки чилийского типа, когда бастовал целый сектор экономики или определенная категория собственников. Одновременно крепли консервативные узы, связывавшие широкие массы предпринимательских средних слоев, владельцев недвижимой собственности, торговцев, лиц свободных профессий, привилегированные категории инженерно-технических работников и служащих; вместе с безработными и городским люмпен-пролетариатом (то есть маневренной массой, состоящей из кретинов) они ринулись защищать право на эксплуатацию и на паразитизм,— иными словами, на частную инициативу и частную собственность.

Проводить структурные реформы — я вам потом объясню, с чем это едят,— значило согласиться на участие коммунистов в управлении государством. Таков, казалось, был единственно возможный выход из кризиса, однако для немалого числа заинтересованных лиц, которые при этом пострадали бы, такой выход был неприемлемым. И вот у человека с улицы, у буржуа, любящего порядок, лопнуло терпение, и, не дожидаясь, когда наконец появится лидер, ниспосланный небом, следуя поговорке, которая гласит: «На безрыбье и рак рыба», он обратился к армии — одному из немногих пока еще здоровых институтов страны.

Во имя интересов отечества и ради спасения западной цивилизации, угроза существованию которой, как всегда, исходила от рабочих, проблема, по крайней мере здесь, была решена своевременным вмешательством солдат и добровольцев, действовавших на редкость четко, как будто операция была запланирована заранее и готовилась исподволь. Решающий удар был нанесен в течение одной ночи, в Риме, летом, когда люди в отпусках, а учебные заведения на каникулах. Было предпринято несколько хорошо продуманных акций: ликвидированы партии, профсоюзы и все другие политические организации, объявлено, что Первой Республике пришел конец, распущен парламент. Красных политических деятелей — тех немногих сверхоптимистов, которые предпочли остаться в столице, вместо того чтобы уехать на север,— упрятали за решетку, газеты закрыли, радио и телевидение передали в руки частных лиц.

Была создана единая политическая группировка — Блок порядка, или Национальный союз, который сформировал временное правительство из умеренных политиков, предпринимателей и военных; все они тотчас же сели за составление новой, более современной конституции. Правительство это легалитарное, то есть придерживающееся легальных методов. В доказательство его демократических устремлений могу сообщить вам, что через несколько дней состоятся выборы, которые дадут стране — Второй Итальянской Республике — сильного президента.

Хорошо, скажете вы, но нам хотелось бы знать, во что обошлась эта безупречная революция гематически, то есть в литрах крови. Ну что ж, Джо вам без труда может сообщить точные данные, напомнив при этом, что в период гражданских войн человеческая жизнь сильно обесценивается. Во время большой облавы число случайно погибших, расстрелянных, повешенных и преданных суду Линча не превысило

нескольких десятков человек, точнее, нескольких десятков красных политиканов, которые не преминули воспользоваться случаем, чтобы проявить героизм,— их ведь хлебом не корми, дай выступить борцами за правое дело, пожертвовать жизнью, прослыть мучениками. К ним добавилось некоторое количество рабочих из числа забастовщиков, участников занятия фабрик и заводов, профсоюзных агитаторов; эти по глупости сами лезли на рожон, дали себя растерзать, уничтожить.

Если вы следили за ходом моей мысли, вы уловили, что с их стороны это было верхом идиотизма. Как можно было не понять, что революция ставит целью максимально повысить производительность предприятий, добиться наибольшей рентабельности промышленного оборудования, обеспечить непрерывность производственного процесса и, следовательно, гарантировать рабочим постоянный заработок! Вместо этого, подзуживаемые профсоюзами и левыми экстремистами, при попустительстве красных партий, некоторые рабочие выдвигали бредовые требования, например: отменить сдельщину, снизить темп работы, стереть грани между рабочими разной квалификации, приравнять рабочих к служащим,— иначе говоря, при повышении заработной платы не учитывать разрядов, а всем повышать одинаково. Они требовали предоставить им право заниматься на предприятии политикой, создавать свои, не назначаемые хозяевами советы и даже вводить новые методы труда и производства. Они дошли до того, что потребовали совершенно немыслимых нововведений: им, видите ли, хочется жить в человеческих условиях и при этом платить умеренную квартирную плату! Они желали, чтобы им предоставили бесплатный проезд, чтобы отменили привилегии в области образования, чтобы не было дискриминации при медицинском обслуживании, чтобы пенсии были у всех равные, правосудие бесклассовое, чтоб полиция была не карающая,— короче говоря, конец света. Притом они цинично утверждали, будто такие реформы оживят экономику.

Меня заверили, что, к счастью, под влияние этих безумных идей попали лишь некоторые представители рабочего класса, но эти немногие были доведены до такого фанатизма, что, как новоявленные камикадзе, с палками, камнями и бездарными самодельными гранатами пошли против автоматов, базук и танков. Хорошо еще, что в Риме и в центрально-южной Италии рабочий класс немногочислен, не то тремя тысячами убитых дело бы не обошлось.

Раз уж на то пошло, скажу-ка я во весь голос, что́ я думаю, беззастенчивым политиканам, разжигающим во всем мире пожар трудовых конфликтов,— скажу, памятуя о сбитых с толку жертвах левацкой пропаганды. Господа подстрекатели, не виляйте, признайтесь откровенно, что, по вашему твердому убеждению, руководить — да что там руководить, владеть предприятиями должны те, кто на них работает! И масса безответственных, неискушенных людей продолжает приносить себя в жертву во имя свободы, социальной справедливости и демократии. Когда же в вас заговорит совесть, когда вы найдете в себе мужество сказать этим бедным обманутым людям, что то, к чему они стремятся, уже давно достигнуто и существует в самом лучшем виде в нашей великой стране,— миллионы моих читателей могут это засвидетельствовать! Правильно я говорю, господин директор? Конечно, мечтать тоже необходимо, без мечты нет прогресса; если мы не будем мечтать о более просторной квартире, о более мощном автомобиле, о том, чтобы расширить круг вещей, приобретаемых в рассрочку, то промышленность и торговля зачахнут, начнется застой капиталов, деньги перестанут приносить доход, все остано-

вится, некогда яркие индивидуальности поблекнут,— именно на такой почве и произрастает сорняк коллективистских утопий.

Нет, моя глупая старая Мэри, напрасно ты считаешь все это чепуховиной.

О, да, но без пилюли

Оказывается, от такого занудства, как party, то есть светский прием со всеми онёрами, не уйти даже в Риме. Но — погодите зевать, мои дорогие читатели! Не думайте, что это такая же тягомотина, как наши отечественные посиделки, устраиваемые по субботам, чтобы под воздействием спиртного взбодриться, утопить в море виски и пива депрессию и невроз, преодолеть афазию [1] или логоррею [2] некоммуникабельности, осмелеть и вступить в перекрестные или иные половые сношения, после чего ходишь смурной, как в чаду, не соображая, что было, чего не было, и терзаясь реальным или надуманным чувством вины.

Нет, нет, на приеме, устроенном с целью задать тон новой светской жизни, определить стиль только что появившейся на свет Второй Республики, ничего этого не было.

Все происходило на высоком уровне, друзья мои, в сказочном, с излишествами, особняке на старой Аппиевой дороге, украшенном старинными произведениями искусства, подлинниками, которые, наконец, изъяты у их безликого собственника — государства, у бесполезных и безлюдных музеев, чтобы ими наслаждались, чтобы их смаковали те, у кого есть средства и кто, следовательно, обязан украшать свою жизнь. К принципу, положенному в основу этого решения, трудно придраться. В самом деле, кто заказывал и оплачивал искусство во все эпохи расцвета прекрасного? Выдающиеся граждане, частные лица: правители, сановники. Неважно, что они, как правило, расплачивались казенными деньгами; по-моему, все равно закономерно, чтобы все эти статуи, древние фолианты, картины и прочее снова стали собственностью частных лиц. Частная собственность — правовой институт, пришедший к нам из тьмы веков, он стар как мир, и никакому святому, никакому безумцу ниспровергателю отменить его не удавалось и никогда не удастся, это ясно как божий день.

Уютно поскучать собрался весь Рим — совсем как во времена прежней республики. Кто-то, цитируя Томази ди Лампедузу (даже не итальянского, а сицилийского писателя), сказал, что все переменилось, потому что ничто не переменилось.

В Риме, если надо появиться в обществе, особенно не мудрствуют — главное присутствовать, а уж спасительную и всегда многообещающую репутацию антиконформиста завоевать не трудно: достаточно сострить в духе Вольтера или Бернарда Шоу или же, еще лучше, рассказать анекдот — анекдоты здесь в большом ходу.

Тут были министры, военные, деловые люди; в виде гарнира — писатели, художники, театральная братия.

Я решил так: пикантные подробности пусть вам сообщает моя коллега columnist — лахудра из отдела светской хроники; вашему Джо надо сосредоточиться на главном. Насчет же культуры, забегая вперед, могу лишь сказать, что очень скоро ее деятели облачатся в ливреи и парики, они вполне для этого созрели.

[1] Афазия — полная или частичная утрата речи.

[2] Логоррея — патологическое многословие.

Хозяин дома — председатель Экономического совета, органа, который соответствует бывшему профессиональному объединению предпринимателей и который планирует теперь всю экономику страны,— заправляет всем хозяйством. Нетрудно понять, что эти деликатнейшие рычаги власти — в верных руках; этим людям нельзя отказать в опыте, а уж их приверженность буржуазному строю вне всяких сомнений. Одним из первых мероприятий Экономического совета была денационализация предприятий, находившихся в ведении и частично в собственности государства, то есть тех абсурдных финансовых учреждений и промышленных комплексов, которые не только конкурировали с частными, но таили в себе угрозу возникновения государственного капитализма и, следовательно, могли проторить путь, перекинуть мост к социализму.

Дабы устранить всякий риск, были денационализированы и железные дороги; таким образом, есть гарантия, что поезда снова будут ходить по расписанию и главное, что чистая публика избавится от неприятного соседства: для люмпен-пролетариев юга будут формироваться особые удобные составы из пломбированных вагонов, которые будут доставлять пассажиров прямо к платформам, специально оборудованным на территории крупных заводов.

Еще одно полезное начинание, немедленно поставившее на ноги строительную промышленность,— это отмена всех генпланов градостроительства и увольнение смутьянов-архитекторов, засевших в органах местной власти. Кстати, хозяин дома, где цвет Рима собрался на коктейль, сам занимается жилищным строительством: получил разрешение на застройку площади Испании. Не беспокойтесь, ничего плохого с этой знаменитой площадью не случится, какой она была, такой и останется, интересы туризма превыше всего. Квартиры — только для изысканной публики, исключительно верхние этажи, на мощных железобетонных сваях.

Мэри, бедняжка, томится и чертыхается: оказалось, что прием строго безалкогольный, здоровенные кравчие (батраки, одетые в марсиканские [1] волчьи шкуры) разносят гранатовый сок, мятный напиток и газировку. Трезвость — официальный признак новой общественной жизни; терпимости, распущенности, безнравственности объявлена беспощадная война. Бедная Мэри, а она-то думала, что ее ждет древнеримская оргия!

К счастью, кое-что покрепче можно выпить в туалетной комнате, частным образом. Из золотого крана в общую ванну льется совсем недурное, на мой взгляд, шотландское виски. Рядом со мной купается промышленник, только что награжденный крестом Первой степени за то, что верой и правдой послужил делу революции; о нем говорят как об одном из зачинателей сопротивления; он был партизаном капитализма еще тогда, когда капитализм изнывал под гнетом требований рабочих. По слухам, в те мрачные годы ему в течение некоторого времени удавалось водить за нос профсоюзы — прикидываться предпринимателем прогрессивного, просвещенного толка.

Его не поймешь: посмеиваясь и плавными, кругообразными движениями рук понемножку загоняя себе в рот виски, он стал меня уверять, будто ему иной раз жалко, что это тяжелое, трудное время позади...

Я задаю ему вопрос, как он себя поведет, если рабочие осмелятся выдвинуть какие-нибудь требования теперь.

— Если у рабочих еще остались возражения против капиталистической промышленности, пусть они их выдвигают, но по ту сторону

---

[1] Марсика — район в горах Абруццо.

баррикады, то есть за заводскими воротами. Никаких забастовок, никаких захватов предприятий — это методы устарелые и противозаконные; единственное, что мы признаем, это отказ от работы. Спрашивается, как поступит в таком случае капиталист? Не вставать же ему самому к станку или на конвейер! В условиях свободного рынка он будет вынужден с нерентабельным предприятием расстаться. Число продающихся предприятий, таким образом, будет постоянно возрастать, а стоимость их головокружительно падать, пока не докатится до нуля. Раз никто не работает, у всех в кармане ноль, ровно столько, сколько стоят предприятия. Значит, заводы станут коллективной собственностью, наступит коммунизм — так или не так?

Вот дьявольщина! Если это не парадокс, то чертовски интересный экскурс в политическую экономию. Мэри считает, что все это бред, специально придуманный, чтобы заморочить голову такому старому балбесу, как я. Но как бы то ни было, ребята, это верный симптом того, что дьявольский вирус политики, этой холеры, порожденной старой Европой, не щадит никого, жертвой ее стал и мужественный промышленник. Вашему старику Джо тоже приходится все время быть начеку.

— Ну что ты там застряла, Мэри? Нельзя же быть такой ксенофобкой [1] и шовинисткой! Какого черта ты не пьешь этот нектар, сервированный в виде успокоительной ванны?!

— Потому что это синтетический фильтрат пролетарской мочи! — отвечает мне эта психопатка.

Может, она шутит, старая ведьма, а может, из пролетарской мочи и впрямь можно гнать виски — почему бы и нет, если из пролетариев, по новой технологии, выжимают столько разных соков.

Праздников здесь множество; видимо, так нужно, чтобы отвлекать внимание пролетариата от голода. По слухам, распространяемым правительством, вину за нехватки следует отнести за счет таинственных и коварных спекулянтов, естественно, еврейской национальности.

На площади святого Петра — Te Deum при огромном стечении благодарного народа; женское революционное движение отмечает радостное событие: стало известно, что по новой конституции брак, в первую очередь гражданский, нерасторжим. Среди многих других благодетельных результатов революции есть и этот.

— Какая мерзость! — воскликнула эмансипированная Мэри при виде величественного зрелища многотысячной толпы женщин с детьми, благословляемых капелланом и размахивающих недвусмысленным фаллическим символом — толстыми свечами.

Мне удалось приблизиться к одной из представительниц массовой женской организации «Союз замужних оплодотворенных итальянок» и спросить у нее, что дала буржуазная революция женщине.

— Она вернула семье мир и покой. Теперь муж видит в своей жене лишь ту, кто она есть на самом деле: женщину.

— Хорошо. Но мне хотелось бы узнать какие-нибудь конкретные факты.

— Противозачаточная пилюля, как и все прочие непотребные средства для предупреждения беременности и снижения рождаемости, начиная от мазей и кончая презервативами, отменена.

Произнося столь неприличные слова, толстуха зарделась как маков цвет, погладила по головкам своих девятерых деток и продолжала:

[1] Ксенофобия — ненависть к иностранцам.

— Скоро с улиц исчезнут проститутки. Никто не будет приставать к нашим мужчинам, когда они возвращаются из траттории, из бара или из кино, где они проводят все вечера, покуда мы охраняем домашний очаг.

— Что же вы собираетесь предпринять, синьора?

— Мы добьемся, чтобы снова открыли публичные дома и чтобы ведали ими сутенерские концерны — полноправные акционерные общества, где каждый «дружок» сможет без лишних разговоров получать причитающиеся ему дивиденды. Это обеспечит заметный подъем морали и нравственности; резко сократится количество драк и стычек с применением огнестрельного оружия; у тех, кто раньше, до того как стать акционером-предпринимателем, именовался сутенером, не будет больше оснований сводить счеты.

— Какая роль отводится в новом обществе девушкам?

— Расти и готовить себя к священной миссии жены. Мы потребуем, чтобы был издан закон, предусматривающий строгое наказание для женщин, которые посмеют забеременеть до брака. Аборт будет приравнен к убийству. Измена мужу будет караться как тяжкое преступление. Если холостых мужчин окажется недостаточно, мы добьемся введения некоторых форм полигамии — видимо, на основе имущественного ценза.

Мэри, бледная как полотно, уверяет, что не в силах больше все это выдержать, и тянет меня за рукав. Но работа есть работа, глупышка, и чем она менее веселая, тем больше надо прилагать усилий.

Я ухватил одну из руководительниц другой, менее массовой организации, именуемой «Общество экономных рабынь — заоблачных мечтательниц», умеренно-романтического толка, объединяющей женщин мелкобуржуазного происхождения.

Их семейная типология предусматривает мужа-служащего, максимум двух-трех детей, автомобиль среднего размера, квартиру, купленную в рассрочку и оснащенную всеми электроприборами и наимоднейшими занавесками. Работать такой женщине разрешается, но лишь в ограниченных пределах, на нетрудоемкой, то есть государственной или полугосударственной службе с укороченным (без перерыва на обед) рабочим днем или же в учебном заведении, при условии, что, проработав положенные часы, больше никаких дел со школой она не имеет.

Предусмотрена и супружеская неверность, но только в рамках одного социального круга.

Еще требование: иллюстрированные журналы, специализирующиеся на жизнеописании певиц и королевских особ в изгнании, а также на фотороманах, из политических соображений должны продаваться по общедоступным ценам.

— Мэри!

Бедняжка не выдержала: рухнула без чувств.

Президент без головы

Итак, хрупкая Мэри, зажатая посреди площади святого Петра целой ордой баб с детьми (среди которых были и великовозрастные: итальянец, даже если он косая сажень в плечах, всегда мамин сын), Мэри, оскорбленная в своих лучших чувствах феминистки-интегралистки, не выдержала и потеряла сознание. Можете себе представить, что с ней было, когда она открыла глаза.

Увесистые римские матроны радостно вокруг нее кудахтали, хлопали в ладоши; обморок, без сомнения, вызван тем, что синьора ждет

ребенка, уверяли они, тем более что рядом стоял я — очевидно, ее законный муж.

Надо хоть немножко знать старуху Мэри, чтобы представить себе, как она вопила, как рвала на себе волосы. Не теряя своего обычного легендарного хладнокровия, я нашел такси и отвез ее в гостиницу.

Вы спросите, к чему я все это рассказываю? Минуточку! Я и сам знаю, что революция разворачивается в стремительном темпе, этап за этапом,— только поспевай. Но прежде, чем ввести вас в курс дела, я вынужден просить о небольшом break — перерыве. Вашего Джо томит и терзает жажда истины; он на этом деле может сгореть; для восстановления сил в лучшем случае придется пройти хороший курс лечения сном. Поэтому дайте мне перевести дух — это нужно во имя истины, а следовательно, и информации. Заглушить мой голос было бы просто несправедливо, я желаю фигурировать на первом плане: ведь личное, индивидуальное превыше всего. Не буду тревожить Плеханова, так убедительно писавшего о роли личности в истории (Джо человек начитанный). Кому-кому, а вам, мои верные читатели, по-моему, излишне напоминать о том, что все развитие нашей страны, эволюция всего нашего общества есть плод предприимчивости выдающихся личностей, хапуг-политиканов и алчных негодяев-проповедников, продажных, темных типов, пролезших в руководство профсоюзами, и бесчеловечных эксплуататоров-предпринимателей, способных из всего что угодно, даже из английской булавки, сделать конвейер.

На первый взгляд, это черты отрицательные; в действительности же, подобно тому, как сущность рая познается лишь в сравнении с адом, и наоборот, именно эти черты, подкрепленные огромными ресурсами, которыми нас так щедро одарила природа, совершали и совершают в нашем свободном, процветающем государстве чудеса созидания. Обнаруживая у своей двери свежую газету и бутылку молока, мы ежеутренне возносим хвалу господу богу. А всей этой болтовне о сверхприбылях и колоссальных состояниях, нажитых на поте и крови рабочего класса якобы вследствие его отчужденности и оглупленности, грош цена. Мы гордимся тем, что мы подданные великой страны, одинаковые в своей дикой чистоте или чистой дикости, наделенные равными правами, пользуясь которыми, как известно, каждый из нас может стать главой государства. Не случайно мужественные буржуазные революционеры, которые здесь, в Италии, делают все возможное, чтобы эмансипировать всю эту вшивость,— кое-кто при этом сопротивляется! — видят в нашей стране идеальный пример для подражания.

Тут, прежде чем продолжать, я хочу дать один совет своим любезным читательницам: вы любите путешествовать по свету с похвальной целью познать мир — не возражаю. Но только делайте это зажмурившись, не старайтесь понять то, что вас окружает, не отрекайтесь от ваших обычных и надежных средств информации или, что еще хуже, не пытайтесь читать между строк — расшифровывать сообщения. Правильно сказал один мудрец: in mass media stat virtus [1].

Передо мной печальный пример глупой Мэри: она дорого заплатила за соприкосновение со слишком autre [2], хотя и любопытнейшей действительностью.

В гостинице Мэри продолжала бушевать, срывала с окон портьеры, била об пол безделушки и прочие предметы. Старуха совсем

[1] Добродетель — в средствах массовой информации *(лат.)*.
[2] Другой *(франц.)*.

спятила, на нее жалко было смотреть, и, хоть она сама настояла на том, чтобы участвовать в проклятой демонстрации, я чувствовал себя перед ней виноватым. Чтобы как-то разрядить атмосферу, я сказал, что все эти буржуазные революционерки-феминистки вместе взятые не стоят ее мизинца, но Мэри закатила истерику. Оскалив два ряда ровных скрежещущих зубов, она потребовала, чтобы я, вонючий боров, ее выслушал. Какого черта, говорю, тебе надо, наглотайся своих снотворных и угомонись. Но эта курва вдруг заявляет, что наступил момент истины, а посему-де ей захотелось родить ребенка. Я, чтобы не упасть, был вынужден ухватиться за бутылку бренди. Не помогло. Проклиная день и час, когда мне взбрело на ум взять с собой эту идиотку в Италию, я хладнокровно подытожил факты. Во-первых, Мэри постоянно применяет противозачаточные средства, мысль о ребенке всегда вызывала у нее отвращение. Во-вторых, наши интимные отношения носят весьма нерегулярный и безрезультатный характер, потому что Джо бывает активен только во время случайных встреч. В-третьих, мы, по ряду причин, не женаты.

Теперь она требует, чтобы я развелся и женился на ней. Она хочет нерасторжимого брака, брачного союза до гробовой доски, такого же, какого снова, после недолгой паузы, когда был робко разрешен развод, добились для себя эти дикари итальянцы. Я спокойно отвечаю, что ее придурковатый психоаналитик сейчас за тридевять земель и что, следовательно, ей придется... Она отвечает, что плевать ей на психоаналитика, что она не хотела выходить замуж исключительно из-за этого дамоклова меча — развода, только я, идиот, этого не понимал.

— Прекрати реветь, б...! — прикрикнул я на нее.

— Проклятый эгоист! — завопила в ответ Мэри и стала меня убеждать, что, если после всего того, что было, мы еще будем вместе, она ни за что не позволит мне мыть посуду.— Обещай, поклянись, что ты больше не будешь этого делать!

Черт бы их подрал, этих толстозадых римских революционерок! До чего, свиньи, довели бедную Мэри... Совершенно подорвали ее психоаффектную систему, ее передовую сексософию. Заладила одно: хочу иметь детей, уж как-нибудь найду, кто мне в этом деле поможет...

Того гляди, постучат в дверь, потребуют: прекратите галдеж, совсем распоясались! Мы действительно внесли слишком большой оживляж в жизнь этого занюханного отеля-пантеона. Если кто-нибудь сунется, придется врезать кроше левой согнутой и подкрепить хуком справа — это мой излюбленный прием... Так оно и случилось. Постучавший в дверь официант сразу — с копыт, рта открыть не успел.

Зареванная и почему-то очень возбужденная Мэри сказала, что когда я такой, я ей нравлюсь.

Истинный мужчина — только тот, кто в состоянии положить на лопатки другого мужчину, согласен. Но эта сука начинает раздеваться... Я говорю: не надо, Мэри, отвяжись, лучше ударь меня, закричи... Не выводи меня из терпения! Ах, так, ты не хочешь?! Вы знаете, чем такие сцены кончаются, у вас наверняка тоже есть кое-какой опыт на сей счет... Пришлось-таки добрую Мэри отколошматить. Хорошая взбучка — единственный способ привести ее в равновесие, помочь восстановить нарушенные мыслительные и эросенсибильные связи.

На следующий день, поздно утром, меня разбудило завывание сотен автомобильных гудков. Черт их знает, что там происходит... Мэри, покрытая одними синяками, спит.

Два здоровых фонаря красуются и на физиономии официанта, который принес мне завтрак. Я спросил, откуда они у него; он уверяет, что это я ему поставил накануне вечером, когда он позволил

себе прийти с сообщением, что начались выборы главы государства.

Постой, постой, вчера вечером? Не иначе как этот мерзавец меня разыгрывает. Впрочем, похоже, что он не врет: я слышу звон колоколов, возвещающий об избрании президента. Хорошо еще, что они там без меня не реставрировали монархию... Ничего себе прокол, дорогой Джо, ничего себе накладочка... И все из-за этой гадюки Мэри! Как видите, откровенность моя, дорогие мои обманутые читатели, граничит с мазохизмом.

А я-то рассчитывал проинтервьюировать несколько избирателей, выявить настроение масс:

«Ты доволен новым президентом?»

«Конечно, сударь».

«Ты за него голосовал?»

«Нет, сударь, я был на работе».

Выборы были назначены на вечер, чтобы, за редкими вынужденными исключениями, проголосовать могли все работающие. С другой стороны, введено твердое правило: воскресный отдых — святая святых, и никакие обязанности, вменяемые грязной политикой, не должны его омрачать; использовать его рекомендуется исключительно для поездок за город и восстановления работоспособности. Выборы были проведены экспромтом, по вполне понятным соображениям, продиктованным заботой об общественном порядке. Эта ставка на охрану демократии в ходе развернувшихся в правительстве широких прений взяла верх над другими, откровенно реакционными установками; сторонники так называемого «меритократического тезиса» хотели ограничить право голоса образовательным цензом — позволить голосовать лишь людям с законченным средним образованием; сторонники «экономикратического тезиса» предлагали дать право голоса только лицам, чей облагаемый налогами доход превышает пять миллионов лир.

Эти запросто сообщенные мне официантом сведения опровергают измышления подрывной пропаганды, пытающейся изобразить установившийся в результате революции режим как автократический и узкопартийный. Придерживаясь метода прений и культурного столкновения идей, в обстановке политической стабильности и порядка буржуазная революция смело и энергично идет вперед.

Автомобильные гудки отмечают еще два обстоятельства, имеющих большое значение для народа: с сегодняшнего дня наполовину снижена цена на отечественную малолитражку; отныне автомобиль будет считаться общественным транспортом, поэтому его можно будет приобретать в рассрочку на весьма выгодных условиях. Кроме того, минимальный возраст для получения водительских прав снижен до двенадцати лет, что будет в большой мере содействовать самостоятельности учащихся средних школ. Предусмотрено также резкое падение индекса несчастных случаев: поскольку автомобили теперь двигаться не будут, то садиться в них (памятуя об интересах нефтяных компаний) можно будет только для того, чтобы включить мотор.

Уже из этих немногих примеров вытекает, что экономика явно идет в гору; рабочие, например, угомонились и дают возможность предпринимателям спокойно трудиться во имя высших интересов отечества. Крупные достижения новой центрально-южной республики, рожденной буржуазной революцией, неизбежно послужат путеводной звездой для беспокойных северных областей, убедят их пойти по тому же пути упорядоченного прогресса.

На площади Венеции море людей, море безбрежное, грязное и дурно пахнущее. (У каждой революции свой запах, эта же воняет — не продохнуть.) Больше всех волнуются оптовые торговцы, владельцы

магазинов, сфера обслуживания, крупные и мелкие предприниматели, государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, лица свободных профессий, кадровые военные и военнослужащие, вышедшие в запас, люди, живущие случайными заработками,— словом, под реющими над толпой беспартийными знаменами ликует, если не считать женщин, почти весь Рим.

Вот выходит на балкон президент. Это он! Куда же запропастилась Мэри с фотоаппаратом? Здесь, когда раздаются взрывы, никогда не знаешь, что это — хлопушки или бомбы. Но факт остается фактом, ребята, что вдруг голова президента — фьють! — и покатилась бейсбольным мячом к Капитолию.

Цельтесь в двубортный

Вот ведь сукины дети: буржуазный строй им поперек горла — посмели нанести удар на самом высшем уровне! Я своими глазами видел, как они с холодным расчетом напрочь снесли голову высшему руководителю страны, обезглавили символ единства и национальной гармонии, олицетворение революционных, демократических устремлений!

Наступит ли когда-нибудь конец этой трагической, неуклонно ползущей вверх кривой насилия, кровопролития и преступности?

Неужто

Исстрадавшейся Италии, рабыне,
Жить вечно в страхе
Пред резиновой дубинкой?!

Однако надо признать: здесь тоже постепенно внедряется наш способ делать политику. На нас равняются, ребята! С технической точки зрения операция проведена безукоризненно. Автор заслуживает всяческих похвал. Однако кто он, так и неизвестно: убийца не только не арестован, но даже не опознан.

Силы подавления соблюдают спокойствие, твердость и сдержанность. Вот что сказал мне один из тех, кто ведет расследование (он пожелал сохранить инкогнито):

— Расследование преступления, видимо, будет длительным и сложным, однако акт возмездия мы предполагаем совершить сегодня же.

— То есть как, черт возьми?!

— А так: расстреляем определенное количество политических заключенных, пропорционально численности каждой из групп, составляющих красную левую.

— Но...

— Их объективное соучастие неоспоримо.

— Значит, вы считаете, что напали на след?

— След может быть только красным.

— Предполагается контрреволюционный заговор?

— Вы ведь иностранец, дорогой друг! От какой вы газеты?

Я с лету понял, куда он гнет, и даю ему немного денег. Расследователь сует деньги в карман и, оглянувшись по сторонам, таинственно сообщает, что убийство президента — наверняка дело рук красных заговорщиков-подпольщиков. Подумаешь, открытие! Но он дает мне знак выслушать его до конца. Правительство распустит слух — кстати, было бы неплохо, если бы я довел его до сведения своих читателей,— о том, что президента убили буржуазные ультра — скажем, крупные помещики.

Минуточку, дайте разобраться: ведь революция привела к власти правых, не так ли? Но оказывается, справа всегда есть место для другой, еще более правой, иначе говоря, правое политическое пространство практически неограничено. Хорошо, но какой смысл возлагать ответственность за убийство президента на ультраправых?

Расследователь качает головой, вздыхает, не может скрыть иронической улыбки:

— Таким образом мы отдаем должное их террористическим устремлениям, успокаиваем их и подрываем позиции подлинных организаторов убийства, то есть красных подпольщиков: чтобы доказать факт своего существования, они будут вынуждены снова себя обнаружить, совершить новые покушения. Все это вызовет страх и соответствующую реакцию со стороны большинства революционеров, то есть умеренной правой, не совсем точно именуемой центром. Контрудар, естественно, обрушится на левых, революция еще более поправеет, а ультраправые окажутся у нас в руках. Здорово придумано? В политике из всего надо извлекать выгоду, дорогуша («Журналист ты мой хреновый»,— чуть не сказал он).

Тогда, спрашивается, зачем пытаться выявить истину, гоняться за подлинными виновниками убийства?

Я решил поставить на Мэри крест и не обращать внимания на ее исчезновения; если ее снова арестовали, так ей и надо. Но, оторвавшись от вечерней газеты, в которой я безуспешно искал сообщение о зверском убийстве президента, я увидел, что старуха Мэри как ни в чем не бывало сидит в холле: отсутствие ее длилось всего одни сутки. Не успел я обрадоваться, как она встала и направилась к выходу — лишь незаметно обернулась, желая убедиться, что я следую за ней.

Мы взяли такси, выйдя из такси, пошли пешком, потом сели на автобус и доехали до конечной остановки.

— Послушай, Мэри, не будь ты знаешь кем... Сколько можно?!

Но она знаком дала мне понять, чтобы я не задавал вопросов. После бессмысленных многочасовых блужданий мы вдруг набрели на какой-то автомобиль; ключ торчал в замке зажигания; Мэри села за руль.

Стемнело. Я спокойно заметил, что мне еще надо поспеть на коктейль, который устраивается после вернисажа, и накропать статью, но эта кретинка сказала, чтобы я не дурил себе голову:

— Какую очередную чушь ты собираешься сообщать своим легковерным читателям?

Э, нет, красотка! Меня можешь поносить как угодно,— я знаю, ты считаешь, что мне это полезно, подстегивает,— но своих читателей я тебе в обиду не дам!

Старуха Мэри гонит нашу жестянку на предельной скорости и твердит одно: чтобы я перестал идиотничать, что я должен целовать ей ноги, неблагодарный!

Под покровом темноты плачевные результаты строительных афер выглядят не так вопиюще. Где-то в районе Кастелли Романи мы подъезжаем к богатой вилле; нас там ждут несколько внушительного вида господ; с Мэри они здороваются по-свойски.

Вы уже догадались: это заговорщики-подпольщики.

Меня мороз подрал по коже, когда я усаживался в качестве почетного гостя на диван стоимостью в два миллиона лир. В голове вертелась неотступная мысль: это они сварганили убийство президента.

Долго никто не решался открыть рот. Наконец один — интеллигентного вида, в очках с золотой оправой, волосы подстрижены ежи-

ком — сказал мне, что убийство президента дело рук правых ультра. (Ну да, инициаторы — несколько крупных помещиков.) Но что они, заговорщики-подпольщики, предпочитают взять вину на себя — так вы в своей газете, пожалуйста, и напишите.

— Дьявол всемогущий! — не выдержал я.— Но ведь это значит самим себя кастрировать!

Мой собеседник попросил продажное перо на службе капитала не прерывать его. А эта сводня Мэри сидит себе и посмеивается.

Затем другой, с усиками, начал мне терпеливо растолковывать: ультра, почувствовав, что у них украли убийство, рассвирепеют и, желая показать, как они сильны и активны, укокошат еще кого-нибудь. Все это вызовет страх и соответствующую реакцию со стороны большинства умеренных, правых, тех, кто занял позицию в центре...

Я уже приготовился услышать, что реакция обрушит удар на левых... Так и есть:

— Левые воспрянут духом, сорганизуются и пойдут в контрнаступление.

Понятно? Теперь мне бы хотелось выяснить, какой идеологией руководствуются эти политические деятели в подполье, к чему они зовут.

— Мы лишились последних надежд,— заявил очкарик.

— Мы начинаем с самой первобытной фазы политической борьбы, поэтому мы и возражаем против того, чтобы нас называли красными,— добавил другой, с усиками.

Тут я обнаружил присутствие молодой дамы, начисто лишенной вторичных половых признаков и подстриженной под мальчика. Она утверждает:

— Мы и не клерикалы, и не антиклерикалы.

— Ага, понял: вы троцкисты. Нет, ревизионисты. Нет, маоисты.

— Политически эти определения лишены смысла,— говорит молодая дама, которая, само собой разумеется, курит длиннющие сигареты.— Единственное кредо в данный момент — это философия, наука, опирающаяся на достоверные данные, на цифры.

— Наши враги — все, кто фигурирует в списках налогоплательщиков. Ошибки быть не может, у нас в руках самые последние данные,— говорит очкарик.— Ликвидировав налогоплательщиков — сначала в нисходящем порядке, а затем, дополнительно, по особым признакам,— мы решим все проблемы.

— А если в списке налогоплательщиков числятся и ваши имена? — рискнул спросить я.

— К сожалению, так оно и есть,— мрачно отозвался господин с усиками. Он вытер со лба капельки пота и продолжал: — Когда наступит наш черед, мы покончим с собой или уедем в Швейцарию.

— Я буду первым,— посетовал очкарик.— К несчастью, из всех това... из всех коллег у меня самые высокие доходы.

— А когда вы приступите к выполнению этого плана?

— От нас требовалось его разработать и переписать списки, на то мы и налогософы, а уж осуществлять его будет рабочий кл... те, кто подоходного налога не платит. Понятно? — ледяным тоном пояснила молодая дама.

Наконец заговорил и четвертый подпольщик, лысый:

— Буржуй буржуя не съест. В крайнем случае пустит себе пулю в лоб, и точка.

Можно не разделять этих взглядов, но уважения они заслуживают. Ведь если разобраться, передо мной вполне нормальные люди, даже не наркоманы.

Виллу мы покидаем на рассвете. Мэри опять за рулем; молчит,

ни слова — из уважения к глубокому раздумью, в которое погружен ваш Джо.

Мы проезжаем мимо огромного промышленного комбината; это новый автомобильный завод, выпускающий сверхэкономичную отечественную малолитражку последней марки. Гигант, освещаемый зловещими прожекторами лагерного типа и вспышками серного пламени, работает на полную мощность. Надо иметь могучую хватку какого-нибудь Диккенса, чтобы суметь передать, как это поэтично. Возле проходной скопление черных муравьев — чернорабочих; они расступаются, чтобы пропустить служащих, инженеров и техников, квалифицированных рабочих — словом, заводскую аристократию, мозг предприятия. После того как привилегированные проходят, конвейерное мясо — чернорабочие — снова смыкаются, образуют компактную массу. Здесь кипят профсоюзные страсти, идет торг. Заводской босс выдвигает предложение, бригадиры-подрядчики, торгующие мышечной рабочей силой, наперебой выдвигают свое, как на аукционе: кто меньше. Когда, наконец, условия кажутся боссу подходящими, он объявляет референдум, чтобы демократическим путем решить, согласны ли работяги с предложением предприятия. Бригадиры сговариваются заранее, поэтому референдум всегда дает утвердительный ответ. Вахтеры отпирают ворота и впускают отобранных рабочих — обычно тех, кто помоложе и повиднее. Прочие остаются за воротами — ждать следующего аукциона. Когда он состоится, неизвестно,— во всяком случае не раньше, чем нанятых рабочих измотают сверхурочные, измытарит сдельщина, пока девять десятых не выйдут из строя в результате несчастных случаев.

Вот как обстоит дело на свободном рынке труда, как заключаются свободные трудовые соглашения на предприятии, которое не подвержено политическим встряскам.

Бригадиры-подрядчики не расходятся — дожидаются мзды от тех, кто пошел работать. В былые времена они занимались сутенерством, но сутенерство — ремесло опасное и неблагородное. То ли дело теперь, под крылышком у профсоюза; профессиональный статус их вполне пристоен, а главное узаконен. На этом примере мы видим, что революционная профилактика преступности проводится неустанно и — в самых неожиданных формах.

Я подхожу к пожилому бригадиру; от прежней профессии головореза-мафиозо у него остался лишь пистолет на боку. Дяденька оказался разговорчивым и сразу начал превозносить успехи отечественной промышленности, которые, по его словам, сулят в ближайшем будущем новое экономическое чудо. Особенно важным он считает намерение крупных предприятий передвигаться к югу, навстречу огромной почти нетронутой массе рабочих рук, готовых работать, не предъявляя нелепых экономических и политических требований; единственное, чего они хотят, это содействовать политике, цель которой — увеличение прибылей. Безработица, конечно, еще есть, но это на пользу дела: если ее поддерживать как локальное явление, она тонизирует рынок труда, рождает дух соревнования и убирает с дороги неспособных и слабых.

Я интересуюсь положением рабочих:

— Какое у рабочего может быть положение? Работать тяжело, так было, есть и будет. Хочешь прокормиться, вкалывай, харкай кровью — и все дела.

От этих простых слов на меня повеяло извечной покорностью рабочего класса, сознающего, что на его крепких плечах лежит весь груз прогресса. Эти суровые люди иной раз ропщут, даже матерятся

но, сжав зубы, до конца выполняют свой долг. Они знают, что цепи, приковывающие их к проклятому труду, это цена, которую надо платить за то, чтобы их свободная и сильная родина процветала, чтобы тем, кого избрали депутатами парламента, кому надо думать и решать, был обеспечен вольный полет мысли и главное, чтобы капиталы использовались производительнее, а не уходили бы на рулетку, женщин и шампанское.

— Почему предприниматели любят говорить, что они рискуют своими капиталами? — спросила Мэри, когда мы снова тронулись в путь.

— Потому что они всегда рискуют потерпеть крах и разориться.

— А нельзя ли попытаться избавить их от этого риска? Запретить ставить под угрозу свое состояние? С азартными играми, по-моему, давно пора кончать. Нравственность от этого только бы выиграла, а?

Попробуйте ответить ей вы.

В гостинице меня ждала записка из канцелярии президента (Второй) республики. Глава государства соблаговолил удовлетворить мою просьбу об интервью, для чего он готов принять меня в своей личной резиденции.

Как! — воскликнете вы. Разве его не разорвало на части чудовищным взрывом бомбы? Тот же вопрос задал себе и я, ребята.

Что вы хотите, мы — простые люди

Принявший меня породистый мужчина оказался точной копией покойного президента, погибшего от руки неизвестного убийцы. Одно лицо, провались я на этом месте! Высокопоставленные представители буржуазной власти похожи друг на друга как две капли воды — можно подумать, что при нынешней системе их просто штампуют. Очевидно, эра выдающихся лидеров, по крайней мере в этой завалящей стране, отошла в прошлое; дарованные небом вожди-златоусты, политики крупного калибра, способные олицетворять собой освободительные идеи или трагические, злодейские мифы, окончательно перевелись.

Собеседник мой лишен обаяния, он отнюдь не яркая личность. Говорят, что он не оратор, не мастак придумывать лозунги и боевые кличи и, помимо всего прочего, он — рогоносец. Это всего-навсего человекообразный и жизнестойкий агрегат, отражающий современное состояние итальянской буржуазии.

Президент в темном костюме, при галстуке.

Он ведет меня к своему столу — рабочему месту мыслителя. Проходя мимо персонального алтаря, опускается на колени и произносит несколько слов молитвы. Сейчас я вам объясню почему: первейшая отличительная черта и первооснова президентской породы, независимо от того, соблюдает ли президент церковные обряды или нет, это то, что он религиозен. Сие необходимо, так как злая воля в политике всегда должна проистекать от злой воли божественного провидения, которое испокон веков славится переменчивостью своих настроений и капризами.

Тут я должен вас по-честному, в духе Мандзони, предупредить: дальше началось такое, что еще немного — и старухе Мэри бы несдобровать.

Я вас знаю, на политику вам начхать — проголосовали и с плеч долой. А посему смотрите себе телевизор, встретимся во время следующего раунда. Важно одно: чтобы вы не меняли газету (вы сами знаете, что это ничего не даст).

Во время интервью, которое я вынужден добросовестно воспроизвести, президент с застывшей на губах, натянутой улыбкой беспрерывно гладил темноволосые головки своих детишек. Прежде всего он поинтересовался, сколько детей у меня, сказал, что он восхищается моей страной, несмотря на то, что у нас разрешен развод, и спросил, сколько у меня было жен. Всего одна? Он пришел в такой восторг, что, поддавшись внезапному порыву, поцеловал мне руку и попросил написать, сообщить моим умным читателям, что революция в Италии получилась как раз такая, какую хотела и планировала секретная служба моей великой родины.

— Желательно, чтобы наша политика, в полном ее объеме, вписалась в политику международную,— сказал он и торжественно добавил: — Клянусь, что Италия сохранит верность своему суверену. Наши настроения созвучны реакционному движению, охватившему Западную Европу. Именно в этом плане нам рисуется европейское единство.

— На какую именно модель реакции ориентируется ваша революция?

— Во всяком случае, не на голлизм, не на черных полковников, не на франкизм, не на салазаризм и даже не на фашизм. Мы берем лучшее от каждого из этих движений. Пишите, пишите... и подчеркните, что в Италии, во всяком случае в той ее части, которая находится под нашим контролем, ничего нового не произошло. Мы говорим одно: дайте нам спокойно работать. Мы, буржуазия, клерикалы и не клерикалы, ведем ту же политику, к какой мы приступили тридцать лет тому назад, точнее — в прошлом веке, когда мы добились объединения Италии, и даже раньше; мы хотим гарантировать стране спокойный сон в атмосфере строгой демократии. Сказать, что мы пошли по правому или по фашистскому пути, это провокация, которую мы гневно отвергаем; вот если вы скажете, что фашизм у буржуазии в крови,— это совсем другое дело. Но — не будем об этом... Кроме как у нескольких студентов, вы не увидите у нас ни фашистских эмблем, ни черных рубашек, ни резиновых дубинок. Разумеется, фашисты пользуются теми же правами, что и другие граждане,— они такие же итальянцы, как мы все! К тому же они, несомненно, патриоты — любят свою родину и готовы в любой момент встать за нее грудью. Они у нас нынче пионеры, вызвались — и с каким энтузиазмом, совсем как когда-то, вы меня понимаете? — насаждать цивилизацию на юге!

— Разве иного выхода, как изменить существовавший порядок, у вас не было? Отвечайте же!

— Когда это мы меняли существующий порядок? Кто вам сказал? Мы — гаранты существующих установлений. Но, простите, они не должны превращаться в смирительную рубашку, сковывать лучшие силы страны. Да, мы вносим изменения в конституцию. Старая конституция — она прекрасна, слов нет! — но оказалось, что для такой страны, как наша, она слишком вырвалась вперед. Каким образом привести в соответствие передовую конституцию с отсталой страной? Осадив назад конституцию. Помимо всего прочего, это ведь проще, не так ли?

— Каковы главные поправки, которые вы намереваетесь внести в государственное устройство?

— Сейчас скажу: урезать права парламента, чтобы покончить с таким злом, как «партикратия» и «волокитократия» — засилье партий и волокиты, расширить права представителей закона. Гражданские права должны быть пропорциональны весу гражданина в обществе — будет больше порядка, больше уважения к властям и государству, а главное, произойдет качественное наращивание демократии.

В последние годы мы слишком уж размахнулись, надо быть экономнее, зарезервировать самые высокие нормы демократии для тех граждан, которые в состоянии извлекать из нее конкретную пользу. Таковы основные задачи революции... В сущности, какая это революция? Друг мой, мы всего-навсего восстановили порядок, социальный мир и целостность системы. Но так уж, к сожалению, повелось: если не назовешь себя революционером, политического капитала не приобретешь. Почему бы и вам, в вашей стране, простите за нескромный вопрос, не провернуть такую же революцию, как наша?

— Для нас это не актуально. У нас хлопот с рабочими мало, совсем мало.

— Да, у вас работяги приученные, настоящие волы. Ваши предприниматели горя не знают...

— Ну, а какие причины, вкратце, развязали революцию?

— В политическом плане пришлось привести в чувство подрывной красный экстремизм — нам это было больно, потому что, в сущности, породила его наша же собственная политика. Но зато второе наше детище, черное, мы уберегли. На волне энтузиазма, коль на то пошло, обработали более вредный участок — красную левую. Кстати, операция еще не завершена. В экономическом плане мы потеснили рабочих и профсоюзы; эта публика слишком много о себе возомнила.

— Каковы будут отличительные черты правительства, которое придет на смену теперешнему — временному и, поскольку оно не опирается на большинство, незаконному?

— Судьбе — она, как известно, циник и мошенник — было угодно ослабить большинство определенно демократических партий...

— Но кому, черт возьми, дано право определять, кто демократ, а кто нет?

— Как кому? Нам! Кому же еще? Демократ только тот, кто действует по-нашему. Мы рассчитываем, что на основе парламентских выборов создастся солидное демократическое большинство. Будущее правительство продолжит линию прежних правительств, иначе говоря, будет придерживаться практики непререкаемого демократического централизма с креном вправо, в сторону его верных слуг, тоже, конечно, демократов, но готовых на все, и с неусыпным вниманием к левым, дабы иметь возможность добиваться равновесия и им соответственно манипулировать. Это будет правительство, ограниченное определенными демократическими рамками, в пределах которых окажутся все подлинно реформаторские и одновременно притормаживающие силы. Самое же важное — то, что оно будет стабильным, прочным и однородным по отношению к истинно централистской политике, доходящей в своей неповоротливости до инертности.

Дабы не формировать двусмысленных смешанных комиссий из представителей большинства и оппозиции и не ввязываться в реформы, которые, как правило, следует откладывать, мы пока эту последнюю, то есть оппозицию, нейтрализовали. С другой стороны, сами посудите: зачем нужна оппозиция, если все, что она предлагает, должно быть отвергнуто? Лучше пусть вовсе не путается под ногами, не так ли?

Результаты выборов нас несомненно порадуют, в противном случае будем гонять народ к урнам до тех пор, пока он не даст нам картбланш, так сказать вексель на предъявителя, который, впрочем, нам и без того полагается. Мы хотим править без помех.

— А какова ваша программа?

— Прежде всего реформы, которые постепенно... не будут проводиться, если они затрагивают чьи-либо законные интересы. Денационализация всех государственных предприятий, подлинная полити-

ка увеличения крупных доходов; вытекающее отсюда самоограничение заработков и регулирование права на забастовку, новое увеличение объема производства, основанное на снижении стоимости рабочих рук, развитие потребления предметов не первой необходимости и сдерживание социальных капиталовложений. Моральная поддержка средних слоев, так называемого «молчаливого большинства»: надо помочь среднему буржуа стать классическим образцом благонамеренного гражданина; в сущности, у итальянцев — врожденное стремление стать средним слоем. Затем неуклонное увеличение числа акционеров из народа, чтобы все могли почувствовать себя капиталистами. Школу надо передать попечительским советам, куда войдут служители церкви, педагоги и предприниматели; число университетских студентов ограничить; здравоохранение передать в ведение врачей; областную автономию ослабить; закон о выборах в органы местного самоуправления видоизменить в направлении мажоритарной системы. Дать больше прав силам порядка и армии.

Как вы имели возможность убедиться, программа обширнейшая; чтобы ее осуществить, понадобятся годы и годы. В конце концов — я вам уже говорил — не прошло и тридцати лет с тех пор, как мы у власти.

— Каковы будут ваши отношения с левыми?

— С марксистами, разумеется, диалог, но только в тюрьме, в помещении для свиданий. Шутки в сторону, напишите, что мы позволим воссоздать лагерь левых сил, однако при условии, что он будет поистине демократическим и взаимозаменяемым по отношению к правым.

— Очень хорошо. Что вы намереваетесь сделать в области культуры?

— Перефразируя известное высказывание, отвечу вам, что, когда при мне речь заходит о культуре, я хватаюсь за кошелек.

По поводу средств информации он ответил так:

— Печать надо оберегать, а ее незаменимую работу гарантировать. Все газеты будут финансироваться правительством, оно же будет ими руководить. Мы, политические деятели — демократы, обязаны взять выполнение этой общественной функции на себя; предприниматели устали гробить деньги на это сомнительное дело. Высвободившиеся капиталы будут вложены в частные радиотелевизионные компании, к вящему удовольствию радиослушателей и телезрителей, которые получат в свое распоряжение множество соответствующим образом настроенных каналов.

— Ваш любимый девиз?

— Бог и плебс.

— Ваше суждение о свободе?

— Свобода — это благо, которое надо отстаивать и ревностно охранять. В этой связи я часто и с удовлетворением вспоминаю впечатление, создающееся о вашей стране, бесспорном эталоне свободы, у иностранца, который захотел посетить эту обетованную землю и заполняет для получения въездной визы анкету. Впечатление лучезарное и благодаря такому признаку, как грубая и унизительная дискриминация, вполне четкое. О, эти три вопросика, на которые может ответить даже ребенок!

Президент уверяет, что они выгравированы золотыми буквами в требнике его памяти, и растроганно справляется, не хочу ли я вместе с ним просмаковать их еще раз, декламируя вслух, как «Отче наш»:

1. Являетесь ли вы, или являлись в прошлом, членом организации или группы, которая проповедует, поддерживает или распространяет

доктрину, ставящую своей целью ниспровержение, с помощью силы или насилия, законного правительства или любого другого законного установления, убийство лиц, находящихся на государственной службе, или противозаконное уничтожение собственности?

Отвечать хором: да или нет.

2. Являетесь ли вы, или являлись в прошлом, сторонником или членом коммунистической партии или иной организации, с ней связанной?

Отвечать хором: да или нет.

3. Являетесь ли вы, или являлись в прошлом, членом какой-либо организации, конфедерации, федерации, ассоциации политического, профсоюзного, культурного или иного характера, связанной с коммунистической партией или каким-либо образом ею контролируемой?

Отвечать хором: да или нет.

О повести Джузеппе Д'Агаты

Среди многочисленных острых проблем современной международной политики одна из наиболее сложных и интересных — это проблема будущего Италии. Без преувеличения можно сказать, что на протяжении всего послевоенного периода положение в этой стране постоянно привлекало внимание политиков, историков, литераторов, ибо за эти годы Италия не раз являлась ареной серьезных политических кризисов и конфликтов. Достаточно вспомнить хотя бы о том, как в 1947 году под давлением американцев коммунисты и социалисты были исключены из правительства, или о бурных выступлениях демократических сил страны против мошеннического избирательного закона, который в 1953 году главная партия буржуазии — христианско-демократическая — стремилась протащить в целях обеспечения себе большинства в парламенте, не говоря уже о веренице заговоров, провокаций, террористических актов, с помощью которых реакционные силы пытались подорвать в стране демократический и конституционный строй. Вместе с тем на протяжении всех послевоенных лет в стране медленно, но неуклонно разворачивался процесс поляризации сил вокруг двух основных партий — коммунистической и демократической.

Сложные ситуации возникали довольно часто за последние годы в Италии. Особую остроту они приобрели с начала 70-х годов, когда правящие круги страны все чаще стали прибегать к форсированным решениям наиболее сложных вопросов: к внеочередным парламентским выборам, к референдумам, к открытым антикоммунистическим кампаниям. В условиях, когда реакционные силы намеренно создают атмосферу напряженности и беспорядки, легко могло сложиться впечатление, что страна находится накануне каких-то чрезвычайных событий, способных дать перевес тому или другому лагерю.

В обстановке определенного равновесия политических сил и появляется в 1974 году сатирическая повесть прогрессивного итальянского писателя Д'Агаты «Четверо повешенных на пьяцца дель Пополо», отрывок из которой публикуется в данном номере журнала. По своей форме книга Д'Агаты относится скорее к жанру политического гротеска, чем к футурологическим произведениям, стремящимся с той или иной долей достоверности провидеть будущее. Автор намеренно заостряет ситуацию, концентрирует внимание на необычном, воображаемом.

Вместе с тем, изображая будущее своей страны, писатель черпает материал в современности. Строго говоря, повесть Д'Агаты обращена не в будущее, а в настоящее. Это чувствуется на каждой странице. Вспомним, например, как рассуждает герой книги, «писатель с мировым именем» американский журналист Джо об отношениях между США и Италией. «Италия,— говорит он,— это наша колония». Конечно, Италия— это далеко не колония США, но ведь повесть Д'Агаты — это гротеск, а по законам гротеска подобное обобщение сразу же воскрешает в памяти и вмешательство американцев в дела Италии во времена плана Маршалла, и недавнюю договоренность США, ФРГ, Франции и Англии прибегнуть к мерам экономического давления на Италию, если коммунисты войдут в правительство, и много других подобных фактов.

«Политика — грязное дело»,— заявляет герой книги. Для него нет ничего хуже, чем «копаться в этой помойке». Это и понятно, ибо речь идет о выгребной яме буржу-

азной политики, о делах буржуазии, которой в Италии принадлежит «первейшая и реальная власть — власть экономическая». Результаты этой политики красочно проиллюстрированы на страницах повести. Возьмем, к примеру, описание политической тюрьмы, которую посещает Джо. Здесь, как мы помним, он попадает к ее начальнику, пожилому мужчине «с военной выправкой, которая приобретается годами». Из разговора с ним выясняется, что это бывший фашист, которого «со всеми почестями» оставили на прежней работе. В известной мере это преувеличение, но лишь в известной мере. Достаточно вспомнить, как развивались события в Италии после освобождения от фашизма. Вспомним, какие трудности встретила на своем пути политика первого премьер-министра послевоенной Италии, человека кристальной чистоты и преданности идеалам борцов-антифашистов Ферруччо Парри, стремившегося провести чистку государственного аппарата от фашистских элементов. Саботаж чистки со стороны консервативных сил на местах приводил в 40—50-е годы в Италии к массовому протесту со стороны трудящихся масс и к вмешательству союзной военной администрации, подавлявшей народную инициативу. Не случайно в эти годы реакционные круги Италии торопятся упразднить как можно скорее Верховный комиссариат по чистке государственного аппарата от фашистских элементов. Логическим следствием всего этого явилось создание в конце 1946 г. неофашистской партии — Итальянское социальное движение, ядро которой составили прежние чернорубашечники, принявшие вопреки конституции активное участие в политической жизни страны и получившие доступ ко многим важным рычагам государственной власти.

Или другой пример. В той же тюрьме на глазах у Джо с верхнего этажа падает человек. Однако начальник и бровью не повел.

«— Это беспартийный экстремист,— объяснил он.—...Заключенные этого типа охотно идут на летные эксперименты...»

За этим эпизодом также стоит известный факт из недавней политической хроники Италии. Анархист Пинелли был выброшен из окна тюрьмы в Милане полицейскими, объяснявшими затем его падение почти такой же «любовью заключенного к летным экспериментам».

Читая книгу Д'Агаты, следует, однако, иметь в виду, что, высмеивая многие отрицательные явления современной политической жизни на Западе, писатель намеренно сгущает краски, переходя от гротеска к карикатуре. Так, видимо, получилось с описанием движения феминисток. Бичуя его крайности, вульгарность и мелкобуржуазность отдельных его проявлений, писатель забывает о том, что это движение, приобретающее в настоящее время большую массовость и широту, выдвигает также ряд прогрессивных требований, например, равной оплаты за равный труд, социальных прав для женщин в области образования, здравоохранения и т. д.

Некоторые вопросы, нашедшие отражение в книге Д'Агаты, разрешены самой жизнью. Так, вопрос о разводе, имеющий в Италии большое принципиальное значение, ибо он связан с протестом против вековой традиции подчинения общества церкви, был разрешен положительно в ходе состоявшегося в 1974 году общенационального референдума.

Книга Д'Агаты — это сатира не только на буржуазную Италию, но и на Америку. Через восприятие Джо и его любовницы Мэри автор часто сопоставляет положение дел в Италии и Америке — «оплоте демократии». Весьма часто такое сопоставление даже с современной Италией оказывается не в пользу США. «Наши (то есть американские) партии,— говорит Джо,— настолько политически однородны, что, даже голосуя с закрытыми глазами, наугад, за ту или за другую, ничем не рискуешь — опрометчивого или безответственного шага при всем желании не совершишь». Эти слова Джо особенно злободневны сегодня, когда пресса сообщила, какие трудности приходится преодолевать американским коммунистам, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.

Надо сказать, что Д'Агата ради красного словца готов порой, как говорится, не пощадить и родного отца. Его ирония одинакова как в адрес правых, так и левых сил. Это объясняется, видимо, намерением автора дать образ эдакого разухабистого, беспринципного журналиста-янки. Язык, которым Джо пишет свои корреспонденции,— не язык американского журналиста и поэтому звучит не всегда убедительно. В этом, пожалуй, одна из неудач автора.

Мы уже отмечали, что книга Д'Агаты была написана в период известного равновесия сил в Италии. За два истекших года в этой стране, однако, многое изменилось. В июне 1976 года на досрочных парламентских выборах христианские демократы и коммунисты получили больше половины всех голосов В результате в итальянском парламенте возникло своеобразное положение: христианские демократы, имеющие двести шестьдесят три места из шестисот тридцати в палате депутатов, не располагают большинством, но и коммунисты, получившие двести двадцать восемь мест, не имеют вместе со своими союзниками пятидесяти процентов.

Быть может, скажет читатель, это и есть та тупиковая ситуация, которую так мастерски описал Д'Агата в своей повести и которая приводит у него к воображаемому расколу страны на два враждующих лагеря?

Нет, это не так. Благодаря все возрастающему весу коммунистической партии меняется расстановка сил в политическом управлении страной. Впервые в истории Италии председателем палаты депутатов избран коммунист, представители компартии возглавили областную ассамблею на Сицилии, семь парламентских и две межпарламентских комиссии. Шестью областями Италии (из двадцати) управляют левые силы — коммунисты и социалисты. В их руках находится администрация практически всех крупных итальянских городов: Рима, Милана, Неаполя, Турина, Венеции, Флоренции, Болоньи и других.

Итальянские коммунисты борются за новое политическое руководство страной, основанное на сотрудничестве всех народных и демократических партий, в том числе и коммунистической партии. Однако отсталые и реакционные группы итальянского общества пытались и пытаются извлечь выгоду из нынешнего положения, создавшегося в стране. Этим объясняется и то, что за последние годы все чаще в Италии совершались провокации, террористические акты, фашистские налеты, предпринимались попытки подрыва демократического и конституционного строя. В стране и за ее пределами до сих пор есть немало людей и организаций, которые плетут нити черного заговора против республиканских институтов.

Именно это и показывает Д'Агата, подчеркивая неразрывную связь, существующую между итальянской буржуазией и американской.

Однако любопытно, что даже в обстановке столь беспорядочного экономического, социального и политического развития, несмотря на все попытки воспользоваться им в антидемократических целях, в Италии не произошло сдвига вправо. Напротив, позиции рабочего движения и демократии еще более окрепли. Таким образом, развитие событий в стране позволяет заключить, что главной тенденцией, которая сейчас одерживает верх в развитии, является борьба широких масс во главе с ИКП за демократическое переустройство общества, за мир, за социализм.

Г. СМИРНОВ

■

АБД АР-РАХМАН АЛЬ-ХАМИСИ

Перевод с арабского Н. ГОРСКОЙ

К советскому читателю

Неужели человеку, если он любит свою родину, на роду написано расстаться с ней навсегда?

Неужели тоска по родной стране навсегда останется его уделом?

Вот уже четыре года я нахожусь «в отъезде», отъезде вынужденном, случившемся не по моей воле. За это время я жил и в Бейруте, и в Праге, был в Париже, Берлине, Багдаде и, наконец, в Москве.

Вначале я не думал, что то, что казалось мне временным, станет в моей жизни постоянным, а то, что было постоянным и неизменным, уйдет от меня далеко-далеко. В мою жизнь прочно вошли аэродромы и гостиницы, а мой собственный дом, моя родина стали далекой мечтой.

Египет... Он, как видение, то и дело возникал передо мной все эти годы, чтобы тут же исчезнуть вновь... Призрачный, неуловимый... То он напомнит о себе какой-нибудь деталью городского пейзажа, то мелькнет в толпе прохожих черноглазой, темноволосой девушкой...

Вначале я не знал, что человек, вынужденный покинуть родину, навсегда уносит в своем сердце ее образ и постоянно — в мечтах и воспоминаниях — она будет являться ему как что-то мимолетное, неуловимое, порой даже трудно объяснимое словами — в случайном сочетании красок, в звуках, вспышке света...

Приехав в Таллин, я и здесь искал мой Египет. Но именно здесь образ родины как-то особенно упорно ускользал от меня... Я бродил по старинным, похожим на музей улицам, мощенным большими квадратными плитами, любовался старинными прекрасными зданиями, и воображение уносило меня далеко-далеко, к прошлому... Если смотреть на город с холма, Таллин похож на сосуд с разноцветными гранями, в котором эстонцы сумели донести до нас волшебный аромат старины...

Но чем дальше мое воображение уносило меня в глубь веков, тем острее становилась тоска: ну неужели же здесь, в Таллине, окруженный образами прошлого, я так и не встречусь, хоть мимолетно, с моей страной, моим Египтом?

Тоска надсадно давила грудь... Колючими уколами бил мне в лицо студеный февральский ветер, а надо мной тяжелое и бескрайнее в своей свинцовой серости висело балтийское небо... холодное... отчужденное...

Так родилась эта поэма.

Мечтой... виденьем... зарницей... ты придешь?

ПОЭМА

1

Любовь, я к тебе взываю!
В ледяном плаще из печали
Прошел я сквозь зимний Таллин,
Над Балтикой взгляд мой блуждает —
Не разомкнется ль волна седая,

Твоими губами не позовет ли меня
Туча, над гаванью проплывая.
Вся моя суть — ожиданье.
Сердце мое — добыча огня!
Прибалтийский февраль дождями
Не зальет это жадное пламя.
Явись — заклинаю! —
Мечтой... виденьем... зарницей...
В пустыне дней неужели не повторится
Хотя бы на миг твой лик —
В переплеске волны, в дожде,
В облаках, в налетающем шквале?..
...Александрия, зима...
Помнишь, сквозь ветер мы пролетали,
Как две неразлучные птицы,
И пели и о неведомом тосковали...
В Порт-Саиде — помнишь? — на побережье
Жарким цветком расцветала нежность...
Мы с луной встречались ночами,
И за нами
Катилась она колесом,
Ложилась у ног кольцом
И, скользнув по отвесным скалам,
Раздвинув пряди плюща,
Всплывала вдруг над твоим лицом,
Когда ты меня целовала,
И смеялась луна,
Серебром плеща,
И мы смеялись, ликуя...
Я запомнил тебя — такую...
Как я тоскую!
В ледяном плаще из печали
Стою посреди эстонской зимы.
Приди же, приди!.. Неужели
Никогда не встретимся мы...

2

Любимая! Ночью черной
Я шел по тропе неторной
На берег любви, заросший глухой травой,
И шептал твое имя,
И тебя выносил прибой,
Облако становилось тобой;
Губы твои улыбались,
Но слезы текли из глаз,
И я истерзанным сердцем
Осушал этот скорбный ливень;
Нежность твоя окрыляла нас,
И мы снова, подобно птицам,
Окунались в зелень долины,
В затишье волшебных рощ,
И разгоралась любовь,
И длинные алые блики
Плясали на свежих листьях...
...О, потерянный рай!..
Мы мчимся, летим,

Дороги не разбирая,—
В поисках рая.
В скалах береговых
Наши руки гнездо совьют —
Пусть торжествуют скалы,
Давшие нам приют!
Для тебя, луноликой,
Из котомки странствий моих
Хлеб тоски достаю — один на двоих,—
Преломи, запей нектаром любви.
Груди твои — два граната,
Полные аромата,—
Я прижимаю к груди.
Сердце с сердцем — в едином ритме,
В наших сердцах напевы Египта...
...Помнишь, древние эти напевы,
Зовущие вдаль напевы
В сердце твоем звучали,
В пульсе твоем стучали
На земле, где Фарус был в старину,
На земле, где открылось мне:
Ты вечно жила в Египте,
Ты навек осталась в Египте —
В бесконечной своей
Двадцатой весне.

■

Свечи горят в черноте ночей,
И умирают тела свечей,
И дотлевает фитиль,
Но улыбкой отблеск огня
Осеняет нашу любовь...
Неужели свеча бесстрашней меня?
Честней, правдивей меня?..
Родина, я клянусь тебе всем святым,—
Как молитву, клятву шепчу,—
Сердцем клянусь, дыханьем моим,
На каменных плитах в порту
Клятву кровью своей черчу:
Мы откроем двери темниц,
Где томятся твои сыновья,
И оковы, упав, рассыплются в прах!..
Радость в твоих глазах,
Вольного ветра сестра,
Ты несешь меня на простор
И сеешь зерна добра.
Захлестнуло счастье тебя,
В дикой пляске кружишься ты,
Как ладья на крутой волне,
И капкан тоски
Ослабляет тиски,
И объятья ты открываешь мне.
О родина-мать,
От чужих берегов к твоим берегам
Возвратится сын,
Припадет он к твоим ногам,

Он — частица твоей земли,
Птица твоих вершин.
И, как Нил, отдающий полям
За волной волну,
Ты щедро отдашь сыновьям
Богатства свои
И нежность свою.

■

...Свечи горят в черноте ночей,
Осеняя нашу любовь,
Пока не выпорхнет из гнезда
Розовокрылый птенец зари,
Рассыпая вокруг
Солнечные янтари.
О музыка красок!..
О радужный звук!..
И в симфонии утра
Твое лицо —
Радости лейтмотив.
Но... кругом пустота,
Я одиноко стою,
Руки заледеневшие опустив.
Неужели во сне привиделась мне
Чаша любви — одна на двоих?
Неужели друг другу приснились мы
И в одинаковых снах
Встречались с тобой
В крестьянских домах,
На зеленых холмах
У глубокой реки?..
Но ты была наяву,
Ты утренний луч, аромат лесной,
Ты — со мной, покуда живу.

3

Не владыка ли тьмы
Похитил тебя,
Как похитил землю мою?..
За что такая судьба?
Разве я не сражался мечом
В открытом бою,
Разве я не сражался пером,
Заставляя звучать строку,
Как звучит разгневанный гром?..
Но вдали от земли
Твоей и моей
Я тебе, как прежде, клянусь:
Не сломалось перо,
Не заржавел меч,
Не стала блеклой мечта,
Я жажду путы рассечь,
с истерзанных ног сорвать кандалы!
А если сгустившейся мглы

Я побороть не смогу,
Пусть, как хрупкий сосуд,
О камни я разобьюсь
На горестном берегу!..

4

Любовь, я к тебе взываю
Каждой потерей —
Приди на Балтийский берег
Мечтой... виденьем... зарницей...
Пускай в холодном тумане
Мой поцелуй горячий
Губы твои согреет,
Пусть руки меня поманят
И, словно тихие птицы,
Над каждой строкою реют...
Явись мечтой, виденьем, зарницей!
В пустыне дней неужели не повторится —
В переплеске волны, в дожде,
В облаках — хотя бы на миг
Твой — единственный в мире — лик?..

■

Простерлась Балтика, словно вечность...
Я тоской искалечен,
Нетерпеньем исхлестан.
Сплетаются всплески, шорохи, шумы.

Но в круговерти полночной
Я слышу шагов твоих отголоски.
Ты подходишь все ближе, ближе,
И ветер не в силах
Заглушить твой приход чуть слышный.
Не оставь меня молниям скорби,
Не оставь меня ночи черной
На истязанье!
На растерзанье
Не оставь меня буре хищной,
Не позволь дождю снеговому
Залить уголек надежды
На пепелище!
Я пью твой голос,
Превращающий хлопья снега
В чистые капли росы весенней,
Превращающий ночь и холод
В праздник тепла и света.
Промелькнет твой образ
Над мраком черным,
И задышит февраль апрелем,
И мелодией встречи наполнит горло
Моей свирели.
Ответь мне — из темноты
Виденьем,
Мечтой,
Зарницей —
Придешь ли ты?..

■

Литературное наследие

ГРАСИЛИАНО РАМОС

Сан-Бернардо

РОМАН

Вступление и перевод с португальского ЛИЛИАНЫ БРЕВЕРН

Почти четверть века назад Грасилиано Рамос посетил — в первый и последний раз — Советский Союз. Прославленный бразильский писатель, находясь на Красной площади в Москве, участвовал в праздновании Международного дня солидарности трудящихся. Наконец сбылась его давнишняя мечта — увидеть страну социализма, рождение которой он приветствовал еще в 1917 году.

С волнением, проступавшим на его обычно строгом лице, Грасилиано Рамос, обращаясь к своим соотечественникам — бразильским радиослушателям, — перед микрофонами Московского радио говорил: «Первомайские торжества в Москве подтвердили огромную силу нового общества, которое живет, хочет жить и будет жить! Светлая радость женщин и мужчин, смех детей — во всем, во всем отражена всенародная поддержка Советскому правительству. И нам, представителям шестидесяти стран, прибывшим сюда, особенно ясно стало, что любая попытка агрессоров повести войну против такого народа обречена на провал».

Новое общество, новый мир открылись в Советском Союзе перед Грасилиано Рамосом, у которого, по его словам, впечатления от настоящего, увиденного им, вызывали и давние воспоминания о прошлом. Так, по прибытии в Ленинград он попросил провести его на Дворцовую площадь, где в 1905 году была расстреляна царизмом мирная демонстрация рабочих. Нет, это не было простое любопытство: газетные сообщения о Кровавом воскресенье тогда оставили неизгладимый, глубокий след в сознании тринадцатилетнего подростка в далекой Бразилии, побудив его призадуматься. Спустя многие годы Грасилиано Рамос сделал для себя окончательный, жизненно важный выбор, встав на сторону народа, трудящихся. Еще до вступления в коммунистическую партию (членом партии он стал уже на склоне лет, в 1945 году) товарищ Грасилиано был тесно связан с бразильскими коммунистами, укрывал их от полицейских преследований на своей квартире. Друзьям он рассказывал, как еще в 1936 году его арестовали по политическому обвинению, как в тюрьме он познакомился ближе с коммунистами, как его поразило мужество и стойкость этих борцов за народное дело, и тогда в ответ на вопрос, разделяет ли он, Грасилиано Рамос, коммунистическое мировоззрение, писатель не колеблясь заявил: «Да, я — коммунист».

Грасилиано Рамос — слава бразильской литературы. «Учителем нашего поколения» назвал его Жоржи Амаду. Его, завоевавшего огромный авторитет, дважды избирали на пост президента Ассоциации бразильских писателей. По возвращении Рамоса в 1952 году из Советского Союза на родину бразильская общественность и палата депутатов Национального конгресса торжественно отметили шестидесятилетний юбилей романиста. «Мы гордимся, что в наших рядах находится товарищ Грасилиано Рамос, один из выдающихся представителей бразильской литературы, — говорилось в приветствии руководства коммунистической партии.— Влившись в силы, борющиеся в нашей стране за мир и национальную независимость, товарищ Грасилиано Рамос про-

должает лучшие демократические традиции нашей интеллигенции». А такая буржуазная газета, как «Коррейо да маньян», писала в те дни о Грасилиано Рамосе: «Его величие не могут не признать даже люди, не разделяющие его политические убеждения».

Неизменной и большой популярностью пользуются в Бразилии, издаются и переиздаются, так же как и в других странах, произведения Грасилиано Рамоса — романы «Каэтэ», «Сан-Бернардо», «Тоска», «Бессонница», повести — «Иссушенные жизни» (в русском переводе эта повесть издана в 1961 году), «Детство», «Семь правдивых историй», «Тюремные воспоминания», «Путешествие», сборник рассказов «Суровые истории».

Суровыми историями, пожалуй, можно назвать и все написанное Грасилиано Рамосом, уроженцем сурового северо-востока Бразилии — края необозримых помещичьих владений и неизмеримой нищеты безземельных крестьян, батраков, погонщиков скота. Здесь, в штате Алагоас, Грасилиано Рамос родился и очень рано, чуть не с пятнадцати лет, начал работать в местных газетах, упорно занимаясь самообразованием.

Пятьдесят лет назад он написал свой первый роман — «Каэтэ», правда опубликованный спустя годы. Роман заставил говорить о талантливом писателе: в произведении, названном в честь одного из индейских племен, с которым столкнулись португальские конкистадоры, бразильцы увидели сатиру на современное буржуазное общество. Наибольшую литературную известность писателю принес его следующий роман — «Сан-Бернардо», созданный еще в 1935 году, но сохранивший до сих пор краски, актуальность поднятой на его страницах проблемы: ведь сегодня еще господствуют на бразильской земле и те же пауло онорио, латифундисты, любой ценой приумножающие свое богатство. Писатель ярко показывает не только взлет такого хищника, но и его обреченность, крах помещичьего уклада жизни. По праву роман «Сан-Бернардо» вошел в золотой фонд бразильской литературы.

Находясь в Москве, Грасилиано Рамос говорил, что, быть может, «Сан-Бернардо» раскроет перед советским читателем еще одну страницу жизни Бразилии. Публикуя этот роман, я хотела бы разделить надежду нашего ушедшего из жизни бразильского друга.

1

Прежде чем начать эту книгу, я решил разделить труд между будущими ее создателями.

Несколько друзей, к которым я обратился, охотно согласились способствовать развитию национальной литературы. Падре Силвестре взял на себя вопросы морали и латинские изречения; Жоан Ногейра — пунктуацию, орфографию и синтаксис; набор я поручил Аркимедесу, а литературную сторону дела отдал во власть редактора и директора журнала «О крузейро» Лусио Гомеса де Азеведо Гондина. За мной оставался сюжет. Кроме того, я должен был дать читателю кое-какие понятия о земледелии и животноводстве, оплатить расходы и поставить свое имя.

Целую неделю я был в приподнятом настроении: советовался со своими главными соавторами и мысленно представлял на книжных прилавках будущие тома, тысяча которых была бы продана благодаря хвалебной рецензии, которую теперь, после смерти Косты Брито, я тиснул бы за небольшую мзду на страницах хиреющей газеты «О жорнал». Однако очень скоро мой оптимизм лопнул как мыльный пузырь, до меня дошло, что я и мои друзья друг друга не понимаем.

Жоан Ногейра мечтал о романе в стиле Камоэнса с длиннющими предложениями и вольным порядком слов. Представляете?

Падре Силвестре принял меня холодно. После Октябрьской революции он стал человеком суровым и требовал наказывать, применяя строгие меры, каждого, кто не носит красных шейных платков. Его даже перекосило при моем появлении. А ведь мы были друзьями. Тоже мне, патриот. Ну что ж, у каждого свой пунктик.

Я отказался от его услуг и все надежды возложил на Лусио Гомеса де Азеведо Гондина, журналиста с покладистым характером, который пишет то, что ему приказывают.

Несколько дней мы работали. Когда наступали сумерки, Азеведо Гондин оставлял в редакции Аркимедеса, запирал ящик стола, где ле-

жало серебро и мелкая монета, садился на велосипед и ехал по шоссейной дороге, которую совсем недавно Казимиро Лопес с двумя или тремя помощниками привел в порядок. Спустя полчаса он прибывал в «Сан-Бернардо». Азеведо Гондин, прокомментировав газетные новости, покритиковав правительство и выпив коньяк, который ему приносила Мария дас Дорес, покорно, понимая, что его помощь мне необходима, говорил:

— Ну, продолжим.

Мы шли под навес, садились в плетеные кресла и приводили в порядок начатое, покуривая, наблюдая за молодыми телятами, пасущимися тут же на лугу, глядя на красную черепичную крышу лесопилки, стоящей на опушке леса.

Вначале все шло хорошо, между нами не было разногласий. Беседа бывала долгой, но каждый был внимателен только к тому, что говорил сам, и не слушал собеседника. Что касается меня, то, увлеченный сюжетом, я постоянно забывал о Гондине и воспринимал его не иначе как лист бумаги, способный зафиксировать мои сумасбродные идеи, которыми полна была моя голова.

Результат был, прямо скажем, никудышный! Спустя пятнадцать дней после нашей встречи редактор «О крузейро» представил мне две главы таких глупостей, напечатанных на машинке, что я разозлился:

— Иди ты к черту, Гондин. Ты все извратил, самоуверенный болван. Мерзавец, идиот! Не мог я так говорить!

Азеведо Гондин прогнал с лица улыбку, проглотил обиду, собрал крохи своего и без того маленького тщеславия и раздраженно ответил, что писатель не может писать так, как говорит.

— Не может? — спросил я с удивлением.— Почему?

Азеведо Гондин ответил, что не может потому, что не может.

— Так было всегда. Литература — это литература, сеу[1] Пауло. Люди спорят, ругаются, толкуют о всяких делах просто, естественно, но передать все это на бумаге — совсем особое дело. Если бы я писал, как говорю, меня бы никто не читал.

Я встал и облокотился на балюстраду, чтобы получше рассмотреть лиможского быка, которого Марсиано загонял в хлев. Застрекотала цикада. У плотины я увидел старую сгорбленную Маргариду. На церковной башенке прокричала сова. Я вздрогнул, вспомнил о Мадалене. Набил трубку.

— Черт возьми, Гондин! Все пошло прахом. За месяц три неудачи! Выпьем.

2

Я все забросил. Но однажды, услышав крик совы и опять вспомнив о Мадалене, я сел и стал писать, рассчитывая только на свои собственные силы и не надеясь, что пачкотня моя принесет мне хоть какую-нибудь выгоду — прямую или косвенную.

В конце концов я почел за благо, что освободился от своих соавторов — падре Силвестре, Жоана Ногейры и Гондина. У меня есть кое-что, что я бы не хотел никому вот так, прямо, открыть. Но я расскажу обо всем — ведь псевдоним меня не выдаст. А если вдруг кто-нибудь узнает, что автор я, скажут — вру, не иначе.

Продолжим. Попытаюсь рассказать мою историю. Трудно. Возможно, я пропущу важные подробности, которые мне кажутся второстепенными и лишними, или, не совсем веря восприимчивости читате-

[1] Сеу — фамильярное обращение, сокращенно от «сеньор». *(Здесь и далее прим. перев.).*

ля, оттого что привык общаться с провинциалами, стану повторяться, пересказывая события малозначительные. Впрочем, вы сами убедитесь в том, что в моем повествовании порядка нет. По мнению тех, кто мне служит, любая дорога куда-нибудь да выведет, ну, к примеру, в кабак.

Вот так, сидя в столовой, потягивая трубку и попивая кофе, я иногда прерываю свою неспешную работу, гляжу на листву апельсиновых деревьев, которые исчезают в темноте с приходом ночи, и говорю себе, как жаль, что писать так трудно. Я не привык думать. Я поднимаюсь, подхожу к окну, которое выходит в огород. Казимиро Лопес спрашивает, не нужно ли мне чего-нибудь.

— Нет.

Казимиро Лопес сидит на корточках у забора. Я возвращаюсь на свое место, перечитываю бессвязные фразы.

Да, есть над чем подумать. Имей я хоть половину тех знаний, которые получила Мадалена,— я бы сейчас шутя настрочил все это. Но в конце концов в любом случае этот ворох бумаги на что-нибудь да сгодится.

Что ясно, то ясно: мое образование — а получил я знания по статистике, животноводству, земледелию, коммерческой бухгалтерии — совершенно бесполезно для подобного рода занятий. Не сочли бы меня хвастуном, если я вдруг вверну малоизвестный читателю технический термин. Что же касается всего остального, то тут я полный невежда. И мне очень нелегко. Понятно, в пятьдесят лет трудно учиться тому, чему учатся в юности, да и не стану я это делать.

А в юности я избрал для себя определенный путь и потому не испытывал потребности в этих знаниях. Целью моей жизни было завладеть землями «Сан-Бернардо», построить этот дом, посадить хлопок, клешевину, построить лесопилку, купить хлопкоочистительную машину, превратить дикие заросли в цветущий сад, развести птицу и крупный рогатый скот. Сейчас это легко, конечно, написать вот так, в двух строках но когда все начинаешь с нуля — тяжело, чудовищно тяжело, и ты не знаешь, за что зацепиться, всего боишься и осторожничаешь. Еще, по совету падре Силвестре, я построил часовню.

С головой уйдя в хозяйство, я не набрался учености Жоана Ногейры и не научился молоть языком, как Гондин. Те, кто прочтут мою книгу, если захотят, будут иметь удовольствие перевести все написанное на литературный язык. Если же не захотят, ничего не случится. Я не претендую на звание писателя, и поздно мне менять профессию. Да и малыша, что плачет за стеной, надо учить, как жить на свете.

— Так для чего вы пишете?

— Если бы я знал!

Но хуже всего, что несколько листов бумаги уже измарано, а ничего не начато.

— Мария дас Дорес, еще чашечку кофе.

Погибли две главы. А может, не худо бы использовать уже написанное Гондином, чуть-чуть исправив?

3

А начну-ка я с того, что меня зовут Пауло Онорио. Во мне восемьдесят девять килограммов, и только что, в день святого Петра, стукнуло мне пятьдесят. Возраст, солидная фигура, густые с проседью брови, красное волосатое лицо — всегда вызывают уважение. Не было бы у меня этой внешности, не было бы и уважения.

Если говорить начистоту, то, что мне пятьдесят лет, и то, что я родился в день святого Петра, совсем не точно. День святого Петра я

стал считать своим днем рождения потому, что в этот день был записан в церковном приходе в книгу крещений. Я почти уверен, что там значатся имена крестных, а не отца и матери. Но раз они пожелали остаться неизвестными, на то у них были свои особые причины. А вот я, как это видно, не знаю даже дня своего рождения. Хотя, впрочем, если и есть расхождение между записью в книге и моим появлением на свет, оно не так уж велико. Месяцем старше, месяцем моложе — не все ли равно. И чему быть суждено, того не миновать.

Я положил начало роду, который меня и огорчает и радует,— ведь мне не нужно поддерживать бедных родственников, которые с бесцеремонностью чумы поражают тех, кто завоевывает себе положение. Их у меня просто нет.

Если бы я попытался рассказать о своем детстве, мне пришлось бы приврать, ведь всего не упомнишь, да и пустое это занятие.

Я помню только слепого, который таскал меня за уши, да старую Маргариду, которая продавала сладости. Слепой куда-то исчез. А старая Маргарида живет здесь, в «Сан-Бернардо», в маленьком чистом домике, и ей никто не мешает. Еженедельно она обходится мне в десять мильрейсов. Это ровно столько, сколько необходимо, чтобы возместить ей то, что она затратила на меня. Ей сто лет, и в какой-нибудь из дней я куплю ей саван и прикажу похоронить в часовне, рядом с главным алтарем.

До восемнадцати лет я махал мотыгой по двенадцать часов, чтобы получить свои жалкие пять тостанов [1]. Вот тогда-то я и совершил свой первый проступок, достойный упоминания. На одной из гулянок я пристал к взбалмошной девчонке по имени Жермана и крепко ущипнул ее за зад. Она чуть не уписалась от удовольствия. Заиграла бедрами и пошла к этому типу, Жоану Фагундесу, а у него даже имя было чужое, он поменял его, став конокрадом. Тут уж я дал ей пинка, а его пырнул ножом. Полицейский комиссар арестовал меня и всыпал мне так, что я всю жизнь помню. Три года, девять месяцев и пятнадцать дней я пробыл в тюрьме. Там я научился читать благодаря сапожнику Жоакину, у которого была маленькая Библия.

Сапожник Жоакин умер. Жермана стала проституткой. Когда я вышел из тюрьмы, она торговала собой, болея дурной болезнью.

Но в то время я уже думал не о ней, а думал о том, как заработать деньги. Как только я получил права избирателя, сеу Перейра, ростовщик и политический шеф [2], ссудил мне сто мильрейсов под пять процентов в месяц. Я вернул ему ссуду и получил новую — двести мильрейсов, но теперь уже под три с половиной процента. Ниже процент не падал, но я выучил арифметику, чтобы не упускать своего и не позволять обирать себя.

Как жеребенок при холощении (если говорить попросту), я брыкался в когтях этого злодея Перейры, который попил-таки моей крови. Правда, потом я отыгрался: ему пришлось заложить мне имущество, а я пустил его по миру. Но это случилось много позже.

Вначале же деньги никак не шли ко мне в руки. Я гнался за ними без устали, скитаясь по сертану [3], торгуя гамаками, скотом, карабинами-обрезами, четками и всякой мелочью. То оставался в убытке, то получал прибыль, но из долгов не вылезал, подписывая векселя и пускаясь в разные рискованные махинации. Терпел голод и жажду, спал под открытым небом на песчаных отмелях, но не пасовал перед сильными и часто, угрожая оружием, получал то, что хотел. Так, напри-

[1] Тостан — старинная португальская монета.

[2] Политический шеф — лицо, которому принадлежит негласно политическая власть в деревне или в городе.

[3] Сертаны — засушливые районы Бразилии.

мер, доктор [1] Сампайо, покупая у меня стадо быков, сумел надуть меня. Я протестовал, требовал, пытался получить свое, но все без толку, тот и слышать ничего не хотел. Я клял свою судьбу: долговых обязательств до черта. Да что же это такое? Так с человеком не поступают! И так далее и тому подобное. Гнусный мерзавец, насильник, бандит с большой дороги. Надул меня. Но я все-таки не пал духом. Подбил нескольких парней из Канкаланко, и, когда Сампайо возвращался в фазенду [2], мы его подкараулили, затащили в кусты и отделали собачью шкуру колючими ветками.

— А ну, померяемся силенками. Посмотрим, кто кого. Теперь я тебе покажу, почем фунт лиха.

И тут доктор Сампайо, который мог пролезть через любое игольное ушко, стал взывать к справедливости и богу.

— О какой справедливости толк? Нет справедливости, и бога нет! А есть ваш долг, и сеньор должен раскошелиться и заплатить тридцать конто и еще проценты за шесть месяцев. Или вы заплатите, или я прикажу выпустить вашу кровь по капле.

Доктор Сампайо тут же написал записочку своей семье, и очень скоро тридцать шесть конто и триста мильрейсов были у меня в руках. Казимиро Лопес был посыльным. Я отдал Сампайо расписку в полученном, поблагодарил и простился:

— Спасибо. Бог вас вознаградит. Я причинил вам беспокойство. Прощайте. Но о справедливости забудьте, не суйтесь с ней, а сунетесь, я спущу на вас бешеную собаку. Умрете медленной смертью.

В этих местах я больше не появлялся. А если бы вдруг пришлось, то получил бы пулю, и чтобы никто не узнал меня мертвого, изуродовали бы мне лицо, присвоили бы денежки, которые я возил в кубышке, завернутой в листья и подвешенной к луке седла — здесь кубышка была всегда на виду и в полной сохранности: упади она, я бы услышал звон монет.

В конце концов, устав от этой цыганской жизни, я вернулся в родные края. Меня сопровождал Казимиро Лопес, никогда не бывавший в нашей округе. Он мне нравился: смелый, пытливый, изворотливый, с собачьим нюхом и собачьей преданностью.

4

Я решил обосноваться здесь, где родился, на земле моего детства, в округе Висоза, штат Алагоас, и в ближайшем будущем приобрести фазенду «Сан-Бернардо», где я когда-то гнул спину за пять тостанов.

Мой прежний хозяин Салустиано Падилья влачил жалкое существование, отдавая все доходы с имения на образование сына и надеясь, что тот закончит курс наук. Но так и не дождался желаемого — умер голодной смертью.

Тогда я, как бы между прочим, стал встречаться с Падильей-младшим, Луисом. Однажды я его увидел в бильярдной за игрой в баккара [3]. Он был пьян вдребезги. Конечно, игра на деньги сама по себе занятие недостойное, глупое, а тот, кто играет и пьет, просто дурак. Полчаса я присматривался и понял: парень новичок в этом деле, и его наглым образом обставляют.

Я свел с ним дружбу и одолжил ему два конто, которые он тут же растранжирил на водку и девок из Пан-сен-Миоло. Я смотрел на все его безрассудства с некоторым удовлетворением и, когда он снова

[1] Доктор — здесь человек, имеющий высшее образование.
[2] Фазенда — крупное поместье.
[3] Баккара — азартная карточная игра.

оказался без гроша, а я был приглашен на праздник святого Жоана в фазенду «Сан-Бернардо», сунул ему еще пятьсот мильрейсов. Увидев вексель, я сделал круглые глаза:

— Это для чего? Между нами... Такие формальности.

Но бумажку спрятал.

Дела в фазенде были из рук вон плохи. Все пришло в упадок: и строения и хозяйство. Дом покосился, по дорогам ни пройти, ни проехать. Но какая земля, какая великолепная земля!

Ночью, когда, танцуя самбу под звуки барабана и флейты, черные кружились в вонючем вихре и поднимали пыль в доме, Падилья с молодыми девицами во дворе, заросшем бурьяном, водил хоровод вокруг кастрюли с кукурузной кашей.

Я отвлек его от этого интересного занятия:

— Почему вы так запустили хозяйство?

— Что? — спросил Падилья, прислонившись к сохнувшему от жары дереву. Дым ел ему глаза.

— Вам бы сюда тракторы, плуги, все хорошо наладить. Вы никогда не задумывались над этим? А какой доход может приносить эта земля, если ее правильно использовать!

Луис Падилья махнул рукой, выказав прискорбное для хозяина безразличие, и, оборвав разговор, вернулся к кружащейся в танце молодежи. А утром, пьяный в стельку, он бормотал что-то бессвязное, не давая мне покоя. При каждом толчке повозки, запряженной волами, которые нас везли в город, он приподнимал голову:

— Богатство кругом, богатство, сеу Пауло. Беде, быть беде.

Он то и дело хватался за край повозки, и его выворачивало наизнанку. Потом засыпáл, а проснувшись, рыгал и бормотал:

— Плуги, только плуги. Нет ничего лучше плугов.

На следующий день, все еще не протрезвев, Падилья явился ко мне и сказал:

— Пауло Онорио, я пришел посоветоваться с вами. Вы человек практичный...

— Слушаю.

— Мне кажется, я говорил вам, что решил заняться хозяйством.

— Ну, что-то в этом роде.

— Да, решил. Такое, какое оно есть, меня не устраивает. Дает оно достаточно, но могло бы дать значительно больше, если использовать плуги... Ведь так, вы как считаете? Я подумал, не посадить ли маниоку, да и фабрику мукомольную современную не плохо, а? Что скажете?

Какой вздор! Пустить такую прекрасную плодородную землю под маниоку!

— Вы пожалуй, правы.

Больше у нас с ним разговоров не было, я предоставил его самому себе с его прожектами, пусть обсуждает их в Гурганеме ночью, под гитару. Но с ним что-то произошло. На берегу Параибы с бутылкой кашасы [1] он только и делал, что мучил своих собутыльников речами о семенах и химических удобрениях. Его захлестнуло тщеславие, он углубился в агрономию, и скоро весь город узнал о плантациях, машинах, мукомольной фабрике.

— Ну, как хозяйничаете, Падилья?

Вначале он отвечал, но вскоре, уловив насмешку, стал избегать встреч, болезненно переживая предательство друзей.

— Дикари! — ворчал он, не обращая внимания на жульничество партнеров.— Ну, твой ход...

---

[1] Кашаса — спиртное из сока сахарного тростника.

Никто не понимал, кому были адресованы эти слова: картежникам, которые его обставляли, или тем, кто смеялся над его прожектами. Он разыскал меня и стал изливать мне душу:

— Дикари! Я такое задумал. Вы-то понимаете, конечно, а эти ослы насмешничают. Здесь никто ничего не смыслит, сеу Пауло. Это проклятое место. Здесь только думают, как бы подлость какую подстроить.

И он, в огорчении оттого, что его планы рушатся, признался мне, что пытался получить ссуду у Перейры.

— Скотина! Я все ему расписал, объяснил всю выгодность сделки. Не поверил. Сказал, что все это бред. А я-то на него рассчитывал. Не можете ли вы, сеу Пауло, одолжить мне двадцать конто?

Я улыбаясь глядел на это жалкое существо с тонкими губами и желтыми гнилыми зубами.

— Скажи, ты сам себе скручиваешь сигареты или покупаешь готовые? — спросил я.

Падилья покупал готовые.

— Готовые значительно лучше, я согласен, но и значительно дороже. Так вот, Падилья, если бы ты сам скручивал себе сигареты и должен был бы скрутить тысячу, то ты бы понял, как это трудно. И смог бы прикинуть, что труднее: скрутить сигарету или заработать десять тостанов. А конто, друг мой,— это тысяча банкнотов по десять тостанов. Двадцать конто — это двадцать тысяч банкнотов по десять тостанов. Мне кажется, для таких, как ты, все это мелочи, вы не умеете считать деньги, для вас это грязные бумажки. А деньги — это деньги.

Падилья опустил голову и процедил сквозь зубы раздраженно, что считать умеет. Он ушел, но потом опять и не однажды приходил все с той же просьбой.

— Я что, капиталист, что ли? Ты хочешь меня разорить?

Падилья понял, что просить бесполезно, и предложил в залог «Сан-Бернардо».

— Ерунда какая! «Сан-Бернардо» не стоит и выеденного яйца! Перейра прав. Ваш отец довел фазенду до полного разорения.

И все же я обещал подумать на досуге.

На другой день я опять заметил Падилье:

— Так вот, друг. Деньги — это деньги.

Целую неделю я не говорил ни «да», ни «нет», а меж тем размышлял о «Сан-Бернардо». Я старался разузнать все, меня интересовало даже то, сколько лет хозяину соседней фазенды, старому Мендонсе, долго ли он проскрипит и что собой представляет его фазенда. Когда же я решился, люди осторожные сочли меня сумасшедшим.

Падилья получил двадцать конто (за вычетом того, что он мне был должен, и процентов), купил типографию и решил издавать информационный листок, называемый «Коррейо де Висоза», который разве что четыре раза и вышел, не больше. На смену ему появился «Литературно-увеселительный кружок». Азеведо Гондин разработал устав кружка, и на первом заседании при всеобщем одобрении Падилья был избран его почетным членом и постоянным почетным председателем.

Что же касается сельскохозяйственных прожектов Падильи, то они так и остались прожектами. Даже каталоги машин, которые он ждал, не были получены. Он стал избегать меня. Если мы встречались, он смущался, притворялся, что меня не узнает, надвигая шляпу на глаза. Когда же настал срок оплаты первого векселя, он прикинулся больным. Я отправился навестить его и нашел вполне здоровым, он играл с Жоаном Ногейрой в триктрак. Увидев меня, он пришел в

ужасное замешательство: его тонкие, потемневшие от табака пальцы с обгрызенными ногтями задрожали так, что даже игральные кости, которые он держал в руках, застучали одна о другую.

С того дня он стал скрываться от меня. Мне сказали, что он сбежал в «Сан-Бернардо».

— Что он там делает?

Срок последнего векселя подошел в начале зимы. Дождь лил как из ведра. С утра пораньше я приказал Казимиро Лопесу седлать лошадь, надел плащ и отправился в путь. Две легуа [1] за четыре часа. Дорога — сплошное месиво. Но вот показались трубы энженьо [2] Мендонсы и тот спорный клочок земли, который был всегда камнем преткновения в отношениях между Мендонсой и Салустиано Падильей. Хозяин «Бон-Сусесо», старик Мендонса, потихоньку передвигал межевые знаки, урезая владения «Сан-Бернардо».

Я направился прямо к хозяйскому дому, который под проливным дождем выглядел совсем ветхим и разрушенным. Все заросло бурьяном. Я спешился и вошел, громко стуча сапогами и звеня шпорами. Луис Падилья спал в большой комнате в грязном гамаке, не слыша дождя, который хлестал в окна и, капая с потолка, затоплял помещение. Я тряхнул гамак. Испугавшись, бывший директор «Коррейо де Висоза» вскочил от неожиданности.

— Вы здесь? Как поживаете?

— Спасибо, хорошо.

Я сел на скамью и выложил векселя. Падилья с отвращением отвел взгляд.

— Я много думал о «Сан-Бернардо», очень много. Я даже сон потерял. Вчера проснулся, решил встретиться с вами и поговорить, но... Не смог. Дождь.

— Оставим дождь.

— Я в очень затруднительном положении. Я хотел бы получить отсрочку под большие проценты. У меня нет другого выхода.

— А фабрика? А плуги?

Луис Падилья ответил уклончиво:

— Такая зима делу не помощник. Денег у меня нет, но предприятие верное. Нужна отсрочка...

— Не стоит и говорить об этом. Хватит!

— Что значит хватит? Ведь я же сказал, что не могу заплатить сейчас! Разве что, если, конечно, хотите, берите за часть ссуды типографию.

— Какую типографию! Вы что, осел?

— Ну, это все, что у меня есть. Каждый располагает тем, что имеет. Я должен вам, не отрицаю, но оттого, что вы вот так, с ножом к горлу, я все равно не смогу заплатить. Можете меня перевернуть вверх тормашками и потрясти — ни одна монета не упадет. Я без гроша.

— Это никуда не годится, Падилья. Пришел срок платить по векселям.

— Ну нет у меня денег, нет! Прикажете украсть? Нет, не могу. И все, конец!

— Чему конец, наглый тип? Все только начинается. Я отберу у тебя все, пес паршивый. Оставлю тебя в одном исподнем.

Постоянный почетный председатель «Литературно-увеселительного кружка» испугался.

---

[1] Легуа — мера длины, равна 5 км.

[2] Энженьо — усадьба с плантацией сахарного тростника и небольшой сахароварней.

— Имейте терпение, сеу Пауло. Криком дела не делаются. Я уплачу. Подождите несколько дней. Долг тяжек для того, кто должен.

— И часа ждать не хочу. Я говорю серьезно, а вы чушь всякую несете! Не время! Хотите решать дело добром? Давайте. Нет, я забираю фазенду. Во сколько оценивается?

Падилья открыл рот и вытаращил свои маленькие глазки. Фазенда «Сан-Бернардо» была ему вроде бы и не очень нужна, но все же дорога́ как память о детстве. Она служила ему убежищем, где он излечивался от ударов судьбы, разгонял усталость, постреливал птичек, купался в речушке и спал. Последнее время спал слишком много, опасаясь встречи с Мендонсой.

— Цена?

— Но я, я всегда хотел сохранить фазенду,— прошептал несчастный.

— Зачем? «Сан-Бернардо» ничего не стоит. Говорю как друг. Да-да, как друг. И потом, я не хотел бы вас видеть на скамье подсудимых. А адвокаты голодны как волки, и, если я прикажу Ногейре взяться за это дело, вам несдобровать. Дорого обойдется, друг Падилья. Говорите цену!

Сделку мы обсуждали до сумерек. Сначала Луис Падилья запросил восемьдесят конто.

— Вы что, сумасшедший? Ваш отец отдавал за пятьдесят Фиделису. И то было дорого. А сегодня, когда энженьо в таком состоянии: ворота снесены соседским стадом, дом разрушен и Мендонса запускает руку в ваш огород...

Здесь я перевел дух и предложил тридцать конто. Он снизил цену до семидесяти. Мы переменили тему разговора. Когда же мы снова вернулись к торгам, я накинул два конто. Падилья уступил еще пять и поклялся, призывая в свидетели небо, что шестьдесят пять конто — это его последняя цена. Я со своей стороны тоже заверил, что и гроша не прибавлю. Но все же предложил тридцать четыре конто. Падилья только ради дружбы согласился получить шестьдесят. Два часа мы препирались, пуская в ход каждый свои уловки, но безрезультатно.

Мы заговорили о моих скитаниях по сертану. Затем я равнодушно, но твердо повторил число тридцать четыре. В ответ я услышал новую цифру — пятьдесят пять. Я проявил великодушие — тридцать пять конто. Падилья уперся на пятидесяти пяти. Тут я его обругал как следует, сказав, что старый Салустиано попросту выбросил деньги на ветер, обучая его в коллеже, и стал угрожать ему. Он пошел на уступки, предложил пятьдесят. Я поднял цену до сорока, сказав, что это мне самому в убыток. А тут я и он уперлись каждый на своем. Твердо, неотступно. Я припугнул его Мендонсой, который все время отхватывал куски от «Сан-Бернардо», судебным исполнителем и, наконец, судебными издержками.

Несчастный, перепуганный Падилья спустил цену до сорока восьми. Я вслух каялся, зачем предложил сорок: фазенда не стоила этих денег — это просто грабеж. Падилья съехал на сорок пять. Я настаивал на сорока. А потом разозлился:

— И это слишком жирно для такого ничтожества!

Остаток за вычетом того, что он мне должен, я собирался оформить векселями. Падилья лишился способности соображать: заплакал, запричитал, стал взывать к богу и расстроил то, что было уже на мази. Пусть придет адвокат, судебный исполнитель, полиция, сам дьявол. Пусть все отберут. Плевать на соглашение! Плевать на закон!

— Какое мне дело до закона? Плевать я хотел!

Конечно, он не умирал с голоду, его не волновал завтрашний день.

Деньги у него были. Но если бы мне не удалось склонить Падилью продать «Сан-Бернардо», он бы пустил в ход все: газету, адвокатов,— кричал бы о грабеже, требовал справедливости. Я счел разумным посочувствовать Падилье: согласился заплатить ему деньги и предложил свой городской дом, который стоил десять конто. Падилья оценил дом в семь конто и сорок три просил за «Сан-Бернардо». Я сумел-таки сбить цену еще на два конто — сорок два я давал за «Сан-Бернардо» и восемь брал за дом. Мы проспорили еще полчаса и пришли к согласию.

Опасаясь, как бы Падилья не передумал, я повез его в город и всю ночь не сомкнул глаз, карауля его. На следующий день рано утром он попал в ловушку и подписал бумагу. Я вычел долг, проценты, стоимость дома и вручил Падилье семь конто пятьсот пятьдесят пять мильрейсов, не испытывая угрызений совести.

5

— Нехорошо сделали, сеньор, купили «Сан-Бернардо», а со мной не посоветовались!— крикнул мне через ограду Мендонса.

— Почему? Что, бывший владелец — пустое место?

— Само собой,— ответил Мендонса, наступая на меня, задрав свой горбатый нос и седую бороду.— Сеньор должен знать, как обстоят дела в фазенде, прежде чем покупать спорную собственность.

— Что касается меня, я спорить не намерен. Надеюсь, мы договоримся.

— Это от вас зависит. Вы же знаете, что нынешняя граница между нашими фазендами временная. Хорошо бы провести ее там, где ей положено быть. Каждому — свое. Пожалуй, не стоит приводить в порядок забор, я его сейчас снесу, чтобы мы могли точнее определить истинную границу.

Тут я поставил старого Мендонсу на место, сказав ему, что он достаточно прибрал к рукам земель «Сан-Бернардо», и попросил его показать, какие он имеет документы. Если к соглашению мы не придем, так лучше всего пригласить адвоката и землемера.

— Отлично! С адвокатом вы уже снюхались, и я в ваших руках. Но нет, этому не бывать. Вали забор.

Я быстро прикинул, сколько с ним пришло работников, сосчитал своих и сказал Мендонсе, что у него ничего не получится. Обсудить по-хорошему — пожалуйста, а скандалить ни к чему.

Несколько успокоившись, я решил с ним не связываться. Зачем мне связываться с Мендонсой, этим зловредным стариком? Чего я не хотел твердо — это подчиниться ему сразу, с первой встречи.

Казимиро Лопес шагнул было к Мендонсе, но я тронул его за плечо, и он отступил. Мендонса все понял и повел разговор как должно. Я ему заплатил той же монетой и, зная, что ему необходима древесина, предложил кедры, росшие поблизости от его фазенды «Бон-Сусесо». Он сразу отказался, но тут же заговорил об обмене кедров на телков зебу. Я ответил ему, что не собираюсь разводить стадо всяких зебу и больше всего меня интересуют лиможские и швейцарские быки. Мендонса с презрением относился к породистому скоту: ест много и гибнет от клещей. Он откармливал бычков для мясной лавки.

А я все навязывал ему древесину, и он заколебался. Мы разговаривали сухо, отрывисто, улыбаясь через силу. Парни внимательно прислушивались к нашему разговору. Будучи человеком трезвым, я не обманывался: все эти тары-бары с Мендонсой ничего не стоят, и с ним еще придется схватиться. Мендонса скреб бороду.

— А насчет того, где быть меже, решим позже и спокойно.

— Вот и прекрасно,— согласился Мендонса.

Мы простились. Я продолжал тянуть колючую проволоку и заменять старые зажимы новыми. Мендонса издалека буравил меня воспаленными глазами и улыбался.

Вечером, когда я возвращался домой, Казимиро Лопес хмуро тащился следом. Поскольку я молчал, он закашлялся и остановился. Я прислонился к дереву и сказал то, о чем думал целый день:

— Завтра прихвати с собой четверых парней и отправляйтесь осушать болото. И ручей отведите, чтобы вода луг не заливала.

— И все?

Я подумал, что вместо того, чтобы осушать болото, лучше было бы позвать Каэтано и начать работы в каменоломне. Но не отменил распоряжения. Отмена распоряжения чести хозяину не делает.

— И все?— еще раз спросил Казимиро Лопес.

Я прочел его мысли по всклокоченным волосам, узкому лбу, большим скулам и толстым губам. Скорее всего, он был прав. Нужно быть осторожнее: обходить заросли, быть внимательным на дорогах. Да еще дом: щели, дыры, покосившиеся стены.

Я было решил все-таки позвать Каэтано и каменщиков.

Но тут же отказался от этого поспешного решения.

— Да, пока все.

6

Следующий год выдался тяжелый. Я посадил пшеницу и хлопок, но урожай собрал плохой. К тому же цены были низкие, и я промаялся несколько месяцев, торгуя обезьянами, лишь бы не умереть с голоду. Спал мало, вставал в четыре утра, работал как проклятый под солнцем, под дождем, вооруженный ножом и пистолетом, съедая в часы отдыха кусок жареной с мукой трески. Вечерами, лежа в гамаке, я объяснял Казимиро Лопесу все, что ему надлежало делать. Он садился на циновку и, несмотря на усталость, внимательно слушал. Изредка во дворе лаял Тубаран. Это нас настораживало.

Однажды мы услышали шаги вокруг дома. Я посмотрел в щель в стене. Темнота была полная, но все же я разглядел какую-то тень. Шаги возобновились. Собака залаяла и заворчала.

— Этого еще не хватает!— пробормотал Казимиро Лопес.

На следующий день я отправился к Мендонсе, который встретил меня с некоторым беспокойством. Поговорили о том о сем, больше всего о выборах. Я сделал комплимент его дочкам — они были старые девы,— а старику Мендонсе, потерявшему жену, подругу жизни, прекрасную, добродетельную женщину, посочувствовал. Да, посочувствовал. Мендонса, пораженный, спросил, где же я мог видеть дону Алешандрину.

— У-у, это было давно. Я раньше работал у старого Салустиано. Батраком.

Девицы смутились, но старик нашел, что это по-честному — так откровенно не скрывать своего происхождения. Потом пожаловался на соседей (никто с ним не дружит):

— Да, здесь люди — дрянь! Начинали, как и вы, а теперь корчат из себя невесть что. Никакая работа не позорит человека. Если кто и родился в грязи, почему же это скрывать?

Но все же Мендонса не удержался, съязвил:

— Так, значит, батрак, да? Ничего, ничего. Вон Фиделис сегодня— хозяин энженьо, а совсем недавно кур воровал.

Пока он сплетничал о всех и каждом, я наблюдал за ним и видел, как мало-помалу беспокойство, вызванное моим приходом, исчезало. Он, казалось, забыл обо всем на свете, злословил, высмеивал своих

соседей, но, скорее всего, это был маневр. Я тоже старался как мог скрыть причину моего прихода, говоря о выборах. И очень может быть, не обмани я его, он обманул бы меня, сыграв со мной ту же шутку, которую я намеревался сыграть с ним. Надо заметить, что он оказался неплохим актером: его болтовня о соседях почти убедила меня, что Мендонса ничего не подозревает. Я тоже играл —и не плохо: он вроде поверил, что я пришел поговорить о политике. Но, если он поверил, он просто дурак. А может, и поверил сначала, а потом усомнился. Со мной именно так и было. Вспоминая его болтовню, его жесты и все рассказанные им истории, я обнаружил, что хозяин «Бон-Сусесо», пожалуй, мне приятен.

А пока мы разговаривали, я продолжал к нему присматриваться. Он вдруг встрепенулся, зевнул, показывая острые желтые клыки, и убил москита. Москиты здесь вонзаются, словно пули. Всю ночь глаз из-за них не сомкнул, жаловался Мендонса.

Я ответил, что спал как убитый. Болота в «Сан-Бернардо» осушены, ни одного москита не осталось. И тут же я пожалел об опрометчиво сказанном. Мендонса искоса взглянул на меня, и думаю, неспроста. Он снова стал говорить о бессонной ночи, а я повторил, что спал как убитый, в голосе моем уже не было прежней уверенности. Мендонса понял, что я вру.

Каждый из нас глупо лгал. Я снова завел разговор о временах, когда работал батраком. Но девицы уже потеряли ко мне интерес, и Мендонса тоже недовольно поморщился.

В этот момент в комнату вошел какой-то кабокло [1] неприятной наружности. Мендонса нахмурился и явно хотел меня выпроводить. Я чувствовал себя лишним, но продолжал сидеть, испытывая их терпение. Девицы сочли меня нудным, это для меня было ясно.

— Если следующая зима будет как эта, все погибнет, все сгниет, маниока даже ростков не даст.

— Очень может быть,— согласился Мендонса, явно раздосадованный присутствием парня, который смотрел на меня исподлобья.

— Ну, я пошел,— неожиданно сказал я и поднялся.— Так выборы в воскресенье. Не забудьте. Есть шанс убить (чуть было не брякнул— ягуара, но вовремя спохватился: все знали, что у меня всего полдюжины избирателей)... убить зайца. Зайца хотя бы, не так ли? До воскресенья.

И я, недовольный собою, вышел. Вот приблизительно тот разговор, что был между нами. Подробностей не припомню.

Я пересек двор и вышел на тропинку, ведущую к «Сан-Бернардо». Чтоб его черти взяли! Захватить чужую землю и содержать ее так безобразно: тропа заросла бурьяном, ветки переплелись и хлещут по лицу!

Я быстро прошел запущенную часть пути. Изгородь все еще была на том же месте, что и в прошлом году. Мендонсе очень хотелось ее передвинуть, но он побаивался. Я же надеялся восстановить прежние границы «Сан-Бернардо», но медлил. Однако после того как один мулат из «Сан-Бернардо» испортил дочь сахаровара Мендонсы, старик пустил в ход плоскогубцы, но я привел в порядок проволоку и женил парня на девке.

Я кинул взгляд на хлопковую плантацию и пошел к плотине. Как мало рабочих.

Поднялся на холм. Фундамент нашего дома был заложен, начинали возводить стены. Вдруг раздался взрыв. Я вздрогнул. Взрывали в

---

[1] Метис.

карьере, где Каэтано работал с двумя землекопами. Еще взрыв, послабее — полетел мелкий щебень.

Работа двигалась еле-еле — конца ей было не видно. А у меня не хватало средств, чтобы взяться за дело как следует. Больше того, в пятницу я частенько не знал, чем буду расплачиваться в субботу.

А поговорил с каменщиком. Он был у меня один-единственный. Стены выросли на метр, не больше. Конечно, если бы я мог нанять нескольких каменщиков, мне бы все стало дешевле. Постройка плотины остановилась. В карьере, где копошились две тени, было как и полгода назад.

Внизу проехала повозка, запряженная волами, за ней я увидел другую, груженную кирпичом.

Где сейчас старая Маргарида? Было бы неплохо отыскать ее и привезти в «Сан-Бернардо». Ей, верно, бедняжке, уже сто стукнуло.

Я подождал, пока рабочие мыли свои лопаты и убирали инструмент. Остался один. Ушли рабочие и с поля и с плотины.

Еще несколько взрывов в каменоломне, последние. Я подумал о Мендонсе. Каков, а? По эту сторону изгороди на возделанной земле поднимался хлопок, росла клещевина, по ту сторону — бурьян и колючки. Сколько земли украл этот мошенник! К счастью, мы все-таки пока ладим. Мне это нужно, чтоб добиться своего.

Я спустился вниз и пошел есть. Во время еды завел разговор с Казимиро Лопесом, вначале о всяких пустяках, потом о важном — я кое-что задумал. Казимиро Лопес пропустил мимо ушей начало разговора, но то, что я задумал, оценил.

Я тут же, не откладывая решил действовать, запер двери и написал письма в столичные банки и губернатору штата. В банках я просил ссуды, а губернатору сообщал, что работы по строительству лесопилки и плотины идут к концу, и просил освободить меня от налогов на ввоз машин. Конечно, и займы, и все остальное было фантазией чистейшей воды — я не представлял себе, как смогу оплатить машины. Но я привык к мысли, что они наполовину куплены.

Следом за этим я справился в сельскохозяйственной академии Сатубы, можно ли приобрести у них лиможского бычка.

Когда я дописывал последнее письмо, я опять услыхал шаги вокруг дома. Я встал, подошел к стене и посмотрел в щель. Какой-то парень приманивал собаку. Вглядевшись, я узнал в нем того хмурого кабокло, которого видел у Мендонсы, когда был у него. Я отошел от стены и позвал Казимиро Лопеса. Он встал у щели, как на посту. Я лег спать, думая о Каэтано и каменоломне, молотках, рычагах, сверлах, порохе, фитилях и бикфордовом шнуре.

— Это человек Мендонсы,— шепнул мне Казимиро Лопес, тронув гамак.

— Я в этом уверен.

На следующий день, в субботу, я если не убил, то загнал зайца. В воскресенье вечером, возвращаясь с выборов, Мендонса получил пулю под ребро и дал дуба тут же на дороге, недалеко от «Бон-Сусесо». На этом месте теперь стоит сломанный крест.

В то время, когда это случилось, я был в городе, разговаривал с викарием относительно церкви, которую решил построить в «Сан-Бернардо» в будущем, если дела пойдут хорошо.

— Какой ужас! — воскликнул падре Силвестре, услыхав об убийстве.— У него были враги?

— Были! У кого их нет! Враг как клещ. Так закончим, падре Силвестре. Сколько стоит один колокол?

7

Примерно в это же время, в одно из моих посещений редакции газеты Брито, я встретил в Масейо худого, сгорбленного, желтолицего старика с бакенбардами по имени Рибейро. Он голодал — это сразу бросалось в глаза. Старик мне понравился, и поскольку я нуждался в бухгалтере, то привез его в «Сан-Бернардо». Поверил ему, выслушав его историю, которую здесь слово в слово, старательно сохраняя его манеру говорить, передаю, разве что изменив лицо, от которого идет повествование.

Сеу Рибейро было семьдесят лет, и он был несчастлив, но когда-то был молод и счастлив. В поселке, где он жил, при встрече с ним мужчины снимали шляпы, а женщины, склонив головы, говорили:

— Благословен господь наш, Иисус Христос, сеу майор[1].

Когда кто-нибудь получал письмо, он шел к Рибейро и просил его прочесть. Сеу Рибейро читал все письма, знал все секреты, его уважали и звали майором.

Если соседи ссорились из-за земли, сеу Рибейро приглашал их к себе, вникал в суть спора, проводил межу, и ссоры кончались.

Все верили в мудрость майора. И в самом деле, сеу Рибейро был человеком умным: он знал старые законы, читал старые газеты и книги, в которых было много никому не известных, трудно произносимых слов. Разбирая их при свете масляной коптилки, он опалил себе ресницы. И если сеу Рибейро решал ознакомить жителей поселка с одним из этих необычных слов, он делал это обстоятельно, объясняя его значение, и таким образом повышал грамотность своих ближних.

Мужчины в поселке были наивны и простодушны. Случалось, что кто-нибудь из этих наивных, простодушных людей погибал от ножа или дубины. Сеу Рибейро, сама справедливость, находил убийцу, вязал его и привозил в городскую тюрьму, а семья покойного оставалась под покровительством майора.

Бывало и так, что какая-нибудь молодая девушка принималась плакать без видимой причины, однако вскоре признавалась, что беременна. Сеу Рибейро находил соблазнителя, звал священника, и все завершалось венчанием в часовне поселка. Рождался младенец — сеу Рибейро становился крестным.

Когда майор принимал решение, никто не протестовал. Его решения были законом.

В местечке не было ни судьи, ни солдат. А так как викарий жил далеко, молитвы, перебирая четки, читала жена Рибейро. Она же рассказывала детям истории о святых. Конечно, не все эти истории были правдивы, но дети в те времена не очень задумывались над правдой.

У сеу Рибейро был большой дом и маленькая семья. Дом — полная чаша. И хлопковые плантации были большие. Когда приходила осень, весь поселок шел к Рибейро убирать урожай. И черные не знали, что они черные, а белые не знали, что они белые.

Сеу Рибейро всем внушал уважение. Если на ярмарке затевалась какая-нибудь свара, он поднимал руку и кричал:

— Кто за меня, идем со мной!

Свара прекращалась, и ярмарка расстраивалась, так как все шли за майором, потому что уважали майора.

В ночь на святого Жоана самый большой костер озарял дом Рибейро. У других домов тоже горели костры, но в костре майора было больше дров. Молодые девушки и парни водили вокруг костра хоро-

[1] Майор в данном случае не воинское звание, так себя называли бразильские помещики.

воды. Пекли зеленую кукурузу и громко палили из мушкета. Мушкет был у майора, но стреляли из него только на празднике святого Жоана.

Теперь все в прошлом. Все переменилось. Кто-то родился, кто-то умер, крестники майора выросли и ушли служить в армию или работать на железную дорогу.

Местечко стало поселком, поселок превратился в город с политическим шефом, судьей, прокурором и комиссаром полиции. Появились разные машины, а хлопкоочистительная машина майора сломалась.

Приехал викарий, который закрыл часовню и построил красивую церковь. Истории о святых умерли в памяти детей.

Приехал врач. Он не верил в святых. Жена Рибейро погрустнела, стала хиреть и умерла.

Адвокат открыл консультацию, мудрость майора стала никому не нужна, и судебные разбирательства пошли одно за другим.

Да, прогресс торжествовал победу. Многие мужчины надели галстуки и приобрели ранее неизвестные профессии. Повозки, запряженные волами, перестали скрипеть на узких дорогах. Появились автомобили, бензин, электричество, кино... И налоги.

Теперь девушки и парни не кружились, взявшись за руки, вокруг костров на празднике святого Жоана, они танцевали танго и фрево [1].

Однажды Рибейро понял, что живет в слишком большом для него доме. Он продал его и купил другой, маленький. Поскольку мало кто от майора зависел, власть его над людьми становилась все меньше и меньше и скоро совсем исчезла.

У Рибейро был сын, который играл в футбол, и дочь, которая носила ленты, много лент. Вскоре они решили, что их городок слишком провинциален, и сбежали куда-то. Рибейро, сгорая от стыда, никому на глаза не показывался. Неделю спустя он, очень расстроенный, распродал свою рухлядь и отправился на поиски детей. Но не нашел ни сына, ни дочь: они жили где-то далеко — дочь работала на фабрике, а сын стал солдатом.

Рибейро остался в столице. Он побывал в больницах для неимущих, ночевал на скамейках в городском саду, торговал лотерейными билетами. Подвизался в разных сомнительных заведениях.

Десять лет спустя его взяли управляющим и бухгалтером в «О жорнал» с жалованьем в сто пятьдесят мильрейсов, и он частенько просил у друзей взаймы.

Когда старик закончил свою исповедь, я воскликнул:

— Здорово вас переехало! Надо было пошевеливаться, черт побери!

8

Тот самый кабокло, которого я однажды встретил в доме Мендонсы, погиб. Дело обыкновенное. Этот народ никогда не умирает собственной смертью. Кто от змеи, кто от вина, а кто руки на себя накладывает.

В каменоломне я тоже потерял рабочего: сорвался камень, ударил его в грудь — и готово. Оставил вдову и маленьких сирот. Все погибли: один ребенок сгорел, другой умер от глистов, третий — от ангины, а мать повесилась.

Чтобы они все не перемерли и чтоб работали лучше, я запретил пить вино.

Новый дом уже был закончен. Думаю, нет нужды его описывать. Основное о доме уже известно читателю по предыдущим главам

[1] Фрево — народный карнавальный танец.

или будет известно в последующих. А подробно описывать ни к чему. Это может заинтересовать архитекторов, но они вряд ли станут читать мою книгу. Дом получился очень красивый и удобный. Теперь я уже больше не спал в гамаке. Купил мебель и всякие вещи, которыми стал пользоваться с осторожностью, кое-чем я до сих пор так и не пользуюсь, потому что не знаю, для чего это предназначено.

Вот так вертелся я пять лет. Ну, ясно, и земля не стояла на месте, а вращалась.

Едва ли кто-нибудь подумает, что, преодолевая все эти препятствия, я уверенно шел вперед. Это, конечно, не так или, вернее, не совсем так. Я испытал и унижение, и неуверенность в себе, и желание все бросить. Часто я отступал, шел окольными путями. Вы находите, что всего, чего я достиг, я достиг не очень честно? Возможно, но я никогда не знал, когда я поступал хорошо, а когда плохо. Я делал добро, а оно приносило мне зло — убытки; я делал зло, а оно приносило мне добро — доход. А поскольку единственным моим желанием было завладеть землями «Сан-Бернардо», я считал, что для достижения цели все средства хороши.

И благодаря богу получил больше, чем надеялся получить. Пришли ко мне морщины: старость, видно, уже на пороге; но то, чего я тщетно добивался в юности — положения в обществе,— теперь завоевано. И налогов я плачу меньше. Дела мои пошли сами собой. Трудно? Ничего. Если уж вошел в колею, то все идет само собой, никаких забот. Если нет, пиши пропало. Однако, как только вы увидите, что вам начинает везти,— действуйте, действуйте немедленно: все глупости, которые вы совершите, обратятся в мудрость. Я встречал людей, которые всю жизнь надрывались, а прока никакого, встречал и ленивых, но таких, что чувствуют, куда ветер дует. Эти не упустят подходящий момент — захапают все, что только можно.

Я не ленив. Мне повезло с самого начала, а дальше я уже крепко держал в своих руках фортуну и заставлял ее быть ко мне благосклонной.

После смерти Мендонсы я тут же старый забор уничтожил и поставил новый дальше того места, где проходила межа еще при жизни Салустиано Падильи.

Кое-кто из соседей был недоволен.

— Дорогие сеньоры, сеу Мендонса тут своевольничал в свое время. А теперь все на своих местах. А кому не нравится, ну что же, идите к мировому за справедливостью.

Но поскольку справедливость стоила дорого, никто не шел ее искать. А я проторенной дорожкой двинулся дальше: прибрал к рукам землю Фиделиса, однорукого паралитика, и земли братьев Гама, которые кутили в Ресифе, изучая право. Пощадил только энженьо судьи Магальяэнса.

Мелкие злоупотребления прошли незамеченными. А крупные дела выиграны в суде благодаря сутяжническим способностям Жоана Ногейры.

Я шел на рискованные сделки, залезал в долги, покупал машины, не обращая внимания на тех, кто считал, что я хочу объять необъятное. Я посадил сад и развел домашнюю птицу. А чтобы плоды моего труда можно было доставить на рынок, я начал строить шоссейную дорогу. По поводу предпринятого мною строительства Азеведо Гондин тут же написал две статьи в газету. Он цитировал Форда и Делмиро Гоувейю, а меня называл патриотом. Коста Брито тоже опубликовал одну заметку в «О жорнал», вознося хвалы мне и местному политическому шефу. И взял у меня сто мильрейсов как вознаграждение.

Но несмотря на все эти хвалебные статьи на меня обрушились неприятности. Пока я занимался «Сан-Бернардо», все шло хорошо, но когда я стал прибирать к рукам четвертое или пятое поместье, на меня налетел рой ос. Я потерял двух рабочих и сам получил пулю в плечо. Ранение пустяковое, но след остался. Я разозлился и послал Косте Брито еще сто мильрейсов и обратился за помощью к Жоану Ногейре и Гондину:

— Эти идиоты охотятся за мной. А ведь я стараюсь для общества и налогов не беру. Просто позор. Муниципалитет должен помогать мне. Поговорите с префектом, доктор Ногейра. Может, он мне даст две бочки цемента для постройки моста.

Цемента я не получил, но мост построил. Поскольку замыслы мои были грандиозны и дела, которые я обделывал, были, мягко говоря, необычными, обыватели сочли меня сумасшедшим и оставили в покое.

В это самое время ко мне пожаловал губернатор штата. У меня уже три года, как была построена плотина — бессмысленная затея, по мнению Фиделиса.

— Для чего плотина, если есть речка, которая не пересыхает?

Так-то вроде бы и ни к чему. А все-таки она нужна была, чтобы привести в движение хлопкоочистительную машину и лесопилку.

Губернатору понравился и фруктовый сад, и породистые куры, и хлопок, и клещевина. Он нашел, что лиможское стадо достойно внимания. Попросил фотографии. Поинтересовался, есть ли школа. Я ответил, что школы нет. За завтраком, поднимая бокал шампанского, доктор Магальяэнс произнес речь. Когда его превосходительство заговорил о школе, я хотел было ввернуть словцо, но сдержался.

Школа! Какое мне дело, кто умеет читать и писать, а кто нет!

— У этих чиновников не все дома. Посылают учителей собирать клещевину. Надо видеть это!

Поднимаясь из-за стола, полупьяный Падилья шепотом попросил у меня пятьдесят мильрейсов.

— Ни гроша не дам.

И я пошел показывать губернатору лесопилку, очистительную машину и скотный двор. Рассказал про пресс, динамо, пилы и опрыскиватели для уничтожения вредителей. Неожиданно мне пришло в голову, что пообещай я ему школу — это бы расположило губернатора ко мне и он бы более благосклонно отнесся к просьбам, с которыми я хотел к нему обратиться.

— Так вот, сеньор, когда ваше превосходительство пожалует сюда снова, то здесь все будут держать в руках букварь.

Несколько позже, когда мы, стоя на фундаменте будущей церкви, любовались пейзажем, я отозвал в сторону адвоката:

— Доктор Ногейра, пришлите завтра ко мне Падилью. Надо с ним поговорить. Этот кретин на ногах не держится. Не забудьте, слышите? Завтра, когда у него хмель выветрится.

Его превосходительство отбыл, но день этот я запомнил. Губернаторский кортеж двигался по шоссе. Видя клубы пыли, я потирал руки:

— Черт возьми! Этот визит принес мне немалую выгоду. Можно сказать, капитал. Интересно, какова будет прибыль?

Однако, выставляя напоказ приобретенную уверенность, я все же здорово побаивался своих кредиторов. Все шло как по маслу, доходов было больше, чем расходов, но если бы эти злодеи захотели меня выхолостить, они сделали бы это без особого труда. И все-таки страх мой пошел на убыль. Школа — ведь это тоже капитал. Да и фундамент церкви.

Я продолжал потирать руки. Черт возьми! Дочерей Мендонсы я решил взять под свое покровительство. Как-никак преуспевать-то я начал после его смерти. Когда-то несколько брас [1] плодородной земли для меня были самым главным в жизни. Теперь это пустяки, и мне стало жаль старых дев.

Назавтра я приказал своим батракам привести в порядок жалкую, заросшую травой хлопковую плантацию в «Бон-Сусесо». Мендонса был, конечно, подлецом, но эти-то бедняжки чем виноваты? И я надумал заняться их хозяйством, чтобы соседи не завладели тем, что принадлежало сиротам. Женщины — существа беззащитные. Пусть только кто-нибудь попытается посягнуть на их собственность, он будет иметь дело со мной!

9

На следующий день, вернувшись с поля, я застал на веранде Жоана Ногейру, Падилью и Азеведо Гондина за увлекательной беседой о чьих-то ножках и фигуре. Все были увлечены.

— Женщина воспитанная,— говорил Жоан Ногейра.— Образованная.

— И рассудительная,— добавил Азеведо Гондин.

Падилья не нашел ничего лучшего в этой женщине, чем ножки и фигура, и, ковыряя спичкой под ногтями, пробормотал:

— Действительно.

Жоан Ногейра, впрочем, тут же спохватился, ведь он — человек солидный, бакалавр, уже за сорок, да и лысина. Иногда он, правда, попадал в компанию болтунов и бездельников, но с клиентами говорил только о делах. А со мной, который платил ему четыре конто и восемьсот мильрейсов в год за то, что он помогал знанием законов привести в порядок «Сан-Бернардо», держался уважительно и никогда не говорил лишнего. Я обращался к нему, титулуя «доктором», и в приятели к нему не лез. Я, конечно, ставил себя выше, но ни ученостью, ни хитростью такой, как у Ногейры, похвастаться не мог. Порой я в душе понимал, что его изворотливость достойна презрения. Но она была мне необходима, и мы уважали друг друга.

— Мы провожали нашего Падилью,— сказал Ногейра.— Шли пешком. Свежий ветер располагает к прогулке, и я пришел сюда, чтобы дать вам кое-какие советы по тем делам, которые вас интересуют.

Я пригласил его войти, молча глядя в окно, в котором видны были седые бакенбарды и очки сеу Рибейро, склонившегося над бухгалтерскими книгами. Мы вошли в контору. Было начало месяца. Я открыл несгораемый шкаф и вручил адвокату два банкнота по двести мильрейсов. Сеу Рибейро со свойственной ему аккуратностью занес в книгу записей сумму и незаметно вышел. Жоан Ногейра сел, написал расписку, вытащил бумаги из портфеля и объяснил мне, в каком состоянии мои судебные иски. И сразу же убедил меня в том, что только что выданные ему четыреста мильрейсов ушли из моего кармана с пользой. Даром денег он не брал. Вот нотариус не внушал мне доверия. Да и судебный исполнитель тоже. «Деньги, с ними только деньги»,— говорил Ногейра.

— Ну что ж, доктор Ногейра, пообещайте, но вперед ни монетки. Пообещайте, а расплачиваться будем потом, когда они выполнят свои обязательства.

Я спросил о каких-то мелочах, дал указания сеу Рибейро, мы

[1] Браса — мера длины.

вместе с Ногейрой вышли на веранду, где Луис Падилья и Азеведо Гондин все еще восхищались ножками.

— О чьих ножках толк?

— Мы говорим о Мадалене,— ответил Гондин.

— О ком?

— Об учительнице. Вы ее знаете? Красивая.

— Воспитанная,— вставил Жоан Ногейра.

— Красивая,— повторил Гондин.— Белокурая. Так, лет тридцать.

— Сколько? — спросил Жоан Ногейра.

— Лет тридцать.

— Самое большее — двадцать.

— Ну, это вам показалось. Вы не видели ее близко,— прервал Гондин.— А если бы видели, то не говорили бы чепухи.

— Как это не видел? Видел, и очень близко, в доме Магальяэнса. На дне рождения Марселы. Ей двадцать.

— Вам показалось, что двадцать. Вечером видели. А утром — другое дело. Ей тридцать.

Падилья, с грустью глядя на молодых телков, которые щипали на берегу ручья сочную траву, и на запруду, где плавали утки, вздохнул и предположил, что учительнице двадцать пять.

— Вот это похоже! Двадцать пять.

Я потянулся, усталый после целого дня, проведенного на солнцепеке в спорах с рабочими.

— Ну ладно, Падилья, пусть будет двадцать пять! Вы оба останетесь ужинать? Обратно поедете на автомобиле. Хочу поговорить с вами, Падилья.

Луис Падилья, зная еще со вчерашнего дня о предстоящем разговоре, сгорал от любопытства, теряясь в догадках.

— Так вот. Я думаю открыть школу.

— Великолепно! — воскликнул Азеведо Гондин и улыбнулся так, что нос его стал совсем плоским.— Вы согласились со мной, не так ли? Образование необходимо.

Адвокат провел рукой по лицу и рассеянно сказал, что школа принесет большую пользу.

Я пожал плечами.

— Кто его знает! Не верю. Тем более что я собираюсь поручить это Падилье. Конечно, польза была бы, если бы он смог организовать здесь хорошую школу с серьезным обучением сельскому хозяйству и животноводству. Но где найти учителей? И денег пропасть какая! Так что пока придется учить лишь письму, чтению и счету. Ну, согласны вы взять на себя это, Падилья?

Луис Падилья поинтересовался жалованьем и сказал, что он невероятно занят.

Стемнело, всюду зажглись электрические лампочки. Вот так-то! А ведь несчастные, ютившиеся там внизу, у изгороди фазенды «Бон-Сусесо», и мечтать не могли об этом. Свет до полуночи. Какое удобство! Я хотел провести еще и телефон.

Казимиро Лопес, хромая, подошел ко мне.

— Давайте ужинать! Я приказал позвать вас, Падилья, считая, что мое предложение может заинтересовать. Но раз вы так заняты — ничего не поделаешь. Садитесь!

За ужином выяснилось, чем вызван был сегодняшний визит Гондина: он узнал, где живет старая Маргарида.

— Не может быть! Что же вы до сих пор молчали, Гондин?

Азеведо Гондин наполнил стакан.

— Она живет в Жакаре-дос-Оменс.

— Это где?

— Пан-де-Асукар. Сегодня я получил письмо. Все приметы, возраст, цвет кожи — все совпадает. Живет в семье сыроваров. Из «О крузейро» я взял объявление обратно.

— Очень хорошо. А вы знаете кого-нибудь в Пан-де-Арукаре? Может быть, сеу Рибейро знает?

Ни тот, ни другой не знали.

— Гондин, раз вы уже взялись за это, попросите викария написать падре Соаресу насчет старухи. Я, пожалуй, поеду с вами вместе и поговорю с падре Силвестре. Надо старую перевезти осторожно, чтобы не заболела в пути.

— Я вот все раздумываю о школе...— пробормотал Падилья.

— И я,— прервал его Жоан Ногейра.— Вы меня опередили, Падилья. Сеу Пауло, пригласите Мадалену. Она просто находка для вас. Образованная женщина.

— Она украсит дом, сеу Пауло! — крикнул Гондин.

— Глупости! Мне что, для дома безделушки не хватает?

Падилья, не зная, на что решиться, по своему обыкновению продолжал ломаться:

— Я же прямо не отказывался. Я только сказал, что очень занят. А потом, это зависит от жалованья...

Обгладывая куриное крылышко, я ничего не ответил.

— Я бы хотел знать, сколько вы собираетесь платить,— боязливо повторил Падилья.

Такой жалкий, такой ничтожный и нудный. Ну просто клоп.

— Ну что ж, рискнем, Падилья, будем считать, что мы договорились. Вот только сколько вы стоите? Сто мильрейсов в месяц. Да ладно, для начала положу вам сто пятьдесят. Дом, стол, приятное общество, сто пятьдесят мильрейсов в месяц и восьмичасовой рабочий день. Подходит? Но предупреждаю сразу: служба есть служба, и у меня никто не пьет. Только гости.

— Очень хорошо,— сквозь зубы отозвался смущенный Падилья.— Я подумаю. А насчет спиртного — я в наставлениях не нуждаюсь, так как не пью. Разве что за обедом рюмку и с друзьями, и то не всегда. Я, пожалуй, приму ваше предложение.

Обед мы закончили молча. Мария дас Дорес принесла кофе и убрала посуду. Я предложил сигары, раскурил трубку, и все перешли в гостиную.

Сеу Рибейро развернул «О жорнал». По привычке я выбрал местечко подальше от открытых дверей, но оказался у открытого окна. Хотел было закрыть его, но раздумал: Казимиро Лопес, мой телохранитель, уселся на фундамент будущей часовни, поставил винтовку между ног и застыл, глядя вдаль.

— Вот, Падилья, вы и вернетесь в «Сан-Бернардо»,— сказал Ногейра.

— И допишете вашу книгу,— добавил Азеведо Гондин.— При строго организованной жизни можно многое сделать. Не так ли?

— Какое там!

Падилья стыдился своих сочинений. Он написал несколько рассказов, которые опубликовал в «О крузейро» под псевдонимом, и теперь, когда речь заходила о его творчестве, воображал, что все только и думают, как бы его поддеть. Он выпрямился, кинул горестный взгляд на стулья, пол, лампы:

— Жалованье маленькое, на книги и то не хватит. Но я согласен. Согласен потому, что речь идет о педагогике, а у меня к ней склонность.

Сеу Рибейро листал «О жорнал», двигая губами, иногда качая головой.

«О жорнал» просто неприлична. И Брито, бесконечно просящий денег, становится невыносим.

Азеведо Гондин, уставший после двух легуа пути, зевнул, потянулся и спросил:

— Итак, кандидаты Перейры побеждены?

Муниципальные выборы были на пороге.

— Меня это не интересует. Пустая трата времени!

Я сказал неправду. Ведь я получал благодарность от партии, поставляя избирателей. Но местные интриги меня и вправду не волнуют, нет. Если Перейра поскользнулся на банановой корке, тем хуже для него — пусть уходит со сцены, а на смену ему придет другой, с другими кандидатами.

— Так ему и надо,— ворчал Падилья, который никак не мог простить Перейре, что тот ставил под сомнение его сельскохозяйственные прожекты.— Он просто осел!

— Ну это несправедливо! — воскликнул Жоан Ногейра и улыбнулся.— До сих пор все считали Перейру человеком разумным. За ум его и хвалили. А сегодня Падилья вдруг произвел его в ослы.

— Он прав,— отважился Азеведо Гондин, почесывая подбородок.— Я тоже так думаю. Да и вы про себя думаете то же самое. В такой момент выйти из игры? Ну, добро бы это были федеральные выборы, тогда, как говорится, всякое может быть. Но у себя-то в округе, тем более что правительству наплевать на наши дела. Зачем было подставлять ножку падре Силвестре в префектуре? Падилья прав!..

— Ну и ну! — прервал его я.— Гондин, вы же первый не поддержали кандидатуру викария в вашей газете!

— Поддержал. Поддержал, понимая, как необходима солидарность в вопросах политики. Но кое с чем я не соглашался. Ногейра здесь и может подтвердить. И если уж говорить откровенно — то, что я поддержал его, было неумно.

Мне было неизвестно, что привело Перейру и викария к разногласиям. Я знал только, что падре Силвестре счел необходимым сократить денежную помощь «О крузейро» в сто пятьдесят мильрейсов, которую муниципалитет выплачивал каждый месяц. Однако это кое-кому пришлось не по душе. И вот я, просто так, из чувства противоречия, защищал викария, восхваляя его добродетели и намеренно закрывая глаза на его недостатки:

— Несчастье, да и только! Хороший человек. Мало того, простодушный, доверчивый... робкий.

— Поп! — воскликнул Луис Падилья с презрением.

Он был атеист и стремился к социальным преобразованиям. После того, как я его избавил от фазенды, он публично высказывал всякие кровожадные идеи и призывал — конечно шепотом — к уничтожению буржуазии.

— Сволочь!

И грыз с остервенением ногти.

Сеу Рибейро, уткнувшись в газету, время от времени жестикулируя, негромко высмеивал слог Брито.

— И все-таки я не понимаю,— продолжал я гнуть свою линию,— какой смысл было подставлять ножку викарию. Он был почти избран, признан, вот-вот должен был приступить к обязанностям, и вдруг — на тебе! Все псу под хвост. Зачем?

— Падре Силвестре революционер,— объяснил мне Жоан Ногейра.— Он сторонник радикальных преобразований насильственными методами.

Я был поражен. Казимиро Лопес прикуривал от керосиновой лампы. Взошла луна, высвечивая своим бледным светом краешек леса и желтые цветы пау-де-арко.

Я встал, сделал знак Жоану Ногейре, и мы подошли с ним к окну.

— Скажите мне, доктор Ногейра, что это за история с Перейрой? Все именно так? — спросил я его тихо.

Жоан Ногейра закурил сигару и ответил, что так, что сомнений быть не может!

— Губернатор вел себя хитро. Он предложил соглашение, по которому падре входил в совет. Перейра проголосовал за падре, ну и...

— Тогда, доктор Ногейра,— прошептал я еще тише,— думаю, что сейчас самое время ликвидировать наши дела с Перейрой. До сих пор я колебался, выжидая подходящий момент. Понятно — он был шефом. Но теперь, когда он пошел ко дну, кончено. Тем более что здесь сам черт не разберется. Я вам передам счета. Посмотрите, вы сумеете все устроить.

— Великолепно,— согласился Жоан Ногейра. И воодушевился: — Великолепно. Дайте мне доверенность на ведение дел, вы окажете большую услугу партии: прижмете Перейру, сеу Онорио.

10

По святым дням в наших краях не работают. Куда-нибудь едут, болеют или еще чем другим занимаются — лишь бы не работать. Воскресенье, само собой, день потерянный. Суббота тоже — по случаю ярмарки. И остается от рабочей недели дней пять, так и эти церковь сокращает. А в итоге: заработки — никуда, и в животе урчит от голода.

В эти так называемые праздничные дни я никогда не мог найти рабочих рук, чтобы очистить плотину от водяных лилий и прорыть канаву. Вдруг, услышав разговор Падильи с Казимиро Лопесом о ягуарах, я отвлекся от своих деловых мыслей.

Нет, где им понять друг друга. Падилья — хлюпик, пустомеля, говорит много и все ратует за революционные методы. Казимиро Лопес хром, двух слов связать не может. Для него учитель начальной школы — царь и бог: ведь он с книгами имеет дело. А это высшая похвала, которую Лопес высказывает, выкатывая глаза и присвистывая. Он заика. В сертане часами молчит, а когда бывает доволен, затягивает абойо [1]. Словами не богат, вряд ли с полдюжины наберется. За последнее время, слушая чужие разговоры, зазубрил непонятные слова, которые ему понравились, и сыплет ими направо и налево, кстати и некстати. В тот день он, как ни лез из кожи, ничего кроме: «Ягуары — они свирепые, хитрые» сказать не мог.

— Пятнами весь. Зубищи — во, вес большой, каждый коготь — во! Страх!

Падилья требовал, чтобы Казимиро Лопес повторил описание ягуара, и сказал что-нибудь такое, что, по его мнению, особенно характерно. Казимиро Лопес упрямился. Он просто не умел говорить или, вернее, говорил с трудом, но, полный почтения к учености Падильи, согласился, и ягуар превратился в его рассказе в никому не известного, невиданного зверя.

— Казимиро, отнесите письмо викарию.

Я написал падре Силвестре, благодаря его за заботы о старой Маргариде, которые он взял на себя, обеспечив ее переезд в «Сан-Бернардо», надо сказать — нелегкий. Она приехала несколько дней назад и теперь жила в домике, окруженном банановыми деревьями.

[1] Абойо — тягучая, монотонная песнь пастуха.

Я отдал письмо Казимиро Лопесу, взял шляпу и отправился к старухе. Быстро спустился по склону и, проходя плотиной, вспугнул стаю журавлей и турпанов. После обильных дождей уровень воды так сильно поднялся, что разросшиеся водяные лилии, того и гляди, грозили засорить водосток. Вода, шедшая к хлопкоочистительной машине и лесопилке, затопила все вокруг. Лесопилка стала, стала и очистительная машина. День пропал.

Маргариду я нашел сидящей на циновке. Согнувшись, она углем что-то чертила на кирпиче.

— Тетушка Маргарида, как вы себя чувствуете?

Она попыталась выпрямиться, узнав меня по голосу, подняла на меня невидящие глаза.

— Оплакиваю свои грехи, сын мой.

Грехи! Раньше иначе как святой ее и не называли. Какие же теперь могли быть грехи у этой высохшей, согбенной старухи, не способной ни двигаться, ни соображать? Она была почти слепая, а потому, не поднимая глаз, заговорила со мной все так же наставительно, как и прежде, когда я был маленьким. Меня это тронуло, я подошел к ней, сел на циновку рядом.

— Тетушка Маргарида, я искал вас очень долго. Я всегда помнил о вас, и найти вас было для меня счастьем. Может быть, вам что-нибудь нужно, не стесняйтесь, говорите.

Она посмотрела на стол, стулья, электрическую лампочку и мебель соседней комнаты.

— Для чего эта роскошь? Побереги все это для себя, сгодится. На постели я спать не привыкла. А кто раздает свое добро, может по миру пойти.

— Не говорите так, тетушка Маргарида. Будьте спокойны, спите спокойно. Если кончатся дрова, скажите. Пусть огонь в печке не гаснет, сейчас ночи холодные.

— Да, тепло нужно. Тепло и еда.

Она продолжала что-то чертить на земле. Сгорбленная старуха с дряблой грудью, по которой стучали висевшие на шее белые и голубые четки.

— Еще бы кастрюлю. Старую-то украли.

Я вспомнил старую кастрюлю, которая была всей нашей утварью в том маленьком доме, где мы жили. Около нее я провел много лет, мыл ее, тер песком и золой закопченные места и получал за это еду. Маргарида пользовалась ею почти всю жизнь. А может быть, я пользовался и кастрюлей, и добротой Маргариды? Теперь, дряхлая, она больше не могла готовить сласти, и эта утварь была ей ни к чему.

— Хорошо, тетушка Маргарида, будет тебе кастрюля, такая же, как та.

11

Однажды я проснулся с мыслями, что пора жениться. Думал я о женитьбе как о необходимости, никакая юбка меня не привлекала. Любовь не занимает меня — вы должны были это заметить,— и женщина мне всегда казалась той редкой тварью, справиться с которой трудно.

Женщины, конечно, у меня были — Роза Марсиано, например, ну, что о ней скажешь? Жермана еще была. И другие такого же сорта. И всех остальных я считал не лучшими. Да и вообще-то к женщинам я был равнодушен, если что и волновало меня, так это будущий наследник земель «Сан-Бернардо», о нем-то я и думал.

Я попытался представить себе свою будущую жену, высокую, крепкую тридцатилетнюю женщину, обязательно черноволосую. На этом фантазия моя иссякла. Я не способен фантазировать. И все то хорошее, что мне хотелось бы увидеть в женщине, которая мне даст наследника, не создавало образ, а существовало отдельно, само по себе. Я стал думать о знакомых мне дамах: доне Эмилии Мендонсе, Гаме, сестре Азеведо Гондина, доне Марселе, дочери доктора Магальяэнса, судьи.

Но тут и эти дамы исчезли из моих мыслей, так как я вспомнил, как однажды вечером неожиданно для себя подслушал в церковном приделе (церковь была закончена, оставалось сделать роспись), как Луис Падилья говорил Марсиано и Казимиро Лопесу:

— Присвоение. Это как раз то, что так категорически осуждают философы в своих книгах. Вот, пожалуйста, бог знает сколько земли, дома́, леса́, плотина, скот — и все в руках одного человека. Так быть не должно.

Марсиано, грязный, неотесанный мулат, слушал с удовольствием, переминаясь с ноги на ногу и показывая беззубые десны.

— Сеньор Падилья прав. Я мало чего понимаю, я человек грубый, но когда не спится, тоже думаю о том. Убиваешь себя, работая на хозяина. А? Как думаешь, Казимиро?

Казимиро Лопес поморщил нос и сказал, что все вещи с сотворения мира имели хозяина.

— Какого там хозяина! — закричал Падилья.— Не было хозяина, а был и есть наш труд. Мы работаем для того, чтобы другие богатели.

Я вышел из ризницы и в бешенстве заорал:

— Для чего, для чего, Падилья? Для чего же это вы, паразит, лентяй, ничтожество, работаете?

— Да я, я, сеу Пауло,— стал оправдываться испуганный Падилья,— я просто излагал здесь кое-какие теории.

Обругав обоих как следует, я приказал им собирать свое барахло и убираться ко всем чертям.

— Вон с моей земли! — хрипел я, весь красный.— Чтоб духу вашего здесь не было! Забирайте свой хлам и катитесь на все четыре стороны! С таким учителем можно далеко уйти. Представляю, чему этот бессовестный учит.

Потом, конечно, Падилья, сетуя на себя самого и всячески заискивая, клялся всеми святыми, что в школе он ничего подобного не говорит и что ему не хотелось бы оставить детей без хлеба знаний. Что же касается тех теорий, так это он так, чтобы уколоть Казимиро и убить время.

— Я очень раскаиваюсь, но поверьте, я не способен распространять разрушительные идеи.

На следующий день, шмыгая носом, с просительным видом приплелась ко мне Роза с пятью детьми (трое держались за юбку, один — на руках и еще один — в животе). И я, который рядом с ней не чувствовал себя хозяином, успокоил ее.

— Пришли ко мне этого кобеля Марсиано. Все уладится.

Вечером в столовой я стал читать Марсиано и Падилье длинную нотацию, стараясь доказать, что не они, а я на них работаю. Правда, я очень скоро сбился и в свое удовольствие обругал их:

— Неблагодарные дураки!

Они струхнули, а я смягчился.

— Куриные мозги. Что, сели на мель? Дураки.

Мне захотелось по-отечески вразумить их. Но тут, увидев мою отходчивость, Падилья решил поспорить. Я разъярился. Он тут же

пошел на попятный. Марсиано весь съежился, пытаясь втянуть голову в плечи. Он напоминал мне черепаху. Падилья грыз ногти.

— Ладно, на этот раз прощаю. Но если услышу что-нибудь подобное — позову полицию. Тут вам не Россия, слышите? Вон отсюда! Все вон!

Их как ветром сдуло. А я долгое время не мог успокоиться и уговаривал сам себя:

— Сделай вид, что ничего не случилось, и все! Нечего обращать внимание! Эти дураки много спят и много болтают. Бедняга Марсиано тут ни при чем. Он хорошо смотрит за скотиной, да к тому же он муж Розы.

Падилью же мне было приятно унизить — пусть видит, в какой образцовый порядок я привел его бывшую фазенду, какие ввел усовершенствования, пусть завидует.

Тут моими мыслями вновь завладела женитьба, о которой я писал в начале главы. Я перебрал в уме всех: дочерей Мендонсы, Гамы, сестру Гондина (я даже не знал ее имени), Марселу, дочь доктора Магальяэнса. Дона Марсела была баба что надо. Только вот слишком штукатурилась и шепелявила. Однако будь что будет. Совершенен один бог.

Я уже совсем собрался к доктору Магальяэнсу, когда на меня, можно сказать, свалился Коста Брито — вернее, я получил его письмо, в котором он пытался выудить у меня двести конто.

Как изменился Коста Брито и его газета. Когда-то он с пеной у рта отстаивал интересы правительства, а теперь переметнулся на сторону оппозиции. И все из-за того, что тот, кто стал депутатом штата, считал, что дела государства идут из рук вон плохо, что у власти стоят некомпетентные люди. И теперь мы, которые голосовали за правящую партию, были никому не нужны. От нас воротили нос, вели себя с нами вызывающе. Черт знает что! И вот, пожалуйста, мой последний визит в столицу и моя глупая заметка в четыре строки встали мне в пятьдесят мильрейсов. Их вынул у меня из кармана в кафе за кружкой пива директор «О жорнал».

— Хотят газету даром. К чертям! Всю жизнь пишешь, как каторжник, лжешь, чтоб ослы вышли в люди! Одни издержки! Бумага ведь денег стоит. А на выборах на тебе... одно свинство. Какой-нибудь безграмотный префект с легкостью проходит. Хотите похвал?! Нате, выкусите!

Мне не нужен был Брито, но я дал ему денег, помня прежние его услуги, а также потому, что не люблю иметь неприятности с прессой. Потом я намекнул на финансовый кризис и дал понять, что больше он из меня ничего не вытянет.

Но Брито толстокож, как слон: он пренебрег моим предупреждением и продолжал бомбардировать меня письмами сначала с жалобами, потом с требованиями. То, которое сбило меня с мыслей о женитьбе, содержало угрозы. Я отказался платить, послав телеграмму следующего содержания: «Настаивать бесполезно. С меня хватит».

С какой стати я должен содержать журналиста? Что я ему, отец?

— Кто родил, тот пусть и кормит. Ну, попроси один-два раза, да полюбезнее — пожалуйста. Но угрожать, шантажировать — так дело не пойдет.

В конце концов, что он может мне сделать? Я не государственный чиновник, мои связи с партией ограничиваются вербовкой избирателей, вручением им избирательных бюллетеней, музыкой и фейерверком при встречах губернатора. Яд «О жорнал» для меня не опасен. Разве что мои личные дела их могут заинтересовать... Ну, тогда я возьму палку и обломаю ее о бока Брито.

Я подавил в себе раздражение и постарался вновь воскресить в своем воображении наштукатуренную и шепелявую Марселу. Она появилась. Но все время образ ее ускользал, сменяемый то образом Марсиано, то Розой с детьми, то Луисом Падильей, то Костой Брито.

12

Дело Перейры лежало без движения в нотариальной конторе, выжидая подходящего момента, когда судья возьмет и подмахнет его среди множества прочих дел. Это сказал мне однажды вечером Жоан Ногейра. И я, решив сразу убить двух зайцев — дать ход делу Перейры и убедиться в прелестях доны Марселы, отправился в город нанести визит судье Магальяэнсу.

Уже смеркалось, когда я вошел в залу, служившую ему кабинетом, и увидел его в компании дочери и трех гостей: Жоана Ногейры, какой-то сеньоры в черном, худой, высокой и старой, и другой — молодой, хорошенькой блондинки.

Они молчали, разделившись на две группы — в одной мужчины, в другой женщины.

Доктор Магальяэнс был небольшого роста, с крупным носом, в пенсне, за стеклами которого прятались веселые маленькие глазки. Тонкие губы плотно сжаты. И разжимаются они только для того, чтобы дать возможность судье Магальяэнсу говорить о собственной персоне. А начав говорить, он остановиться не может.

Но в тот момент, когда я вошел, все как будто беседовали молча. Дона Марсела улыбалась блондинке, которая в свою очередь улыбалась доне Марселе, показывая свои безупречно белые зубки. Невольно, сравнив ту и другую, я подумал о целесообразности моего визита.

Я отбросил мысли о Марселе и всецело занялся судьей: мне очень хотелось найти в нем что-нибудь, какую-нибудь черточку, говорящую о его профессии.

Доктор Магальяэнс провел рукой по лбу и спросил:

— Какие газеты сеньор выписывает?

Я ответил, что выписываю журналы по сельскому хозяйству, партийный листок, «О крузейро» и «О жорнал». Я похвалил Азеведо Гондина и напустился на Брито:

— Каков наглец, а?

Доктор Магальяэнс уклонился от ответа. Жоан Ногейра подошел к полке с книгами, взял одну, сел и углубился в чтение.

С другого конца залы послышались приглушенные смешки.

Делать мне решительно было нечего, и я стал размышлять. Нет, жить вне женского общества трудно. Хотя если мужчина и женщина сближаются, то почти всегда в результате полового влечения. Наверно, поэтому столько злословят даже тогда, когда между ними ничего нет. Если я обращаюсь к даме, она пугается — на лице ее смущение, но если она разговаривает со мной без волнения, кто-нибудь обязательно сочтет, что дело нечисто.

— Как давно вы были в кинематографе?— спросила громко сеньора в черном.

— Дней пятнадцать назад, дона Глория,— ответила Марсела.— Думается, пятнадцать. Папа, когда мы были в кино?

Судья Магальяэнс подсчитал. Он вытащил из кармана сигару, разделил ее на две части, сделал из одной тонкую и закурил.

— Две недели назад.

— Ну вот, пятнадцать дней.

— Нет,— запротестовал судья,— две недели. Ты заблуждаешься.

— Пятнадцать дней, разве это не две недели?

— Нет, две недели — это четырнадцать дней.

Дона Марсела не сдавалась:

— Всегда слышала, что две недели это — это пятнадцать дней.

— Я тоже слышал,— доверительно сказал Магальяэнс.— И слышал много раз. Но это неправда. Одна неделя — это семь дней. Семь да семь — четырнадцать. Ну? Так, значит, четырнадцать!

Жоан Ногейра отложил в сторону книгу.

— Возможно, дона Марсела считала с днем, когда была в кино?

— Возможно,— уступил Магальяэнс.— Если не считать этот день, будет четырнадцать.

— Но если считать, будет пятнадцать!— крикнула Марсела.

— Лучше не считать,— посоветовал Магальяэнс.

Все оживились, блондинка привстала, собираясь распрощаться.

— Еще рано,— удержала ее Марсела.

Сеньора в черном завела разговор о недавно прочитанных романах. Марсела как раз закончила один, приключенческий. Я поинтересовался содержанием. Она было открыла рот, но, так как не помнила даже имен героев, молчаливо потупилась. Потом она снова открыла рот, но сказала лишь:

— Роман интересный, очень, дона Глория.

— Я не люблю романов,— сказал доктор Магальяэнс.— Когда-то, правда, я кое-какие перелистывал, но теперь и этого не делаю. Пустая трата времени. Я судья, только судья, вот так-то!

Дона Марсела наконец вспомнила о содержании и начала его пересказывать. Сеньора Глория ее слушала. Блондинка сидела рядом, склонив голову, положив руку на руку. Красивые руки, красивая голова.

— Когда я веду дело,— снова заговорил судья Магальяэнс,— для меня кроме него ничего не существует, никаких сантиментов я не признаю.

— Именно это я утверждал вчера, беседуя с доктором Ногейрой,— прервал я его.

Доктор Магальяэнс поблагодарил меня.

— Чтобы вести себя так, надо быть независимым. Я независим. И ни в ком, абсолютно ни в ком, не нуждаюсь. Какие претензии они могут иметь ко мне?

Я не знаю, кого имел в виду судья Магальяэнс, но в этот момент Жоан Ногейра тронул его за плечо и что-то шепнул на ухо. Я понял, что он решил поговорить о деле Перейры. Я встал, отошел в сторону, чтобы не смущать неподкупного судью и немного размяться. Подошел к окну, закурил трубку.

Дона Марсела заканчивала пересказ романа. Заметив, что Ногейра удовлетворен разговором с судьей, я невольно прикусил зубами трубку и от удовольствия потер руки:

— Очень хорошо. Ну, а что вы скажете, сеньоры, о списке кандидатов от нашей партии? Я не знаю будущих кандидатов, но думаю, среди них есть два-три, у которых язык подвешен как следует.

— Сеньор верит во все это? — спросил Жоан Ногейра.

— Во что?

— В выборы, в депутатов, в сенаторов.

Я смешался, так как твердого мнения по этому вопросу не имею.

— Люди ко всему привыкают. Ну и я, с тех пор как себя помню, вижу урны, избирателей. Привык. Не всегда они нужны, конечно. А все-таки хорошо, когда избиратель верит, что от него что-то зависит, что он может повлиять на ход событий, на правительство. Пусть это смешно, но все-таки. У меня в фазенде всяк, кто трудится, верит, что,

если он оставит лопату, работа станет и хозяйство придет в упадок. Я поддерживаю эти иллюзии, и все довольны.

Спустя какое-то время Жоан Ногейра сказал:

— Я считаю, что ни депутаты, ни сенаторы не нужны, и едят они много, слишком много.

Я хотел вставить словцо, но заметил, что судья чувствует себя не в своей тарелке. Я замер, слово застряло у меня в горле. Магальяэнс поборол неловкость, и какое-то время мы играли в молчанку, выжидая, кто первый заговорит. Между тем блондиночка смотрела на нас внимательно своими большими синими глазами.

В это самое мгновение я понял, что эта маленькая женщина — полная противоположность тому образу, который я рисовал в своем воображении,— мне больше по вкусу. Она мне явно нравилась, черт побери. Маленькая, слабенькая, не то что Марсела: грудастая, толстозадая, и загривок как у быка.

Поскольку все продолжали молчать, я возразил Жоану Ногейре, но слова мои были адресованы блондиночке:

— Да, бесполезные вещи существуют, и мы их часто с любовью храним. Вот, к примеру, эта трубка. Она не только не полезна, а даже вредна.

Я набил трубку.

— По правде говоря, я до конца не уверен в том, что она вредна. Может, и наоборот — полезна. Поэтому я и принимаю участие в выборах. Думаю, что и сеньор не хочет, чтобы воцарилось беззаконие.

Судья Магальяэнс, которому законы давали хлеб насущный, возмущенно произнес:

— О!!!

— Нет,— снова сказал Жоан Ногейра.— Но законы, которые издает конгресс, никуда не годятся. Было бы неплохо покончить с конгрессом. Законы должны издавать юристы.

— А?..— вздохнул облегченно Магальяэнс.— Законы или декреты с того самого момента, как они зафиксированы на бумаге, есть законы.

Он положил ногу на ногу, покачал головой, вытянул губу и поднял палец:

— В чем мы нуждаемся, так это в элите.

— Вот именно,— подхватил Ногейра,— в олигархии.

Но Магальяэнс настаивал на своем:

— Нет! В элите!

— Почему в элите?— спросил Ногейра.— Элиту мы имеем в правительственных кругах. А нам нужна олигархия.

— Но ведь оппозиция только и делает, что кричит в газетах и на митингах об олигархии. Разве нет? — спросил я.

— Оппозиция не ведает, что творит. Какая у нас олигархия? Кучка проныр, рвущихся к власти. Это конгрессмены, министры, президенты, губернаторы, секретари, политиканы-южане. Сколько зубов на одну косточку, а? И какой сброд! Посмотрите на наших представителей в конгрессе. Ну, что скажете, доктор Магальяэнс?

Доктор Магальяэнс немного помедлил с ответом:

— Я держусь в стороне от политики. Я судья, только судья. Меня интересуют законы и книги, в которых они записаны. Я встаю рано, выпиваю чашечку кофе, маленькую. Бреюсь, принимаю ванну. Потом гуляю по саду, возвращаюсь, листаю журналы и завтракаю, немного— из-за желудка. Часок отдыхаю, пишу, даю консультации. Обедаю, совершаю прогулку в город, вечером принимаю друзей, когда же они уходят, ложусь спать.

Дона Глория не удержалась от замечания:

— И правильно делаете, необходимо следить за своим здоровьем.

Жоан Ногейра выразительно хмыкнул.

— Без сомнения, здоровье прежде всего. Однако, как мы говорим, олигархии у нас нет, но тех, кто греет руки,— предостаточно.

— Вот, вот! И если оппозиция кричит сейчас, когда там, наверху, проныр предостаточно, то вообразите, что будет, когда их станет меньше. Крику будет не меньше, а больше.

— Почему?

— Потому что многие, кто сейчас наверху, будут внизу и недовольных станет больше.

И так как судья подошел к окну, я шепотом спросил Ногейру:

— Ну, обещал он подмахнуть?..

Жоан Ногейра утвердительно кивнул.

Я поспешил откланяться.

— Не согласен я с вами, доктор Ногейра, нет. В нашем государстве совсем не так плохо. Справедливость — наше главное достоинство. Сами подумайте.

— Я опять повторяю, я только судья,— сказал Магальяэнс.— Когда мне что-нибудь не ясно, я беру книги и справляюсь у достойных авторов.

Я подождал, пока он закончит, еще раз попрощался и вышел.

Под впечатлением, которое произвели на меня глаза блондинки, и в надежде, что случай поможет узнать ее имя, я как дурак бродил по городу. Но случай не представлялся. Тогда я решил поговорить с Жоаном Ногейрой. Я был уверен, что он знает, как ее зовут, из какой она семьи и обо всем остальном, что необходимо знать, дабы не совершить оплошности. В десять часов я отправился в редакцию «О крузейро», но там был только наборщик Аркимедес. Я заглянул в бильярдную Соузы — там тоже, кроме одного подвыпившего завсегдатая, никого не было.

— Доктор Ногейра должен быть у Эрнестины.

Я не знал, где она живет. Уже к полуночи я нашел адвоката в гостинице. Они с Азеведо Гондином спорили о поэзии. Битый час я слушал спор, пытаясь что-нибудь понять, но тщетно.

— Доктор Ногейра, можно вас на одну минуту? Извините, Гондин.

Однако деликатность вопроса, страх показаться смешным да еще подозрение, что Ногейра сам не прочь приволокнуться за блондиночкой, заставили меня заговорить совсем о другом — я попросил Ногейру посвятить меня в подробности процесса Перейры.

13

Вскоре я снова увидел молоденькую блондинку. Это случилось в тот день, когда я возвращался из столицы, куда был вынужден отправиться из-за этого бессовестного Брито.

А дело было так. После моей телеграммы (помните ту телеграмму, в которой я отказал этому пирату в двухстах мильрейсах) «О жорнал» начала поливать меня грязью. Вначале это были желчные пасквили с разными намеками, затем началась открытая атака: в двух злобных статьях иначе как убийцей — самое ласковое имя — меня не называли. Когда я прочел эту подлую пачкотню, я вооружился плеткой и отправился в город.

— Вы должны подать в суд на Брито,— сказал Жоан Ногейра.— Его легко посадить за решетку.

— Если хотите себя защитить, «О крузейро» к вашим услугам,— заметил Гондин.— Напишите либо сами, либо я, либо Ногейра. Беда

только, что «О крузейро» редко выходит. Но все-таки на «О крузейро» мы можем рассчитывать, и я к вашим услугам.

— Благодарю, Гондин. Благодарю, Ногейра. Потом подумаем, как быть. Не стоит ломать голову по пустякам.

И мы до одиннадцати играли на мелочь в домино. Назавтра я сел в поезд и поехал в город. Как только он тронулся, меня сковал сон, и проснулся я только в десять утра, когда поезд подошел к Центральному вокзалу. Выйдя из вагона я внимательно стал всматриваться в прохожих. Под мышкой у меня была плетка.

Я пошел вверх по Торговой, свернул на улицу Свободы, потом вышел на улицу Радости и остановился против здания «О жорнал». Какое-то время я постоял у ограды, глядя на грязные ящики во дворе, зашел внутрь, прошел через наборный цех, через печатный и очутился в редакции. Здесь желтолицый парнишка вырезал телеграммы из вечерних газет Ресифе.

— Директор поехал в Пажусару.

— Спасибо.

Я вернулся той же дорогой и битый час на остановке травмая изучал пассажиров, прибывающих из Понта-да-Терры. Наконец появилась физиономия этой крысы Брито.

— Ола!

Он отступил назад, хотел вскочить на подножку, но трамвай уже тронулся. Приняв независимый вид, Брито пошел на меня, но тут же, заметив плетку, остановился, побледнел и, заикаясь, стал заискивать:

— Счастлив вас видеть. Какая удача! Да, сеньор, нам необходимо поговорить.

Я схватил его, прижал к столбу и сказал почти шепотом, чтобы не пугать прохожих:

— Ну, сукин сын, твои статьи...

— Чего не сделаешь ради денег,— стал оправдываться Брито.— Это же не в редакционной статье, вы же видели! Пойдемте в редакцию, там будет удобнее разговаривать. Я вам все объясню.

В ответ я схватил его за ворот пиджака и несколько раз ударил плеткой. Тут стали останавливаться прохожие, кричать, возмущаться. Засвистел полицейский. Косте Брито удалось вырваться, и он побежал по Торговой улице.

Я отправился в гостиницу, но только собрался пообедать, как меня вызвали в полицию. Там меня буквально засыпали вопросами, я опоздал на трехчасовой поезд, но доказать полицейскому комиссару, что он тупица и брюзга, так и не сумел. Тогда, усталый и измученный, я обратился к адвокату (триста мильрейсов, кроме всяких мелких трат на такси, чаевые и прочее), и двадцать четыре часа спустя я двинулся в обратный путь. Когда я сел в поезд, у меня в ушах все еще звенела нравоучительная речь комиссара полиции о том, что я покушаюсь на свободу прессы, и на другие, высказанные им глупости.

В вагоне я купил свежие газеты. О происшедшем не было ни строки. Тишь да гладь! Я увлекся статьей о разведении пчел и очень скоро забыл и либеральные нравоучения комиссара, и тупость полицейского. Поостыв немного, я признался самому себе, что сердце у Брито все-таки доброе и вряд ли он теперь напишет обо мне какую-нибудь пакость. Я углубился в чтение. Да, действительно, пчелы — это настоящий источник богатства.

В этот момент рядом со мной села женщина в черном. Так как солнце слепило ее, я задернул занавеску.

— Очень вам признательна.

Вглядевшись, я узнал в ней ту, которая месяц назад в гостях у Ма-

гальяэнса так внимательно слушала Марселу, которая пересказывала прочитанный роман.

— Не за что, дона Глория.

Я обратил внимание, что пакет, который она держала на своих острых коленях, того и гляди, разорвется, и, предложив свои услуги, тут же положил его рядом со своим багажом. Дона Глория была из тех незаметных старушек, которые всегда всем улыбаются и стараются всеми силами скрыть свою бедность. Поезд отошел от станции. Между нами завязалась довольно оживленная беседа, и мы скоро сделались друзьями.

— Эта железнодорожная компания «Грейт Уэстерн» никуда не годна. Дрянь. Безобразие просто. Что это за вагон! Свинарник!

Именно так я начал обычный дорожный разговор. Дона Глория испугалась, как бы кто из служащих дороги не подслушал, и доверительно сообщила, что вагоны действительно неважные.

— Никудышные, дона Глория.

Она внимательно и с уважением посмотрела на меня.

— Мне кажется, что мы где-то с вами встречались. Никак не могу припомнить где. Память моя — беда моя.

— В доме судьи, в прошлом месяце. Вы были с молоденькой блондинкой...

Глаза ее округлились.

— Ах да!

На этом разговор наш прервался. Чтобы начать его снова, я взял газету и ткнул пальцем:

— Вот здесь пишут о разведении пчел. Автор, видно, человек знающий.

Она не поняла. Помолчав немного, она громко сказала:

— Теперь я вспомнила. Сеньор был вместе с Ногейрой, и спор шел о политике.

— Вот, вот.

Опять замолчали.

— Сеньор живет в столице?

— Нет, в провинции.

— В Висозе?

— Да.

— Какое-то время я там тоже жила. Но город маленький... Ужасно, не так ли?

— Город маленький? Ужасен? А большой? Тоже ничего хорошего! Города ужасны. Я люблю деревню, понимаете? Лес!

Лицо доны Глории сделалось непроницаемым.

— Лес, святой боже! Но в лесу же звери? А сеньор живет в лесу?

— В «Сан-Бернардо».

Дона Глория не знала «Сан-Бернардо», и это меня обидело, так как «Сан-Бернардо» было для меня самым замечательным местом в мире.

— Фазенда что надо. Там вода не чета той, что вы пьете здесь. Тут грязь, а там, сеньора, чистота.

Дона Глория выпрямилась, повысила голос и поборола робость:

— Нет, это не по мне. Я родилась в городе, выросла в городе. Без города я, как рыба без воды. Больше того, я даже хлопотала о переводе в столичную школу... Но нужна протекция. Обещают...

— Так вы учительница?

— Нет, учительница моя племянница.

— Та самая девушка, которая была с вами у Магальяэнса?

— Да.

— Как же зовут вашу племянницу, дона Глория?

— Мадалена. Видите ли, ведь она получила прекрасное образование...

— Обождите-ка, так, так! Это о ней говорили Ногейра и Гондин. Образованная, красивая женщина. Совершенно верно. Больше всех о ней говорил Гондин из «О крузейро», такой курносый.

— Я знаю.

И она, улыбаясь, выслушала хвалы, воздаваемые своей племяннице.

— И вот такой девушке жить в такой дыре, сеу...

— Я Пауло Онорио, дона Глория. Очень жаль. Конечно, учить азбуке — занятие хуже не придумаешь. Простите мою нескромность, сколько же она зарабатывает, своими бе-а, ба?

Дона Глория понизила голос, чтобы сообщить мне, что на первых порах учителя получают всего лишь сто восемьдесят мильрейсов.

— Сколько?

— Сто восемьдесят мильрейсов.

— Сто восемьдесят мильрейсов? Вот те на! Беда просто. Как, черт возьми, христианину жить на сто восемьдесят мильрейсов? Знаете, что я вам скажу? Меня бесит одно сознание, что достойный человек живет в такой нищете. У меня безграмотные батраки получают больше. Почему же вы не посоветуете своей племяннице бросить это дело?

Дона Глория принялась рассказывать мне, как трудно найти работу, и о том, что с учительского жалованья еще нужно платить страховку — для пенсии.

— Что за страховка?! Ерунда! Найти работу... Я скажу вашей племяннице, как можно заработать, и заработать в избытке. Разводите кур.

Дона Глория обиделась, а рядом сидящий пассажир, поскольку, воодушевившись, я почти кричал, принялся хохотать. Это был молодой человек с маленькими усиками и докторским кольцом [1] на пальце. Я приблизил к нему свое заросшее щетиной лицо и волосатую руку.

— Не вижу причины для смеха, молодой человек! Диплом-то у вас есть, но что он вам дает? Если у вас нет богатого папы, то вы самое большее — прокурор. Лучше было бы разводить кур.

Молодой человек смутился.

— Великолепное занятие, дона Глория, вполне благородное занятие. Если решитесь, то лучшей породы, чем «орпингтон», нет! Школа? Пустое! Я открыл ее у себя в «Сан-Бернардо» и все поручил Падилье. Знаете, кто он такой? Идиот! Но он говорит, что в школе дела идут неплохо. Очень может быть. Гондин и падре Силвестре были там, спрашивали мелкоту и пришли к выводу, что все в порядке.

Дона Глория поморщилась, но тут же поспешила согнать гримасу с лица.

— Каждый живет, как умеет.

— Вот те на! Приезжайте-ка ко мне в «Сан-Бернардо». Я покажу вам, что такое хозяйствовать на земле. Думаю, у вас руки зачешутся.

Конечно, разговор наш я вряд ли сумел передать точно, слово в слово. Да и было все не совсем так. Мы то молчали, то, не понимая друг друга, повторяли одно и то же, и каждый старался убедить собеседника в своей правоте. Я не следил за словами, которые слетали с моего языка, и уж конечно не думал, что все это будет изложено мной на бумаге. Вот почему я пишу только то, что, мне кажется, должно заинтересовать читателя. Кое-что я опустил, кое-что изменил. Например, с молодым дипломированным человеком я разговаривал дольше и резче, а здесь я привел только выжимки. Мигрень доны Глории

[1] Докторское кольцо — знак окончившего высшее учебное заведение.

(она страдала ею большую часть пути) вообще испарилась со страниц. Переписывая, я опустил кое-какие глупости, сказанные мною и доной Глорией. Немало их и осталось: одни — случайно, а другие я считаю достойными внимания. Приняв решение пожертвовать кое-чем в рассказе, я хотел только одного — сохранить главное, ради чего я пишу. Вот, к примеру: когда я прижал Косту Брито к столбу, я сказал ему несколько слов. Но к чему они здесь, удары плетки и без них были крепкими. Я и опустил их. И если кто-нибудь перечитает те страницы, где я описываю эту сцену, он не найдет никаких непристойных выражений и поставит мою сдержанность мне в заслугу.

Еще я опустил пейзаж, а жаль! Пейзаж произвел бы впечатление. Явный промах. Из моего рассказа непонятно, где происходил разговор с доной Глорией. Может, на Луне?! Но все это потому, что занавеска на окне была задернута и я видел пейзаж только мельком в другие окна. Часть железнодорожной станции, кусок леса, заводы и тростниковые плантации. Очень много плантаций, но этим я не интересуюсь. Видел также молодых бычков зебу, которые, по моему мнению, скоро испортят наше стадо.

Сейчас я уже не так четко представляю себе, что мелькало в окнах. И если бы я попытался все описать, то, боюсь, спутал бы кокосовые пальмы у озер, которые пробежали за окном в три часа с четвертью, с теми манговыми деревьями и деревьями кажуэйро, которые я видел позже. И все эти описания были бы в моем романе ни к селу ни к городу. Не умею я писать по всем правилам. Обязательно сделаю что-нибудь не так. Видно, это как раз тот случай. Пожалуй, эту главу следовало бы разделить на две. И тогда бы я мог дать пейзаж, который видел из окон поезда, в одной из них. Однако в том, что целую главу я посвящу Мадалене, у меня нет сомнений.

14

На станции дона Глория познакомила меня со своей племянницей, которая пришла ее встречать. Я смутился и, подавая Мадалене руку, выронил один из двух пакетов, которые собирался поручить носильщику.

— Очень рад. Я уже знаю, как вас зовут, сеньора. И мы даже встречались с вами. Но я не предполагал, что вы — это вы. Несколько дней назад...

— Месяц.

— Совершенно верно. Я уже говорил об этом с вашей тетей. Отличная попутчица. Мы очень приятно провели время.

Я направился к гостинице, а так как им было по дороге, мы пошли вместе.

— Дона Марсела говорила мне, что у вас прекрасное имение,— начала Мадалена.

— Прекрасное? Я как-то не замечал. Очень может быть. Я стараюсь, чтобы все было в исправности.

И я замолк, откровенно сказать, смутившись. До сих пор мои чувства были просты, примитивно просты, и не было смысла скрывать их, например, перед Жерманой или Розой. С ними можно было не церемониться. Они ничему не удивлялись. Но сеньора с педагогическим образованием — совсем другое дело. Внезапно я остановился и сосчитал пакеты, которые носильщик нес на голове. Преодолев смущение, я как мог любезнее обратился к доне Глории:

— Так приглашение в силе, сеньора. Надеюсь, вы исполните ваше обещание и проведете несколько дней в моей фазенде. Берите с собой

вашу племянницу. Я пришлю автомобиль, и вы за десять минут доберетесь до «Сан-Бернардо».

Дона Глория промолчала. А Мадалена испуганно сказала:

— Ах нет!

— Почему? Сейчас ведь каникулы...

— Прогулки... это для богатых,— и, улыбаясь, добавила: — что скажет ваша семья, если сеньор пригласит двух незнакомых женщин к себе домой?

Тут испугался я:

— Но у меня нет семьи, сеньора, никогда не было. Я живу один, с божьей помощью.

— Тогда еще хуже,— ответила Мадалена.

— Это неприлично,— заявила дона Глория.

Я поскреб подбородок.

— Очень жаль. Вы могли бы хорошо отдохнуть на воздухе — это полезно для здоровья. Но молчу. Раз это неприлично, будем считать, что я ничего не предлагал.

Но спустя какое-то время я все-таки спросил:

— Но почему неприлично? Я очень хочу показать доне Глории несколько пекинских турпанов. Это же красота — глаз не оторвать. Вы видели их, дона Мадалена?

— Нет!

— Ну вот! — укоризненно сказал я.— Учатся всю жизнь не знаю для чего.

— Может быть, вы зайдете к нам передохнуть немного? — предложила дона Глория.

Мы были на Канафистуле рядом с их домом.

— Благодарю, моя гостиница совсем рядом.

Я помедлил еще с минуту.

— Да, сеньоры, район этот, прямо скажем, не лучший. Если надумаете приехать в «Сан-Бернардо», предупредите. Я пришлю автомобиль.

— Очень признательны,— сказала дона Глория.— Благодарю за компанию.

— Не за что.

В гостинице я первым долгом принял ванну — надо было смыть копоть и пот — и уже сидел за столом, когда пришли Жоан Ногейра, Азеведо Гондин и падре Силвестре.

— Так что же произошло? — спросил Азеведо Гондин.— Мы вчера вечером узнали...

— Вообразите, как мы испугались,— добавил падре Силвестре.— Какой скандал! Конечно, Брито повел себя некрасиво, но...

— Некрасиво... Деньги потребовались! Вообще-то он не так плох. Хотел получить двести мильрейсов, а я не захотел дать, заупрямился. И напрасно! Я потратил все шестьсот, не считая двухдневной мороки. Беда-то в том, что, дай я ему эти двести мильрейсов, он попросил бы еще двести, и так без конца.

— Вчера слух прошел, что Брито в больнице с ножевой раной,— сказал падре Силвестре.— Говорили, что при смерти. К счастью, все обошлось. Раны пустяковые, не так ли?

— Какие раны? Поносили друг друга, как могли. Брито наговорил мне гадостей, я ему тоже. Собрался народ, вмешалась полиция, хотя не ее ума было дело. Только и всего.

— Я так и понял,— обрадовался падре Силвестре.— Такой осторожный человек, как вы, не станет впутываться в историю.

— Вот это да! — крикнул Азеведо Гондин.— А я написал два столбца по поводу этого дела для воскресного номера.

Жоан Ногейра подошел ко мне и шепнул на ухо:

— Ну а все-таки, если начистоту, что было?

— Ну, ссора — и все, ерунда.— И, воспользовавшись случаем, я спросил: — Доктор Ногейра, кто такая дона Глория?

— Тетка учительницы?

— Да, что это за семья?

— В каком смысле?

— Во всех,— ответил я уклончиво.— Старуха ехала со мной в поезде. Симпатичная.

— Так что вас интересует?

— А вот то, что старуха не прямо, а вскользь сказала, что очень бы хотела перевести свою племянницу на работу в столичную школу. Я не знаю заведующего отделом народного образования, но я в хороших отношениях с Силвейрой, который занимается делами школ. Не так уж трудно добиться перевода, если человек заслуживает, конечно.

— Но это прекрасная учительница, сеу Пауло, и очень приятная женщина. Вы хотите, чтобы она уехала? Но это была бы такая потеря! Ведь если она уедет, знаете, что будет? Сюда пришлют какую-нибудь старуху неграмотную.

— Вы правы. Как насчет ужина? — громко сказал я.

Все поблагодарили и стали прощаться. Падре Силвестре обнял меня.

— Вам, конечно, все это неприятно... Но во всем виноват Брито. Вспыльчив, раздражителен, но все же последнее время «О жорнал» ведет себя пристойнее.

Я пошел проводить их.

— Гондин, я хотел бы поговорить с вами.

Он остановился.

— Только я с голода умираю, Гондин. Двое суток почти не ел! Каково?! Может быть, все-таки поужинаем вместе?

От ужина он отказался, но согласился выпить пива. Когда подали десерт, Гондин принимался за третью бутылку.

— Гондин, вы как-то говорили мне об учительнице.

— О Мадалене?

— Да. Я познакомился с ней, и она мне понравилась. Порядочная девушка, верно?

Азеведо Гондин открывал уже четвертую бутылку, но, услышав имя Мадалены, рассыпался в похвалах:

— Превосходная женщина! А какие статьи пишет для «О крузейро».

Меня это огорчило.

— И она тоже пишет?

— Да, и превосходные статьи! Очень образованная женщина. А что вы хотели?

— Да, как вам сказать, я... Кое-что надумал, но, если она сотрудничает в «О крузейро», это меняет дело. Я считал, что она благоразумна.

— Разумеется благоразумна,— выпалил Гондин, уязвленный.— Почему вы сомневаетесь?

— Хорошо. От вас у меня нет секретов. Слушайте. Мне надоел Падилья.

— Что, он опять напился вдребезги?

— Хуже. Он хочет установить в моей фазенде социализм. Я случайно услышал, как он разглагольствовал о своих идеях. Я вначале не придал значения всей этой чепухе и оставил его на месте, но потом,

подумав, решил, что лучше будет подыскать ему работу где-нибудь на стороне.

— И вы хотите пригласить на его место Мадалену?

— Да, именно Мадалену. Если, конечно, она порядочная женщина.

— Порядочная женщина?! Это бесспорно. Но согласится ли она жить в захолустье — вот вопрос.

— Это все выдумки ее тетки, старой дуры. Но если сама она, как вы говорите, благоразумна, то согласится.

Азеведо Гондин жевал жареные земляные орешки и запивал их пивом.

— А может быть, и согласится. Для нее это выгодно. Жалованье увеличится...

— Разумеется.

— Ну что же, может быть, может быть. Мне только жаль несчастного Падилью.

— Несчастный? Я же вам сказал, что найду ему работу. А вот насчет Мадалены...

— Вы уже договорились с ней?

— Конечно нет. Если бы я договорился, зачем бы я стал с вами советоваться. Гондин, окажите мне любезность, поговорите с ней... Для этого я и просил вас остаться. Разузнайте ее намерения.

Азеведо Гондин, почувствовав свою силу, решил набить себе цену.

— Но я с ней мало знаком. Поговорите сами...

— Нет, это невозможно. Мое хозяйство уже два дня без присмотра. Сегодня я непременно должен быть в «Сан-Бернардо». И не умею я говорить с этими людьми, с ними особое обхождение нужно. Уговорите ее, Гондин, сделайте любезность.

— Ну ладно. Обрисую ей все прелести природы, расскажу о поэзии деревенской жизни и простоте народной души. А если этого будет недостаточно, затрону в ней патриотические чувства.

15

Почему-то сразу, как только я пригласил дону Глорию и ее племянницу к себе, я почувствовал, что они обе стали мне близки. Мадалена долго не решалась принять приглашение. И якобы для того, чтобы узнать, когда же они собираются приехать, я зачастил к ним в дом на Канафистуле. Однажды в разговоре я намекнул доне Глории:

— Почему ваша племянница не ищет себе мужа?

Она оскорбилась:

— Моя племянница девушка честная, ей не пристало...

— Я совсем не о том, сеньора. Упаси боже. Это всего лишь дружеский совет. Я думаю, ей надо обеспечить свое будущее.

Дона Глория выпрямилась, впалая грудь ее совсем исчезла. Черное поношенное платье обтянуло живот и повисло на плечах. Приняв гордый, независимый вид, дона Глория процедила сквозь зубы какие-то слова. Потом, спустя несколько минут, она приняла прежнее положение. Поношенное черное платье последовало примеру хозяйки. Речь доны Глории стала снова понятной:

— Замужество для женщины — это положение...

— Разумеется, дона Глория. И для здоровья полезно.

— А сколько несчастных браков. Кроме того, брак не должен совершаться по принуждению.

— Да, так-то оно так. Только ведь и деловая сторона вопроса не-

маловажна. Нельзя доверяться одним чувствам. Ну кто может быть уверен, что делает правильный выбор?

— Я думаю, что в супружестве прежде всего важна взаимная любовь.

— При чем тут взаимная любовь? Если супружеская пара хорошая, дети тоже будут хорошие, если плохая, дети будут никуда не годные. От желания родителей тут ничего не зависит. Я это знаю по учебнику зоотехники.

После этого разговора я безвыездно прожил две недели в «Сан-Бернардо» — собирали хлопок. Не раз я вспоминал наш разговор. Очень может быть, что дона Глория не удержалась, распустила язык. Что же, интересно, она наговорила своей племяннице? Я очень боялся, что меня больше не примут в этом доме из-за моих советов, но Мадалена меня приняла, и радушно.

— Как ваше хозяйство?

— Идет своим чередом, надеюсь, что урожай будет неплохой, впрочем, сейчас еще нельзя сказать наверняка. А что у вас в школе? Как дети, как дона Глория, все в порядке? Рад. Ну а мое хозяйство... Почти уверен, оно вас не интересует, и пришел я, надо сказать, по делу.

— Вы имеете в виду предложение, которое вы сделали мне через Гондина?

Я заколебался.

— И да и нет.

— Я, кажется, уже говорила, что не согласна.

— Какого дьявола! Но послушайте, вы у меня будете получать гораздо больше.

— Нет, все равно. Я здесь уже шесть лет учительствую. Положение у меня прочное... Я не могу отказаться от него: ведь частные школы то открываются, то закрываются.

Я не удержался от комплимента:

— Приветствую благоразумие. Действительно, сеньора рисковала бы остаться на мели.

— Если вы признаете...

— Признаю. И хочу сделать вам новое предложение. Если говорить начистоту, то школа была лишь поводом, чтобы познакомиться поближе.

Мадалена ждала очень серьезно, сдвинув брови.

— То, что я хочу сказать, очень трудно сказать. Вы должны понять меня... Ну да ладно, нечего тянуть, скажу все как есть.

Чтобы справиться с волнением, я откашлялся и начал:

— Так вот. Я решил выбрать себе жену. И так как сеньора мне подходит... Да, вы мне понравились еще тогда, когда я вас в первый раз увидел...

Я запнулся. Серьезная, бледная Мадалена стояла молча, но, как мне показалось, поражена не была.

— Я знаю, что я совсем не тот идеал мужчины, который у вас на уме.

Она остановила меня, подняв тонкую руку с длинными красивыми пальцами.

— Не в этом дело. Дело в том, что мы не знаем друг друга.

— Вот те на! Разве я вам ничего о себе не рассказывал? А то, что не рассказывал, значит, и не нужно. Сеньора, по всему видно, да и все говорят, рассудительна, экономна. У вас все на месте, и вы можете быть хорошей матерью семейства.

Мадалена подошла к окну и какое-то время, облокотившись на

подоконник, смотрела на улицу. Когда она обернулась, я шагал по комнате, набивая трубку.

— Мы очень разные люди.

— Разные? Ну и что? Если бы мы не были разными, так нас было бы не два существа, а одно. Ну, разные. С вашего разрешения я закурю трубку. Вам знакомы всякие школьные премудрости, я знаю кое-что другое, над чем поломал голову порядком. Мне сорок пять. Вам около двадцати.

— Нет, мне двадцать семь.

— Двадцать семь? Никто не даст вам. Ну и что? Значит, по возрасту мы поближе друг к другу. Наша добрая воля — и через неделю мы в церкви.

— Ваше предложение очень заманчиво, сеу Пауло,— прошептала Мадалена.— Очень. Но надо подумать. В любом случае я благодарна вам, слышите? Я ведь бедна, как Иов, вы знаете?

— Не говорите об этом. А образование, а вы сама? Что, это разве ничего не стоит? Хотите знать правду? Если мы придем к согласию, в выигрыше буду я, а не вы.

16

Как-то вечером, неделю спустя, я был в гостях у доны Глории и Мадалены, пил кофе, разговаривал, очень довольный собой. Вдруг в комнату вошел, надо сказать запросто, Азеведо Гондин и совсем неожиданно ляпнул:

— А! Вы здесь! Я пришел поздравить дону Мадалену. Очень рад и вас тут видеть. Мои поздравления.

— Это что еще такое? — спросил я, пораженный.

— Да я о свадьбе,— объяснил он.— Все об этом говорят, а вы молчите. Когда же?

Я не ответил. Мадалена считала стежки на вышивке. Дона Глория застыла с чашкой в руке. У меня было желание свернуть Гондину шею. Он, правда, уже понял, что ляпнул некстати, и, прислонившись к стенке, чесал подбородок. Я встал, подошел к окну, стараясь скрыть смущение. Гондин последовал за мной. Я проворчал:

— Ты пьян?

— Я не считал это секретом. Все знают.

— Идиот.

Я снова сел. Уши у меня горели. Я схватил газету и стал читать статью о больнице и «Литературно-увеселительном кружке». Надо сказать, он влачил жалкое существование. В библиотеке шкафы, переполненные молью, открывались лишь раз в год, когда сменялось руководство.

— Какую пользу приносит все это?

Азеведо Гондин сел и спустя некоторое время, успокоившись, ответил:

— Это общество приносит пользу, сеу Пауло.

— Враки. Больница — да. Но библиотека в этой дыре! Для чего? Для Ногейры, чтобы он раз в месяц мог брать какую-нибудь книжонку! Ох уж эта злополучная литература!

Азеведо Гондин всегда кружился вокруг своих вечных идей.

— О, образование необходимо. Образование — ключ к жизни, не правда ли, дона Мадалена?

— Кто привык читать книги...

— И даже тот, кто не привык,— прервал я,— не нужно путать образование с чтением всего, что напечатано.

— Результат-то...— сказал Гондин.

— Ничего подобного.

— И как это можно стать образованным без книг?

— Ну, видя, слыша, путешествуя. Вот, например, Ногейра считал себя чертовски образованным, а не умел допрашивать свидетелей. Сейчас он забыл латынь, но стал хорошим адвокатом.

— Между тем вы находите, что больница нужна, и книги по сельскому хозяйству не выбрасываете.

— Это другое дело. Я считаю, что врачи больше учатся, когда режут брюхо или работают над трупами, чем по книгам. Я же в свободное время читаю заметки опытных людей. И не очень им верю, я больше себе верю, чем другим. Ведь эти сочинители не знакомы близко ни с моими людьми, ни с землями «Сан-Бернардо».

Мадалена покачала головой:

— Что верно, то верно. Однако мы не привыкли мыслить подобным образом. На днях я посмотрела фильм, и я уверена, что основная идея изложена в нем гораздо понятнее, чем если бы она была преподнесена в романе. Не говоря уже об экономии времени.

— И не забивая голову всякой чертовщиной,— добавил я.— Ты, Гондин, глотаешь всякую дрянь. А я вот уверен, что идею иного толстенного тома можно выразить в четырех строках.

Дона Глория клевала носом. Раздраженный и усталый Гондин пожал плечами:

— Для меня книги нужны, полезны. Если вы считаете их ненужными, вероятно, на то у вас есть свои соображения.

— Я говорил о ненужности «Литературно-увеселительного кружка».

— Хуже всего то, что ненужное для вас многим даже очень нужно,— сказала Мадалена.

— Без сомнения. Красота, например,— восторжествовал Азеведо Гондин.— Это-то уж как-нибудь нужно. Красота, гармония, а?

— К черту!

Дона Глория поднялась и вышла. Вопрос был исчерпан, мы молчали. Гондин безуспешно старался поддержать разговор:

— Какая пыль, а? Все северо-западный ветер.

Вскоре и он ушел.

Я воспрянул духом и подошел к Мадалене:

— Слышали? Уже все болтают о свадьбе. И только о свадьбе и болтают, как говорит Гондин.

Ответа не последовало.

— Пожалуй, мне бывать здесь не стоит. Прежде всего потому, что я не хочу причинять вам неприятности, да и я смешон, наверно. Сеньора, должно быть, уже все обдумала.

Мадлена отложила вышивку.

— Мне казалось, что мы понимаем друг друга. Я всегда хотела жить в деревне, рано вставать, ухаживать за садом. У вас есть сад? Но почему же не повременить немного? Если быть откровенной, я не чувствую к вам любви.

— Вот те на! Если бы сеньора сказала, что влюблена в меня, я бы не поверил. Мне не нравятся люди, которые влюбляются и слепо принимают решение. Особенно такое решение. Назначим день.

— Зачем так спешить? Может быть, через год... Я должна приготовиться.

— Через год? То, что можно отложить на год, можно не делать вообще. За чем дело стало? Белое платье мы сошьем за двадцать четыре часа.

Услышав шаги в коридоре, я понизил голос:

— Мы можем сообщить вашей тете, а?

Мадалена улыбнулась в нерешительности.

— Хорошо.

— Ну, скучная дискуссия закончена? — спросила дона Глория, появляясь на пороге.— Я просто чуть не заснула.

— И я! Виновник — Гондин, это у него сумасбродные идеи.

Я хотел по всем правилам попросить руки Мадалены, но смутился и не знал, что и как сказать:

— Дона Глория, сообщаю вам, что я и ваша племянница через неделю соединимся. Вернее сказать, поженимся. Сеньора, ясное дело, будет жить с нами. Там, где едят двое, могут есть и трое. Дом большой, углов много.

Дона Глория расплакалась.

17

Венчал нас падре Силвестре перед алтарем святого Петра в часовне «Сан-Бернардо».

Стоял январь. Распустившиеся цветы пау-де-арко обрызгали желтым цветом весь лес; с утра дымились горы, после проливных дождей переполненный ручей, громко журча и подпрыгивая, нес свои воды в реку и у самой плотины превращался в белоснежное пенное кружево.

Когда дона Глория увидела, что в «Сан-Бернардо» есть электричество, телефон, мебель, металлическая посуда, которую Мария дас Дорес песком надраивала до блеска, она согласилась, что жизнь здесь вполне сносная.

— А я что говорил?

Я предложил ей комнату в левом крыле, за конторой, с окном на красную кирпичную церковь. Сейчас стена ее позеленела от дождей, но тогда она была новая, цвета свежего мяса, ярко-красная. Мы с Мадаленой поселились в комнате направо, и с нашей веранды мы могли видеть хлопковые поля, луг, очистительную машину, лесопилку и дорогу, которая, огибая холм, уходила вдаль.

— Начинаем новую жизнь, так? — весело сказала Мадалена.

И с этого момента я стал каждый день открывать в ней что-нибудь новое, что меня бесконечно удивляло. Как вы знаете, мне вполне нравилось ее лицо и меня устраивало то немногое, что я мог о ней узнать.

Целую неделю я следил за тем, как я говорю, но не сумел, конечно, быть на высоте. Какой смысл? Решил плюнуть. Мадалену нисколько это не смущало. Я воображал ее куклой, простой школьной куклой, но ошибся.

Ее раздражал Падилья, о котором она сказала, что у него «низкая душа» (тут я ей объяснил, что его душа меня не интересует. От тех, кто у меня служит, мне нужен труд — все остальное меня не касается). Ее раздражал Падилья. А вот Рибейро ей понравился. Она сидела в конторе, читала книги, изучала документацию, даже починила испорченную пишущую машинку. И дня через два после свадьбы, еще не совсем освоившись, отправилась в поле, где разорвала себе платье о колючки. В обеденный час я нашел ее у хлопкоочистительной машины, она разговаривала с механиком.

— Ну и ну! Вот это жена!

Я посоветовал ей не подвергать себя опасности.

— Рабочие — народ грубый, как бы чего не вышло. Хотите работать, подумаем, чем вам заняться. Вот можно помогать по дому Марии дас Дорес. А пашня, все остальное и рабочие — дело мужское.

— Работа Марии дас Дорес меня не прельщает. А без дела я сидеть не привыкла.

— Это только поначалу.

— Да, и еще,— продолжала Мадалена.— Семья Каэтано очень нуждается.

— Уже знакомы с Каэтано? — спросил я удивленно.— Нуждается? Старая песня! Честно говоря, я в нем уже не нуждаюсь. Мог бы и на стороне подработать.

— Больной-то...

— Надо было откладывать на черный день. Они все такие — не задумываются. А чуть заболеют, давай деньги, лекарства. Так я лишусь прибыли.

— Но он же много работал. И он так стар!

— Скажите пожалуйста, много. Сил лишился. Он ведь только рычаг подводит под камень и зовет землекопов, чтобы его передвинуть. За это и шесть мильрейсов платить не стоит. Ну, да ладно. Отправьте ему что нужно: муки и несколько килограммов фасоли. Деньги на ветер!

18

— Распрекраснейшая разбирается и в бухгалтерии,— объявил сеу Рибейро.

Сеу Рибейро жил в моей фазенде, работал у меня в конторе, но меня не любил. Думаю, что он никого не любил. Он весь был в прошлом, только и вспоминал то местечко, которое превратилось в город и где полвека назад была хлопкоочистительная машина, четки, масляные светильники да игры и пляски в ночь святого Жоана. В свои семьдесят с лишним он все еще предпочитал ходить пешком по тропинкам. Телефоном пользовался неохотно. Он ненавидел время, до которого ему довелось дожить, и уходил от него, укрываясь за старомодными манерами и изысканной речью. Остатки душевного тепла он отдавал теперь толстым бухгалтерским книгам с кожаными уголками и корешками. Он с любовью делал в них сложнейшие записи, и ему достаточно было пятнадцати минут, чтобы начать новую главу большими, чуть-чуть дрожащими, но красиво выписанными заглавными буквами.

— Хорошо разбирается в бухгалтерии,— продолжал он.— И хотя я не совсем согласен с методами, которые она превозносит, признаю, что она сможет вести записи при желании заняться этими делами.

— Благодарю вас.

— Да за что же. Распрекраснейшая знает дело, да и почерк у нее каллиграфический. Я уже развалина. Не сегодня-завтра...

Он подыскивал слова:

— Бог приберет и меня.

— А, вечно эти разговоры,— проворчал Падилья.— Глядишь, нас переживете.

Падилья надеялся когда-нибудь совместить работу преподавателя и бухгалтера. И выказывал явное нетерпение.

— Я протяну недолго, плох я,— продолжал Рибейро.— Хочется умереть спокойно, зная, что книги эти не попадут в плохие, небрежные руки.

— Да что в них особенного? — бормотал Падилья.

— В бухгалтерии нелегко разбираться. Вот распрекраснейшая сеньора Мадалена...

— Очаровательно! Дона Мадалена — бухгалтер,— сказал Падилья.

— Ничего не вижу в этом удивительного,— отрезала Мадалена.— Видит бог, я не хочу... Сеу Рибейро вполне справляется...

— Все мы смертны, милая сеньора. Никто не может знать, что ему уготовано, но в моем возрасте...

— Сколько вы получаете?

— Вот это да,— изумился Падилья.— Сеньора будет заниматься этими пустяками и еще получать жалованье. Это же все равно что перекладывать из правой руки в левую.

— А почему бы нет? Если сеу Рибейро хочет уйти на отдых. Сколько же вы зарабатываете, сеу Рибейро?

Бухгалтер погладил свои бакенбарды.

— Двести мильрейсов.

Мадалена нахмурилась.

— Так мало?

— Почему мало? — Меня даже затрясло.

— Очень мало.

— Бред какой-то! Когда он работал у Косты Брито, он зарабатывал всего сто пятьдесят мильрейсов. А у меня он зарабатывает двести. Да еще угол, стол и чистое белье.

— Да-да, все верно,— подтвердил сеу Рибейро.— У меня все есть, и мне достаточно того, что я получаю.

— Если бы вы имели десять человек детей, вам бы не хватало,— сказала Мадалена.

— Конечно,— согласилась дона Глория.

— Чушь собачья! — закричал я.— И вы туда же? Читайте свои книжки!

Мадалена побледнела.

— Не нужно так сердиться. Каждый может иметь свое мнение.

— Разумеется. Но глупо иметь мнение о том, в чем ты ничего не смыслишь. Каждому свое. И какого черта! Я ведь не лезу в дискуссии о грамматике. В своих делах я сам как-нибудь разберусь. И будет лучше, если никто в них лезть не будет. Вы меня выводите из терпения.

Я бросил салфетку на тарелку и, не дожидаясь десерта, встал из-за стола. Всего восемь дней после свадьбы, и на́ тебе. Ссора! Плохое начало. Но я все свалил на дону Глорию, хотя она сказала одно-единственное слово.

(Окончание следует)

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Портрет художника в юности

РОМАН

Перевод с английского М. БОГОСЛОВСКОЙ-БОБРОВОЙ

Глава II

Дядя Чарльз курил такое ядовитое зелье, что в конце концов племянник предложил ему наслаждаться утренней трубкой в маленьком сарайчике в глубине сада.

— Отлично, Саймон. Превосходно!— спокойно сказал старик.— Где угодно. В сарае так в сарае, оно даже здоровее.

— Черт возьми,— с жаром сказал мистер Дедалус,— я просто не представляю себе, как это вы только можете курить такую дрянь! Ведь это же чистый порох, честное слово!

— Прекрасный табак, Саймон,— отвечал старик,— очень мягчит и освежает!

С тех пор каждое утро дядя Чарльз, тщательно причесав и пригладив волосы на затылке и водрузив на голову вычищенный цилиндр, отправлялся в свой сарай. Когда он курил, из-за косяка двери виднелся только край его цилиндра и головка трубки. Его убежище, как называл он вонючий сарай, который с ним делили кошка и садовый инструмент, служило ему также студией для вокальных упражнений, и каждое утро он с увлечением мурлыкал себе под нос какую-нибудь из своих любимых песен: «В сень ветвей удались», или «Голубые очи, золотые кудри», или «Рощи Бларни», а серые и голубые кольца дыма медленно поднимались из трубки и исчезали в ясном воздухе.

В первую половину лета в Блэкроке дядя Чарльз был неизменным спутником Стивена. Дядя Чарльз был крепкий старик с резкими чертами лица, здоровым загаром и седыми бакенбардами. В будние дни ему поручалось заказывать провизию, и он отправлялся из дома на Кэрисфорт-аваню, на главную улицу города, в лавки, где обычно семья делала покупки. Стивен любил ходить с ним по магазинам, потому что дядя Чарльз от души угощал всем, что было выставлено в открытых ящиках и бочках. Бывало, он схватит кисть винограда прямо вместе с опилками или штуки три яблок и щедро оделит ими мальчика, а хозяин криво улыбается; если же Стивен делает вид, что не хочет брать, он хмурится и говорит:

— Берите, сэр, слышите, что я говорю! Это полезно для кишечника!

Продолжение. Начало см. в № 10.

Когда заказ был принят, они отправлялись в парк, где старинный приятель отца Стивена, Майк Флинн, поджидал их на скамейке. Тут начинался для Стивена бег вокруг парка. Майк Флинн стоял на дорожке у выхода к вокзалу с часами в руках, а Стивен пробегал круг по правилам Майка Флинна — высоко подняв голову, выбрасывая колени и плотно прижав руки к бокам. Когда утренний бег заканчивался, тренер делал ему замечания и иногда показывал, как надо бежать, и сам пробегал несколько шагов, забавно шаркая ногами в старых синих брезентовых туфлях. Кучка изумленных детей и нянек собиралась вокруг и глазела на него, не расходясь даже тогда, когда он снова усаживался с дядей Чарльзом и заводил разговор о спорте и политике. Хотя папа говорил, что лучшие бегуны нашего времени прошли через руки Майка Флинна, Стивен часто с жалостью поглядывал на дряблое, обросшее щетиной лицо своего тренера, склонившееся над длинными желтыми от табака пальцами, которые скручивали самокрутку, смотрел на его кроткие выцветшие голубые глаза, которые вдруг рассеянно устремлялись в голубую даль, когда длинные распухшие пальцы переставали крутить, а табачные волокна и крошки сыпались обратно в кисет.

По дороге домой дядя Чарльз часто заходил в церковь, и так как Стивен не мог дотянуться до кропильницы со святой водой, старик погружал в нее руку и быстро опрыскивал водой одежду Стивена и пол паперти. Молясь, он опускался на колени, предварительно подстелив красный носовой платок, и читал громким шепотом по захватанному, потемневшему молитвеннику, в котором внизу на каждой странице были напечатаны начальные слова молитв. Стивен не разделял его набожности, но из уважения к ней становился рядом на колени. Он часто гадал: о чем так усердно молится дядя Чарльз? Может быть, о душах в чистилище или просит ниспослать ему счастливую смерть, а может быть, о том, чтобы бог вернул ему хоть часть того большого состояния, которое он промотал в Корке.

По воскресеньям Стивен с отцом и дядюшкой ходили на прогулку. Несмотря на свои мозоли, старик был отличный ходок, и нередко они проходили десять, а то и двенадцать миль. В маленькой деревушке Стиллорген дорога разветвлялась. Они или отправлялись налево к Дублинским горам, или шли на Гоутстаун и оттуда в Дандрем и возвращались домой через Сэндифорд. Во время ходьбы или на привале в какой-нибудь грязной придорожной харчевне старшие неизменно вели разговоры на излюбленные темы — о политических делах в Ирландии, о Манстере [1] или о каких-нибудь давних событиях в семье, а Стивен с жадностью слушал. Непонятные слова он повторял про себя снова и снова, пока не заучивал их наизусть, и через них постепенно учился постигать окружавший его мир. Час, когда ему тоже надо будет принять участие в жизни этого мира, казался ему близким, и втайне он начинал готовиться к великому делу, которое, как он чувствовал, было предназначено ему, но сущность которого он только смутно предугадывал.

После обеда он был предоставлен самому себе; он зачитывался растрепанной книжкой — переводом «Графа Монте-Кристо». Образ этого мрачного мстителя связывался в его воображении со всем непонятным и страшным, о чем он только догадывался в детстве. По вечерам на столе в гостиной он мастерил из переводных картинок, бумажных цветов, тонкой разноцветной бумаги и золотых и серебряных бумажных полосок, в которые заворачивают шоколад, дивную пещеру на острове. Когда он разорял это сооружение, утомившись его мишурным блеском, перед ним вставало яркое видение Марселя, залитая солнцем садовая ограда и Мерседес.

За Блэкроком, на ведущей в горы дороге, в саду, где росли розы, стоял маленький белый домик, и в этом домике, говорил он себе, жила другая Мерседес. Идя на прогулку или возвращаясь домой, он всегда отсчитывал расстояние до этого места и в мечтах переживал длинный ряд чудесных, как в книге, приключений, и в конце появлялся сам: постаревший и печальный, он стоял в залитом лунным светом саду с Мерседес, которая много лет тому назад предала его любовь, и печально и гордо произносил:

«Мадам, я не ем мускатного винограда».

---

[1] Манстер — южная и самая большая из четырех провинций Ирландии, жители которой в XVI и XVII вв. очень резко выступали против английского владычества, за что подвергались репрессиям.

Он подружился с мальчиком по имени Обри Миллз и вместе с ним основал в парке союз искателей приключений. В петлице куртки у Обри висел свисток, на поясе — велосипедный фонарь, а у других мальчиков за поясом были заткнуты короткие палки наподобие кинжалов. Стивен, вычитавший где-то, что Наполеон любил одеваться просто, отказался от всяких знаков отличия, и это доставляло ему особое удовольствие, когда он держал совет со своими подчиненными. Участники союза совершали набеги на сады старых дев или собирались в крепости замка [1], где устраивали сражения на заросших косматым мхом скалах; потом устало брели домой, и в носу у них сохранялся застоявшийся запах пляжа, а руки и волосы были насквозь пропитаны едким маслянистым соком морских водорослей.

Обри и Стивену привозил молоко один и тот же молочник, и они часто ездили с ним на тележке в Каррикмайнз, где паслись коровы. Пока он доил, мальчики по очереди катались по полю верхом на смирной кобыле. Но когда наступила осень, коров загнали с пастбища домой, и, едва Стивен увидел вонючий скотный двор в Стрэдбруке — отвратительные зеленые лужи, кучи жидкого навоза и клубы пара от кормушек с отрубями,— его чуть не стошнило. Коровы, казавшиеся на воле в солнечные дни такими красивыми, теперь вызывали в нем гадливое чувство, и он даже смотреть не мог на молоко.

Приближение сентября в этом году не огорчало его, потому что больше не надо было возвращаться в Клонгоус. Майк Флинн слег в больницу, и тренировки в парке прекратились. Обри начал ходить в школу, и его отпускали гулять не больше чем на час после обеда. Союз распался, и не было уже больше ни вечерних набегов, ни сражений на скалах. Стивен иногда ездил с молочником развозить вечерний удой, и эти поездки по холодку прогоняли из его памяти вонь скотного двора, а клочки сена и коровьей шерсти на одежде молочника больше не вызывали в нем отвращения. Когда тележка останавливалась у какого-нибудь дома, он ждал: вот покажется на секунду до блеска начищенная кухня или мягко освещенная передняя, и он увидит, как служанка подставит кувшин, а потом закроет дверь. Ему казалось, что неплохо так жить, развозя каждый вечер молоко,— были бы теплые перчатки и полный карман имбирных пряников на дорогу. Но то же предчувствие, от которого сжималось сердце и вдруг подкашивались ноги во время тренировок в парке, то же предвидение, которое заставляло его смотреть с недоверием на дряблое, обросшее щетиной лицо тренера, уныло склонявшееся над длинными, в пятнах, пальцами, отгоняло все его представления о будущем. Смутно он понимал, что у отца неприятности: поэтому-то его больше не посылали в Клонгоус. С некоторых пор он стал замечать в доме небольшие перемены, и эти перемены, нарушавшие то, что он всегда считал неизменным, всякий раз наносили маленький удар по его детскому представлению о мире. Честолюбие, которое временами он чувствовал, шевелилось только на дне его души и не искало выхода. Когда он прислушивался к стуку лошадиных копыт, цокающих по рельсам конки на Рок-роуд, и слышал грохот огромного бидона, который подпрыгивал позади него, сумрак, такой же как и на земле, заволакивал его сознание.

Он мысленно возвращался к Мерседес, и когда перед ним вставал ее образ, в крови зарождалось странное беспокойство. Временами лихорадочный жар охватывал его и гнал бродить в сумерках по тихим улицам. Мирная тишина садов, приветливые огни окон проливали отрадный покой в его смятенное сердце. Крики играющих детей раздражали его, а их глупые голоса острее, чем даже в Клонгоусе, заставляли чувствовать, что он не похож на других. Ему не хотелось играть. Ему хотелось встретить в действительном мире тот неуловимый образ, который непрестанно мерещился его душе. Он не знал ни где, ни как искать его. Но предчувствие говорило ему, что без всяких усилий с его стороны образ этот когда-нибудь предстанет перед ним. Они встретятся спокойно, как если бы уже знали друг друга и условились встретиться где-нибудь под аркой или в каком-нибудь другом, более укромном месте. Они будут одни — кругом темнота и молчание, и в это мгновение беспредельной нежности он преобразится. Он исчезнет у нее на глазах, обратится в нечто бесплотное, а потом мгновенно преобразится. Слабость, робость, неопытность спадут с него в этот волшебный миг.

---

[1] Имеется в виду замок Мартелло с его фортификационными башнями.

Однажды утром у ворот остановились два больших желтых фургона и люди, тяжело топая, вошли в дом, чтобы увезти обстановку. Мебель потащили к фургонам через палисадник, где повсюду валялась солома и обрывки веревок. Когда все благополучно погрузили, фургоны с грохотом покатились по улице, и из окна конки Стивен, сидевший рядом с заплаканной матерью, увидел, как они тряслись по Мэрион-роуд.

Камин в гостиной не разгорался в тот вечер, и мистер Дедалус прислонил кочергу к прутьям решетки и ждал, когда займется пламя. Дядя Чарльз дремал в углу полупустой, не застеленной ковром комнаты. Лампа на столе бросала слабый свет на дощатый пол, затоптанный грузчиками. Стивен сидел на низенькой скамеечке около отца, слушая его длинный бессвязный монолог. Вначале он понимал очень немного или вовсе ничего не понимал, но постепенно стал улавливать, что у папы были враги и что предстоит какая-то борьба. Он чувствовал, что и его вовлекают в эту борьбу, что на него возлагаются какие-то обязательства. Неожиданный отъезд, так внезапно нарушивший его мечты и спокойную жизнь в Блэкроке, переезд через унылый туманный город, мысль о неуютном голом помещении, в котором они теперь будут жить, заставляли сжиматься его сердце. И снова какое-то прозрение, предчувствие будущего охватывало его. Он понимал теперь, почему служанки часто шептались между собой в передней и почему папа, стоя на коврике у камина, спиной к огню, часто во весь голос говорил что-то дяде Чарльзу, а тот убеждал его сесть и пообедать.

— Я еще не сдался, Стивен, сынок,— говорил мистер Дедалус, яростно тыкая кочергой в вялый огонь в камине,— мы еще повоюем, черт подери (господи, прости меня), да и как еще повоюем!

Дублин был новым и сложным впечатлением. Дядя Чарльз сделался таким бестолковым, что его нельзя было посылать с поручениями, а из-за беспорядка, царившего в доме после переезда, Стивен был свободнее, чем в Блэкроке. Вначале он только отваживался бродить по соседней площади или спускался до середины одного переулка — но потом, мысленно составив себе план города, смело отправился по одной из центральных улиц и дошел до таможни. Он бесцельно бродил по набережным мимо доков, с удивлением глядя на множество поплавков, покачивавшихся на поверхности воды в густой желтой пене, на толпы портовых грузчиков, на грохочущие подводы, на неряшливо одетых, бородатых полисменов. Огромность и необычность жизни, о которой говорили ему тюки товаров, сваленные вдоль стен или свисавшие из недр пароходов, снова будили в нем то беспокойство, которое заставляло его блуждать по вечерам из сада в сад в поисках Мерседес. И среди этой новой кипучей жизни он мог бы вообразить себя в Марселе, но только здесь не было ни яркого неба, ни залитых солнцем решетчатых окон винных лавок. Смутная неудовлетворенность росла в нем, когда он смотрел на набережные, и на реку, и на низко нависшее небо, и все же он продолжал блуждать по городу день за днем, точно и в самом деле искал кого-то, кто ускользал от него.

Раза два он ходил с матерью в гости к родственникам, и хотя они шли мимо веселого ряда сверкающих огнями магазинов, украшенных к рождеству, он оставался молчалив, угрюмая замкнутость не покидала его. Причин для угрюмости было много — и прямых и косвенных. Ему досаждало, что он еще так юн, что поддается каким-то глупым неуемным порывам, досаждала перемена в их жизни, превратившая мир, в котором он жил, во что-то убогое и фальшивое. Однако досада не привнесла ничего нового в его восприятие окружающего мира. Он терпеливо, остраненно отмечал все то, что видел, и втайне впитывал этот губительный дух.

Он сидел на табуретке в кухне у своей тети. Лампа с рефлектором висела на покрытой лаком стене над камином, и при этом свете тетя читала лежавшую у нее на коленях вечернюю газету. Она долго смотрела на снимок улыбающейся женщины, потом сказала задумчиво:

— Красавица Мейбл Хантер.

Кудрявая девочка поднялась на цыпочки и, поглядев на снимок, тихо спросила:

— В какой это пьесе, мама?

— В пантомиме, детка.

Девочка прижала кудрявую головку к руке матери и, глядя на портрет, прошептала, словно завороженная:

— Красавица Мейбл Хантер!

Словно заворожённая, она не отрываясь смотрела на эти лукаво усмехающиеся глаза и восхищенно шептала:

— Ах, какая прелесть!

Мальчик, который вошел с улицы, тяжело ступая и согнувшись под мешком угля, слышал ее слова. Он проворно сбросил на пол свою ношу и подбежал посмотреть. Он тянул к себе газету покрасневшими и черными от угля руками, отталкивая девочку и жалуясь, что ему не видно.

Он сидит в узкой тесной столовой в верхнем этаже старого с темными окнами дома. Пламя очага пляшет на стене, а за окном над рекой сгущается призрачная мгла. Старуха возится у очага, готовит чай и, не отрываясь от своего занятия, тихо рассказывает, что сказали священник и доктор. И еще она говорит, какие перемены наблюдаются в последнее время у больной, какие странности в поступках и речах. Он слушает эти речи, а мысли его поглощены приключениями, которые разворачиваются перед ним в тлеющих углях — под арками и сводами, в извилистых галереях и тесных пещерах.

Внезапно он чувствует какое-то движение в дверях. Там, в сумраке, в темном проеме приоткрытой двери, повис череп. Жалкое существо, похожее на обезьяну, стоит там, привлеченное звуками голосов у очага. Ноющий голос спрашивает:

— Это Жозефина?

Суетящаяся старуха, не отходя от очага, живо откликается:

— Нет, Эллен, это Стивен!

— А... добрый вечер, Стивен.

Он отвечает на приветствие и видит на лице в дверях бессмысленную улыбку.

— Тебе что-нибудь нужно, Эллен? — спрашивает старуха.

Но та, не отвечая на вопрос, говорит:

— Я думала, это Жозефина. Я приняла вас за Жозефину, Стивен.— Она повторяет это несколько раз и тихонько смеется.

Он сидит на детском вечере в Харольд-кроссе. Молчаливая настороженность все сильнее завладевает им, и он почти не принимает участия в играх. Дети, надев колпаки, которые достались им в хлопушках, прыгают и пляшут, но он, хоть и пытается разделить их веселье, все равно чувствует себя таким унылым среди всех этих задорных треуголок и чепцов.

Но когда, выступив со своей песенкой, он уютно устраивается в тихом уголке, одиночество становится ему приятно. Веселье, которое в начале вечера казалось ненастоящим, бессмысленным, действует теперь, как успокаивающий ветерок, приятно пробегающий по чувствам, прячущий от чужих взглядов лихорадочное волнение крови, когда через хоровод танцующих, сквозь этот шум музыки и смеха, взгляд ее устремляется к его уголку, ласкающий, дразнящий, ищущий, волнующий сердце.

В передней одеваются последние дети. Вечер кончился. Она набрасывает шаль, и, когда они вместе идут к конке, пар от свежего теплого дыхания весело клубится над ее закутанной головой и башмачки ее беспечно постукивают по замерзшей дороге.

То был последний рейс. Гнедые облезлые лошади чувствовали это и потряхивали бубенчиками в острастку ясной ночи. Кондуктор разговаривал с вожатым, и оба покачивали головой в зеленом свете фонаря. На пустых сиденьях валялось несколько цветных билетиков. С улицы не было слышно шагов ни в ту, ни в другую сторону. Ни один звук не нарушал тишины ночи, только гнедые облезлые лошади терлись друг о друга мордами и потряхивали бубенцами.

Они, казалось, прислушивались: он на верхней ступеньке, она на нижней. Она несколько раз поднималась на его ступеньку и снова спускалась на свою, когда разговор замолкал, а раза два стояла минуту совсем близко от него, забыв сойти вниз, но потом сошла. Сердце его плясало, послушное ее движениям, как поплавок на волне. Он слышал, что говорили ему ее глаза из-под шали, и знал, что в каком-то туманном прошлом, в жизни или в мечтах, он уже слышал такие речи. Он видел, как она охорашивается перед ним, дразня его своим нарядным платьем, сумочкой и длинными черными чулками, и знал, что уже тысячи раз поддавался этому. Но какой-то голос, прорывавшийся изнутри сквозь стук его мятущегося сердца, спрашивал: примет ли

он ее дар, за которым нужно только протянуть руку. И ему вспомнился день, когда он стоял с Эйлин, глядя на двор гостиницы, где коридорный прилаживал к столбу длинную полосу флага, а фокстерьер носился взад и вперед по солнечному газону, и она вдруг засмеялась и побежала вниз по отлогой дорожке. Вот и теперь, как тогда, он стоял безучастный, не двигаясь с места,— словно спокойный зритель, наблюдающий разыгрывающуюся перед ним сцену.

«Ей тоже хочется, чтобы я прикоснулся к ней,— думал он.— Поэтому она и пошла со мной. Я мог бы легко прикоснуться, когда она становится на мою ступеньку: никто на нас не смотрит. Я мог бы обнять и поцеловать ее».

Но ничего этого он не сделал; и потом, сидя в пустой конке и мрачно глядя на рифленую подножку, он изорвал в мелкие клочки свой билет.

На следующий день он просидел несколько часов у себя за столом в пустой комнате наверху. Перед ним было новое перо, новая изумрудно-зеленого цвета тетрадь и новая чернильница. По привычке он написал наверху на первой странице заглавные буквы девиза иезуитского ордена: A. M. D. G. На первой строчке вывел заглавие стихов, которые собирался писать: К Э. Он знал, что так полагается, потому что видел подобные заглавия в собрании стихотворений лорда Байрона. Написав заглавие и проведя под ним волнистую линию, он задумался и стал машинально чертить что-то на обложке. Ему вспомнилось, как он сидел у себя за столом в Брэе на следующий день после рождественского обеда и пытался написать стихи о Парнелле на обороте дубликатов отцовских закладных. Но тема никак не давалась ему и, отказавшись от попытки, он исписал весь лист фамилиями и адресами своих одноклассников:

Родерик Кикем
Джек Лотен
Энтони Максуини
Саймон Мунен.

Казалось, у него ничего не получится и теперь, но, размышляя о том вечере, он почувствовал себя увереннее. Все, что представлялось незначительным, обыденным, исчезло, в воспоминаниях не было ни конки, ни кондуктора с кучером, ни лошадей, даже он и она отступили куда-то вдаль. Стихи говорили только о ночи, о нежном дыхании ветерка и девственном сиянии луны; какая-то неизъяснимая грусть таилась в сердцах героев, молча стоявших под обнаженными деревьями, а лишь только наступила минута прощанья, поцелуй, от которого один из них удержался тогда, соединил обоих. Закончив стихотворение, он поставил внизу страницы буквы L.D.S. [1] и, спрятав тетрадку, пошел в спальню матери и долго рассматривал свое лицо в зеркале на ее туалетном столике.

Но долгая пора досуга и свободы подходила к концу. Однажды отец пришел домой с ворохом новостей и выкладывал их без умолку в течение всего обеда. Стивен дожидался прихода отца, потому что в этот день на обед было баранье рагу и он знал, что отец предложит ему макать хлеб в подливку. Но на этот раз подливка не доставила ему никакого удовольствия, потому что при упоминании о Клонгоусе у него что-то подступило к горлу.

— Я чуть было не налетел на него [2],— рассказывал в четвертый раз мистер Дедалус,— как раз на углу площади.

— Так он сможет это устроить? — спросила миссис Дедалус.— Я говорю насчет Бельведера [3].

— Ну еще бы, конечно,— сказал мистер Дедалус.— Я же говорил тебе, ведь он теперь провинциал ордена.

— Мне и самой очень не хотелось отдавать его в школу христианских братьев [4],— сказал миссис Дедалус.

— К черту христианских братьев! — вскричал мистер Дедалус.— Якшаться со всякими замарашками Пэдди да Майки! Нет, пусть уж держится иезуитов, раз он у них

---

[1] Laus Deo Semper – вечно бога хвалит (*лат.*). Обычная пометка на сочинениях в иезуитских школах.
[2] Имеется в виду отец Конми — ректор Клонгоусского колледжа.
[3] Иезуитский колледж.
[4] Христианские братья — монашеский орден, посвятивший себя воспитанию бедных детей.

начал. Они ему и потом пригодятся. У них есть возможности обеспечить положение в жизни.

— И ведь это очень богатый орден, не правда ли, Саймон?

— Еще бы! А как живут! Ты видела, какой у них стол в Клонгоусе? Слава богу, кормятся как бойцовые петухи!

Мистер Дедалус пододвинул свою тарелку Стивену, чтобы тот доел остатки.

— Ну, а тебе, Стивен, теперь придется приналечь,— сказал он.— Довольно ты погулял.

— Я уверена, что он теперь будет стараться изо всех сил,— сказала миссис Дедалус,— тем более что и Морис будет с ним.

— Ах, господи, я и забыл про Мориса,— сказал мистер Дедалус.— Поди сюда, Морис, негодник. Поди ко мне, дурачок. Ты знаешь, что я тебя пошлю в школу, где тебя будут учить складывать К — О — Т — кот. И я тебе куплю за пенни хорошенький носовой платочек, чтобы ты им вытирал нос. Вот здорово будет, а?

Морис, просияв, уставился сначала на отца, а потом на Стивена. Мистер Дедалус вставил монокль в глаз и пристально посмотрел на обоих сыновей. Стивен жевал хлеб и не глядел на отца.

— Да, кстати,— сказал наконец мистер Дедалус,— ректор, то есть, вернее, провинциал, рассказал мне, что произошло у тебя с отцом Доланом. А ты, оказывается, бесстыжий плут.

— Неужели он так и сказал, Саймон?

— Да нет! — засмеялся мистер Дедалус.— Но он рассказал мне этот случай со всеми подробностями. Мы ведь долго болтали с ним о том о сем... Ах да, кстати! Ты знаешь, что он мне, между прочим, рассказал? Кто, ты думаешь, сел на его место в общине? Впрочем, про это потом. Ну так вот, мы с ним болтали по-приятельски, и он спросил меня, ходит ли наш приятель по-прежнему в очках, и рассказал всю историю.

— Он был недоволен, Саймон?

— Недоволен! Как бы не так! «Мужественный малыш»,— сказал он.

Мистер Дедалус передразнил жеманную, гнусавую манеру провинциала:

— «Ну и посмеялись же мы все вместе с отцом Доланом, когда я рассказал им об этом за обедом». «Берегитесь, отец Долан,— сказал я,— как бы юный Дедалус не выдал вам двойную порцию по рукам!» Ну и посмеялись же мы все! Ха, ха, ха!

Мистер Дедалус повернулся к жене и воскликнул своим обычным голосом:

— Видишь, в каком духе их там воспитывают! О, иезуит — это дипломат во всем, до мозга костей!

Он повторил опять, подражая голосу провинциала:

— «Ну и посмеялись же мы все вместе с отцом Доланом, когда я рассказал им об этом за обедом. Ха, ха, ха!»

■

Вечером перед школьным спектаклем под духов день Стивен стоял у гардеробной и смотрел на маленькую лужайку, над которой были протянуты гирлянды китайских фонариков. Он видел, как гости, спускаясь по лестнице из главного здания, проходили в театр. Распорядители во фраках, старожилы Бельведера, дежурили у входа в театр и церемонно провожали гостей на места. При внезапно вспыхнувшем свете фонарика он увидел улыбающееся лицо священника.

Святые дары были убраны из ковчега [1], а первые скамейки отодвинуты назад, чтобы возвышение перед алтарем и пространство перед ним оставались свободными. У стены были поставлены гантели, булавы, в углу свалены гири, а среди бесчисленных груд гимнастических туфель, фуфаек и рубашек, засунутых кое-как в коричневые мешки, стоял большой деревянный, обшитый кожей конь, дожидавшийся, когда его вынесут на сцену, и вокруг выстроится команда участников состязания, которое состоится в конце спортивной программы.

Стивен, хоть он и был выбран старшиной гимнастического класса в награду за свои успехи в письменных работах, в первом отделении программы не участвовал, но в

[1] Шкафчик на алтаре, где находится дарохранительница.

спектакле, который шел во втором отделении, у него была главная комическая роль учителя. Его выбрали на эту роль из-за его фигуры и степенных манер. Он был уже второй год в Бельведере и учился в предпоследнем классе.

Вереница маленьких мальчиков в белых гольфах и фуфайках, топая, пробежала через ризницу в церковь. В ризнице и в церкви толпились взволнованные наставники и ученики. Пухлый лысый сержант пробовал ногой трамплин возле коня. Худощавый молодой человек в длинном пальто, который должен был жонглировать булавами, стоял рядом и с интересом наблюдал: блестящие посеребренные булавы торчали из его глубоких боковых карманов. Откуда-то доносился глухой треск деревянных шаров, команда готовилась к выходу; минуту спустя взволнованный наставник погнал мальчиков через ризницу, как стадо гусей, суетливо хлопая крыльями сутаны и покрикивая на отстающих. Группа одетых неаполитанскими крестьянами мальчиков репетировала танец в глубине церкви — одни разводили руками над головой, другие, приседая, размахивали корзинками с искусственными фиалками. В темном углу придела за аналоем тучная старая дама стояла на коленях, утопая в ворохе своих пышных черных юбок. Когда она поднялась, стало видно фигурку в розовом платье, в парике с золотыми локонами, в старомодной соломенной шляпке, с подведенными бровями и искусно подрумяненными и напудренными щечками. Тихий изумленный шепот пробежал по церкви при виде этой девической фигурки. Один из наставников, улыбаясь и кивая, подошел к темному углу и, поклонившись тучной старой даме, сказал любезно:

— Что это — хорошенькая молодая леди или кукла, миссис Тэллен?

И, нагнувшись, чтобы заглянуть под поля шляпки в улыбающееся накрашенное личико, он воскликнул:

— Не может быть! Да ведь это маленький Берти Тэллен!

Стивен со своего наблюдательного поста у окна услышал, как старая леди и священник засмеялись, потом услышал восхищенный шепот школьников позади, подошедших посмотреть на маленького мальчика, который должен был исполнить соло — танец соломенной шляпки.

Нетерпеливый жест вырвался у Стивена. Он опустил край занавески и, сойдя со скамейки, на которой стоял, вышел из церкви.

Он прошел через здание колледжа и остановился под навесом у самого сада. Из театра напротив доносился глухой шум голосов и всплески меди военного оркестра. Свет уходил вверх сквозь стеклянную крышу, а театр казался праздничным ковчегом, бросившим якорь среди тесноты домов и закрепившимся у причала на хрупких цепях фонарей. Боковая дверь театра внезапно открылась — и полоса света протянулась через лужайку. С ковчега грянул внезапный гром музыки — первые такты вальса, дверь снова закрылась, и теперь до слушателя долетали только слабые звуки мелодии. Выразительность вступительных тактов, их томность и плавное движение вызвали в нем то же неизъяснимое чувство, которое заставляло его беспокойно метаться весь день и минуту тому назад прорвалось в его нетерпеливом жесте. Беспокойство выплескивалось из него, словно волна звуков, и на гребне накатывающей музыки плыл ковчег, волоча за собой цепи фонарей. Потом шум — будто выстрелила игрушечная артиллерия — нарушил движение. Это аудитория аплодисментами приветствовала появление на сцене гимнастов.

В конце навеса, прилегавшего к улице, в темноте мелькнула красная светящаяся точка. Шагнув туда, он почувствовал легкий приятный запах. Двое мальчиков стояли и курили в дверном проеме; и еще издали он узнал по голосу Курона.

— Вот идет благородный Дедалус! — крикнул высокий гортанный голос.— Привет истинному другу!

Вслед за приветствием раздался тихий деланный смех, и Курон, отвесив поклон, стал постукивать тросточкой по земле.

— Да, это я,— сказал Стивен, останавливаясь и переводя взгляд с Курона на его товарища.

Спутника Курона он видел впервые, но в темноте, при вспыхивающем свете сигареты, он разглядел бледное, несколько фатоватое лицо, по которому медленно блуждала улыбка, высокую фигуру в пальто и котелке. Курон не потрудился представить их друг другу и вместо этого сказал:

— Я только что говорил моему другу Уоллису: вот была бы потеха, если бы ты сегодня вечером изобразил ректора в роли учителя. Превосходная вышла бы штука!

Курон не очень успешно попытался передразнить педантичный бас ректора и, сам, рассмеявшись над своей неудачей, обратился к Стивену:

— Покажи-ка, Дедалус, ты так здорово его передразниваешь: «А если-и и це-ерк-ви не послу-ушает, то будет он тебе-е, как язы-ычник и мы-ытарь».

Но тут его прервал тихий нетерпеливый возглас Уоллиса, у которого сигарету заело в мундштуке.

— Черт побери этот проклятый мундштук,— ворчал Уоллис, вынув его изо рта и презрительно улыбаясь.— Всегда в нем вот так застревает. А вы с мундштуком курите?

— Я не курю,— ответил Стивен.

— Да,— сказал Курон,— Дедалус — примерный юноша. Он не курит, не ходит по благотворительным базарам, не ухаживает за девочками — и того не делает, и сего не делает!

Стивен покачал головой, глядя с улыбкой на раскрасневшееся и оживленное лицо своего соперника, с горбатым, как птичий клюв, носом. Его часто удивляло, что у Винсента Курона при птичьей фамилии и лицо совсем как у птицы. Прядь бесцветных волос торчала на лбу, как взъерошенный хохолок. Лоб был низкий, выпуклый, и тонкий горбатый нос выступал между близко посаженными, навыкате, глазами, светлыми и невыразительными. Соперники были друзьями по школе. Они сидели рядом в классе, рядом молились в церкви, болтали друг с другом после молитвы за утренним чаем. Ученики в первом классе были безликие тупицы, и потому Курон и Стивен фактически возглавляли класс. Они вместе ходили к ректору, когда нужно было выпросить свободный денек или избавить от наказания провинившегося.

— Да, кстати,— сказал Курон.— Я видел, как прошел твой родитель.

Улыбка сбежала с лица Стивена. Всякий раз, когда кто-нибудь заговаривал с ним об отце, будь то товарищ или учитель, он сразу настораживался. Молча, с опаской, он ждал, что скажет Курон дальше. Но Курон многозначительно подтолкнул его локтем и сказал:

— А ты, оказывается, хитрюга.

— Почему же? — спросил Стивен.

— С виду он и воды не замутит,— сказал Курон,— а на самом деле хитрюга.

— Позвольте узнать, что вы имеете с виду? — спросил Стивен вежливо.

— Действительно, позвольте! — сказал Курон.— Мы ведь видели ее, Уоллис? А? Красотка, черт побери. А до чего любопытна! «А какая роль у Стивена, мистер Дедалус? А будет ли Стивен петь, мистер Дедалус?» Твой папаша так и вперил в нее свой монокль: я думаю, он тебя тоже раскусил. Ну и что, меня бы это не смутило! Прелесть девочка, правда, Уоллис?

— Да, недурна,— спокойно отвечал Уоллис, снова вставляя мундштук в угол рта.

Острый гнев на секунду охватил Стивена от этих бестактных намеков в присутствии постороннего. Он не видел ничего забавного в том, что девочка интересовалась им и спрашивала про него. Весь день он не мог думать ни о чем другом, как только об их прощании на ступеньках конки в Харольд-кроссе, о волнующих переживаниях того вечера и о стихах, которые он тогда написал. Весь день он представлял себе, как снова встретится с ней, потому что он знал, что она придет на спектакль. То же беспокойное томление теснило ему грудь, как и тогда на вечере, но теперь оно не находило выхода в стихах. Два года легли между «теперь» и «тогда», два года, за которые он многое узнал, отрезали для него этот выход, и весь день сегодня томительная нежность поднималась в нем темной волной, и, захлебнувшись сама в себе, падала, отступала, и снова набегала, и росла, пока он, наконец, не дошел до полного изнеможения, но тут шутливый разговор наставника с загримированным мальчиком вырвал у него нетерпеливый жест.

— Так что лучше кайся,— продолжал Курон,— ведь мы тебя уличили на этот раз. И нечего тебе больше прикидываться святошей, все ясно как божий день!

Тихий деланный смех сорвался с его губ, и он, нагнувшись, легонько ударил Стивена тростью по ноге, как бы в знак порицания.

Гнев Стивена уже прошел. Он не чувствовал себя ни польщенным, ни задетым, ему просто хотелось отделаться шуткой. Он уже почти не обижался на то, что ему казалось глупой бестактностью, он знал, что никакие слова не коснутся того, что происходит в его душе, и улыбнулся так же фальшиво, как и его соперник.

— Кайся,— повторил Курон снова, ударяя его тростью по ноге.

Удар, хоть и шуточный, был сильнее первого. Стивен почувствовал легкое, почти безболезненное жжение и, покорно склонив голову, как бы изъявляя готовность продолжать шутку товарища, стал читать «Confiteor» [1]. Эпизод закончился благополучно, Курон и Уоллис снисходительно засмеялись такому кощунству.

Стивен машинально произносил слова молитвы, они как будто сами срывались с его губ, а ему в эту минуту вспомнилась другая сцена, она словно по волшебству всплыла в его памяти, когда он вдруг заметил у Курона жестокие складки в уголках улыбающегося рта, почувствовал знакомый удар трости по ноге и услышал знакомое слово предостережения:

— Кайся!

■

Это произошло в конце первого семестра, в первый год его пребывания в колледже. Его чувствительная натура все еще страдала от немилосердных ударов убогой, бренной жизни. А душа все еще пребывала в смятении, угнетенная безрадостным зрелищем Дублина. Два года он жил, зачарованный мечтами, а теперь очнулся в совершенно незнакомом мире, где каждое событие, каждое новое лицо кровно задевало его, приводя в уныние или пленяя, и, пленяя или приводя в уныние, всегда вызывало в нем тревогу и мрачные раздумья. Весь свой досуг он проводил за чтением писателей-бунтарей, их язвительность и неистовые речи западали ему в душу и бередили его мысли, пока не изливались в его незрелых писаниях.

Сочинение было для него важнее всего в учебной неделе, и каждый вторник по дороге из дома в школу он или выбирал какого-нибудь прохожего впереди, которого надо было обогнать, прежде чем он дойдет до определенного места, или старался ступать так, чтобы каждый шаг приходился на плитку тротуара, и таким образом загадывал, будет он первым по сочинению или нет.

И вот пришел вторник, когда счастливая полоса успехов внезапно кончилась. Мистер Тейт, учитель английского, показал на него пальцем и отрывисто сказал:

— У этого ученика в сочинении ересь.

Наступила тишина. Не нарушая ее, мистер Тейт скреб рукой между колен, и в классе слышалось только легкое похрустывание его туго накрахмаленных манжет и воротничка. Стивен не поднимал глаз. Было серое весеннее утро, и глаза у него все еще были слабые и болели. Он чувствовал, что пропал, что его изобличили, что разум его убог и дома у него убого, и ощущал жестокий край шершавого вывернутого наизнанку воротника, впившегося ему в шею.

Громкий, короткий смешок мистера Тейта ослабил напряженное молчание в классе.

— Вы, может быть, не знали этого? — сказал он.

— Чего именно? — спросил Стивен.

Мистер Тейт вытащил руки, ходившие между колен, и развернул письменную работу.

— Вот здесь. Относительно создателя и души. Мм... мм... мм... Ага! Вот... «Без возможности когда-либо приблизиться». Это ересь.

— Я хотел сказать: «Без возможности когда-либо достигнуть»,— пробормотал Стивен.

Это была уступка, и мистер Тейт, успокоившись, сложил сочинение и, передавая ему, сказал:

— О! Да! «Когда-либо достигнуть». Это другое дело.

Но класс не успокоился так скоро. Хотя никто не заговаривал с ним об этом после урока, он чувствовал вокруг себя всеобщее смутное злорадство.

---

[1] Покаянная молитва.

Спустя несколько дней после публичного выговора он шел по Драмкондра-роуд, собираясь опустить письмо, и вдруг услышал, как кто-то крикнул:

— Стой!

Он обернулся и увидел трех мальчиков из своего класса, приближавшихся к нему в сумерках. Окликнувший его был Курон, который быстро шагал между двумя товарищами, рассекая перед собой воздух тонкой тросточкой в такт шагам. Боланд, его приятель, шагал рядом, улыбаясь во весь рот, а Нэш, запыхавшись от ходьбы и мотая своей большой рыжей головой, плелся позади.

Как только мальчики повернули на Клонлифф-роуд, зашел разговор о книгах и писателях, о том, кто какие книги читал и сколько книг в шкафах дома у родителей. Стивен слушал их с некоторым удивлением, потому что Боланд считался в классе первым тупицей, а Нэш — первым лентяем. И в самом деле, когда речь зашла о любимых писателях, Нэш заявил, что самый великий писатель — это капитан Мэррият [1].

— Чепуха! — сказал Курон.— Спроси-ка Дедалуса. Кто, по-твоему, самый великий писатель, Дедалус? А?

Стивен, почувствовав насмешку, спросил:

— Из прозаиков?

— Да.

— Я думаю, Ньюмен [2].

— Кардинал Ньюмен? — спросил Боланд.

— Да,— ответил Стивен.

Веснушчатое лицо Нэша так и расплылось от смеха, когда он, повернувшись к Стивену, спросил:

— И тебе нравится кардинал Ньюмен?

— Многие находят, что у Ньюмена превосходный стиль,— пояснил Курон двум своим приятелям,— но, конечно, он не поэт.

— А кто самый лучший поэт, Курон? — спросил Боланд.

— Конечно, лорд Теннисон [3],— ответил Курон.

— Да, конечно, лорд Теннисон — сказал Нэш.— У нас дома есть полное собрание его стихов в одном томе.

Тут Стивен, забыв обеты молчания, которые он давал про себя, не выдержал:

— Теннисон — поэт? Да он просто рифмоплет!

— Ты что! — сказал Курон.— Все знают, что Теннисон — величайший поэт.

— А кто, по-твоему, величайший поэт? — спросил Боланд, подталкивая соседа.

— Конечно, Байрон,— ответил Стивен.

Сначала Курон, а за ним и другие разразились презрительным хохотом.

— Что вы смеетесь? — спросил Стивен.

— Над тобой смеемся,— сказал Курон.— Байрон — величайший поэт? Только невежды считают его поэтом.

— Вот так прекрасный поэт! — сказал Боланд.

— А ты лучше помалкивай,— сказал Стивен, смело повернувшись к нему.— Ты знаешь о поэзии только то, что сам же написал во дворе на заборе. За это тебе и хотели всыпать.

Про Боланда действительно говорили, будто он написал во дворе на заборе стишок про одного мальчика, который часто возвращался из колледжа домой верхом на пони:

Тайсон ехал в Иерусалим,
Упал и зашиб свой задосолим [4].

Этот выпад заставил обоих приспешников замолчать, но Курон не унимался:

— Во всяком случае, Байрон был еретик и распутник к тому же.

— А мне нет дела, какой он был,— огрызнулся Стивен.

---

[1] Фредерик Мэррият (1792—1848) — второстепенный английский писатель, автор популярных повестей из морской жизни.

[2] Джон Генри Ньюмен (1801—1890) — писатель, выдающийся стилист, известный богослов. Был англиканским священником, в 1845 г. принял католичество.

[3] Альфред Теннисон (1809—1892) — известный английский поэт; писатели поколения Джойса уже не увлекались его поэзией, находя ее плоской и неглубокой.

[4] Баллада неизвестного автора. Существует несколько вариантов, многие из которых непристойны.

— Тебе нет дела, еретик он или нет? — вмешался Нэш.

— А ты что знаешь об этом? — вскричал Стивен.— Ты, кроме примеров в учебниках, никогда в жизни лишней строчки не прочитал, и ты, Боланд,— тоже.

— Я знаю, что Байрон был дурной человек,— сказал Боланд.

— А ну-ка, держите этого еретика,— крикнул Курон.

В ту же секунду Стивен оказался пленником.

— Недаром Тейт заставил тебя поджать хвост в прошлый раз из-за ереси в сочинении,— сказал Курон.

— Вот я ему скажу завтра,— пригрозил Боланд.

— Это ты-то? — сказал Стивен.— Ты рот побоишься открыть!

— Побоюсь?

— Да, побоишься!

— Не зазнавайся! — крикнул Курон, ударяя Стивена тростью по ноге.

Это было сигналом к нападению. Нэш держал его сзади за обе руки, а Боланд схватил длинную сухую капустную кочерыжку, торчавшую в канаве. Как ни вырывался и ни отбрыкивался Стивен, стараясь избежать ударов трости и одеревеневшей кочерыжки, его мигом притиснули к изгороди из колючей проволоки.

— Признайся, что твой Байрон никуда не годится.

— Нет.

— Признайся.

— Нет

— Признайся.

— Нет. Нет.

Наконец, после отчаянной борьбы ему каким-то чудом удалось вырваться. Хохоча и издеваясь, его мучители направились к Джонсис-роуд, а он, почти ничего не видя от слез, брел, спотыкаясь, в бешенстве сжимая кулаки и всхлипывая.

И сейчас, когда под одобрительные смешки своих слушателей он произносил слова покаянной молитвы, а в памяти отчетливо и живо всплыл этот жестокий эпизод, он с удивлением спрашивал себя, почему теперь он не чувствует вражды к своим мучителям. Он ничего не забыл, ни их трусости, ни их жестокости, но воспоминание не вызывало в нем гнева. Вот почему всякие описания исступленной любви и ненависти, которые он встречал в книгах, казались ему неестественными. Даже и в тот вечер, когда он, спотыкаясь, брел домой по Джонсис-роуд, он чувствовал, словно какая-то сила снимает с него этот внезапно обуявший его гнев с такой же легкостью, как снимают с плода мягкую, спелую кожу.

Он продолжал стоять с двумя приятелями под навесом, рассеянно слушая их болтовню и взрывы аплодисментов в театре. Она сидела там, среди других и, может быть, ждала, когда он появится на сцене. Он попытался представить себе ее, но не мог. Он помнил только, что голова у нее была покрыта шалью, похожей на капор, а ее темные глаза манили и обезоруживали его. Он спрашивал себя, думала ли она о нем, как он о ней. Потом, в темноте, незаметно для тех обоих, он прикоснулся кончиками пальцев одной руки к ладони другой, чуть-чуть, едва-едва скользнув по ней. Но ее пальцы касались легче и настойчивее, и внезапное воспоминание об их прикосновении полоснуло его сознание и его тело, как невидимая волна.

Вдоль ограды к ним под навес бежал мальчик. Он запыхался и едва переводил дух от волнения.

— Эй, Дедалус,— крикнул он.— Дойл просто из себя выходит. Иди скорей одеваться к выходу! Скорей!

— Он пойдет,— сказал Курон, надменно растягивая слова,— когда сочтет нужным.

Мальчик повернулся к Курону и повторил:

— Но ведь Дойл сердится.

— Передай от меня Дойлу наилучшие пожелания и что я плевать на него хотел,— ответил Курон.

— Ну, а мне придется идти,— сказал Стивен, для которого не существовало таких вопросов чести.

— Я бы не пошел,— сказал Курон,— черта с два, ни за что не пошел бы! Разве

так обращаются к старшим ученикам? Подумаешь, из себя выходит! Достаточно с него, что ты выступаешь в его дурацкой пьесе.

Эта свойственная многим его товарищам заносчивость, которую Стивен с недавнего времени стал замечать в своем сопернике, нимало не влияла на его привычку к спокойному повиновению. Он не доверял такому бунтарству и сомневался в искренности такой дружбы, видя в ней грустные предзнаменования зрелости. Вопрос чести, затронутый сейчас, как и все подобные вопросы, казался ему неважным. Когда в погоне за какой-то неуловимой мечтой мысль его вдруг нерешительно останавливалась, отказываясь от этой погони, он слышал над собой неотвязные голоса своего отца и учителей, которые призывали его быть прежде всего джентльменом и правоверным католиком. Теперь эти голоса казались ему бессмысленными. Когда в колледже открылся класс спортивной гимнастики, он услышал другой голос, призывавший его быть сильным, мужественным, здоровым, а когда в колледж проникли веяния борьбы за национальное возрождение [1], еще один голос стал увещевать его быть верным родине и помочь воскресить ее язык, ее традиции. Он уже предвидел, что в обычной, мирской суете житейский голос будет побуждать его восстановить своим трудом утраченное отцовское состояние, как сейчас голос сверстников призывал быть хорошим товарищем, выгораживать их или спасать от наказания и стараться всеми способами выпросить свободный день для класса. И смешанный гул всех этих бессмысленных голосов заставлял его останавливаться в нерешительности и прерывать погоню за призраками. Время от времени он ненадолго прислушивался к ним, однако счастливым он чувствовал себя только вдали от них, когда они не могли настичь его, когда он оставался один или среди своих призрачных друзей.

В ризнице пухлый румяный иезуит и какой-то пожилой человек, оба в поношенных синих халатах, копались в ящике с гримом. Мальчики, которых уже загримировали, прохаживались тут же или растерянно топтались на одном месте, осторожно ощупывая свои раскрашенные лица кончиками пальцев. Молодой иезуит, гостивший в колледже, стоял посреди ризницы, засунув руки в глубокие боковые карманы, и плавно раскачивался на одном месте, то приподнимаясь на носки, то опускаясь на каблуки. Его маленькая голова с шелковистыми завитками рыжих волос и гладко выбритое лицо как нельзя лучше гармонировали с идеальной чистотой сутаны и с начищенными до блеска ботинками.

Наблюдая за этой раскачивающейся фигурой и стараясь разгадать значение насмешливой улыбки священника, Стивен вспомнил, как отец перед отправкой его в Клонгоус говорил, что иезуита всегда можно узнать по умению одеваться. И тут же подумал, что в характере отца есть что-то общее с этим улыбающимся, хорошо одетым священником, и вдруг ощутил осквернение священнического сана и самой ризницы, в тишину которой сейчас врывались громкая болтовня и шутки, а воздух был отравлен запахом грима и газовых рожков.

Пока пожилой человек в синем халате наводил ему морщины на лбу и накладывал синие и черные тени вокруг рта, он рассеянно слушал голос пухлого молодого иезуита, убеждавшего его говорить громко и отчетливо. Он услышал, как оркестр заиграл «Лилию Килларни»[2], и подумал, что вот сейчас, через несколько секунд, поднимется занавес. Он не испытывал страха перед сценой, но роль, в которой он должен был выступать, казалась ему унизительной. Кровь прилила к его накрашенным щекам, когда он вспомнил некоторые свои реплики. Он представил себе, как она смотрит на него из зала серьезными, манящими глазами, и вмиг все его сомнения исчезли, уступив место спокойной уверенности. Его как будто наделили другой природой — он вдруг поддался заразительному детскому веселью, и оно растопило, вытеснило его угрюмую недоверчивость. На один редкостный миг он словно весь преобразился, охваченный истинно мальчишеской радостью; стоя за кулисами вместе с другими участниками спектакля, он вместе с ними смеялся от души, когда два здоровых священника рывками потащили вверх дергающийся и перекосившийся занавес.

[1] Речь идет о Гэльской лиге, организованной в 1893 году и объединившей многих ирландских писателей и ученых, которые поставили своей целью возродить интерес к языку и культуре Ирландии и противопоставить их английскому языку и английской культуре.

[2] Увертюра к одноименной опере Юлия Бенедикта (1804—1885).

Спустя несколько секунд он очутился на сцене среди ярких огней и тусклых декораций перед бессчетными лицами, смотревшими на него из пустоты пространства. Он с удивлением обнаружил, что пьеса, которая на репетициях казалась ему бессвязной и безжизненной, внезапно обрела какую-то собственную жизнь. Она словно разворачивалась сама, а он и его партнеры только помогали ей своими репликами. Когда представление окончилось и занавес опустился, он услышал, как пустота загрохотала аплодисментами, и сквозь щель сбоку увидел, как сплошная, состоящая из бессчетных лиц масса, перед которой он только что выступал, сейчас разорвалась и распалась на маленькие оживленные группы.

Он быстро сбежал со сцены, переоделся и вышел через придел церкви в сад. Теперь, когда представление окончилось, каждая жилка в нем жадно ждала нового приключения. Он бросился бегом, словно в погоню за ним. Все двери театра были распахнуты настежь, и зал уже опустел. На проволоках, которые представлялись ему якорными цепями ковчега, несколько фонарей, уныло мигая, покачивались на ночном ветру. Он поспешно взбежал на крыльцо, выходившее в сад, словно боясь упустить какую-то добычу, и протиснулся сквозь толпу в вестибюле, мимо двух иезуитов, которые наблюдали за разъездом, раскланиваясь и обмениваясь рукопожатиями с гостями. Волнуясь, он проталкивался вперед, делая вид, что страшно торопится, едва замечая улыбки, усмешки и удивленные взгляды, которыми люди встречали и провожали его напудренную голову.

У входа он увидел свою семью, поджидавшую его у фонаря. С одного взгляда он обнаружил, что все в этой группе свои, и с досадой сбежал вниз по лестнице.

— Мне нужно зайти по делу на Джорджис-стрит,— быстро сказал он отцу.— Я приду домой попозже.

Не дожидаясь расспросов отца, он перебежал дорогу и сломя голову помчался с горы. Он не отдавал себе отчета, куда бежит. Гордость, надежда и желание, словно растоптанные травы, источали свой ядовитый дурман в его сердце и затемняли рассудок. Он мчался вниз по склону в чаду этого внезапно хлынувшего на него дурмана уязвленной гордости, растоптанной надежды и обманутого желания. Этот дурман поднимался ввысь перед его горящим взором густыми ядовитыми клубами и постепенно исчезал в вышине, пока воздух наконец не сделался снова ясным и холодным.

Туман все еще застилал ему глаза, но они уже больше не горели. Какая-то сила, сродни той, которая часто приказывала ему позабыть гнев и недовольство, заставила его остановиться. Не двигаясь, он стоял и смотрел на темное крыльцо морга и на темный, мощенный булыжником переулок. Он прочел его название «Лоттс» на стене дома и медленно вдохнул тяжелый терпкий запах.

«Конская моча и гнилая солома,— подумал он.— Этим полезно дышать. Успокоит мое сердце. Вот теперь оно совсем спокойно. Пойду обратно».

■

Стивен опять сидел с отцом в поезде на вокзале Кингс-бридж. Они ехали вечерним поездом в Корк. Когда паровоз запыхтел, разводя пары, и поезд отошел от платформы, Стивен вспомнил свое детское изумление во время поездки в Клонгоус несколько лет тому назад и все подробности первого дня в школе. Но теперь он уже не изумлялся. Он смотрел на проплывавшие мимо поля, на безмолвные телеграфные столбы, мелькавшие за окном через каждые четыре секунды, на маленькие, скудно освещенные станции с недвижными дежурными на платформе, вырванные на секунду из тьмы и тут же отброшенные назад, как искры из-под копыт ретивого скакуна.

Он безучастно слушал рассказы отца о Корке, о днях его молодости,— отец неизменно вздыхал или прикладывался к фляжке всякий раз, как речь заходила о ком-нибудь из умерших друзей или когда вдруг вспоминал о том, что заставило его предпринять эту поездку. Стивен слушал, но не испытывал жалости. Покойники, о которых вспоминал отец, были все ему незнакомы, кроме дяди Чарльза, да и его образ тоже начал стираться в памяти. Он знал, что имущество отца будут продавать с аукциона, и воспринимал свое разорение как грубое посягательство мира на его мечты.

В Мэриборо он заснул. А когда проснулся, уже проехали Мэллоу; отец спал, растянувшись на соседней скамье. Холодный предутренний свет чуть брезжил над бесплодными полями, над деревьями, над спящими домами. Страх перед этим спящим миром завладевал его воображением. когда он смотрел на тихие деревни и слышал, как глубоко дышит и ворочается во сне отец. Соседство невидимых спящих людей наполняло его смутным ужасом, как будто они могли причинить ему зло, и он стал молиться, чтобы поскорее наступил день. Молитва его, не обращенная ни к богу, ни к святым, началась с дрожи, когда прохладный утренний ветер задул из щелей двери ему в ноги, и окончилась лихорадочным бормотаньем каких-то нелепых слов, которые он невольно подгонял под мерный ритм поезда; безмолвно, каждые четыре секунды, телеграфные столбы, как тактовые черты, четко отмечали ритм. Эта бешеная мелодия притупила его страх, и, прислонившись к оконному переплету, он опять закрыл глаза.

Было еще очень рано, когда поезд с грохотом подкатил к Корку, и в номере гостиницы «Виктория» Стивен снова лег спать. Яркий теплый солнечный свет струился в окно, и Стивен слышал, как шумит улица. Отец стоял перед умывальником и тщательно разглядывал в зеркале свои волосы, лицо и усы, вытягивал шею над кувшином с водой, поворачивал голову, чтобы получше себя увидеть. А сам в это время тихонько напевал, забавно растягивая слова:

По юности и глупости
Жениться можно вмиг,
Поэтому, красавица,
Бегу, бегу.

Ведь от жены не лечат,
А жены нас калечат.
Нет, лучше я сбегу
В А-мс-ри-ку!

Мила моя красотка,
Жива и весела,
Как старое доброе виски
Свежа, крепка.

Но время убегает,
И красота линяет.
И свежесть выдыхается,
Как горная роса.

Ощущение теплого солнечного города за окном и мягкие модуляции отцовского голоса, которыми он украшал странную, печально-шутливую песенку, разогнали тени ночной тоски Стивена. Он вскочил и начал одеваться и, когда песенка кончилась, сказал отцу:

— Куда лучше, чем эти ваши «Придите все» [1].

— Ты находишь? — сказал мистер Дедалус.

— Мне нравится эта песенка,— сказал Стивен.

— Хорошая старинная песенка,— сказал мистер Дедалус, закручивая кончики усов.— Но если бы ты только слышал, как пел ее Мик Лейси! Бедняга Мик Лейси! Как он умел оттенить каждую нотку, какие чудеса вытворял с этой песенкой, у меня так не получается. Вот кто, бывало, умел спеть «Придите все» — слушаешь, душа радуется.

Мистер Дедалус заказал на завтрак паштет и за едой расспрашивал официанта о местных новостях, и всякий раз у них получалась ужасная путаница, потому что официант имел в виду теперешнего хозяина, а мистер Дедалус — его отца или даже деда.

— Надеюсь, хоть Королевский колледж стоит на месте,— заметил мистер Дедалус.— Хочу показать его своему сынишке.

На улице Мардайк деревья были в цвету. Они вошли в ворота колледжа, и словоохотливый сторож повел их через дворик в здание. Но через каждые десять — пятнадцать шагов они останавливались на усыпанной щебнем дорожке, и между отцом и сторожем происходил следующий диалог:

— Да не может быть! Неужели бедняга Толстопуз умер?

— Да, сэр, умер.

Во время этих остановок Стивен растерянно топтался на месте позади собеседников, беспокойно ожидая, когда можно будет не спеша двинуться вперед. Но к тому моменту, когда они пересекли дворик, его беспокойство почти перешло в бешенство. Он удивлялся, как это отец, которого он считал человеком проницательным и недовер-

[1] Песня, часто исполнявшаяся на улицах Дублина, с обязательным зачином: «Придите все, достойные ирландцы, послушать мою песню».

чивым, мог обмануться льстивой угодливостью сторожа, а забавный южный говор, развлекавший его целое утро, теперь раздражал.

Они вошли в анатомический театр, где мистер Дедалус с помощью сторожа начал разыскивать парту со своими инициалами. Стивен брел позади, удрученный более чем когда-либо мраком, тишиной и царившей здесь атмосферой сухой науки. На одной из парт он прочел слово Foetus [1], вырезанное в нескольких местах на закапанном чернилами дереве. Его бросило в жар от этой неожиданной надписи: он словно почувствовал рядом с собой этих студентов, и ему захотелось скрыться от них. Картина той жизни, которую никогда не могли вызвать в его воображении рассказы отца, внезапно выросла перед ним из этого вырезанного на парте слова. Плечистый усатый студент старательно вырезал перочинным ножом букву за буквой. Другие студенты стояли или сидели рядом, гогоча над тем, что выходило у него из-под ножа. Один из них толкнул его под локоть. Плечистый обернулся, нахмурившись; на нем была широкая серая блуза и темно-коричневые ботинки.

Стивена окликнули. Он быстро сбежал вниз по ступенькам аудитории, словно спасаясь от этого видения, и стал разглядывать инициалы отца, чтобы спрятать свое пылающее лицо.

Но слово и картина, вызванная им, продолжали мелькать у него перед глазами, когда он шел обратно по дворику к воротам колледжа. Он был потрясен тем, что наткнулся в жизни на какие-то следы того, что до сих пор казалось ему гнусной болезнью его психики. Чудовищные видения, преследовавшие его, всплывали в памяти; с внезапным неистовством они вырастали перед ним из одних только слов. Он быстро поддался им и позволил захватить и растлить свое воображение, хотя и не переставал удивляться, откуда они берутся — из какого гнездилища чудовищных призраков. А когда эти видения одолевали его, каким же жалким и приниженным чувствовал он себя с окружающими, как метался и как был противен самому себе.

— А вот и бакалея! Та самая! — вскричал мистер Дедалус. — Ты много раз слышал от меня о ней, ведь правда, Стивен? Да, мы частенько захаживали сюда целой компанией [2], и наши имена были тогда известны всем. Гарри Пирд, малыш Джек Маунтен и Боб Дайес, и еще француз Морис Мориарти, и Том О'Грейди, и Мик Лейси, о котором я тебе говорил нынче утром, и Джоуи Корбет, и добрая душа бедняжка Джонни Киверс.

Листья деревьев на улице Мардайк шелестели и перешептывались в солнечном свете. Мимо прошла команда игроков в крикет, стройные молодые люди в спортивных брюках и куртках, и один из них нес длинный зеленый мешок с крикетными воротами. В тихом переулке уличные музыканты-немцы — пять человек в выцветших солдатских мундирах — играли на помятых инструментах обступившим их уличным мальчишкам и досужим рассыльным. Горничная в белом чепце и фартуке поливала цветы в ящике на подоконнике, который сверкал на солнце, как пласт известняка. Из другого, открытого настежь окна доносились звуки рояля, поднимавшиеся все выше и выше, гамма за гаммой до дискантов.

Стивен шел рядом с отцом, слушая рассказы, которые он уже слышал и раньше, все те же имена исчезнувших и умерших собутыльников, друзей отцовской юности. От легкой тошноты у него щемило сердце. Он думал о своем двусмысленном положении в Бельведере — ученик-стипендиат, первый ученик в классе, боящийся собственного авторитета, гордый, обидчивый, подозрительный, отбивающийся от убожества жизни и от своего собственного разнузданного воображения. Буквы, вырезанные на запачканной деревянной парте, пялились на него, издеваясь над слабостью его плоти над его бесплодными порывами, заставляя его презирать себя за грязное дикое буйство. Слюна у него во рту сделалась горькой и застряла в горле, и от легкой тошноты мутилось в голове, так что на минуту он даже закрыл глаза и шел вслепую.

А голос отца рядом с ним продолжал:

— Когда ты выбьешься в люди, Стивен, а я очень на это надеюсь, помни одно: что бы ты ни делал, держись порядочных людей. Когда я был молод, я, можно сказать, жил полной жизнью, и друзья у меня были прекрасные, порядочные люди. И каждый

[1] Плод, зародыш *(лат.)*.
[2] Во многих бакалейных лавках в Ирландии продавались алкогольные напитки.

из нас был чем-нибудь да славен. У одного голос был хороший, у другого — актерский талант, кто мог недурно спеть какой-нибудь веселенький куплетик, кто был первоклассным гребцом или первым на теннисном корте, а кто превосходным рассказчиком. Мы всем интересовались, брали от жизни все, что могли, и, можно сказать, пожили в свое удовольствие, и никому от этого не было никакого вреда. Но все мы были порядочными людьми, Стивен, по крайней мере я так думаю, и честными ирландцами. Вот и мне бы хотелось, чтобы и ты с такими людьми водился — с честными, добропорядочными. Я с тобой говорю как друг, Стивен, я вовсе не считаю, что сын должен бояться отца. Нет, я с тобой держусь запросто, так же, как, бывало, твой дед держался со мной, когда я был в твоем возрасте Мы с ним были скорей как братья, а не как отец с сыном. Никогда не забуду, как он в первый раз поймал меня с трубкой. Помню, стою я в конце Саут-террас с щелкоперами вроде меня, и мы, конечно, корчим из себя взрослых и воображаем о себе невесть что, и у каждого торчит трубка в зубах. И вдруг мимо идет отец. Он ничего не сказал, даже не остановился. А на следующий день, в воскресенье, мы пошли с ним гулять, и вот, когда возвращались домой, он вдруг вынимает портсигар и говорит: «Да, кстати, Саймон, я и не знал, что ты куришь». Я, конечно, в ответ что-то мямлю, а он протягивает мне портсигар и говорит: «Хочешь отведать хорошего табачку, попробуй-ка эти сигары. Мне их один американский капитан подарил вчера вечером в Куинстауне».

Стивен услышал смешок отца, который почему-то был больше похож на всхлипыванье.

— Он в то время был самый красивый мужчина в Корке. Правду тебе говорю. Женщины на улицах останавливались и глядели ему вслед.

Тут голос отца прервался громким рыданием, и Стивен невольно широко открыл глаза. В потоке света, внезапно хлынувшем ему в зрачки, он увидел волшебный мир — темную, клубящуюся массу неба и облаков, на которую озерами пролился темно-розовый свет. Самый мозг его был болен и отказывался ему служить. Он едва мог разобрать буквы на вывесках магазинов. Своим чудовищным образом жизни он словно отторг себя от действительности. Ничто из этой действительности не трогало и не привлекало его, если он не слышал в этом отголоска того, что вопило в нем самом. Немой, бесчувственный к зову лета, радости, дружбы, он был неспособен откликнуться ни на какой земной или человеческий призыв, и голос отца раздражал и угнетал его. Он едва понимал собственные мысли и медленно повторял про себя:

«Я — Стивен Дедалус. Я иду рядом с моим отцом, которого зовут Саймон Дедалус. Мы в Корке, в Ирландии. Корк — это город. Мы остановились в гостинице «Виктория». Виктория. Стивен. Саймон. Саймон. Стивен. Виктория. Имена».

Воспоминания детства вдруг сразу потускнели. Он старался воскресить в памяти самые яркие минуты и не мог. В памяти всплывали только имена: Дэнти, Парнелл, Клейн, Клонгоус. Маленького мальчика учила географии старая женщина, у которой были две щетки в шкафу. Потом его отправили в колледж. Он в первый раз причащался, ел шоколадки, которые прятал в своей крикетной шапочке, и смотрел, как плясал и прыгал огонь на стене в маленькой комнате в лазарете, и представлял себе, как он умрет, как ректор в черном с золотом облачении будет служить над ним мессу и как его похоронят на маленьком кладбище за главной липовой аллеей. Но он не умер тогда. Парнелл умер. Не было ни мессы в церкви. ни похоронной процессии. Парнелл не умер, а растаял, как туман на солнце. Он исчез или ушел из жизни, потому что его больше не существует. Как странно представить себе, что он вот так ушел из жизни, не умер, а растаял на солнце или блуждает, затерявшись где-то во вселенной! И странно было видеть, как на секунду снова появился маленький мальчик: вот он — в серой с поясом куртке. Руки засунуты в боковые карманы, а штанишки прихвачены ниже колен круглыми подвязками.

Вечером того дня, когда имущество было продано, Стивен покорно ходил за отцом по городу из бара в бар. Рыночным торговцам, служанкам в барах, официантам, нищим, которые просили милостыню, мистер Дедалус неизменно рассказывал одно и то же: что он старый уроженец Корка, что за тридцать лет жизни в Дублине он не избавился от южного акцента и что этот юнец рядом с ним — его старший сын, самый настоящий дублинский бездельник.

Рано утром они вышли из кафе «Ньюком», где чашка в руке мистера Дедалуса громко позвякивала о блюдечко, а Стивен, двигая стулом и покашливая, старался заглушить это позвякиванье — позорный след вчерашней попойки. Одно унижение следовало за другим: фальшивые ухмылки рыночных торговцев, заигрывания и смешки буфетчиц, с которыми любезничал мистер Дедалус, поощрения и комплименты отцовских друзей. Они говорили ему, что он очень похож на своего деда, мистер Дедалус соглашался, что сходство есть, только Стивен не так красив. Они находили, что по его речи можно узнать, что он из Корка, и заставили его признать, что река Ли красивее Лиффи [1]. Один из них, желая проверить его латынь, заставил перевести несколько фраз из «Дилектуса» [2] и спросил, как правильно говорить: «Tempora mutantur nos et mutamur in illis» или «Tempora mutantur et nos mutamur in illis» [3]. Другой юркий старикашка, которого мистер Дедалус называл Джонни Кэшмен, привел его в полное замешательство, спросив, где девушки красивее — в Дублине или в Корке.

— Он не из того теста,— сказал мистер Дедалус.— Не приставай к нему. Он серьезный, рассудительный мальчик, ему никогда и в голову не приходит думать о таких пустяках.

— Тогда, значит, он не сын своего отца,— сказал старикашка.

— Вот это я уж, право, не знаю,— сказал мистер Дедалус, самодовольно улыбаясь.

— Твой отец,— сказал старикашка Стивену,— был в свое время первый юбочник в Корке. Ты этого не знал?

Стивен, опустив глаза, разглядывал вымощенный кафелем пол бара, куда они зашли по пути.

— Да будет тебе, еще собьешь его с толку,— сказал мистер Дедалус.— Бог с ним.

— Зачем мне сбивать его с толку? Я ему в дедушки гожусь. Ведь я и в самом деле дедушка,— сказал Стивену старикашка.— А ты не знал?

— Нет,— сказал Стивен.

— Как же,— отвечал старикашка.— У меня двое карапузов-внучат в Сандиз Уэлле. А что? По-твоему, сколько мне лет? Ведь я твоего дедушку помню, когда еще он в красном камзоле ездил на псовую охоту. Тебя тогда и на свете не было.

— И никто и не думал, что будет,— сказал мистер Дедалус.

— Как же! — повторил старикашка.— Да больше того, я даже твоего прадеда помню, старого Джона Стивена Дедалуса. Вот был отчаянный дуэлянт! А? Что, какова память?

— Выходит, три, нет, четыре поколения,— сказал один из собеседников.— Так тебе уже, Джонни Кэшмен, глядишь, скоро сто стукнет.

— Я вам скажу, сколько мне лет,— отвечал старикашка.— Мне ровно двадцать семь.

— Верно, Джонни,— сказал мистер Дедалус.— Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь. А ну-ка, прикончим что здесь еще осталось да начнем другую. Эй! Тим, Том или как там тебя зовут, дай-ка нам еще бутылочку такого же. Честное слово, мне самому кажется, что мне восемнадцать, а вот сын мой вдвое моложе меня, а куда он против меня годится!

— Полегче, Дедалус, придется тебе, пожалуй, ему уступить,— сказал тот, который говорил до этого.

— Ну нет, черт возьми! — вскричал мистер Дедалус.— Я партию тенора спою получше его и барьер возьму получше, и на охоте ему за мной не угнаться, попробуй он со мной лис травить, как мы, бывало, лет тридцать тому назад, травили с ребятами из Керри [4]! А уж они в этом толк понимали!

— Но он побьет тебя вот в чем,— сказал старикашка, постучав себе по лбу, и осушил стакан.

---

[1] Ли — река, на которой стоит Корк. Лиффи — река, на которой стоит Дублин.
[2] «Дилектус» — собрание латинских изречений.
[3] Времена меняются, и мы меняемся с ними (*лат.*). Первый вариант — неправильный.
[4] Графство Керри на юго-западе Ирландии. Паренек из Керри стал известен благодаря роману Питера Финли Данна «Мистер Дули в мирное время и на войне» (1898), в котором выведен образ повесы, прожигателя жизни.

— Будем надеяться, что он будет таким же порядочным человеком, как его отец, вот все, что я могу сказать,— ответил мистер Дедалус.

— Лучшего и желать не надо,— сказал старикашка.

— И поблагодарим бога, Джонни,— сказал мистер Дедалус,— за то, что мы жили долго, а зла сделали мало.

— А добра много делали, Саймон,— торжественно присовокупил старикашка.— Слава тебе, господи, и пожили долго, и добра делали много.

Стивен смотрел, как поднялись три стакана и отец и два его старых друга выпили за свою молодость. Судьба или характер, словно какая-то бездна, отделяли его от них. Казалось, ум его был злее и старше: он холодно светил над их спорами, радостями и огорчениями, словно луна — над более юной землей. Он не ощущал в себе биения жизни, молодости, которое когда-то так полно ощущали они. Ему были не знакомы ни радость дружеского общения, ни сила крепкого мужского здоровья, ни сыновнее чувство. Ничто не шевелилось в его душе, кроме холодной, жесткой, безлюбой похоти. Детство его умерло или исчезло, а вместе с ним и его душа, способная на простые радости, и он скитался по жизни, как тусклый диск луны.

Ты не устала ли? Твой бледен лик, луна,
Взбираясь ввысь, на землю ты глядишь
И странствуешь одна...[1]

Он повторял про себя строки из Шелли. Противопоставление жалкого человеческого бессилия высшей упорядоченной энергии, недоступной человеку, отрезвило его, и он забыл свою собственную, бессильную, жалкую печаль.

■

Мать Стивена, его брат и один из двоюродных братьев остались дожидаться на углу пустынной Фостер-плейс, а Стивен с отцом поднялись по ступеням и пошли вдоль колоннады, где прохаживался взад и вперед часовой-шотландец. Когда они вошли в большой холл и стали у окошка кассы, Стивен вынул свои чеки на имя директора Ирландского банка — один на тридцать и другой на три фунта. И эту сумму, и его стипендию, и премию за письменную работу кассир быстро отсчитал банкнотами и звонкой монетой. С деланным спокойствием Стивен рассовал их по карманам и покорно протянул руку через широкий барьер добродушному кассиру, который, разговорившись с отцом, захотел поздравить Стивена и пожелать ему блестящего будущего. Его раздражали их голоса, и ему не стоялось на месте. Но кассир, задерживая других посетителей, распространялся о том, что времена пошли не те и что по нынешним понятиям самое важное — это дать сыну хорошее образование, конечно, если позволяют деньги. Мистер Дедалус медлил уходить, поглядывая то по сторонам, то вверх на потолок, и пояснял торопившему его Стивену, что они находятся в здании старого Ирландского парламента [2], в палате общин.

— Господи! — благоговейно говорил мистер Дедалус,— подумать только, какие люди были в те времена — Хили-Хатчинсон, Флуд, Генри Граттен, Чарльз Кендл Буш! [3] А дворянчики, которые ворочают делами теперь! Тоже мне вожди ирландского народа! Да их, Стивен, рядом с теми даже и на кладбище представить себе нельзя! Да, Стивен, дружище, это все равно как, знаешь, в песенке поется: «Майский день в июльский полдень».

Пронзительный октябрьский ветер гулял вокруг банка. У троих, дожидавшихся на краю грязного тротуара, посинели щеки и слезились глаза. Стивен заметил, как легко одета его мать, и вспомнил, что несколько дней тому назад видел в витрине магазина Барнардо накидку за двадцать гиней.

---

[1] Отрывок из стихотворения Перси Биши Шелли «К луне» (1820).

[2] «Акт об унии» (1801) уничтожил независимый парламент в Ирландии, и его здание было продано в 1802 году Ирландскому банку.

[3] Джон Хили-Хатчинсон (1724—1794) — известный ирландский государственный деятель и экономист, сторонник равноправия католиков, выступал с требованиями свободной торговли и политических реформ. Генри Флуд (1732—1791) — ирландский государственный деятель и оратор, играл важную роль в оппозиции Ирландии английскому владычеству. Генри Граттен (1746—1820) — ирландский государственный деятель, оратор, борец за ирландскую независимость. Чарльз Кендл Буш (1767—1843) — ирландский судья и оратор, сторонник Генри Граттена в борьбе против «Акта об унии».

— Ну вот, получили,— сказал мистер Дедалус.

— Неплохо было бы пойти пообедать,— сказал Стивен.— Только куда?

— Пообедать? — сказал мистер Дедалус.— Ну что ж — это, пожалуй, недурно.

— Только куда-нибудь, где не очень дорого, — сказала миссис Дедалус.

— Второй разряд?

— Да, куда-нибудь поскромнее.

— Идемте,— сказал Стивен нетерпеливо.— Дорого или нет — это не важно.

Он шел впереди них мелкими неровными шагами и улыбался. Они старались не отставать от него и тоже улыбались его стремительности.

— Да не волнуйся ты,— сказал отец.— Держи себя как подобает взрослому юноше. Что мы сломя голову летим, нам ведь не приз брать!

В трате денег на развлечения и удовольствия незаметно проходил день, и премия в руках Стивена быстро таяла. Из города доставляли на дом большие пакеты сладостей, конфет, сушеных фруктов. Каждый день Стивен составлял меню для всего семейства, а вечером втроем или вчетвером отправлялись в театр смотреть «Ингомара» или «Даму из Лиона» [1]. В кармане куртки у него всегда были припасены плитки венского шоколада на всю компанию, а в карманах брюк позвякивали пригоршни серебряных и медных монет. Он всем покупал подарки, взялся отделывать заново свою комнату, сочинял какие-то проекты, непрестанно переставлял книги на полках, изучал всевозможные прейскуранты, завел в доме строгий порядок на республиканских началах, по которому на каждого члена семьи ложились определенные обязанности. Открыл ссудную кассу для своих домашних и раздавал ссуды охотникам брать взаймы только ради удовольствия выписывать квитанции и подсчитывать проценты на выданные суммы. Когда эти возможности иссякли, он стал кататься по городу на конке. Потом наступил конец развлечениям. Розовая эмалевая краска в жестянке высохла, деревянная обшивка в его комнате осталась недокрашенной, а плохо приставшая штукатурка осыпалась со стен.

Семья вернулась к обычному образу жизни. У матери уже больше не было повода упрекать его за мотовство. Он тоже вернулся к своей прежней школьной жизни, а все его нововведения пошли прахом. Республика развалилась. Ссудная касса закрылась с большим дефицитом. Правила жизни, которые он установил для себя, нарушились сами собой.

Какая это была нелепая затея! Он пытался воздвигнуть плотину порядка и изящества против грязного течения внешней жизни и подавить правилами поведения, деятельными интересами и новыми семейными отношениями мощный водоворот внутри себя. Тщетно. И снаружи и внутри поток перехлестнул через его преграды: оба течения опять неистово столкнулись над обрушившимся молом.

Он ясно понимал и свою собственную бесплодную отчужденность. Он не приблизился ни на шаг к тем, к кому старался подойти, и не преодолел беспокойного чувства стыда и затаенной горечи, которые отделяли его от матери, брата и сестры. Он почти не ощущал кровной связи с ними, скорее какую-то таинственную связь молочного родства, словно он был приемыш, их молочный брат.

Он снова пытался утолить свое жадное неистовое томление, перед которым все другое казалось пустым и чуждым. Его не тревожило, что он впал в смертный грех, что жизнь стала сплетением лжи и уверток. Перед мучительным желанием перенести в действительность чудовищные видения терзавшей его похоти исчезло все, не оставалось ничего святого. Цинично и терпеливо позволял он своему разнузданному воображению в тайном сладострастии осквернять постыдными подробностями любой образ, случайно остановивший его внимание. Встречная незнакомка, которая днем казалась ему целомудренной, недоступной, являлась ночью из темных лабиринтов сна, лицо ее дышало лукавым сладострастием, глаза горели животной похотью. И только утро тревожило его смутными воспоминаниями темных оргий, острым унизительным чувством греха.

---

[1] «Ингомар, варвар» (1851) — популярная во времена Джойса пьеса. «Дама из Лиона» («Лионская красавица», 1838) — историческая драма Э. Дж. Булвер-Литтона (1803—1873), второстепенного английского писателя, очень популярного в конце XIX века.

Его снова потянуло бродить. Туманные осенние вечера влекли его из переулка в переулок, как когда-то много лет тому назад они водили его по тихим улицам Блэкрока. Но ни подстриженные палисадники, ни приветливые огни окон теперь уже не наполняли его чувством отрадного покоя. И только по временам, когда наступало затишье и желания и похоть, изнурявшие его, сменялись томной слабостью, образ Мерседес вставал из глубин его памяти. Он снова видел маленький белый домик по дороге в горы и сад с цветущими розами и вспоминал печальный гордый жест отказа и слова, которые он должен был произнести там, стоя рядом с ней в залитом лунным светом саду после стольких лет разлуки и скитаний. В эти минуты тихие речи Клода Мельнота[1] звучали в памяти и утоляли его тревогу. Нежное предчувствие свидания, которого он когда-то ждал, снова наполнило его душу, несмотря на ужасную действительность, лежавшую между былыми надеждами и настоящим, предчувствие благословенной встречи, когда бессилье, робость и неопытность мгновенно спадут с него.

Эти минуты проходили, и изнуряющее пламя похоти вспыхивало снова. Стихи замирали у него на губах, и нечленораздельные крики и непристойные слова рвались из сознания, требуя выхода. Кровь бунтовала. Он бродил взад и вперед по грязным улицам, вглядываясь в черноту переулков и ворот, жадно прислушиваясь к каждому звуку. Он выл, как зверь, потерявший след добычи. Он жаждал согрешить с существом себе подобным, заставить это существо согрешить и насладиться с ним грехом. Он чувствовал, как что-то темное неудержимо движется на него из темноты, неуловимое и шепчущее, словно поток, который, набегая, заполняет его собой. Этот шепот, словно нарастая во сне, бился ему в уши, неуловимые струи пронизывали все его существо. Его пальцы судорожно сжимались, зубы стискивались от нестерпимой муки этого проникновения. На улице он протягивал руки, чтобы удержать нечто хрупкое, зыбкое, ускользающее и манящее, и крик, который он уж давно сдерживал в горле, слетал с его губ. Он вырывался, как вырывается стон отчаяния несчастных грешников в преисподней и замирал хрипом яростной мольбы, воплем неутоленной похоти, воплем, который был не чем иным, как эхом непристойной надписи, увиденной им на мокрой стене писсуара.

Как-то он забрел в лабиринт узких грязных улиц. Из вонючих переулков до него доносились шум, пьяные возгласы, брань, хриплый рев пьяных голосов. Все это мало его трогало, и он гадал, куда это его занесло, не в еврейский ли квартал. Женщины и молодые девушки в длинных кричащих платьях, надушенные, прохаживались по улице от дома к дому. Его охватила дрожь, и в глазах потемнело Перед затуманенным взором, на фоне облачного неба, желтые рожки фонарей запылали, как свечи перед алтарем. У дверей и в освещенных передних кучками собрались женщины, как бы готовясь к какому-то обряду. Он попал в другой мир: он проснулся от тысячелетнего сна.

Он стоял посреди улицы, и сердце его неистово колотилось в груди. Молодая женщина в красном платье положила руку ему на плечо и заглянула в глаза.

— Добрый вечер, милашка Вилли! — весело сказала она.

В комнате у нее было тепло и светло. Большая кукла сидела, раздвинув ноги, в широком кресле около кровати. Он смотрел, как она расстегивает платье, видел гордые, уверенные движения ее надушенной головы и старался заставить себя вымолвить хоть слово, чтобы казаться непринужденным.

И когда он стоял так молча посреди комнаты, она подошла к нему и обняла его — обняла весело и спокойно. Ее круглые руки крепко обхватили его, и, видя ее серьезное и спокойное запрокинутое лицо, ощущая теплое, спокойное, мерное дыхание ее груди, он едва не разразился истерическим плачем. Слезы радости и облегчения сияли в его восхищенных глазах, и губы его разомкнулись, хотя и не произнесли ни слова.

Она провела своей звенящей рукой по его волосам и назвала его плутишкой.

— Поцелуй меня,— сказала она.

Губы его не шевельнулись, не поцеловали ее. Ему хотелось, чтобы она держала его в своих объятиях крепко, ласкала тихо-тихо. В ее объятиях он вдруг почувство-

[1] Герой пьесы Булвер-Литтона «Дама из Лиона».

вал себя сильным, бесстрашным и уверенным. Но губы его не шевельнулись, не поцеловали ее.

Внезапным движением она пригнула его голову и прижала свои губы к его губам, и он прочел смысл ее движений в откровенном устремленном на него взгляде. Это было выше его сил. Он закрыл глаза, отдаваясь ей душой и телом, забыв обо всем на свете, кроме темного прикосновения ее мягко раздвинутых губ. Целуя, они касались не только губ, но и его сознания, как будто хотели что-то передать ему, и вдруг, на миг, он ощутил неведомое доселе и робкое прикосновение, которое было темнее, чем греховное забытье, мягче, чем запах или звук.

Глава III

После унылого дня стремительные декабрьские сумерки, кувыркаясь, подобно клоуну, падали на землю, и, глядя из классной комнаты в унылый квадрат окна, он чувствовал, как желудок его требует пищи. Он надеялся, что на обед будет жаркое — репа, морковь и картофельное пюре с жирными кусками баранины, плавающими в сильно наперченном мучнистом соусе. Пихай все это в себя, подзуживало его брюхо.

Ночь будет темная, глухая ночь. Чуть стемнеет, желтые фонари вспыхнут там и сям в грязном квартале публичных домов. Он пойдет бродить по переулкам, подходя туда все ближе и ближе, будет дрожать от волнения и страха, пока ноги его сами не завернут за темный угол. Проститутки как раз начнут выходить на улицу, готовясь к ночи, лениво зевая после дневного сна и поправляя шпильки в волосах. Он спокойно пройдет мимо, дожидаясь внезапной вспышки желания или внезапного призыва мягкого надушенного тела, который пронзит его возлюбившую грех душу. И в настороженном ожидании этого призыва чувства его, притупляемые только желанием, будут напряженно отмечать все, что унижает и задевает их: глаза — кольцо пивной пены на непокрытом столе, фотографию двух стоящих навытяжку солдат, кричащую афишу; уши — протяжные оклики приветствий.

— Хэлло, Берти, чем порадуешь, дружок?

— Это ты, цыпочка?

— Десятый номер, крошка Нелли дожидается тебя.

— Пришел скоротать вечерок, милашка?

Уравнение на странице его тетради развернулось пышным хвостом в глазках и звездах, как у павлина; и когда глазки и звезды показателей взаимно уничтожились, хвост начал медленно складываться. Показатели появлялись и исчезали, словно открывающиеся и закрывающиеся глазки, глазки открывались и закрывались, словно вспыхивающие и угасающие звезды. Огромный круговорот звездной жизни уносил его усталое сознание прочь за пределы и вновь возвращал обратно к центру, и это движение сопровождала отдаленная музыка. Что это была за музыка? Музыка стала ближе, и он вспомнил строки Шелли о луне, странствующей одиноко, бледной от усталости. Звезды начали крошиться, и облако тонкой звездной пыли понеслось в пространство.

Серый свет стал тускнеть на странице, где другое уравнение разворачивалось, медленно распуская хвост. Это его собственная душа вступала на жизненный путь, разворачиваясь, грех за грехом, рассыпая тревожные огни пылающих звезд и снова свертываясь, медленно исчезая, гася свои огни и пожары. Они погасли все, и холодная тьма заполнила хаос.

Холодное трезвое безразличие царило в его душе. В исступлении первого греха он почувствовал, как волна жизненной силы хлынула из него, и боялся, что тело или душа его будут искалечены этим извержением. Но жизненная волна вынесла его на гребне вон из него самого и, схлынув, вернула обратно. А его тело и душа остались невредимыми, и темное согласие установилось между ними. Хаос, в котором угас его пыл, обратился в холодное, равнодушное познание самого себя. Он совершил смертный грех, и не однажды, а множество раз, и знал, что уже первый грех грозит ему вечным проклятьем, а каждый новый умножает его вину и кару. Дни, занятия и раздумья не принесут ему искупления — источник животворящей благодати перестал

орошать его душу. Подавая нищим, он убегал, не выслушав их благодарности, и устало надеялся, что хоть так заслужит какие-то крохи благодати. Благочестие покинуло его. Какая польза в молитвах, когда он знал, что душа его жаждет гибели? Гордость, благоговейный страх не позволяли ему произнести ни единой молитвы на ночь, хотя он знал, что в божьей власти было лишить его жизни во время сна и ввергнуть его душу в ад, прежде чем он успеет попросить о милосердии. Гордое сознание собственного греха, страх, лишенный любви к богу, внушали ему, что собственное преступление слишком велико, чтобы его можно было искупить полностью или частично лицемерным поклонением всевидящему и всезнающему.

— Знаете, можно подумать, Эннис, будто у вас не голова, а чурбан. Вы что же — не понимаете, что такое иррациональная величина?

Бестолковый ответ разбудил дремавшее в нем презрение к его школьным товарищам. По отношению к другим он больше не испытывал ни стыда, ни страха. Утром в воскресные дни, проходя мимо церкви, он холодно смотрел на молящихся; по четыре человека в ряд, обнажив голову, стояли они на паперти, мысленно присутствуя на богослужении, которого не могли ни видеть, ни слышать. Унылая набожность и тошнотворный запах дешевого бриллиантина от их волос отталкивали его от святыни, которой они поклонялись. Он лицемерил вместе с другими, но скептически не доверял их простодушию, которое можно было с такой легкостью обмануть.

На стене в его спальне висела украшенная заставкой грамота о присвоении ему звания префекта [1] братства пресвятой девы Марии в колледже. По субботам, когда братство сходилось в церковь к службе, он занимал почетное место справа от алтаря, преклонив колена на маленькой обитой материей скамеечке, и вел свое крыло хора во время богослужения. Это фальшивое положение не мучило его. Если минутами его и охватывало желание подняться со своего почетного места, покаяться перед всеми в своем лицемерии и покинуть церковь, одного взгляда на окружавшие лица бывало достаточно, чтобы подавить этот порыв. Образные пророчества псалмов укрощали его бесплодную гордость. Пышные славословия Марии пленяли его душу: нард, мирра и ладан — символы ее царственного рода, поздно цветущее дерево и поздний цветок — символы веками возрастающего культа ее среди людей. И когда в конце службы наступала его очередь читать Священное писание, он читал его приглушенным голосом, убаюкивая свою совесть музыкой слов:

«Quasi cedrus exaltata sum in Libanon et quasi cupressus in monte Sion. Quasi palma exaltata sum in Gades et quasi plantatio rosae in Jericho. Quasi uliva speciosa in campis et quasi platanus exaltata sum juxta aquam in plateis. Sicut cinnamomum et balsamum aromatizans odorem dedi et quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris»[2].

Грех, отвернувший от него лик господен, невольно приблизил его к заступнице всех грешников [3]. Ее очи, казалось, взирали на него с кроткой жалостью, ее святость, непостижимое сияние, окутывающее ее хрупкую плоть, не унижали прибегающего к ней грешника. Если когда-нибудь внутренний голос и убеждал его отказаться от греха и покаяться, то это был голос, звавший посвятить себя служению ей. Если когда-нибудь душа его, стыдливо возвращаясь в свою обитель после того, как затихало безумие похоти, владевшей его телом, и устремлялась к той чей символ — утренняя звезда, «ясная, мелодичная, возвещающая о небесах и дарующая мир» [4], это было в те мгновения, когда имя ее тихо произносилось устами, на которых еще дрожали гнусные, срамные слова и похотливая сладость развратного поцелуя.

Это было странно. Он пытался объяснить себе, как это могло быть. Но сумрак, сгущавшийся в классе, окутал его мысли. Прозвенел звонок. Учитель задал примеры и вышел. Курон рядом со Стивеном фальшиво затянул:

Мой друг, прекрасный Бомбадос[5].

---

[1] Староста, старший ученик в некоторых привилегированных учебных заведениях Англии и Ирландии.

[2] «Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне. Я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась. Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, распространила благоухание». (Библия. Книга Премудрости Иисуса, сына Сираха.)

[3] Имеется в виду дева Мария.

[4] Строчки из книги Дж. Г. Ньюмена «Славословия Марии-богоматери» (1849). Проза Ньюмена часто используется Джойсом в «Портрете».

[5] Строка из оперетты времен Джойса.

Эннис, который выходил из класса, вернулся и объявил:

— За ректором пришел прислужник.

Высокий ученик позади Стивена сказал, потирая руки:

— Вот это повезло! Может проваландаться целый час. Раньше половины третьего он не вернется. А там ты можешь надолго завести его вопросами по катехизису, Дедалус.

Стивен, откинувшись на спинку парты и рассеянно водя карандашом по тетрадке, прислушивался к болтовне, которую время от времени Курон прерывал окриками:

— Да тише вы! Нельзя же подымать такой гвалт!

Странно было и то, что ему доставляло какую-то горькую радость проникать в самый корень суровых догматов церкви, проникать в ее темные умолчания только для того, чтобы услышать и глубже почувствовать, что он осужден. Изречение святого Иакова о том, что тот, кто согрешит против одной заповеди, грешит против всех, казалось ему напыщенной фразой, пока он не заглянул во тьму собственной души. Из дурного семени разврата взошли другие смертные грехи: самоуверенная гордость и презрение к другим, алчность к деньгам, за которые можно было купить преступные наслаждения, зависть к тем, кто превосходил его в пороках, и клеветнический ропот против благочестивых, жадная прожорливость, тупая распаляющая злоба, с которой он предавался своим похотливым мечтаниям, трясина духовной и телесной спячки, в которой погрязло все его существо.

Часто, сидя за партой, он спокойно смотрел в суровое проницательное лицо ректора и развлекался, придумывая каверзные вопросы. Если человек украл в юности фунт стерлингов и приобрел с помощью этого фунта большое состояние, сколько он должен вернуть — только ли украденный фунт с процентами, которые на него наросли, или же все состояние? Если крещение совершается мирянином и он окропит водою младенца, прежде чем произнесет соответствующие слова, можно ли считать младенца крещеным? Можно ли считать действительным крещение минеральной водой? Первая заповедь блаженства обещает нищим духом царствие небесное, почему же вторая гласит, что кроткие наследуют землю? Почему таинство причастия представлено и хлебом и вином и в чем — только в хлебе или только в вине — претворяется тело и кровь Христова, его дух и божественная сущность? В маленькой частице, в крошке освященного хлеба полностью присутствует тело и кровь Христовы или только часть крови и часть тела? Если вино обратится в уксус, а хлеб причастия заплесневеет и рассыплется после освящения, будет ли в них все равно присутствовать Христос как бог и как человек?

— Идет, идет!

Один из учеников, стороживший у окна, увидел, как ректор вышел из главного здания. Все катехизисы открылись, и все молча уткнулись в книги. Ректор вошел и занял свое место на кафедре. Высокий ученик тихонько подтолкнул Стивена сзади, чтобы он задал ректору какой-нибудь трудный вопрос.

Но ректор не попросил дать ему катехизис и не начал спрашивать урок. Он сложил руки на столе и сказал:

— В среду мы начнем духовные упражнения в честь святого Франциска Ксаверия, память которого мы празднуем в субботу. Духовные упражнения будут продолжаться со среды до пятницы. В пятницу, после дневной молитвы, исповедь будет продолжаться до вечера. Тем из учащихся, у кого есть свой духовник, я советую не менять его. В субботу в девять часов утра будет обедня и общее причастие для всего колледжа. В субботу занятий нет. Суббота и воскресенье — праздники, но из этого вовсе не следует, что понедельник — тоже праздник. Прошу вас, не впадайте в это заблуждение. Мне кажется, Дедалус, вы склонны впасть в подобное заблуждение.

— Я, сэр? Почему, сэр?

Легкая волна сдержанного смеха пробежала по классу от суровой улыбки ректора. Сердце Стивена начало медленно съеживаться и замирать, как поникший цветок.

Ректор продолжал таким же серьезным тоном:

— Всем вам, я полагаю, известна история жизни святого Франциска Ксаверия, патрона нашего колледжа. Святой Франциск происходил из старинного испанского ро-

да и, как вы, конечно, помните, был одним из первых последователей святого Игнатия. Они встретились в Париже, где Франциск Ксаверий преподавал философию в университете. Этот блестящий молодой дворянин, ученый, писатель, прочувствовал всем сердцем учение великого основателя нашего ордена и, как должно быть вам известно, согласно своему желанию был послан святым Игнатием проповедовать слово божие индусам. Его ведь называют апостолом Индии. Он изъездил весь Восток: из Африки в Индию, из Индии в Японию, обращая язычников в христианство. За один месяц окрестил десять тысяч идолопоклонников. Потерял способность владеть правой рукой, оттого что ему беспрестанно приходилось поднимать ее над головой тех, кого он крестил. Потом он намеревался отправиться в Китай, чтобы завоевать еще новые души для господа, но умер от лихорадки на острове Сапьцзян. Великий святой Франциск Ксаверий! Великий воин господен!

Ректор помолчал, потом, покачивая перед собой сцепленными руками, продолжал:

— В нем была вера, которая движет горами! Завоевать десять тысяч душ для господа за единый месяц! Вот истинный победитель, верный девизу нашего ордена: ad majorem Dei gloriam! Великая власть у этого святого на небесах, помните это! Власть просить господа помочь нам в наших несчастьях, власть испросить для нас все, о чем мы молимся, если это пойдет нам на благо, и, превыше всего, власть обрести для нас благодать раскаяния, если мы согрешили. Великий святой, святой Франциск Ксаверий! Великий ловец душ!

Он перестал покачивать руками и, прижав их ко лбу, испытующе обвел своих слушателей взглядом темных суровых глаз.

В тишине и сумраке их темное пламя вспыхивало красноватым блеском. Сердце Стивена сжалось, как цветок пустыни, чувствующий издалека приближение самума.

■

— «Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь» — слова, дорогие мои братья во Христе, взятые из книги Экклесиаста, глава седьмая, стих сороковой [1]. Во имя отца и сына и святого духа!

Стивен сидел в церкви на первой скамейке. Отец Арнолл сидел за столиком слева от алтаря. Тяжелый плащ спускался у него с плеч, лицо осунулось, и голос был хриплым от насморка. Лицо старого учителя, так неожиданно появившееся перед ним, напомнило Стивену жизнь в Клонгоусе: большие спортивные площадки, толпы мальчиков, очко уборной, маленькое кладбище за главной липовой аллеей, где он мечтал быть похороненным; пламя камина, пляшущее на стене в лазарете, где он лежал больной, грустное лицо брата Майкла. И по мере того, как эти воспоминания всплывали перед ним, душа его снова становилась душой ребенка.

— Мы сегодня собрались, дорогие мои младшие братья во Христе, на один недолгий миг, вдалеке от мирской суеты, чтобы почтить память одного из величайших святых, апостола Индии и патрона нашего колледжа святого Франциска Ксаверия. Из года в год, дорогие мои, и с таких давних пор, что ни вы, ни я не можем этого помнить, воспитанники колледжа собирались в этой самой церкви для ежегодных духовных упражнений перед праздником в честь своего патрона. Много времени утекло с тех пор, и многое переменилось. Даже за последних несколько лет уже на ваших глазах произошли перемены. Некоторые из тех, что совсем недавно сидели на этих скамейках, теперь далеко от нас — где-нибудь в знойных тропиках; кто на служебном посту, кто посвятил себя науке, кто путешествует по неизведанным местам отдаленных стран, а кто, может быть, уже призван господом к иной жизни и держит перед ним ответ. И вот идут годы, неся с собой и дурное и хорошее, а память великого святого по-прежнему чтится воспитанниками колледжа, и духовные упражнения в течение нескольких дней предшествуют празднику, установленному нашей святой церковью для увековечивания имени и славы одного из достойнейших сынов католической Испании.

---

[1] У Джойса неправильная ссылка на библейский текст: в книге Экклесиаста таких слов нет, но есть в книге Премудрости Иисуса, сына Сираха, 7, 39.

Теперь спросим себя: что же означают «духовные упражнения» и почему они считаются наиболее душеспасительными для всех тех, кто стремится перед богом и людьми вести истинно христианскую жизнь? Духовные упражнения, дорогие мои,— это отрешение на некоторое время от суеты жизни, от повседневной суеты мирской с тем, чтобы проверить состояние нашей совести, поразмыслить о тайнах святой религии и уяснить себе, зачем вы существуете в этом мире. В течение этих немногих дней я постараюсь изложить вам несколько мыслей, касающихся четырех Последних Вещей. А это, как вы знаете из катехизиса: смерть, Страшный суд, ад и рай. Мы постараемся уразуметь их как можно лучше в течение этих дней, дабы через уразумение обрести вечное благо для душ наших. Запомните, дорогие мои, что мы посланы в этот мир только для одной-единственной цели: исполнить святую волю божию и спасти нашу бессмертную душу. Все остальное — тлен. Насущно одно — спасение души. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир и потеряет свою бессмертную душу? Увы, дорогие мои, ничто в этом бренном мире не может вознаградить нас за такую потерю.

Поэтому я прошу вас, друзья мои, отложить на эти несколько дней все мысли о мирском, об уроках, развлечениях и честолюбивых надеждах и не думать ни о чем ином, кроме как о состоянии душ ваших. Вряд ли мне следует напоминать вам, что в эти дни духовных упражнений поведение ваше должно отличаться спокойствием и благочестием и вам следует избегать неподобающих шумных развлечений. Старшие должны следить, чтобы эти правила не нарушались. И я особенно надеюсь, что префекты и члены братства нашей пресвятой девы и братства святых ангелов будут подавать достойный пример своим товарищам.

Постараемся же совершить этот обряд в честь святого Франциска всем сердцем и всем помышлением нашим. И да пребудет благословение божие с вами в ваших занятиях. Но что прежде всего и важней всего — пусть эти духовные упражнения будут для вас тем, на что через несколько лет, когда вы окажетесь очень далеко от этого колледжа и совсем в другой обстановке, вы сможете оглянуться с радостью и благодарностью и возблагодарить бога за то, что он ниспослал вам возможность заложить первый камень благочестивой, достойной, ревностной христианской жизни. И если среди присутствующих здесь в эту минуту есть бедная душа, которую постигло безмерное несчастье, которая лишилась святой благодати божьей и впала в тяжкий грех, я горячо уповаю и молюсь, чтобы эти духовные упражнения стали переломом в жизни бедной души. Молю господа предстательством усердного слуги его, Франциска Ксаверия, привести душу сию к чистосердечному раскаянию, и да удостоится она ныне через причастие святых даров в день святого Франциска вступить в вечный союз с богом. Для праведного и неправедного, для святого и грешного да будут эти духовные упражнения памятными на всю жизнь.

Помогите мне, мои дорогие младшие братья во Христе! Помогите мне вашим благочестивым вниманием, вашим собственным усердием, вашим поведением. Изгоните из вашего разума все мирские помышления и думайте только о Последних Вещах: смерти, Страшном суде, аде и рае. Кто помнит о них, вовек не согрешит, говорит Экклесиаст. Кто помнит о них, у того они всегда перед глазами во всех его делах и помышлениях. Он будет вести праведную жизнь и умрет праведной смертью, веруя и зная, что если он многим жертвовал в своей земной жизни, ему воздастся во стократ и тысячекрат в жизни будущей, в царствии без конца, вечным блаженством, друзья мои, коего я желаю вам от всего сердца, всем и каждому, во имя отца и сына и святого духа. Аминь!

Возвращаясь домой в толпе притихших товарищей, он чувствовал, как густой туман обволакивает его сознание. В оцепенении чувств он ждал, когда туман рассеется и откроется то, что под ним скрыто. За обедом он ел с угрюмой жадностью, и, когда обед кончился и на столе остались груды сальных тарелок, он встал и подошел к окну, слизывая языком жир во рту и облизывая губы. Итак, он опустился до состояния зверя, который облизывает морду после еды. Это конец; и слабые проблески страха начали пробиваться сквозь туман, окутывающий его сознание. Он прижал лицо к оконному стеклу и стал смотреть на темневшую улицу. Тени прохожих вырастали там и сям в сером свете. И это была жизнь. Буквы, складываясь в слово

«Дублин», тяжело давили ему на мозг, угрюмо отталкивая одна другую с медленным и грубым упорством. Душа плавилась и задыхалась под толщей жира, в тупом страхе падала в зловещую бездну, а тело — вялое, мерзкое, беспомощное человеческое тело — полностью подчинял себе какой-то похотливый бог.

На следующий день была проповедь о смерти и о Страшном суде, и душа его медленно пробуждалась от вялого отчаяния. Слабые проблески страха обратились в ужас, когда хриплый голос проповедника дохнул смертью на его душу. Он испытал ее агонию. Он чувствовал, как предсмертный холод ползет у него от конечностей к сердцу, предсмертный туман заволакивает глаза, мозговые центры, еще недавно озаренные светом мысли, угасают один за другим, как фонари; капли предсмертного пота выступают на коже; отмирают обессилевшие мышцы, язык коснеет, заплетается, немеет, сердце бьется все слабее, слабее, вот оно уже не бьется вовсе, и дыхание, бедное дыхание, бедный беспомощный человеческий дух всхлипывает, прерывается, хрипит и клокочет в горле. Нет спасения! Нет! Он, он сам, его тело, которому он во всем уступал, умирает. В могилу его! Заколотите этот труп в деревянный ящик, несите его вон из дома на плечах наемников. Долой с глаз людских, в глубокую яму, в землю, в могилу, где он будет гнить и кормить червей, где его будут жрать юркие, прожорливые крысы.

И пока друзья его стоят в слезах у его смертного одра, душа грешника предстает перед судом. В последнее мгновение вся земная жизнь пройдет перед взором души, и, прежде чем в душе родится единая мысль, тело умрет, и объятая ужасом душа предстанет перед судом божьим. Бог, который долго был милосердным, теперь воздает по заслугам. Он долго терпел, увещевал грешную душу, давал ей время раскаяться, шадил и щадил ее. Но это время прошло. Было время грешить и наслаждаться, время издеваться над богом и заветами его святой церкви, время презирать его могущество, попирать его заповеди, обманывать окружающих, время совершать грех за грехом и скрывать свои пороки от людей. Но это время прошло. Настал час божий: и бога уже нельзя ни провести, ни обмануть. Каждый грех выступит тогда из своего тайного убежища, самый мятежный в ослушании божественной воли и самый постыдный для жалкой, испорченной человеческой природы, самое малое несовершенство и самая отвратительная жестокость. Что пользы тогда, что ты был великим императором, великим полководцем, чудесным изобретателем, ученейшим среди ученых. Все равны перед судом божиим. Он наградит праведных и покарает грешных. Единого мига достаточно, чтобы свершить суд над человеческой душой. В тот самый миг, как умирает тело, душу взвешивают на весах. Суд совершен, и душа переходит в обитель блаженства или в темницу чистилища или, стеная, низвергается в преисподнюю.

Но это еще не все. Правосудие божие должно быть явлено людям, и после этого суда предстоит другой суд. Настал последний день, день Страшного суда. Звезды небесные падут на землю, как плоды смоковницы, сотрясаемой ветром. Солнце, великое светило вселенной, станет подобно власянице; луна станет как кровь. Небо скроется, свернувшись, как свиток. Архангел Михаил, архистратиг небесного воинства, величественный и грозный, явится в небесах. Одной ногой он ступит на море, другой — на сушу, и медный глас его трубы возвестит конец сущего. Три трубных гласа архангельской трубы наполнят всю вселенную. Время есть, время было, но времени больше не будет. С последним трубным гласом души всего рода человеческого ринутся в Иосафатскую долину [1], богатые и бедные, благородные и простые, мудрые и глупые, добрые и злые. Душа каждого человеческого существа, когда-либо жившего, души тех, кому надлежало родиться, все сыновья и дочери Адама — все соберутся в этот великий день. И вот грядет высший судия! Не смиренный агнец божий, не кроткий Иисус из Назарета, не скорбный сын человеческий, не добрый пастырь. Его увидят грядущим на облаках в великой силе и славе, и все девять чинов ангельских явятся в свите его: ангелы и архангелы, троны, власти, князья, могущества, силы небесные, херувимы и серафимы — бог-вседержитель, бог предвечный! Он заговорит, и голос его дойдет во все концы вселенной до самой бездны преисподней. Высший су-

[1] По Библии, место Страшного суда.

дия, он изречет приговор, и уже не будет иного. Он призовет праведных одесную себя и скажет им войти в царство вечного блаженства, уготованное им. Неправедных же прогонит прочь и воскликнет в великом гневе: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». О, какая мука для несчастных грешников! Друзья будут оторваны от друзей, дети от родителей, мужья от жен. Несчастный грешник будет простирать руки к тем, кто был дорог ему в этой земной жизни, к тем, чья простота и благочестие вызывали в нем, может быть, насмешку, к тем, кто увещевал его и старался вернуть на праведный путь, к доброму брату, к милой сестре, к матери и отцу, которые так беззаветно любили его. Но поздно! Праведные отвернутся от погибших, осужденных душ, которые теперь предстанут пред их очами во всей своей отвратительной мерзости. О, вы, лицемеры, вы, гробы повапленные! Вы, являвшие миру сладко улыбающийся лик, тогда как душа ваша есть зловонное скопище греха,— что станет с вами в этот грозный день?

А этот день придет, придет неминуемо, должен прийти — день смерти, день Страшного суда. Удел человека — умереть и после смерти предстать перед судом божиим. Мы знаем, что мы должны умереть. Мы не знаем, когда и как, от долгой ли болезни или от несчастного случая. Не ведаем ни дня, ни часа, когда приидет сын человеческий. Будьте готовы, помните, что вы можете умереть каждую минуту. Смерть — наш общий удел. Смерть и суд, принесенные в мир грехом наших прародителей,— темные врата, закрывающиеся за нашим земным существованием, врата, которые открываются в неведомое, врата, через которые должна пройти каждая душа, одна, лишенная всякой опоры, кроме своих добрых дел, без друга, брата, родителя или наставника, которые могли бы помочь ей, одна, трепещущая душа. Да пребудет мысль эта всегда с нами, и тогда мы не сможем грешить. Смерть, источник ужаса для грешника,— благословенная минута для того, кто шел путем праведным, исполнял долг, предназначенный ему в жизни, возносил утренние и вечерние молитвы, приобщался святых тайн и творил добрые, милосердные дела. Для набожного, верующего католика, для праведного человека смерть не может быть источником ужаса. Вспомните, как Аддисон, великий английский писатель, лежа на смертном одре, послал за порочным молодым графом Уорвиком [1], дабы дать ему возможность увидеть, как приемлет свой конец христианин. Да, только набожный, верующий католик, он один может воскликнуть в своем сердце:

Смерть! Где жало твое?
Ад! Где твоя победа?

Каждое слово этой проповеди было обращено к нему. Против его греха, мерзостного, тайного, направлен был гнев божий. Нож проповедника нащупал самую глубину его раскрывшейся совести, и он почувствовал, что душа его — гнойник греха. Да, проповедник прав! Божий час настал. Как зверь в берлоге, его душа зарылась в собственной мерзости, но глас ангельской трубы вызвал ее на свет из греховной тьмы. Весть о Страшном суде, провозглашенная архангелом, разрушила в единый миг самонадеянное спокойствие. Вихрь последнего дня ворвался в сознание. И грехи, эти блудницы с горящими глазами, бросились врассыпную от этого урагана, пищá, как мыши, и прикрываясь космами волос.

Когда он переходил площадь по дороге домой, звонкий девичий смех коснулся его пылающих ушей. Этот хрупкий, радостный звук смутил его сердце сильнее, чем архангельская труба; не смея поднять глаза, он отвернулся и, проходя мимо, глянул в тень разросшегося кустарника. Стыд хлынул волной из его смятенного сердца и затопил все его существо. Образ Эммы возник перед ним, и под ее взглядом стыд новой волной хлынул из его сердца. Если бы она только знала, чему она подвергалась в его воображении, как его животная похоть терзала и топтала ее невинность! Это ли юношеская любовь? Рыцарство? Поэзия? Мерзкие подробности падения душили его своим зловонием. Пачка открыток, измазанных сажей, которые он прятал

[1] Джозеф Аддисон (1672 - 1719) — английский писатель, эссеист, поэт и политический деятель; граф Уорвик — его приемный сын. Точных свидетельств этой сцены нет. Однако один из современников Аддисона, друг и душеприказчик поэта, Томас Тикелл (1688—1740) пишет об этом случае в своем стихотворении «Графу Уорвику на смерть мистера Аддисона» (1721).

под решеткой камина и перед которыми часами грешил мыслью и делом, глядя на откровенные или притворно стыдливые сцены разврата; чудовищные сны, населенные обезьяноподобными существами; девки со сверкающими распаленными глазами, длинные гнусные письма, которые он писал, упиваясь своими откровенными излияниями, и носил тайком при себе день за днем только затем, чтобы незаметно в темноте подбросить их в траву или засунуть под дверь или в щель забора, где какая-нибудь девушка, проходя, могла бы увидеть их и прочесть потихоньку. Какое безумие! Неужели это правда и он все это делал? От постыдных воспоминаний, которые теснились в памяти, холодный пот проступил у него на лбу.

Когда муки стыда утихли, он попытался поднять свою душу из ее жалкой немощи. Бог и пресвятая дева были слишком далеко от него. Бог слишком велик и суров, а пресвятая дева слишком чиста и непорочна. Но он представил себе, что стоит рядом с Эммой где-то в бескрайней равнине и смиренно, в слезах склоняется и целует ее рукав на сгибе локтя.

В бескрайней равнине, под нежным прозрачным вечерним небом, где облако плывет на запад по бледно-зеленому морю небес, они стоят рядом — дети, заблудшие во грехе. Своим грехом они глубоко прогневили величие божие, хотя это был всего только грех двоих детей, но они не прогневили ее, «чья красота не красота земная, опасная для взора, но подобна утренней звезде — ее знамению,— ясна и мелодична» [1]. Глаза ее, устремленные на него, смотрят без гнева и без укоризны. Она соединяет их руки и говорит, обращаясь к их сердцам:

— Возьмитесь за руки, Стивен и Эмма, в небесах сейчас тихий вечер. Вы согрешили, но ведь вы — мои дети. Вот сердце, которое любит другое сердце. Возьмитесь за руки, дорогие мои дети, и вы будете счастливы вместе, и сердца ваши будут любить друг друга.

Церковь была залита тусклым, багровым светом, проникавшим сквозь опущенные жалюзи, а в узкую щель между жалюзи и оконной рамой луч бледного света врывался, как копье, и скользил по рельефным украшениям подсвечников на алтаре, которые тускло поблескивали, подобно броне ангельских доспехов, изношенных в бою.

Дождь лил на церковь, на сад, на колледж. Дождь будет идти беззвучно, непрестанно. Вода будет подниматься дюйм за дюймом, затопит траву и кусты, затопит дома и деревья, затопит памятники и вершины гор. Все живое беззвучно захлебнется: птицы, люди, слоны, свиньи, дети; беззвучно будут плыть тела посреди груд обломков рушащейся вселенной. Сорок дней и сорок ночей будет лить дождь, пока лицо земли не скроется под водой [2].

Ведь это может быть. А почему нет?

— «Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою». Слова, дорогие мои братья во Христе, из книги пророка Исайи, глава пятая, четырнадцатый стих. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь.

Проповедник достал часы без цепочки из внутреннего кармана сутаны и, молча посмотрев на циферблат, бесшумно положил их перед собой на стол.

Он начал ровным голосом:

— Вы знаете, дорогие мои друзья, что Адам и Ева — наши прародители, и вы помните, что бог сотворил их, дабы они заняли место, опустевшее на небесах после падения Люцифера и восставших с ним ангелов. Люцифер, как мы знаем, был сын зари, светлый, могущественный ангел, и все же он пал. Он пал, а с ним пала треть небесного воинства, он пал и вместе со своими восставшими ангелами был низвергнут в ад. Какой грех совершил он, мы не знаем. Богословы утверждают, что это был грех гордыни, греховный помысел, зачатый в одно мгновение: non serviam — не буду служить. Это мгновение было его погибелью. Он оскорбил величие господа грешным помыслом одного мгновения, и господь низринул его с неба в преисподнюю на веки вечные!

Тогда господь сотворил Адама и Еву и поселил их в Эдеме, в Дамасской долине, в этом чудесном, сияющем светом и красками саду, изобилующем роскошной расти-

[1] Дж. Г. Ньюмен. «Славословия Марии-богоматери».
[2] В сознании Стивена возникает картина всемирного потопа.

тельностью. Плодородная земля оделяла их своими дарами; звери и птицы служили и повиновались им. Неведомы были Адаму и Еве страдания, которые унаследовала наша плоть,— болезни, нужда, смерть. Все, что мог сделать для них всемогущий и милостивый бог,— все было им дано. Но одно условие поставил господь бог — повиновение его слову. Они не должны были вкушать плода от запретного древа.

Увы, дорогие друзья мои, они тоже пали. Сатана, когда-то сияющий ангел, сын зари, ныне лукавый враг, явился им во образе змеи, самой коварной из всех тварей земных. Он завидовал им. Низвергнутый с высоты величия своего, он не мог перенести мысли, что человек, созданный из глины, получит в обладание то, что он по собственной вине утратил навеки. Он пришел к жене, сосуду слабейшему, и, влив яд своего красноречия ей в уши, обещал,— о, святотатственное обещание! — что, если она и Адам вкусят запретного плода, они станут как боги, подобны самому создателю. Ева поддалась обману лукавого соблазнителя. Она вкусила от яблока и дала его Адаму, у которого не хватило мужества устоять против нее. Ядовитый язык сатаны сделал свое дело. Они пали.

И тогда в саду раздался глас божий, призывающий свое творение, человека, к ответу. И Михаил, архистратиг небесного воинства, с огненным мечом в руке, явился перед преступной четой и изгнал их из рая в мир, в мир болезней и нужды, жестокости и отчаяния, труда и лишений, дабы в поте лица добывали они хлеб свой. Но даже и тогда сколь милосерден был господь! Он сжалился над нашими несчастными падшими прародителями и обещал, что, когда исполнится час, он пошлет с небес на землю того, кто сделает их снова чадами божьими, наследниками небесного престола; и спасителем падшего человека будет единородный сын божий, второе лицо пресвятой троицы, вечное слово.

Он пришел. Он родился от пречистой девы Марии, девы-матери. Он родился в бедном хлеве в Иудее и жил смиренным плотником до тридцати лет, пока не наступил час его. Тогда, преисполненный любви к людям, он пошел проповедовать им Евангелие царства божия.

Слушали ли они его? Да, слушали, но не слышали. Его схватили и связали как обыкновенного преступника, насмехались над ним как над безумцем, предпочли помиловать вместо него разбойника, убийцу, нанесли ему пять тысяч ударов, возложили на его главу терновый венец; иудейская чернь и римские солдаты волокли его по улицам, сорвали с него одежды, пригвоздили к кресту, пронзили ему ребро копьем, и из раненого тела нашего господа потекла кровь с водой.

Но даже тогда, в час величайших мучений, наш милосердный искупитель сжалился над родом человеческим. И там, на Голгофе, он основал святую католическую церковь, которую по его обетованию не одолеют врата ада. Он воздвиг ее на вековечной скале и наделил ее своею благодатью, таинством святого причастия и обещал, что если люди будут послушны слову его церкви, они обрящут жизнь вечную, но если после всего того, что для них сделано, они будут упорствовать в своих пороках — их уделом будет вечное мученье: ад.

Голос проповедника замер. Он замолчал, сложил на мгновение ладони, потом разнял их. И заговорил снова:

— Теперь попробуем на минуту представить себе, насколько это в наших силах, что являет собой эта обитель отверженных, созданная правосудием разгневанного бога для вечной кары грешников. Ад — это тесная, мрачная, смрадная темница, обитель дьяволов и погибших душ, охваченная пламенем и дымом. Бог создал эту темницу тесной в наказание тем, кто не желал подчиниться его законам. В земных тюрьмах бедному узнику остается, по крайней мере, свобода движений, будь то в четырех стенах камеры или в мрачном тюремном дворе. Совсем не то в преисподней. Там такое огромное скопище осужденных, что узники стиснуты в этой ужасной темнице, толщина стен коей достигает четырех тысяч миль, и они стиснуты так крепко и так беспомощны, что, как говорит святой подвижник Ансельм [1] в книге о подобиях, они даже не могут вынуть червей, гложущих их глаза.

---

[1] Ансельм Кентерберийский (1033—1109) — теолог, представитель схоластики. С 1093 г.— архиепископ Кентерберийский.

Они лежат в кромешной тьме. Ибо, не забудьте, огонь преисподней не дает света. Как, по повелению божию, огонь Вавилонской печи [1] потерял свой жар, сохранив свет, так, по повелению божию, огонь преисподней, сохраняя всю силу жара, пылает в вечной тьме. Это вечно свирепствующая буря тьмы, темного пламени и темного дыма, горящей серы, где тела, нагроможденные друг на друга, лишены малейшего доступа воздуха. Из всех кар, которыми поразил господь землю Фараонову, поистине ужаснейшей считалась тьма. Как же тогда определить тьму преисподней, которая будет длиться не три дня, но веки вечные?

Ужас этой тесной и темной тюрьмы усиливается еще от ее чудовищного смрада. Сказано, что вся грязь земная, все нечистоты и отбросы мира устремятся туда, словно в огромную сточную яму, когда истребляющий огонь последнего дня зажжет мир своим очистительным пламенем. А чудовищная масса серы, горящая там, наполняет всю преисподнюю невыносимым смрадом, и самые тела осужденных распространяют такое ядовитое зловоние, что даже единого из них, говорит святой Бонавентура [2], достаточно, чтобы отравить весь мир. Самый воздух нашей вселенной, эта чистейшая стихия, становится смрадным и удушливым, когда слишком долго нет в нем движения. Представьте себе, какой должен быть смрад в преисподней! Вообразите себе зловонный и разложившийся труп, который лежит и гниет в могиле, превращаясь в липкую, гнойную жижу. И представьте себе, что этот труп становится добычей пламени, пожираемый огнем горящей серы и распространяющий кругом густой, удушливый, омерзительно тошнотворный смрад. Вообразите себе этот омерзительный смрад, усиленный в миллионы миллионов раз несчетным количеством зловонных трупов, скученных в смрадной тьме,— огромный смрадный человеческий гнойник. Вообразите себе все это, и вы получите некоторое представление о смраде преисподней.

Но как ни ужасен этот смрад, это еще не самая тяжкая из телесных мук, на которую обречены осужденные. Пытка огнем — величайшая пытка, которой тираны подвергали своих подданных. Поднесите на одно мгновенье палец к пламени свечи — и вы поймете, что значит пытка огнем. Но наш земной огонь создан богом на благо человеку, для поддержания в нем искры жизни и на помощь ему в трудах его, тогда как огонь преисподней совсем другого свойства и создан богом для мучения и кары нераскаявшихся грешников. Наш земной огонь сравнительно быстро пожирает свою жертву, особенно если предмет, на который он направлен, обладает высокой степенью горючести. И человек с его изобретательностью сумел создать химические средства, способные ослабить или задержать процесс горения. Но ядовитая сера, которая горит в преисподней,— вещество, предназначенное для того, чтобы гореть вечно, гореть с неослабевающей яростью. Более того, наш земной огонь сжигая разрушает, и чем сильнее он горит, тем скорее затихает, но огонь преисподней жжет не истребляя и хотя он пылает с неистовой силой, он пылает вечно.

Наш земной огонь, как бы огромно и свирепо ни было его пламя, всегда имеет пределы, но огненное озеро преисподней безгранично, безбрежно и бездонно. Известно, что сам сатана на вопрос некоего воина ответил, что, если бы целую громадную гору низвергли в пылающий океан преисподней, она сгорела бы в одно мгновение, как капля воска. И этот чудовищный огонь терзает тела осужденных не только извне! Каждая обреченная душа превращается в свой собственный ад, и необъятное пламя бушует в ее недрах. О, как ужасен удел этих погибших созданий! Кровь кипит и клокочет в венах, плавится мозг в черепе, сердце пылает и разрывается в груди; внутренности — докрасна раскаленная масса горящей плоти, глаза, эта нежная ткань, пылают как расплавленные ядра.

Но все, что я говорил о ярости, свойствах и беспредельности этого пламени,— ничто по сравнению с мощью, присущей ему как орудию божественной воли, карающему душу и тело. Этот огонь, порожденный гневом божьим, действует не сам по себе, но как орудие божественного возмездия. Как вода крещения очищает душу

---

[1] По Библии, царь Навуходоносор приказал бросить в Вавилонскую печь трех юношей, не поклонявшихся языческим богам, но огонь не тронул их, а убил лишь их мучителей.

[2] Бонавентура — Джованни Фиданца (1221—1273) — итальянский философ и католический церковный деятель, один из крупнейших представителей поздней схоластики, кардинал, был причислен к лику святых (1482) и к числу пяти величайших учителей церкви.

вместе с телом, так и карающий огонь истязает дух вместе с плотью. Каждое из чувств телесных подвергается мучениям, и вместе с ними страдает и душа. Зрение казнится абсолютной, непроницаемой тьмой, обоняние — гнуснейшим смрадом, слух — воем, стенаниями и проклятьями, вкус — зловонной, трупной гнилью, неописуемой зловонной грязью, осязание — раскаленными гвоздями и прутьями, беспощадными языками пламени. И среди всех этих мучений плоти бессмертная душа в самом естестве своем подвергается вечному мучению неисчислимыми языками пламени, зажженного в пропасти разгневанным величием всемогущего бога и раздуваемого гневом его дыхания в вечно разъяренное, в вечно усиливающееся пламя.

Вспомните также, что мучения в этой адской темнице усиливаются соседством других осужденных. Близость зла на земле столь опасна, что даже растения как бы инстинктивно растут поодаль от того, что для них гибельно и вредно. В аду все законы нарушены, там нет понятий семьи, родины, дружеских, родственных отношений. Осужденные воют и вопят, и мучения, и ярость их усугубляются близостью других осужденных, которые, подобно им, испытывают мучения и неистовствуют. Всякое чувство человечности предано забвению, вопли страждущих грешников проникают в отдаленнейшие углы необъятной бездны. С уст осужденных срываются слова хулы против бога, слова ненависти к окружающим их грешникам, проклятий против всех сообщников по греху. В древние времена существовал закон, по которому отцеубийцу, человека, поднявшего преступную руку на отца, зашивали в мешок с петухом, обезьяной и змеей и бросали в море. Смысл этого закона, кажущегося нам таким жестоким, в том, чтобы покарать преступника соседством злобных, вредоносных тварей. Но что ярость бессловесных тварей по сравнению с яростью проклятий, которые извергаются из пересохших ртов и горящих глоток, когда грешники в преисподней узнают в других страдальцах тех, кто помогал им и поощрял их во грехе, тех, чьи слова заронили в их сознание первые семена дурных мыслей и дурных поступков, тех, чьи бесстыдные наущения привели их ко греху, тех, чьи глаза соблазняли и совращали их со стези добродетели, и тогда они обращают всю ярость на своих сообщников, поносят и проклинают их. Но неоткуда ждать им помощи, и нет для них надежды. Раскаиваться поздно.

И, наконец, представьте себе, какие ужасные мучения доставляет погибшим душам — и соблазнителям и соблазненным — соседство с бесами. Бесы эти мучают осужденных вдвойне: своим присутствием и своими упреками. Мы не в состоянии представить себе, как ужасны эти бесы. Святая Екатерина Сиенская, которая однажды видела беса, пишет, что она предпочла бы до конца своей жизни идти по раскаленным угольям, нежели взглянуть еще один-единственный раз на это страшное чудовище. Бесы эти, некогда прекрасные ангелы, сделались столь же уродливы и мерзки, сколь прежде были прекрасны. Они издеваются и глумятся над погибшими душами, которых сами же увлекли к погибели. И они, эти гнусные демоны, заменяют в преисподней голос совести. Зачем ты грешил? Зачем внимал соблазну друзей? Зачем уклонялся от благочестивой жизни и добрых дел? Зачем не сторонился греха? Зачем не избегал дурного знакомства? Зачем не боролся со своим распутством, со своей развращенностью? Зачем не слушал советов духовного отца? Зачем, согрешив в первый, во второй, в третий, в четвертый и в сотый раз, ты не раскаялся в своих дурных поступках и не обратился к богу, который только и ждал раскаяния, чтобы отпустить тебе грехи? Но теперь время раскаяния прошло. Время есть, время было, но больше времени не будет. Было время грешить тайком, предаваться гордыне и лени, наслаждаться беззаконием, уступать прихотям своей низменной природы, жить, как твари лесные, нет, хуже, чем твари! Потому что у тех, по крайней мере, нет разума, который направлял бы их. Было время, но больше времени не будет. Бог говорил с тобой бесчисленными голосами, но ты не хотел слушать. Ты не одолел гордыни и злобы в сердце своем, не возвратил добро, в беззаконии нажитое, не повиновался заветам святой церкви, пренебрегал обрядами, не расстался с бесчестными сообщниками, не избегал соблазнов. Таковы речи этих дьявольских мучителей, речи глумления и упреков, ненависти и отвращения. Да, отвращения, потому что даже они, сами бесы, согрешившие, но согрешившие грехом, единственно совместимым с их ангельской природой — бунтом разума,— даже они, мерзкие бесы, отвернутся с отвращением и гадли-

востью от зрелища этих неслыханных грехов, которыми жалкий человек оскверняет и оскорбляет храм духа святого, оскверняет и бесчестит самого себя.

О, дорогие мои младшие братья во Христе, да минует нас во веки страшный удел услышать речи сии! Да минует нас во веки сей страшный удел. Я горячо молю господа, чтобы в последний день страшной расплаты ни единая душа из тех, что присутствует ныне в этом храме, не оказалась среди несчастных созданий, которым великий судия повелит скрыться от очей его, чтобы ни для одного из нас не прозвучал страшный приговор отвержения: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!»

Он вышел из придела церкви; ноги подкашивались; кожа на голове холодела, словно ее коснулись пальцы призрака. Он поднялся по лестнице и вошел в коридор, на стенах которого висели пальто и макинтоши, как преданные казни злодеи — безглавые, истекающие кровью, бесформенные. И с каждым шагом его все сильнее охватывал ужас, что он уже умер, что душа его вырвалась из своей телесной оболочки и что он стремглав несется в бездну.

Пол ускользал у него из-под ног, и он тяжело опустился за парту, не глядя открыл какую-то книгу и уткнулся в нее. Каждое слово — о нем. Да, это так. Бог — всемогущ. Бог может призвать его сию минуту, вот сейчас, когда он сидит за партой, прежде чем он успеет осознать, что это конец. Бог уже призвал его. Как? Так, сразу? Все тело его сжалось, словно чувствуя приближение жадных языков пламени, скорчилось, словно его опалил огненный вихрь. Он умер. Да. Его судят. Огненная волна взметнулась и опалила его тело! Одна, другая. Мозг начал раскаляться. Еще волна. Мозг закипает, бурлит в раскалывающейся коробке черепа. Языки пламени вырываются из черепа огненным венцом и взывают тысячью голосов:

— Ад! ад! ад! ад!

Голоса раздались около него:

— Он говорил об аде.

— Ну что? Все он вам втолковал?

— Еще как. Чуть со страха не умерли.

— С вами только так и надо. Не мешало бы почаще вас наставлять, тогда, может, учиться будете лучше.

В изнеможении он откинулся на спинку парты. Он не умер. Бог пощадил его и на этот раз. Он все еще был в обычной обстановке, в школе. У окна, глядя на нудный дождь, стоят мистер Тейт и Винсент Курон: разговаривают, шутят, кивают головами.

— Хоть бы разгулялось. Я договорился с приятелями прокатиться на велосипеде к Малахайду [1]. Но на дорогах, верно, грязь по колено.

— Может быть, еще разгуляется, сэр.

Такие знакомые голоса, обыденные разговоры, тишина классной, когда голоса замолкли, молчание, наполненное чавканьем спокойно пасущегося стада,— мальчики мирно жевали свои завтраки. Все это успокаивало его истерзанную душу.

Еще есть время. О, дева Мария, прибежище грешников, заступись! О, дева непорочная, спаси от пучины смерти!

Урок английского начался беседой на историческую тему. Короли, фавориты, интриганы, епископы, словно безмолвные призраки, проходили под покровом имен. Все они умерли, и все были судимы. Какая польза человеку приобрести мир, если он потерял свою душу? Наконец он понял: жизнь человеческая лежала вокруг него, как мирная долина, на которой трудились люди-муравьи, а их мертвые покоились под могильными холмами. Локоть соседа по парте коснулся его, и он словно почувствовал толчок в сердце. И, отвечая на вопрос учителя, услыхал свой собственный голос, проникнутый спокойствием смирения и раскаяния.

Его душа погружалась все глубже в покаянный покой, не в силах более переносить мучений страха, и, погружаясь, возносила робкую молитву. О да, он будет помилован: он раскается в сердце своем и будет прощен, и тогда там, над ним, на не-

[1] Курорт на берегу Ирландского моря.

бесах увидят, как он искупит свое прошлое. Всей жизнью, каждым часом ее! О, только дайте время!

— Всем, господи! Всем, всем!

Кто-то приоткрыл дверь и сказал, что исповедь в церкви уже началась. Четверо мальчиков вышли из класса, и он слышал, как другие проходили по коридору. Трепетный холодок полоснул сердце, едва ощутимый, как легкое дуновение ветра. Но, молча прислушиваясь и страдая, он испытывал такое чувство, словно приложил ухо к сердцу и ощутил, как оно сжимается и замирает, как содрогаются его сосуды.

Спасения нет. Он должен исповедаться, рассказать все, что делал и думал, обо всех грехах. Но как? Как?

— Отец, я...

Исповедь! Эта мысль холодным, сверкающим клинком вонзалась в его слабую плоть. Но только не здесь, не в школьной церкви. Он исповедуется во всем, в каждом грехе деяния и помысла, покается чистосердечно, но только не здесь — среди товарищей. Подальше отсюда, где-нибудь в глухом закоулке он выбормочет свой позор; и он смиренно молил бога не гневаться на него за то, что у него не хватает смелости исповедаться в школьной церкви, и в полном самоуничижении мысленно просил прощенья, взывая к отроческим сердцам своих товарищей.

А время шло.

Он снова сидел в первом ряду в церкви. Дневной свет за окном медленно угасал, солнце, проникавшее сквозь выгоревшие красные занавеси, казалось солнцем последнего дня, когда души всех созываются на Страшный суд.

— «Отвержен я от очей Твоих», слова, дорогие мои младшие братья во Христе, из псалма 30-го, стих 23-й. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь.

Проповедник говорил спокойным, приветливым голосом. Лицо у него было доброе; он сложил руки, мягко сомкнув кончики пальцев, и это было похоже на маленькую хрупкую клетку.

— Сегодня утром мы беседовали с вами об аде, пытались представить его или, как говорит святой основатель нашего ордена в своей книге духовных упражнений, дать ему определение места. Иными словами, мы постарались вообразить чувственной стороной нашего разума, нашим воображением материальную природу этой страшной темницы и физические страдания, коим подвергаются все, кто пребывает в аду. Сейчас мы попытаемся осмыслить природу духовных мучений ада.

Помните, что грех — двойное преступление. С одной стороны, это гнусное поощрение низменных инстинктов нашей греховной природы, склонной ко всему скотскому и подлому, а с другой — это ослушание голоса нашей высшей природы, всего чистого и святого в нас, ослушание самого святого создателя. Поэтому смертный грех карается в преисподней двумя различными видами кары: физической и духовной.

Так вот, самая страшная из всех духовных мук — мука утраты. Она настолько велика, что превосходит все другие. Святой Фома [1], величайший учитель церкви, прозванный ангельским доктором, говорит, что самое страшное проклятие состоит в том, что человеческое разумение лишается божественного света и помыслы его упорно отвращаются от благости божией. Помните, что бог — существо бесконечно благое и потому утрата его — лишение бесконечно мучительное. В этой жизни мы не можем ясно представить себе, что значит такая утрата, но осужденные в преисподней в довершение своих страданий полностью осознают то, чего они навек лишились, и знают, что в этом виноваты лишь они одни. В самое мгновение смерти распадаются узы плоти, и душа тотчас же устремляется к богу, к средоточию своего бытия. Запомните, дорогие друзья мои, души наши жаждут воссоединиться с богом. Мы исходим от бога, живем богом, мы принадлежим богу; принадлежим ему неотъемлемо. Бог любит божественной любовью каждую человеческую душу, и каждая человеческая душа живет в этой любви. И как же может быть иначе? Каждый вздох, каждый помысел, каждое мгновение нашей жизни исходят из неистощимой благости божьей. И если тяжко матери разлучаться с младенцем, человеку — быть отторгнутым от семьи и дома, другу — оторваться от друга, подумайте только, какая мука, какое

[1] Фома Аквинский (1225—1274) — один из крупнейших представителей средневековой схоластики.

страдание для бедной души лишиться присутствия бесконечно благого и любящего создателя, который из ничего вызвал эту душу к бытию, поддерживал ее в жизни, любил ее беспредельной любовью. Итак, быть отлученным навеки от высшего блага, от бога, испытывать муку этого отлучения, сознавая, что так будет всегда,— величайшая утрата, какую способна перенести сотворенная душа,— poena damni — мука утраты.

Вторая кара, которой подвергаются души осужденных в аду,— муки совести. Как в мертвом теле зарождаются от гниения черви, так в душах грешников от гниения греха возникают нескончаемые угрызения, жало совести, или, как называет его папа Иннокентий III, червь с тройным жалом. Первое жало, которым уязвляет этот жестокий червь,— воспоминание о минувших радостях. О, какое ужасное воспоминание! В море всепожирающего пламени гордый король вспомнит пышное величие своего двора; мудрый, но порочный человек — книги и приборы; ценитель искусств — картины, статуи и прочие сокровища; тот, кто наслаждался изысканным столом,— роскошные пиры, искусно приготовленные яства, тонкие вина; скупец вспомнит свои сундуки с золотом; грабитель — неправедно приобретенное богатство; злобные, мстительные, жестокие убийцы — свои кровавые деяния и злодейства; сластолюбцы и прелюбодеи — постыдные, гнусные наслаждения, которым они предавались. Они вспомнят все это и проклянут себя и свои грехи. Ибо сколь жалкими покажутся все эти наслаждения душе, обреченной на страдания в адском пламени на веки вечные! Какое бешенство и ярость охватит их при мысли, что они променяли небесное блаженство на прах земной, на горсть металла, на суетные почести, на плотские удовольствия, на минутное щекотание нервов! Они раскаются, и в этом раскаянии — второе жало червя совести, запоздалое, тщетное сокрушение о содеянных грехах. Божественное правосудие считает необходимым, чтобы разум этих отверженных был непрестанно сосредоточен на совершенных ими грехах, и, более того, как утверждает святой Августин, бог даст им свое собственное понимание греха, и грех предстанет перед ними во всей его чудовищной гнусности таким, каким предстает он перед очами господа бога. Они увидят свои грехи во всей их мерзости и раскаются, но слишком поздно. И тогда пожалеют о возможностях, которыми пренебрегли. И это последнее, самое язвительное и жестокое жало червя совести. Совесть скажет: у тебя было время и была возможность, но ты не каялся. В благочестии воспитывали тебя родители. Тебе в помощь были даны святые дары, божья благодать и индульгенции. Служитель божий был рядом с тобой, дабы наставлять, направлять тебя на путь истинный, отпускать грехи твои, сколько бы их ни было и как бы они ни были мерзостны, лишь бы ты только исповедался и раскаялся. Нет. Ты не хотел этого. Ты пренебрег служителями святой церкви, ты уклонялся от исповеди, ты погрязал все глубже и глубже в мерзости греха. Бог взывал к тебе, предупреждал тебя, призывал вернуться к нему. О, какой позор, какое горе! Владыка вселенной умолял тебя, творение из глины, любить его, вдохнувшего в тебя жизнь, повиноваться его законам. Нет! Ты не хотел этого. А теперь, если бы ты еще мог плакать и затопил бы ад своими слезами, все равно весь этот океан раскаяния не даст того, что дала бы одна-единственная слеза искреннего покаяния, пролитая в твоей земной жизни. Ты молишь теперь об одном-единственном мгновении земной жизни, дабы покаяться. Напрасно. Время прошло и прошло навеки.

Таково тройное жало совести, этого червя, который гложет сердце грешников в аду. Охваченные адской злобой, они проклинают себя, и свое безумие, и дурных сообщников, увлекавших их к погибели, проклинают дьяволов, искушавших их в жизни, а теперь, в вечности, издевающихся над ними, хулят и проклинают самого всевышнего, чье милосердие и терпение они презрели и осмеяли, но чьего правосудия и власти им не избежать.

Следующая духовная пытка, которой подвергаются осужденные в аду,— это мука неизбывности страданий. Человек в своей земной жизни способен творить злые дела, но он не способен творить их все сразу, ибо часто одно зло мешает и противодействует другому, подобно тому как один яд часто служит противоядием другому. В аду же, наоборот, одно мучение не только не противодействует другому, а усугубляет его. И мало этого: так как духовные наши качества более совершенны, нежели

наши телесные ощущения, они сильнее подвержены страданиям. Так, каждое свойство души, подобно ощущению, подвергается своей особой муке: воображение терзается чудовищными кошмарами, способность чувствовать — попеременно отчаянием и яростью, сознание и разум — внутренним беспросветным мраком, более ужасным, нежели мрак внешний, царящий в этой страшной темнице. Злоба, пусть бессильная, которой одержимы падшие души,— это злоба, не имеющая границ, длящаяся без конца, никогда не убывающая. Это чудовищное состояние мерзости даже представить себе нельзя, если только не осознать всю гнусность греха и отвращение, которое питает к нему всевышний.

Наряду с этой мукой неизбывности страданий существует, казалось бы, противоположная ей мука напряженности страдания. Ад — это средоточие зла, а как вам известно, чем ближе к центру, тем сильнее напряжение. Никакая посторонняя или противодействующая сила не ослабляет, не утоляет ни на йоту страданий в преисподней. И даже то, что само по себе есть добро, в аду становится злом. Общение, источник утешений для несчастных на земле, там будет нескончаемой пыткой; знание, к коему обычно жадно стремятся как к высшему благу разума, там будет ненавистней, чем невежество; свет, к коему тянутся все твари — от царя природы до ничтожной травинки в лесу,— там вызывает жгучую ненависть. В земной жизни наши страдания не бывают чрезмерно длительны или чрезмерно велики, потому что человек либо преодолевает их силой привычки, либо изнемогает под их тяжестью, и тогда им наступает конец. Но к страданиям в аду нельзя привыкнуть, потому что, при всем их чудовищном напряжении, они в то же время необычайно многообразны: одна мука как бы воспламеняется от другой и, вспыхивая, присоединяет к ее пламени еще более яростное пламя. И как бы ни изнемогали грешники от этих многообразных неизбывных мучений, их изнеможению нет конца, ибо душа грешника сохраняется и пребывает во зле, дабы увеличить страдания. Неизбывность мук, беспредельная напряженность пыток, бесконечная смена страданий — вот чего требует оскорбленное величие божие, вот чего требует святыня небес, отринутая ради порочного и гнусного потворства развращенной плоти, вот к чему взывает кровь невинного агнца божия, пролитая во искупление грешников, попранная мерзейшими из мерзких.

Но последнее, тягчайшее из всех мучений преисподней — это ее вечность. Вечность! Какое пугающее, какое чудовищное слово! Вечность! Может ли человеческий разум постичь ее? Вдумайтесь: вечность мучений! Если бы даже муки преисподней были не столь ужасны, они все равно были бы беспредельны, поскольку им предназначено длиться вечно. Они вечны, но в то же время и неизбывны в своем многообразии, невыносимы в своей остроте. Переносить целую вечность даже укус насекомого было бы невыразимым мучением. Каково же испытывать вечно многообразие мук ада? Всегда! Во веки веков! Не год, не столетие, но вечно. Попробуйте только представить себе страшный смысл этого слова. Вы, конечно, не раз видели песок на морском берегу. Видели, из каких крошечных песчинок состоит он. И какое огромное количество этих крошечных песчинок в одной горсточке песка, схваченной играющим ребенком! Теперь представьте себе гору песка в миллионы миль высотой, вздымающуюся от земли до небес, простирающуюся на миллионы миль в ширь необъятного пространства и в миллионы миль толщиной; представьте себе эту громадную массу многочисленных песчинок, умноженную во столько раз, сколько листьев в лесу, капель воды в беспредельном океане, перьев у птиц, чешуек у рыб, шерстинок у зверя, атомов в воздушном пространстве, и представьте себе, что раз в миллион лет маленькая птичка прилетает на эту гору и уносит в клюве одну крошечную песчинку. Сколько миллионов, миллионов веков пройдет, прежде чем эта птичка унесет хотя бы один квадратный фут этой громады? Сколько столетий истечет, прежде чем она унесет все? Но по прошествии этого необъятного периода времени не пройдет и одного мгновения вечности К концу всех этих биллионов и триллионов лет вечность едва начнется. И если эта гора возникнет снова и снова будет прилетать птичка и уносить ее, песчинку за песчинкой, и если эта гора будет возникать и исчезать столько раз, сколько звезд в небе, атомов во вселенной, капель воды в море, листьев на деревьях, перьев у птиц, чешуек у рыб, шерстинок у зверя, то даже после того, как это произойдет бесчисленное количество раз, не минует и одного мгновения вечности, даже тогда, по

истечении этого необъятного периода времени, столь необъятного, что от самой мысли о нем у нас кружится голова, вечность едва начнется.

Один святой (насколько я помню, один из основателей нашего ордена) сподобился видения ада. Ему казалось, что он стоит в громадной темной зале, тишина которой нарушается только тиканьем гигантских часов. Часы тикали не переставая, и святому показалось, что непрестанно повторялись слова: всегда, никогда, всегда, никогда. Всегда быть в аду, никогда — на небесах; всегда быть отринутым от лица божьего, никогда не удостоиться блаженного видения; всегда быть добычей пламени, жертвой червей, жертвой раскаленных прутьев, никогда не уйти от этих страданий; всегда терзаться угрызениями совести, гореть в огне воспоминаний, задыхаться от мрака и отчаяния, никогда не избавиться от этих мук; всегда проклинать и ненавидеть мерзких бесов, которые с сатанинской радостью упиваются страданиями своих жертв, никогда не узреть сияющего покрова блаженных духов; всегда взывать из бездны пламени к богу, молить о едином мгновении отдыха, о передышке от этих неслыханных мук, никогда, ни на единый миг не обрести прощения божьего; всегда страдать, никогда не познать блаженства; всегда быть проклятым, никогда не спастись; всегда, никогда! всегда, никогда! О чудовищная кара! Вечность нескончаемых мучений, нескончаемых телесных и духовных мук — и ни единого луча надежды, ни единого мига передышки, только муки, беспредельные по своей силе, неистощимо многообразные муки, которые вечно сохраняют вечно снедаемую жертву; вечность отчаяния, разъедающего душу и терзающего плоть, вечность, каждое мгновение которой само по себе вечность муки,— вот страшная кара, уготованная всемогущим и справедливым богом тем, кто умирает в смертном грехе.

Да, справедливым. Люди, которые способны думать лишь в пределах ограниченного человеческого разума, не могут понять, что за единый тяжкий грех бог подвергает вечному, неизбывному наказанию в адском пламени. Они думают так потому, что, ослепленные соблазнами плоти и невежеством человеческого разума, не способны постичь чудовищную мерзость греха. Они думают так, ибо не способны понять, насколько может быть отвратителен и гнусен легкий проступок. Если бы всемогущий создатель решил остановить своей властью все зло и все несчастья в мире: войны, болезни, разбой, преступления, смерти, убийства, при условии, что останется безнаказанным один-единственный проступок — ложь, гневный взгляд, минутная леность, он бы, великий всемогущий бог, не сделал этого, потому что всякий грех делом или помышлением есть нарушение его закона, а бог не был бы богом, если бы он не покарал поправшего его закон.

Один грех — одно мгновение восставшей гордыни разума сокрушило славу Люцифера и треть ангельского воинства. Один грех — одно мгновение безумия и слабости изгнало Адама и Еву из рая и принесло смерть и страдания в мир. Дабы искупить последствия этого греха, единородный сын божий сошел на землю, жил, страдал и умер, распятый на кресте после трех часов величайшей муки.

О, дорогие мои младшие братья во Христе, неужели мы оскорбим доброго искупителя и вызовем его гнев? Неужели мы снова станем топтать его распятое, истерзанное тело? Плевать в этот лик, полный любви и скорби? Неужели и мы, подобно жестоким иудеям и грубым воинам, станем поносить кроткого, милосердного спасителя, который ради нас испил горькую чашу страданий? Каждое греховное слово — рана, наносимая его нежному телу. Каждое грешное деяние — терний, впивающийся в его чело. Каждый нечистый помысел, которому мы сознательно поддаемся,— острое копье, пронзающее это святое любящее сердце. Нет, нет. Ни одно человеческое существо не решится совершить то, что так глубоко оскорбляет величие божие, что карается вечностью страданий, что распинает снова сына божия и снова предает его глумлению.

Молю господа, чтобы мои слабые увещевания укрепили в благочестии идущих по истинному пути, поддержали колеблющихся и вернули к благодати бедную заблудшую душу, если такая есть между нами. Молю господа — и вы помолитесь вместе со мной,— чтобы он помог нам раскаяться в наших грехах. А теперь прошу вас всех преклонить колена здесь, в этой скромной церкви перед ликом божиим, и повторить за мной молитву покаяния. Он здесь в ковчеге, исполненный любви к роду человече-

скому и готовый утешить страждущего. Не бойтесь. Как бы многочисленны и тяжки ни были ваши грехи, они простятся вам, если вы раскаетесь. Да не удержит вас суетный стыд. Ведь господь бог — наш милосердный создатель, который желает грешнику не вечной погибели, а покаяния и праведной жизни.

Он призывает вас к себе. Вы — дети его. Он создал вас из ничего. Он любит вас, как только один бог может любить. Руки его простерты, чтобы принять вас, даже если вы согрешили против него. Прииди к нему, бедный грешник, бедный, жалкий, заблудший грешник. Ныне час, угодный господу.

Священник встал, повернулся к алтарю и в наступившей темноте опустился на колени. Он подождал, пока все стали на колени и пока не затих малейший шорох. Тогда, подняв голову, он начал с жаром произносить слово за словом покаянную молитву. И мальчики повторяли за ним слово за словом. Стивен, у которого язык прилип к гортани, склонил голову и молился про себя.

— Господи, боже мой,
— Господи, боже мой,
— Истинно сокрушаюсь я,
— Истинно сокрушаюсь я,
— Ибо прогневил тебя, господи,
— Ибо прогневил тебя, господи,
— И ненавистны мне грехи мои
— И ненавистны мне грехи мои
— Паче всякой скверны и зла,
— Паче всякой скверны и зла,
— Ибо совершил противное святой воле твоей,
— Ибо совершил противное святой воле твоей,
— Ты же, господи, всесильный и благой,
— Ты же, господи, всесильный и благой,
— И достоин всяческого поклонения,
— И достоин всяческого поклонения,
— Ныне, господи, упование мое,
— Ныне, господи, упование мое,
— Милостью твоею святою заступи,
— Милостью твоею святою заступи,
— Да не прогневлю тебя до конца дней моих,
— Да не прогневлю тебя до конца дней моих,
— И да будет жизнь моя искуплением грехов.
— И да будет жизнь моя искуплением грехов.

■

После обеда он пошел наверх к себе в комнату, чтобы побыть наедине со своей душой, и на каждой ступеньке душа его как будто вздыхала и, вздыхая, карабкалась вместе с ним, поднимаясь наверх из вязкой мглы.

На площадке у двери он остановился, потом нажал на ручку и быстро отворил дверь. Он медлил в страхе, душа его томилась вместе с ним, и он молился беззвучно, чтобы смерть не коснулась его чела, когда он перешагнет порог, и чтобы бесы, населяющие тьму, не посмели овладеть им. Он ждал неподвижно на пороге, словно у входа в какую-то темную пещеру. Там были лица и глаза, стерегущие его, они стерегли зорко и выжидали.

— Мы, конечно, прекрасно знали, что, хотя это, несомненно, должно было выясниться, ему будет чрезвычайно трудно сделать усилие, постараться заставить себя, постараться сделать попытку признать духовного посланника, и мы, конечно, прекрасно знали...

Шепчущие лица стерегли зорко и выжидающе, шепчущие голоса наполнили темные недра пещеры. Его охватил острый духовный и телесный ужас, но, смело подняв голову, он решительно вошел в комнату. Знакомая комната, знакомое окно. Он убеждал себя, что шепот, доносившийся из тьмы, абсолютно бессмыслен. Он убеждал себя, что это просто его комната с настежь открытой дверью.

Он закрыл дверь, быстро шагнув к кровати, стал на колени и закрыл лицо руками. Руки у него были холодные и влажные, и все тело ныло от озноба. Физическое изнеможение, озноб и усталость томили его, мысли путались. Зачем стоит он на коленях, как ребенок, лепечущий молитвы на ночь? Чтобы побыть наедине со своей душой, заглянуть в свою совесть, честно признать свои грехи, вспомнить, когда, как и при каких обстоятельствах он их совершил, и оплакать их. Но плакать он не мог. Он не мог даже вспомнить их. Он ощущал только боль, чувствовал, как изнывают его душа и тело, как одурманено и истомлено все его существо — память, воля, сознание, плоть.

Это бесы стараются спутать его мысли, затуманить совесть, овладеть им через его трусливую, погрязшую во грехе плоть, и, робко умоляя бога простить ему его слабость, он поднялся, лег на кровать и, закутавшись в одеяло, снова закрыл лицо руками. Он согрешил. Он согрешил так тяжко против бога и небес, что недостоин больше называться сыном божиим.

Неужели он, Стивен Дедалус, совершал эти поступки? Совесть его вздохнула в ответ. Да, он совершал их тайно, мерзко, неоднократно. И хуже всего, что в своей греховной ожесточенности он осмеливался носить маску святости перед алтарем, хотя душа его насквозь прогнила. А господь пощадил его. Грехи, как толпа прокаженных, обступили его, дышали на него, надвигались со всех сторон. Он силился забыть их в молитве и, стиснув руки, крепко закрыл глаза. Но душа не успокаивалась. Глаза его были закрыты, но он видел все те места, где грешил; уши его были плотно зажаты, но он все слышал. Всеми силами души он желал ничего не видеть и ничего не слышать. Он желал так сильно, что все тело его содрогнулось и душа вдруг успокоилась, но лишь на мгновение. И тогда он увидел.

Пустырь с засохшими сорняками, чертополохом, кустами крапивы. В этой жесткой поросли — продавленные жестянки, комья земли, кучи засохших испражнений. Белесый болотный туман поднимается от нечистот и пробивается сквозь колючие серо-зеленые сорняки. Мерзкий запах, такой же слабый и смрадный, как болотистый туман, клубится, ползет из жестянок, от затвердевшего навоза.

В поле бродят какие-то существа: одно, три, шесть. Они бесцельно слоняются туда и сюда. Козлоподобные твари с мертвенными человеческими лицами, рогатые, с жидкими бороденками. Они полны злобной ненависти, они бродят туда и сюда, волоча за собой длинные хвосты. Оскалом ехидного злорадства тускло светятся их старческие костлявые лица. Один кутается в рваный фланелевый жилет, другой — монотонно скулит, когда его бороденка цепляется за пучки бурьяна. Невнятные слова срываются с их пересохших губ. Они кружат, кружат по полю, продираются сквозь сорняки, снуют туда и сюда в плевелах, цепляясь длинными хвостами за гремящие жестянки. Они движутся медленными кругами, все ближе и ближе к нему. Невнятные слова срываются с их губ; длинные, со свистом рассекающие воздух хвосты облеплены вонючим дерьмом, страшные лица тянутся кверху...

— Спасите!

Он в ужасе отбросил одеяло, высвободил лицо и шею. Вот его преисподняя. Бог дал ему увидеть ад, уготованный его грехам,— гнусный, вонючий, скотский ад развратных, похотливых, козлоподобных бесов. Его, его ад!

Он соскочил с кровати: зловонье хлынуло ему в горло, сводя и выворачивая внутренности. Воздуха! Воздуха небес! Шатаясь, он добрался до окна, почти теряя сознание от тошноты. Около умывальника его схватила судорога, и в беспамятстве, сжимая руками холодный лоб, он скорчился в приступе мучительной рвоты.

Когда приступ миновал, он с трудом добрел до окна, поднял раму и сел в углу ниши, облокотившись на подоконник. Дождь перестал. Клочки тумана плыли от одной светящейся точки к другой, и казалось, что город прядет вокруг себя мягкий кокон желтоватой мглы. Небеса были тихи и слабо сияли, воздух был сладостен для дыхания, как в лесной чаще, омытой дождем; и среди тишины, мерцающих огней и мирного благоухания он дал обет своему сердцу.

Он молился:

«Однажды он хотел сойти на землю в небесной славе, но мы согрешили. И он не мог явиться нам, иначе как скрыв свое величие и сияние, ибо он бог. И он явил себя

не в славе могущества, но в слабости, и тебя, творение рук своих, послал к нам, наделив тебя красотой смирения и сиянием, посильным нашему зрению. И теперь самый лик твой и тело твое, о мати преблагая, говорит нам о предвечном не подобием земной красоты, опасной для взора, но подобием утренней звезды, являющейся твоим знамением. Ты, как она, ясна, мелодична, дышишь чистотой небес и разливаешь мир. О предвозвестница дня! О светоч паломника! Наставляй нас и впредь, как наставляла прежде. Во мраке ночи, в ненастной пустыне веди нас к спасителю нашему Иисусу Христу, в приют и убежище наше!»

Глаза его застилали слезы, и, подняв смиренный взгляд к небу, он заплакал о своей утраченной чистоте.

Когда совсем стемнело, он вышел из дому. Первое же прикосновение сырого, темного воздуха и стук двери, захлопнувшейся за ним, снова смутили его совесть, успокоенную молитвой и слезами. Покайся! Покайся! Недостаточно успокоить совесть слезой и молитвою. Он должен пасть на колени перед служителем святого духа и поведать ему правдиво и покаянно все свои тайные грехи. Прежде чем он снова услышит, как входная дверь, открываясь, заденет за порог, чтобы впустить его, прежде чем он снова увидит стол в кухне, накрытый для ужина, он падет на колени и исповедуется. Ведь это так просто.

Угрызения совести утихли, и он быстро зашагал вперед по темным улицам. Сколько плит на тротуаре этой улицы, сколько улиц в этом городе, сколько городов в мире! А вечности нет конца. И он пребывает в смертном грехе. Согрешить только раз — все равно смертный грех. Это может случиться в одно мгновенье. Но как же так, сразу? Одним взглядом, одним помыслом. Глаза видят прежде, чем ты пожелаешь увидеть. И потом миг — и случилось. Но разве эта часть тела что-то разумеет? Змея — коварнейшая из всех тварей земных. В одно мгновение она понимает, чего ей хочется, и потом греховно продлевает свою похоть мгновение за мгновением. Чувствует, понимает и вожделеет. Как это ужасно! Кто создал ее такой, эту скотскую часть тела, способную понимать скотски и скотски вожделеть? Что это: он сам или нечто нечеловеческое, движимое каким-то низменным духом? Его душа содрогнулась, когда он представил себе эту вялую змеевидную жизнь, которая питается нежнейшими соками его существа и раздувается, наливаясь похотью. О, зачем это так? Зачем?

В смиренном унижении и в страхе перед богом, который создал все живое и все сущее, он весь сжался перед нарастающим мраком этой мысли. Безумие! Кто мог подсказать ему такую мысль? И весь сжавшись в темноте, униженный, он безмолвно молился своему ангелу-хранителю, чтобы тот прогнал мечом своим демона, нашептывающего ему соблазны.

Шепот стих, и тогда он ясно понял, что его собственная душа грешила умышленно и словом, и делом, и помышлением, а орудием греха было его тело. Покайся! Покайся в каждом грехе. Как сможет он рассказать духовнику то, что сделал? Но он должен, должен. Как объяснить ему, не сгорев со стыда? А как мог он делать это без стыда? Безумец! Покайся! А может быть, и вправду он снова будет свободен и безгрешен? Может быть, священник облегчит его душу! О боже милосердный!

Он шел все дальше и дальше по тускло освещенным улицам, боясь остановиться хоть на секунду, боясь, как бы не показалось, что он стремится избежать того, что его ждет, и еще больше страшась приблизиться к тому, к чему его неудержимо влекло. Как прекрасна должна быть душа, исполненная благодати, когда господь взирает на нее с любовью!

Неряшливые продавщицы со своими корзинами сидели на тумбах. Их сальные волосы прядями свисали на лоб. Такие неприглядные, сгорбившиеся, сидят среди грязи. Но души их открыты господу, и, если их души исполнены благодати, они сияют светом и бог взирает на них с любовью.

Холод унижения дохнул на его душу. Как же низко он пал, если чувствует, что души этих девушек угодней богу, нежели его душа! Ветер пронесся над ним к мириадам других душ, которым милость божия сияла то сильней, то слабей, подобно звездам, свет которых то ярче, то бледнее. Мерцающие души уплывают прочь, они то ярче, то бледнее и угасают в проносящемся вихре. Одна погибла: крошечная душа, его душа. Она вспыхнула и погасла, забытая, погибшая. Конец: мрак, холод, пустота, ничто.

Ощущение действительности медленно возвращалось к нему из необъятности вечного времени — неозаренного, неосознанного, непрожитого. Его по-прежнему окружала убогая жизнь: привычные возгласы, газовые рожки лавок, запах рыбы, и спиртного, и мокрых опилок, прохожие — мужчины и женщины. Старуха с керосиновым бидоном в руке собиралась переходить улицу. Он нагнулся к ней и спросил, есть ли здесь поблизости церковь.

— Церковь, сэр? Да, на Черч-стрит.

— Черч-стрит?

Она взяла бидон в другую руку и указала ему дорогу. И когда она протянула из-под бахромы платка свою сморщенную, воняющую керосином руку, он нагнулся к ней ближе, испытывая грустное облегчение от ее голоса.

— Благодарю вас.

— Пожалуйста, сэр.

Свечи в главном приделе перед алтарем были уже потушены, но благовоние ладана еще плыло в темном притворе. Бородатые, с набожными лицами прислужники уносили балдахин через боковую дверь, а ризничий направлял их неторопливыми жестами и советами. Несколько усердных прихожан еще молились в боковом приделе, стоя на коленях около скамеек перед исповедальней. Он робко вошел и тоже опустился на колени у последней скамейки в глубине прохода, преисполненный благодарности за мир, и тишину, и благоухающий сумрак церкви. Плита, на которой он стоял на коленях, была узкая и истертая, а те, кто молились, коленопреклоненные, рядом, были смиренными последователями Иисуса. Иисус тоже родился в бедности и работал простым плотником — пилил, стругал доски, и первые, кому он проповедовал царствие божие, были бедные рыбаки, и всех он учил смирению и кротости сердца.

Он опустил голову на руки, умоляя сердце свое быть смиренным и кротким, дабы и он мог стать таким же, как те, что стояли на коленях рядом с ним, и чтобы его молитва была угодна господу так же, как их молитвы. Он молился с ними рядом, но это было тяжко. Его душа смердела во грехе, и он не смел молить о прощении с простой сердечной верой тех, кого Христос неисповедимыми путями божиими первыми призвал к себе,— плотников, рыбаков, простых бедных людей, которые занимались скромным ремеслом: распиливали деревья на доски, терпеливо чинили сети.

Высокая фигура сошла по ступенькам придела, и ждущие у исповедальни зашевелились. Подняв глаза, он успел заметить длинную седую бороду и коричневую рясу капуцина. Священник вошел в исповедальню и скрылся. Двое поднялись и прошли туда с двух сторон. Деревянная ставенка задвинулась, и слабый шепот нарушил тишину.

Кровь зашумела у него в венах, зашумела, как греховный город, поднятый ото сна и услышавший свой смертный приговор. Вспыхивают языки пламени, пепел покрывает дома. Спящие пробуждаются, вскакивают, задыхаясь в раскаленном воздухе.

Ставенка отодвинулась. Исповедовавшийся вышел. Открылась дальняя ставенка. Женщина спокойно и быстро прошла туда, где только что на коленях стоял первый исповедовавшийся. Снова раздался тихий шепот.

Он еще может уйти. Он может подняться, сделать один шаг и тихо выйти и потом стремглав побежать по темным улицам. Он все еще может спастись от позора. Пусть бы это было какое угодно страшное преступление, только не этот грех. Даже убийство! Огненные язычки падают, обжигают его со всех сторон — постыдные мысли, постыдные слова, постыдные поступки. Стыд покрыл его с ног до головы, как тонкий раскаленный пепел. Выговорить это, назвать словами! Его измученная душа задохнулась бы, умерла.

Ставенка опять задвинулась. Кто-то вышел из исповедальни. Открылась ближняя ставенка. Следующий вошел туда, откуда вышел второй. Теперь оттуда туманными облачками набегал мягкий лепечущий звук. Это исповедуется женщина. Мягкие, шепчущие облачка, мягкая шепчущая дымка, шепчущая и исчезающая.

Припав к деревянной скамье, он уничиженно бил себя кулаком в грудь. Он соединится с людьми и с богом. Он возлюбит своего ближнего. Он возлюбит бога, который создал и любил его. Он падет на колени, и будет молиться вместе с другими, и будет счастлив. Господь взглянет на него и на них и всех их возлюбит.

Нетрудно быть добрым. Бремя божие сладостно и легко. Лучше никогда не грешить, всегда оставаться младенцем, потому что бог любит детей и допускает их к себе.

Грешить так тяжко и страшно. Но господь милосерден к бедным грешникам, которые чистосердечно раскаиваются. Как это верно! Вот смысл истинного милосердия!

Ставенка внезапно задвинулась. Женщина вышла. Теперь настала его очередь. Он с трепетом поднялся и, как во сне, ничего не видя, прошел в исповедальню.

Его час пришел. Он опустился на колени в тихом сумраке и поднял глаза на белое распятие, висевшее перед ним. Господь увидит, что он раскаивается. Он расскажет обо всех своих грехах. Исповедь будет долгой-долгой. Все в церкви узнают, какой он грешник. Пусть знают — раз это правда. Но бог обещал простить его, если он раскается, а он кается. Он стиснул руки и простер их к белому распятию. Он страстно молился: глаза его затуманились, губы дрожали, по телу пробегала дрожь; в отчаянии он мотал головой из стороны в сторону, произнося горячие слова молитвы.

— Каюсь, каюсь, о, каюсь!

Ставенка отворилась, и его сердце замерло. У решетки вполоборота к нему, опершись на руку, сидел старый священник. Он перекрестился и попросил духовника благословить его, ибо он согрешил. Затем, опустив голову, в страхе прочел «Confiteor» [1]. На словах «мой самый тяжкий грех» он остановился, у него перехватило дыхание.

— Когда ты исповедовался в последний раз, сын мой?

— Очень давно, отец мой.

— Месяц тому назад, сын мой?

— Больше, отец мой.

— Три месяца, сын мой?

— Больше, отец мой.

— Шесть месяцев?

— Восемь месяцев, отец мой.

Вот оно — началось. Священник спросил:

— Какие грехи ты совершил за это время?

Он начал перечислять: пропускал обедни, не читал молитвы, лгал.

— Что еще, сын мой?

Грехи злобы, зависти, чревоугодия, тщеславия, непослушания.

— Что еще, сын мой?

Спасенья нет. Он прошептал:

— Я... совершил грех блуда, отец мой.

Священник не повернул головы.

— С самим собой, сын мой?

— И... с другими.

— С женщинами, сын мой?

— Да, отец мой.

— С замужними женщинами, сын мой?

Он не знает. Грехи стекали с его губ один за другим, стекали постыдными каплями с его гниющей и кровоточащей, как язва, души, они сочились мутной порочной струей. Он выдавил из себя последние грехи — постыдные, мерзкие. Больше рассказывать было нечего. Он поник головой в полном изнеможении.

Священник молчал. Потом спросил:

— Сколько тебе лет, сын мой?

— Шестнадцать, отец мой.

Священник несколько раз провел рукой по лицу. Потом подпер лоб ладонью, прислонился к решетке и, по-прежнему не глядя на него, медленно заговорил. Голос у него был усталый и старческий.

— Ты еще очень молод, сын мой,— сказал он,— и я умоляю тебя, откажись от этого греха. Он убивает тело и убивает душу. Он — причина всяческих преступлений и несчастий. Откажись от него, дитя мое, во имя господа бога. Это недостойная и низкая склонность. Ты не знаешь, куда она тебя заведет и как обратится против тебя. Пока этот грех владеет тобой, бедный сын мой, милость божия оставила тебя. Молись нашей святой матери Марии. Она поможет тебе, сын мой. Молись нашей преблагой деве, когда тебя обуревают греховные помыслы. Ты ведь будешь молиться, сын мой?

---

[1] Покаянная молитва перед исповедью.

Ты раскаиваешься в этих грехах, я верю, что раскаиваешься. И ты дашь обет господу богу, что его святою милостью никогда больше не прогневишь его этим безобразным мерзким грехом. Ты дашь этот торжественный обет богу, не правда ли, сын мой?

— Да, отец мой.

Усталый старческий голос был подобен живительному дождю для его трепещущего, иссохшего сердца. Как отрадно и как печально!

— Дай обет, сын мой. Тебя совратил дьявол. Гони его обратно в преисподнюю, когда он будет искушать тебя, гони этого нечистого духа, ненавидящего нашего создателя. Не оскверняй тело свое. Дай обет богу, что ты отрекаешься от этого греха, от этого мерзкого, презренного греха.

Ослепший от слез и света милосердия божия, он преклонил голову, услышав торжественные слова отпущения грехов и увидев благословляющую его руку священника.

— Господь да благословит тебя, сын мой. Молись за меня.

Он опустился на колени в углу темного придела и стал читать покаянную молитву, и молитва возносилась к небу из его умиротворенного сердца, как струящееся ввысь благоухание белой розы.

Грязные улицы смотрели весело. Он шел и чувствовал, как невидимая благодать окутывает и наполняет легкостью все его тело. Он пересилил себя, покаялся, и господь простил его. Душа его снова сделалась чистой и святой, святой и радостной.

Как было бы прекрасно умереть теперь, если на то будет воля господа. Прекрасно жить в благодати, в мире с ближними, в добродетели и смирении.

Он сидел перед очагом в кухне, не решаясь от избытка чувств проронить ни слова. До этой минуты он не знал, какой прекрасной и благостной может быть жизнь. Лист зеленой бумаги, заколотый булавками вокруг лампы, отбрасывал вниз мягкую тень. На буфете стояла тарелка с сосисками и запеканкой, на полке были яйца. Это к утреннему завтраку после причастия в церкви колледжа. Запеканка и яйца, сосиски и чай. Как проста и прекрасна жизнь. И вся жизнь впереди.

В забытьи он лег и уснул. В забытьи он поднялся и увидел, что уже утро. Забывшись, как во сне, он шагал тихим утром к колледжу. Все мальчики уже были в церкви и стояли на коленях, каждый на своем месте. Он стал среди них, счастливый и смущенный. Алтарь был усыпан благоухающими белыми цветами, и в утреннем свете бледные огни свечей среди белых цветов были ясны и спокойны, как его душа.

Он стоял на коленях перед алтарем среди товарищей, а напрестольная пелена колыхалась над их руками, образовавшими живую поддержку. Руки его дрожали, и душа его дрогнула, когда он услышал, как священник с чашей святых даров переходил от причастника к причастнику.

— Corpus Domini nostri [1].

Наяву ли это? Он стоит здесь на коленях — безгрешный, робкий; сейчас он почувствует на языке облатку, и бог войдет в его очищенное тело.

— In vitam eternam. Amen[2].

Новая жизнь! Жизнь благодати, целомудрия и счастья! И все это на самом деле! Это не сон, от которого он пробудится. Прошлое прошло.

— Corpus Domini nostri.

Чаша со святыми дарами приблизилась к нему.

Глава IV

Воскресенье было посвящено таинству пресвятой троицы, понедельник — святому духу, вторник — ангелам-хранителям, среда — святому Иосифу, четверг — пресвятому таинству причастия, пятница — страстям господним, суббота — пресвятой деве Марии.

Каждое утро он снова проникался благостью святынь или таинств. Его день начинался ранней мессой и самоотверженным принесением в жертву каждого своего

[1] Тело господа нашего *(лат.)*.
[2] В жизнь вечную. Аминь *(лат.)*.

помысла и каждого деяния воле верховного владыки. Холодный утренний воздух подстегивал его благочестие и часто, стоя на коленях в боковом приделе среди редких прихожан и следя по своему переложенному закладками молитвеннику за шепотом священника, он поднимал глаза на облаченную фигуру, возвышавшуюся в полумраке между двух свечей — символов Ветхого и Нового Завета,— и представлял себя на богослужении в катакомбах.

Его повседневная жизнь складывалась из различных подвигов благочестия. Пламенным усердием и молитвами он щедро выкупал для душ в чистилище столетия, складывающиеся из дней, месяцев и лет. Но духовное ликование, которое он испытывал, преодолевая с легкостью необъятные сроки кар господних, все же полностью не вознаграждало его молитвенного рвения, потому что он не знал, насколько такое заступничество сокращает муки душ в чистилище, огонь которого отличается от адского только тем, что не вечен. И мучимый страхом, что от его покаянных молитв не больше пользы, чем от капли воды, он с каждым днем все усиливал свое религиозное рвение.

Каждая часть дня, разделенного в соответствии с тем, что он теперь считал долгом своего земного существования, была посвящена духовному преображению. Его душа будто приближалась к вечности; каждая мысль, слово, поступок, каждое внутреннее движение, казалось, были приняты на небесах, и временами это ощущение мгновенного отклика было так живо, что ему казалось, будто его душа во время молитвы нажимает клавиши огромного кассового аппарата и он видит, как стоимость покупки мгновенно появляется на небесах не цифрой, а легким дымком ладана или хрупким цветком.

И молитвы, которые он неустанно твердил,— в карманах брюк он всегда носил четки и без устали перебирал их, бродя по улицам,— превращались в венчики цветов такой неземной нежности, что цветы эти казались ему столь же бескрасочными и безуханными, сколь они были безымянны. В каждой из трех ежедневно возносимых молитв он просил, чтобы душа его укрепилась в трех духовных добродетелях: в вере в отца, сотворившего его, в надежде на сына, искупившего его грехи, и в любви к святому духу, осенившему его; и эту трижды тройную молитву он возносил к трем ипостасям через святую деву Марию, прославляя радостные, скорбные и славные таинства.

В каждый из семи дней недели он молился еще и о том, чтобы один из семи даров святого духа снизошел на его душу и изгонял день за днем семь смертных грехов, осквернявших ее в прошлом. О ниспослании каждого дара он молился в установленный день, уповая что дар этот снизойдет на него, хотя иногда ему казалось странным, что мудрость, разумение и знание считаются столь различными по своей природе и о каждом из этих даров полагается молиться особо Но он верил, что постигнет и эту тайну на какой-то высшей ступени духовного совершенствования, когда его грешная душа отрешится от слабости и ее просветит третья ипостась пресвятой троицы. Он верил в это превыше всего, проникшись трепетом перед божественной непроницаемостью и безмолвием, в коих пребывает незримый дух-утешитель Параклет [1], чьи символы — голубь и вихрь и грех против которого не прощается; вечная таинственная суть, которой, как богу, священники раз в год служат мессу в алых, точно языки пламени, облачениях.

Природа и единосущность трех ипостасей троицы, которые туманно излагались в читаемых им богословских сочинениях, отец, вечно созерцающий, как в зеркале, свое божественное совершенство и присно рождающий вечного сына, святой дух, извечно исходящий от отца и сына,— были в силу их высокой непостижимости более доступны его пониманию, нежели та простая истина, что бог любил его душу извечно, во веки веков, еще до того, как она явилась в мир, до того, как существовал сам мир.

Он часто слышал торжественно возглашаемые со сцены или с амвона церкви слова, обозначающие страсти — любовь и ненависть,— читал их торжественные описания в книгах и дивился, почему в его душе не было им места и почему ему было

[1] Одно из имен святого духа.

трудно произносить их названия. Им часто овладевал мгновенный гнев, но он никогда не превращался в постоянную страсть, и ему не стоило никакого труда освободиться от него, словно самое тело его с легкостью сбрасывало какую-то внешнюю оболочку или шелуху. Минутами он чувствовал, как в его существо проникает нечто темное, неуловимое, бормочущее, и весь вспыхивал и распалялся греховной похотью, но и она быстро соскальзывала с него, а сознание оставалось ясным и незамутненным. И казалось, что только для такой любви и такой ненависти и было место в его душе.

Но он не мог больше сомневаться в реальности любви, ибо сам бог извечно любил его душу божественной любовью. Постепенно, по мере того как душа его наполнялась духовным знанием, мир представал перед ним огромным, стройным выражением божественного могущества и любви. Жизнь становилась божественным даром, и за каждый радостный миг ее — даже за созерцание листочка на ветке дерева — душа его должна была славить и благодарить творца. При всей своей конкретности и сложности мир существовал для него не иначе как теорема божественного могущества, любви и вездесущности. И столь целостным и бесспорным было это дарованное его душе сознание божественного смысла во всей природе, что он с трудом понимал, зачем ему, собственно, продолжать жить. Но, вероятно, его жизнь была частью божественного предначертания, и не ему, согрешившему так мерзко и тяжко, вопрошать о смысле. Смиренная, униженная сознанием единого, вечного, вездесущего, совершенного бытия, душа его снова взваливала на себя бремя обетов, месс, молитв, причащения святых тайн и самоистязаний; и только теперь, задумавшись над великой тайной любви, он ощутил в себе теплое движение, словно в нем зарождалась новая жизнь или новая добродетель. Молитвенная поза благоговейного восторга: воздетые и разверстые руки, отверстые уста, затуманенные глаза стали для него образом молящейся души, смиренной и замирающей перед своим создателем.

Но, зная об опасностях духовной экзальтации, он не позволял себе отступить даже от самого незначительного канона, стремился непрестанными самоистязаниями искупить греховное прошлое, а не достигнуть чреватой опасностью лжесвятости. Каждое из пяти чувств он подвергал суровым испытаниям. Он умерщвлял зрение; заставлял себя ходить по улицам с опущенными глазами, не смотря ни направо, ни налево и не оглядываясь. Он избегал встречаться взглядом со взглядами женщин. А читая, поднимал глаза, иногда внезапно, мгновенным усилием воли отрываясь на середине неоконченной фразы, и захлопывал книгу. Он умерщвлял слух; не следил за своим ломающимся голосом, никогда не позволял себе петь или свистеть и не делал попыток избежать звуков, причинявших ему болезненное раздражение, например, скрежета ножа о точило, скрипа совка, сгребающего золу, или стука палки, когда выколачивают ковер. Умерщвлять чувство обоняния было труднее, так как он не испытывал инстинктивного отвращения к дурным запахам: будь то уличные, вроде запахов навоза или дегтя, или запахи его собственного тела, дававшие ему повод для сравнений и разных любопытных экспериментов. В конце концов он установил, что его обонянию претит только вонь гнилой рыбы, напоминающая запах застоявшейся мочи, и пользовался каждым случаем, чтобы заставлять себя переносить эту вонь. Он умерщвлял чувство вкуса: принуждал себя к воздержанию, неуклонно соблюдал все церковные посты, а во время еды старался не думать о пище. Но особенную изобретательность он проявил, умерщвляя чувство осязания. Он никогда не менял положения тела в постели, сидел в самых неудобных позах, терпеливо переносил зуд и боль, старался держаться подальше от тепла, всю мессу, за исключением чтения Евангелия, простаивал на коленях, не вытирал лица и шеи после мытья, чтобы было чувствительней прикосновение холодного воздуха. Если в руках у него не было четок, он плотно, как бегун, прижимал их к бокам, а не держал их в карманах и не закладывал за спину.

Больше он не испытывал соблазна впасть в смертный грех. Но его удивляло, что, несмотря на строжайшую самодисциплину, он так легко оказывался жертвой ребяческих слабостей. Какой толк от постов и молитв, если трудно не раздражаться, когда чихает мать или когда ему мешают во время молитвы. И нужно было громадное усилие воли, чтобы обуздать в себе инстинктивное желание дать выход этому раздражению.

Он часто наблюдал приступы такой мелочной раздражительности у своих учителей, и, вспоминая их дергающиеся губы, плотно стиснутые зубы, пылающие щеки, сравнивал себя с ними, и, несмотря на все свое стремление исправиться, падал духом. Слить свою жизнь с потоком других жизней было для него труднее всякого поста или молитвы, и все его попытки неизменно кончались неудачей; это в конце концов породило духовное оскудение, а вслед за ним пришли колебания и сомнения. Душа его пребывала в унынии; казалось, самые таинства обратились в иссякшие источники. Исповедь стала только способом освобождения от мучивших его совесть грехов. Причастие не приносило теперь тех блаженных минут, когда душа словно растворялась в девственном восторге, как было когда-то после приобщения святых тайн. В церковь он брал с собой старый, истрепанный молитвенник с потускневшими буквами и пожелтевшими, затрепанными страницами, составленный святым Альфонсом Лигурийским [1]. Потускневший мир пламенной любви и девственного восторга оживал для его души на этих страницах, где образы Песни песней переплетались с молитвами причастника. Неслышный голос, казалось, ласкал и славословил его душу, призывая ее, нареченную невесту, восстать для обручения и двинуться в путь с вершин Амана от гор барсовых. И казалось, что душа, отдавшись его власти, отвечала таким же неслышным голосом: «Inter ubera mea commorabitur» [2].

Этот образ отдающейся души стал для него опасным, притягательным с тех самых пор, как настойчивые голоса плоти вновь зашептали во время молитв и размышлений. Он весь проникался чувством собственного могущества от сознания, что одной уступкой, одним помыслом может разрушить все, чего достиг. Ему казалось, будто медленный прилив подкрадывается к его обнаженным ступням и первая слабая, бесшумная, робкая волна вот-вот коснется его разгоряченной кожи. И чуть ли не в самый миг касанья, на грани греховного падения, он вдруг оказывался вдали от волны, на суше, спасенный внезапным усилием воли или внезапным молитвенным порывом. И, наблюдая за отдаленной серебряной полоской прилива, которая снова начинала медленно подкрадываться к его ногам, он ощущал трепет власти, и удовлетворение охватывало его душу при мысли, что он не уступил, не сдался.

Постоянная борьба с соблазнами заставляла его беспокойно спрашивать себя, не угасает ли в нем драгоценный дар благодати. Уверенность в собственной стойкости померкла, и на смену ей явился неясный страх, что душа его незаметно пала. Только огромным усилием воли ему удавалось теперь возвращать свою былую веру в то, что он все еще пребывает в состоянии благодати; он заставлял себя при каждом искушении молиться богу, заставлял верить, что благодать, о которой он просил, не могла быть не дарована ему, ибо господь должен был ее даровать. Сама частота и сила искушений наглядно подтверждали ему истинность того, что он слышал об испытаниях святых. Частота и сила искушений были для него доказательством твердыни его души, которую неистово пытался сокрушить сатана.

Часто на исповеди духовник, выслушав его колебания и сомнения (минутная рассеянность во время молитвы, мелочная раздражительность и своеволие, проявившиеся в речи или поступках), прежде чем дать ему отпущение, просил назвать какой-нибудь давний грех. Со смирением и стыдом он каялся в нем снова. Со смирением и стыдом он понимал, что как бы свято ни жил, каких бы совершенств и добродетелей не достиг, никогда ему не освободиться от этого греха полностью. Беспокойное чувство вины никогда не покинет его; он исповедуется, раскается и будет прощен, снова исповедуется, снова раскается и снова будет прощен — но все тщетно. Может быть, та первая, поспешная исповедь, вырванная у него страхом перед преисподней, не была принята? Может быть, поглощенный всецело мыслью о неизбежной каре, он недостаточно искренне сокрушался о своем грехе? Но старания исправить свою жизнь были для него лучшим свидетельством правильности его исповеди, свидетельством того, что он искренне сокрушался о содеянном.

«Ведь я же исправил свою жизнь»,— повторял он про себя.

---

[1] Альфонс Лигурийский (1696—1789) — миссионер, основатель конгрегации редемптористов (искупителей).

[2] «У грудей моих пребывает» — цитата из Песни песней (*лат.*).

Ректор стоял в нише окна, спиной к свету, прислонившись к коричневой шторе. Разговаривая и улыбаясь, он медленно разматывал и снова заплетал шнурок другой шторы. Стивен стоял перед ним, следя за угасанием долгого летнего дня над крышами домов и за медленными, плавными движениями пальцев священника. Лицо священника было в тени, но дневной свет, угасавший за его спиной, падал на его глубоко вдавленные виски и неровности черепа. Стивен прислушивался к интонациям голоса священника, который спокойно и внушительно рассуждал о разных событиях в жизни колледжа: о только что окончившихся каникулах, об отделениях ордена за границей, о смене учителей. Спокойный и внушительный голос плавно вел беседу, а в паузах Стивен считал своим долгом оживлять ее почтительными вопросами. Он знал: все это лишь прелюдия, и ждал, что за ней последует. Получив приказ явиться к ректору, он терялся в догадках, что означает этот вызов, и все время, пока сидел в приемной в напряженном ожидании, взгляд его блуждал по стенам, от одной благонравной картины к другой, а мысль — от одной догадки к другой, пока ему вдруг не стало ясно, зачем его позвали. Не успел он пожелать, чтобы какая-нибудь непредвиденная причина помешала ректору прийти, как услышал звук поворачивающейся дверной ручки и шелест сутаны.

Ректор заговорил о доминиканском и францисканском орденах и о дружбе святого Фомы со святым Бонавентурой. Облачение капуцинов казалось ему несколько...

Лицо Стивена отразило снисходительную улыбку священника, но, не желая высказывать никакого суждения по этому поводу, он только чуть-чуть шевельнул губами, как бы недоумевая.

— Я слышал,— продолжал ректор,— что и сами капуцины уже поговаривают об отмене этого облачения по примеру других францисканцев.

— Но в монастырях его, наверно, сохранят? — сказал Стивен.

— О, да, конечно,— сказал ректор,— в монастырях оно вполне уместно, но для улицы... право, лучше было бы его отменить, как вы думаете?

— Да, оно неудобное.

— Вот именно, неудобное. Представьте себе, когда я был в Бельгии, то видел, что капуцины в любую погоду разъезжают на велосипедах, обмотав полы этих своих балахонов вокруг колен. Ну, не смешно ли? Les jupes [1] — так их называют в Бельгии.

Гласная прозвучала так, что нельзя было понять слово.

— Как вы сказали?

— Les jupes.

— А-а.

Стивен опять улыбнулся в ответ на улыбку, которая была не видна ему на лице священника, так как оно оставалось в тени, и лишь подобие, призрак этой улыбки быстро мелькнул в его сознании, когда он слушал тихий, сдержанный голос. Он спокойно смотрел в окно на меркнущее небо, радуясь вечерней прохладе и желтоватой мгле заката, скрывавшей слабый румянец на его щеке.

Названия предметов женского туалета или тех тонких мягких тканей, из которых их делали, всегда связывалось у него с воспоминанием о каком-то неуловимом греховном запахе. Ребенком он воображал, что вожжи — это тонкие шелковые ленты, и был потрясен, когда в Стрэдбруке впервые коснулся сальной, грубой кожи лошадиной упряжи. Точно так же он был потрясен, когда в первый раз почувствовал под своими дрожащими пальцами шершавую пряжу женского чулка. Происходило это потому, что из всего прочитанного он запоминал только то, что отвечало его собственному состоянию, что было созвучно с ним, и не мог представить себе душу или тело женщины, отдающейся любви, не воображая ее нежной, мягкоречивой, в тонких, как лепестки розы, тканях.

Но фраза в устах священника была не случайна; он знал, что священнику не подобает шутить на такие темы. Фраза была произнесена шутливо, но неспроста, и он чувствовал, как скрытые в тени глаза пытливо следят за его лицом. До сих пор он не

[1] Юбки (*франц.*).

придавал значения тому, что ему приходилось слышать или читать о коварстве иезуитов. Он всегда считал своих учителей, даже если они и не нравились ему, серьезными, умными наставниками, здоровыми телом и духом. По утрам они обливаются холодной водой и носят прохладное свежее белье. За все время, что ему пришлось прожить среди них в Клонгоусе и Бельведере, он получил только два удара линейкой по рукам, и, хотя как раз эти удары были незаслуженны, он знал, что многое сходило ему безнаказанно. За все это время он никогда не слышал от своих учителей ни одного пустого слова. Они открыли ему истину христианского учения, призывали к праведной жизни, а когда он впал в тяжкий грех, они же помогли ему вернуться к благодати. В их присутствии он всегда чувствовал неуверенность — и в Клонгоусе, потому что был недотепой, и в Бельведере, из-за своего двусмысленного положения. Это постоянное чувство неуверенности сохранилось у него до последнего года жизни в колледже. Он ни разу не ослушался их, не поддался соблазнявшим его озорным товарищам, не изменял своей привычки к спокойному повиновению, и если когда-нибудь и сомневался в правильности суждений учителей, то никогда не делал этого открыто. С годами кое-что в их оценках стало казаться ему несколько наивным. И это вызывало в нем чувство сожаления и грусти, как будто он медленно расставался с привычным миром и слушал его речи в последний раз. Как-то несколько мальчиков беседовали со священником под навесом возле церкви, и он слышал, как священник сказал:

— Я думаю, лорд Маколей[1] за всю свою жизнь не совершил ни одного смертного греха то есть ни одного сознательного смертного греха.

Потом кто-то из мальчиков спросил священника, считает ли он Виктора Гюго величайшим французским писателем. Священник ответил, что после того, как Виктор Гюго отвернулся от церкви, он стал писать много хуже, нежели когда он был католиком.

— Но,— добавил священник,— многие известные французские критики утверждают, что даже Виктор Гюго, несомненно великий писатель, не обладал таким ясным стилем, как Луи Вэйо[2].

Слабый румянец, вспыхнувший было на щеках Стивена от намека священника, погас, и глаза его были по-прежнему устремлены на бледное небо. Но какое-то беспокойное сомнение бродило в его сознании. Смутные воспоминания мелькали в памяти: он узнавал сцены и действующих лиц, но чувствовал, как что-то важное упорно ускользает от него. Вот он ходит около спортивной площадки в Клонгоусе, следит за игрой и ест конфеты из своей крикетной шапочки, а иезуиты прогуливаются с дамами по велосипедной дорожке. Какие-то полузабытые словечки, ходившие в Клонгоусе, отдавались эхом в глубинах его памяти.

Он пытался уловить это отдаленное эхо в тишине приемной и вдруг очнулся, услышав, как священник обращается к нему совсем другим тоном:

— Я вызвал тебя сегодня, Стивен, потому что хотел побеседовать с тобой об очень важном деле.

— Да, сэр.

— Чувствовал ли ты когда-нибудь в себе истинное призвание?

Стивен разжал губы чтобы сказать «да», но вдруг удержался. Священник подождал ответа и затем добавил:

— Я хочу сказать, чувствовал ли ты когда-нибудь в глубине души своей желание вступить в орден? Подумай.

— Я думал об этом,— сказал Стивен.

Священник отпустил шнурок шторы и, сложив руки, задумчиво оперся на них подбородком, погрузившись в размышления.

— В таком колледже, как наш,— сказал он наконец,— бывают иногда один или, может быть, два-три ученика, которых господь бог призывает к служению вере. Такой ученик выделяется среди своих сверстников благочестием и тем что он служит достойным примером всем остальным. Он пользуется уважением товарищей, члены свя-

---

[1] Томас Бабингтон Маколей (1800—1859) — английский историк и государственный деятель.

[2] Луи Вэйо (1813—1883) — французский консервативный писатель, ярый сторонник папства.

того братства выбирают его своим префектом. И вот ты, Стивен, принадлежишь к числу таких учеников, ты — префект нашего братства пресвятой девы. И может быть, ты и есть тот юноша, коего господь призывает к себе.

Явная гордость, усиленная внушительным тоном священника, заставила учащенно забиться сердце Стивена.

— Удостоиться такого избрания, Стивен,— продолжал священник,— величайшая милость, которую всемогущий бог может даровать человеку. Ни один король, ни один император на нашей земле не обладает властью служителя божьего. Ни один ангел, ни один архангел, ни один святой и даже сама пресвятая дева не обладают властью служителя божьего: властью владеть ключами от врат царствия божьего, властью связывать и разрешать грехи, властью заклинания, властью изгонять из созданий божьих обуревающих их нечистых духов, властью, полномочием призывать великого господа нашего сходить с небес и претворяться на престоле в хлеб и вино. Великая власть, Стивен!

Краска снова залила щеки Стивена, когда он услышал в этом гордом обращении отклик собственных гордых мечтаний. Как часто видел он себя священнослужителем, спокойно и смиренно обладающим великой властью, перед которой благоговеют ангелы и святые. В глубине души он тайно мечтал об этом. Он видел себя молодым, исполненным скромного достоинства иереем. Вот он быстрыми шагами входит в исповедальню, поднимается по ступенькам алтаря, кадит, преклоняет колена, совершает непостижимые действия священнослужения, которые манили его своим подобием действительности и в то же время своей отрешенностью от нее. В той призрачной жизни, которой он жил в своих мечтаниях, он присваивал себе голос и жесты, подмеченные им у того или другого священника. Он преклонял колена, слегка нагнувшись, как вот этот, он покачивал кадилом плавно, подобно другому, его риза вот так, как у третьего, распахивалась, когда он, благословив паству, снова поворачивался к алтарю. Но в этих воображаемых, призрачных сценах ему больше нравилось играть второстепенную роль. Он отстранялся от сана священника, потому что ему было неприятно, что вся эта таинственная пышность завершается его собственной особой, и потому что обряд предписывал ему слишком ясные и четкие функции. Он мечтал о более скромном церковном сане: вот, забытый всеми, стоит он на мессе поодаль от алтаря в облачении субдиакона, воздушное покрывало накинуто на плечи, его концами он держит дискос [1]; а по совершении таинства святых даров, в шитом золотом диаконском стихаре, на возвышении, одной ступенькой ниже священника, сложив руки и повернувшись лицом к молящимся, провозглашает нараспев: «Ite, missa est» [2]. Если когда-нибудь он и видел себя в роли священника, то только как на картинках в детском молитвеннике: в церкви без прихожан, с одним лишь ангелом у жертвенника, перед простым и строгим алтарем с прислуживающим отроком, почти таким же юным, как он сам. Только при непостижимых таинствах пресуществления и приобщения святых тайн воля его тянулась навстречу жизни. Отсутствие установленного ритуала вынуждало его к бездействию; и он молчанием подавлял свой гнев или гордость и только принимал поцелуй, который жаждал дать сам.

Сейчас в почтительном молчании он внимал словам священника и за этими словами слышал еще более отчетливый голос, который уговаривал его приблизиться, предлагал ему тайную мудрость и тайную власть. Он узнает, в чем грех Симона Волхва [3] и что такое хула на святого духа, которой нет прощения. Он узнает темные тайны, скрытые от других, зачатых и рожденных во гневе! Он узнает грехи, греховные желанья, греховные помыслы и поступки других людей: в полумраке церкви, в исповедальне губы женщин и девушек будут нашептывать их ему на ухо. И душа его, таинственным образом обретя неприкосновенность, даруемую рукоположением в сан, снова явится незапятнанной перед светлым престолом божьим. Никакой грех не пристанет к его рукам, которыми он вознесет и преломит святой хлеб причастия; никакой грех не пристанет к его молящимся устам, дабы случайно, не рас-

[1] Один из главных священных сосудов, употребляемых во время литургии.
[2] «Идите! Месса окончена» *(лат.)* — последние слова мессы.
[3] Грех Симона Волхва заключался в том, что он хотел за деньги приобрести апостольскую власть.

суждая о теле господнем, он не вкусил и не выпил его на осуждение себе. Он сохранит тайное знание и тайную власть, оставаясь безгрешным, как невинный младенец, и до конца дней своих пребудет служителем божьим, согласно чину Мелхиседека[1].

— Я завтра отслужу мессу,— сказал ректор,— чтобы всемогущий господь открыл тебе свою святую волю, и ты, Стивен, помолись своему заступнику, святому первомученику, великому угоднику божию, дабы господь просветил твой разум. Но ты должен быть твердо уверен, Стивен, что у тебя есть призвание, ибо будет ужасно, если ты обнаружишь потом, что его не было. Помни: став священником, ты остаешься им на всю жизнь. Из катехизиса ты знаешь, что таинство вступления в духовный сан — одно из тех таинств, что совершаются только раз, ибо оно оставляет в душе неизгладимый духовный след. Ты должен все это взвесить теперь, а не потом. Это важный вопрос, Стивен, ибо от него может зависеть спасение твоей бессмертной души. Мы вместе помолимся господу.

Он отворил тяжелую входную дверь и протянул Стивену руку, словно уже считал его своим сотоварищем по духовной жизни. Стивен вышел на широкую площадку над лестницей и почувствовал теплое прикосновение мягкого вечернего воздуха. Около Финлейтерс-Черч четверо молодых людей шагали, взявшись за руки, покачивая головами в такт веселенькому мотиву, который один из них наигрывал на концертино. Первые звуки музыки, как это всегда бывало с ним, стремительно понеслись над причудливыми строениями его мыслей, сокрушив их безболезненно и бесшумно, подобно тому как внезапно набежавшая волна сокрушает детские песочные башенки. Улыбнувшись пошленькому мотиву, он поднял глаза на лицо священника и, увидев на нем безрадостное отражение угасающего дня, медленно отнял свою руку, которая только что робко признала их духовный союз.

Спускаясь по лестнице, он вдруг почувствовал, что больше не мучит себя. Причиной стало это лицо на пороге колледжа, эта безрадостная маска, которая отражала угасающий день. Угрюмые картины жизни колледжа возникли в его сознании. Угрюмая, размеренная, серая жизнь ожидала его в ордене — жизнь без каждодневных забот. Он представил себе, как проведет первую ночь в монастыре и какой это будет ужас — проснуться утром в келье. Ему вспомнился тяжелый запах длинных коридоров в Клонгоусе, он услышал тихое шипение горящих газовых рожков. Внезапно им овладело безотчетное беспокойство. Лихорадочно ускорился пульс, и вслед за этим какой-то оглушительный гул, лишенный всякого смысла, разметал его настороженные мысли. Его легкие расширялись и сжимались, словно вдыхали влажный, теплый, душный воздух, и он снова ощутил теплый, влажный воздух в ванной Клонгоуса над мутной торфяного цвета водой.

Какой-то инстинкт, разбуженный этим воспоминанием, более сильный, чем воспитание и благочестие, пробуждался в нем всякий раз, когда он уже был совсем близок к этой жизни, инстинкт неуловимый и враждебный предостерегал его: не соглашайся. Холод и упорядоченность новой жизни отталкивали его. Он представлял себе, как встает промозглым утром и тащится с другими гуськом к ранней мессе, тщетно стараясь молитвами преодолеть томительную тошноту. Вот он сидит за обедом в общине колледжа. А как справишься с нелюдимостью, из-за которой ему было невмоготу есть и пить под чужим кровом? Как подавишь гордыню, из-за которой он всегда чувствовал себя таким одиноким?

Его преподобие Стивен Дедалус, S. J.[2]

Его имя в этой новой жизни внезапно отчетливо обозначилось у него перед глазами, а затем смутно проступило не столько само лицо, сколько цвет лица. Цвет этот то бледнел, то приобретал тускло-кирпичный оттенок. Что это — воспаленная краснота, какую он так часто видел зимним утром на выбритых щеках священников? Лицо было безглазое, хмуро-благообразное, набожное, в багровых пятнах сдерживаемого гнева. Что это? Может быть, он вспомнил лицо иезуита, которого одни мальчики называли Фонарным Столбом, а другие — Старым Лисом Кэмпбеллом?

Он проходил в это время мимо дома иезуитского ордена на Гарднер-стрит и как-то рассеянно подумал, какое окно будет его, если он когда-нибудь вступит в орден.

---

[1] По Библии. Мелхиседек, царь Салимский,— «священник Бога Всевышнего».
[2] Societas Jesu (*лат.*) — общество Иисуса (иезуитский орден).

И тут же удивился своему любопытству — душа его была далека от того, что еще совсем недавно представлялось ему святыней. И какой же слабой оказалась узда, державшая его столько лет в повиновении и дисциплине,— и именно в тот миг, когда один решительный, бесповоротный шаг грозил лишить его свободы раз и навсегда. Голос ректора, рассказывавший ему о гордых притязаниях церкви, о тайнах и власти священнического сана, тщетно звучал в его памяти. Душа его отдалялась, не внимая, не отвечая ему, и он уже теперь знал, что все увещевания обратились в пустые, официальные фразы. Нет, он никогда не будет кадить у алтаря. Его удел — избегать всяческих общественных и религиозных уз. Мудрость увещеваний священника не задела его за живое. Ему суждено обрести собственную мудрость вдали от других или познать самому мудрость других, блуждая среди соблазнов мира.

Соблазны мира — пути греха. И он падет. Он еще не пал, но падет неслышно, бесшумно, в одно мгновение. Не пасть — слишком тяжело, слишком трудно. И он почувствовал безмолвное низвержение своей души: вот она падает, падает, еще не пала, не пала, но готова пасть.

Переходя мост через речку Толка, он равнодушно взглянул на выцветшую голубую часовенку пресвятой девы, устроившуюся на подставке, словно курица на насесте, посреди закругленного окороком ряда убогих домишек. Затем, повернув налево, он вошел в переулок, который вел к его дому. Из огородов, вытянувшихся по пригорку над рекой, на него пахнуло тошнотворно-кислым запахом гнилой капусты. Он улыбнулся, подумав, что именно эта беспорядочность, неустроенность, и развал его родного дома, и застой растительной жизни все-таки возьмут верх в его душе. Короткий смешок сорвался с его губ, когда он вспомнил бобыля-батрака, работавшего на огороде за домом, которого они прозвали Дядя в Шляпе. И чуть погодя он невольно снова усмехнулся, когда представил себе, как Дядя в Шляпе, прежде чем приступить к работе, оглядывает поочередно все четыре стороны света и, тяжело вздохнув, втыкает заступ в землю.

Он толкнул незапиравшуюся входную дверь и прошел через голую переднюю в кухню. Его сестры и братья сидели за столом. Чаепитие уже почти кончилось, и только остатки жидкого, спитого чая виднелись на дне маленьких стеклянных кружек и банок из-под варенья, заменявших чашки. Корки и куски посыпанного сахаром хлеба, коричневые от пролитого на них чая, были разбросаны по всему столу. Там и сям расплывались маленькие лужицы, и нож со сломанной костяной ручкой торчал из начинки расковырянного пирога.

Печальное, мягкое, серо-голубое сияние угасавшего дня проникало в окно и в открытую дверь, окутывая и смягчая раскаяние, внезапно шевельнувшееся в душе Стивена. Все, в чем было отказано им, было щедро дано ему, старшему, но в мягком сиянии сумерек он не увидел на их лицах никакой злобы.

Он сел с ними за стол и спросил, где отец и мать. Один ответил:

— Пошлико домко смокотретько.

Опять переезд. Один ученик в Бельведере по фамилии Фэллон часто, глупо хихикая, спрашивал его, почему они так любят переезжать. Гневная морщинка пролегла на его нахмуренном лбу, когда он вспомнил это глупое хихиканье.

— Нельзя ли узнать, почему это мы опять переезжаем? — спросил он.

— Потомуко, чтоко наско выставляетко хозяинко.

С дальнего конца стола голос младшего брата затянул «Часто ночью тихой» [1]. Один за другим голоса подхватывали пение, пока, наконец, все вместе не запели хором. Так они будут петь, пока не появятся первые темные ночные облака и не наступит ночь.

Он подождал несколько минут, прислушиваясь, а потом сам присоединился к их пению. Он прислушивался с чувством душевной боли к интонациям усталости в их звонких, чистых, невинных голосах. Ведь они еще не успели даже и вступить на жизненный путь, а уже устали.

Он слушал этот хор, подхваченный, умноженный повторяющимися отзвуками голосов бесчисленных поколений детей, и во всех этих отзвуках ему слышались уста-

[1] Стихотворение английского поэта Томаса Мура (1779—1852), ирландца по происхождению.

лость и страдание. Казалось, все устали от жизни, еще не начав жить. И он вспомнил, что Ньюмен тоже слышал эту ноту в надломленных строках Виргилия, «выражавшую, подобно голосу самой Природы, страдания, и усталость, и вместе с тем надежду на лучшее, что было уделом ее детей во все времена».

■

Он не мог больше ждать.

От таверны «Байрон» до ворот Клонтарфской часовни, от ворот Клонтарфской часовни до таверны «Байрон», и обратно к часовне, и опять обратно к таверне. Сначала он шагал медленно, тщательно отпечатывая шаги на плитах тротуара и подгоняя их ритм к ритму стихов. Целый час прошел с тех пор, как отец скрылся с преподавателем Дэном Кросби в таверне, намереваясь расспросить его об университете. И вот целый час он шагает взад и вперед, дожидаясь их. Но больше ждать невозможно.

Он круто повернул к Буллю [1], ускорил шаг, чтобы резкий свист отца не настиг его и не вернул обратно, и через несколько секунд, обогнув здание полиции, завернул за угол и почувствовал себя в безопасности.

Да, мать была против университетской затеи. Он угадывал это по ее безучастному молчанию. Но ее недоверие подстегивало его сильней, чем тщеславие отца. Он холодно вспоминал, как вера, угасавшая в его душе, крепла и росла в сердце матери. Смутное, враждебное чувство, словно облако, затуманивая его сознание, разрасталось в нем, противясь материнскому отступничеству, а когда облако рассеялось и его просветленное сознание снова наполнилось сыновней преданностью, смутно и без сожаления он почувствовал первую, пока еще едва заметную трещинку, разъединившую их жизни.

Университет! Его уже не окликнуть, он ускользнул от дозора часовых, которые сторожили его детство, стремясь удержать его при себе и поработить, заставить служить их целям. Удовлетворение, а за ним гордость возносили его, словно медленные высокие волны. Цель, которой он был призван служить, но которая еще не определилась, незримо вела к спасению. И теперь она снова звала за собой, и новый путь вот-вот должен был открыться ему. Казалось, он слышит звуки порывистой музыки, то взмывающей на целый тон вверх, то падающей на кварту вниз, и вновь на целый тон вверх и на большую терцию вниз,— музыки, подобной трехъязычному пламени, вылетающему из ночного леса. Это была волшебная прелюдия, бесконечная, бесформенная, она разрасталась, ее темп становился все быстрей и неистовей, языки пламени вырывались из ритма, и, казалось, он слышит под кустами и травой бег дикого зверя, подобный шуму дождя по листве. Дробным шумом врывался в его сознание бег зайцев и кроликов, бег оленей и ланей, и наконец он перестал различать их, а в памяти зазвучал торжественный ритм ньюменовской строки:

«Чьи ноги подобны ногам оленя, и вечные длани простерты под ними».

Торжественное величие этого смутного образа вернуло его к мысли о величии сана, от которого он отказался. Все его детство прошло в мечтах о том, что он считал своим призванием но, когда настала минута подчиниться призыву, он отвернулся, повинуясь своенравному инстинкту. Теперь время прошло. Елей рукоположения никогда не освятит его тела. Он отказался. Почему?

Он свернул с дороги у Доллимаунта и, проходя по легкому деревянному мосту, почувствовал, как сотрясаются доски от топота тяжело обутых ног. Отряд христианских братьев возвращался с Булля. Они шли попарно, и пары одна за другой вступали на мост. Теперь уже весь мост ходил ходуном под их ногами. Их грубые лица, на которых плясали то желтые, то красные, то багровые отсветы моря, проплывали мимо него, и, стараясь смотреть на них непринужденно и равнодушно, он почувствовал, как его лицо вспыхнуло от сочувствия и стыда. В досаде на самого себя он старался скрыть свое лицо от их взглядов и смотрел вниз, в сторону, на мелкую бурлящую воду под мостом, но и там было отражение их высоких нелепых шляп, жалких, узеньких воротников и обвисших монашеских ряс.

---

[1] Волнорез в Дублине.

— Брат Хикки.
— Брат Квейд.
— Брат Макардл.
— Брат Кью [1].

Их благочестие такое же, как их имена, их лица, их одежда; бесполезно было внушать себе, что их смиренные сокрушающиеся сердца, может быть, платили несравненно более высокую дань преданности, чем его сердце,— дар во сто крат более угодный богу, чем его изощренное благочестие. Бесполезно было взывать к своему великодушию, говорить, что если бы он, когда-нибудь смирив гордыню, подошел к их дому поруганный, в нищенском рубище, они были бы к нему великодушны и возлюбили бы его как самих себя. Бесполезно и, наконец, тягостно было отстаивать наперекор собственной холодной уверенности, что вторая заповедь повелевает нам возлюбить нашего ближнего как самого себя не в смысле количества и силы любви, но любить его так же, как самого себя.

Он вспомнил фразу из своей записной книжки и тихо про себя произнес:

«День пестро-перистых, рожденных морем облаков» [2].

Фраза, и день, и пейзаж сливались в один аккорд. Слова. Или их краски? Он дал им засиять и померкнуть, оттенок за оттенком. Золото восхода багряная медь и зелень яблочных садов, синева волн, серая по краям пестрая кудель облаков. Нет, это не краски. Это равновесие и звучание самой фразы. Значит, ритмический взлет и ниспадение слов ему нравятся больше, чем их смысл и цвет? Или из-за слабости зрения и робости души преломление пылающего, ощутимого мира сквозь призму многокрасочного, богато украшенного языка доставляет ему меньше радости, чем созерцание внутреннего мира собственных эмоций, безупречно воплощенного в ясной, гибкой, размеренной прозе?

Он сошел с подрагивающего моста на твердую землю. В ту же минуту ему показалось, будто в воздухе пахнуло холодом, и, покосившись на воду, он увидел, как налетевший шквал возмутил и подернул волны рябью. Легкий толчок в сердце, судорожно сжавшееся горло снова дали почувствовать ему, как невыносим для его тела холодный, лишенный человечности запах моря: но он не повернул налево к дюнам, а продолжал идти прямо вдоль хребта скал, подступавших к устью реки.

Мутный солнечный свет слабо освещал серую полосу воды там, где река входила в залив. Вдалеке, вниз по медленно текущей Лиффи чертили небо стройные мачты, а еще дальше, окутанная мглой, лежала неясная громада города. Подобно поблекшему узору на старинном гобелене древний, как человеческая усталость, сквозь вневременное пространство виднелся образ седьмого града христианского мира [3], столь же древнего, столь же изнемогшего и долготерпеливого в своем порабощении, как и во времена норманнского владычества [4].

Уныло он поднял глаза к медленно плывущим облакам, перистым, рожденным морем. Они шли пустыней неба, кочевники в пути, шли высоко над Ирландией, дорогой на запад. Европа, откуда они пришли, лежала там, за Ирландским морем. Европа чужеземных языков, изрезанная равнинами, опоясанная лесами, обнесенная крепостями. Европа защищенных окопами и готовых выступить в поход народов. Он слышал какую-то путаную музыку воспоминаний и имен, которые почти узнавал, но не мог даже на мгновение удержать в памяти, потом музыка начала уплывать, уплывать, уплывать, и от каждого уплывающего вздоха туманной мелодии отделялся один долгий призывный звук, прорезавший, подобно звезде, сумрак тишины. Вот опять! Опять! Голос из потустороннего мира взывал:

— Привет, Стефанос!
— Вон идет Дедал!
— А-а, хватит, Двайер! Тебе говорят! А то как двину тебе в физию. А-а!
— Так его, Таусер! Окуни, окуни его!

---

[1] Распространенные ирландские фамилии.
[2] Из романа Хью Миллера «Утесы-свидетели» (1869), в котором описывается сотворение мира.
[3] Подразумевается Дублин.
[4] Имеется в виду норманнское завоевание Ирландии в VIII—IX веках.

— Сюда, Дедалус! Бус Стефануменос! Бус Стефанофорос! [1]

— Окуни его, Таусер! Топи его, топи.

— Помогите, помогите!.. А-а!

Он узнал их голоса в общем крике, прежде чем различил лица. Один только вид этого месива мокрой наготы пронизывал его знобкой дрожью. Их тела, трупно-белые, или залитые бледно-золотым сиянием, или докрасна обожженные солнцем, блестели влагой. Трамплин, кое-как прилаженный на камнях, ходивший ходуном при каждом прыжке, грубо обтесанные камни крутого волнореза, через который они карабкались в своей возне, сверкали холодным мокрым блеском. Они хлестали друг друга полотенцами, набрякшими от холодной морской воды, и холодной соленой влагой были пропитаны их слипшиеся волосы.

Он остановился, откликаясь на возгласы и легко парируя шутки. Какими безликими казались они все: Шьюли — на сей раз без широкого, обычно расстегнутого воротничка, Эннис — без ярко-красного пояса с пряжкой в виде змеи и Конноли — без своей широкой куртки с оборванными клапанами карманов. Больно было смотреть на них, мучительно больно видеть признаки возмужалости, которые делали отталкивающей их жалкую наготу. Может быть, в многолюдности и шуме укрывались они от тайного страха, притаившегося в душе. И ему вспомнилось, что вдали от них, в тишине его охватывал ужас перед тайной собственного тела.

— Стефанос Дедалос! Бус Стефануменос! Бус Стефанофорос!

Их подтрунивания были для него не новы, и теперь они льстили его спокойному, горделивому превосходству. Теперь, более чем когда-либо, его необычное имя звучало пророчеством. Таким вневременным был серый теплый воздух, таким переменчивым и безликим его собственное настроение, что все века слились для него в один. Всего какой-нибудь миг назад призрак древнего датского королевства предстал перед ним сквозь завесу окутанного мглой города. Сейчас в имени легендарного мастера [2] ему слышался шум глухих волн; казалось, он видит крылатую тень, летящую над волнами и медленно поднимающуюся ввысь. Что это? Был ли это дивный знак, открывающий страницу некой средневековой книги пророчеств и символов? Человек, подобный соколу в небе, летящий к солнцу над морем, предвестник цели, которой он призван служить и к которой он шел сквозь туман детских и отроческих лет, символ художника, кующего заново в своей мастерской из косной земной материи новое, парящее, неосязаемое, нетленное бытие?

Сердце трепетало, дыхание участилось, сильный порыв ветра пронзил все его существо, как если бы он взмыл вверх, к солнцу. Сердце трепетало в страхе, а душа уносилась ввысь. Душа парила в потустороннем мире, и тело, его до боли знакомое тело, очистилось в единый миг, освободившись от неуверенности, стало лучезарным и приобщилось к стихии духа. Экстазом полета сияли его глаза, порывистым стало дыхание, а тело, подхваченное ветром, было трепещущим, порывистым, сияющим.

— Раз, два... Берегись!..

— Крайпс, я тону!..

— Раз! Два! Три! Прыгай!..

— Следующий, следующий!..

— Раз!.. Уф!..

— Стефанофорос!..

Горло у него щемило от желания крикнуть во весь голос криком сокола или орла в вышине, пронзительно крикнуть ветру о своем освобождении. Жизнь взывает к его душе — не тем скучным, грубым голосом мира обязанностей и отчаяния, не тем нечеловеческим голосом, что звал его к безликому служению церкви. Одно мгновенье безудержного полета освободило его, и ликующий крик, который сдерживали его губы, ворвался в его сознание:

---

[1] Бус — по-гречески бык. Стефанос (в английском произношении Стивен) — венец, гирлянда. Бус Стефануменос означает, что у Стивена душа быка (намек на его сходство с Фомой Аквинским, которого часто называли молчаливым и упрямым, как бык). Бус Стефанофорос — жертвенный бык, украшенный гирляндой.

[2] Имеется в виду Дедал, с именем которого совпадает фамилия джойсовского героя. Как известно, Дедал и его сын Икар, отважившийся взлететь к солнцу на крыльях из воска и перьев, являются символами искусства и дерзания.

— Стефанофорос!..

Теперь это всего лишь саван, сброшенный с бренного тела: и страх, в котором он блуждал днем и ночью, и неуверенность, сковывавшая его, и стыд, терзавший его изнутри и извне,— всего лишь могильные покровы, саван.

Душа его восстала из могилы отрочества, стряхнув с себя могильные покровы. Да! Да! Да! Подобно великому мастеру, чье имя он носит, он гордо создаст нечто новое из свободы и мощи своей души — нечто новое, живое, парящее, прекрасное, нерукотворное, нетленное.

Он быстро сбежал с откоса, не в силах больше сдерживать горения в крови. Он чувствовал, как горят его щеки, песня клокочет в горле, ноги просятся в путь — странствовать. Вперед! Вперед! — словно взывало его сердце. Сумерки спустятся над морем, ночь сойдет на долины, заря забрезжит перед странником и откроет ему незнакомые поля, холмы и лица. Но где?

Он посмотрел на север в сторону Хоута [1]. Море уже отхлынуло, обнажив линию водорослей на пологом откосе волнореза, и волна отлива быстро бежала вдоль побережья. Уже среди мелкой зыби теплым и сухим овалом проступала отмель. Там и сям в мелкой воде поблескивали песчаные островки, а на островках, и вокруг длинной отмели, и среди мелких ручейков на пляже бродили полураздетые фигуры, то и дело нагибаясь и что-то поднимая с песка.

Через несколько секунд он уже стоял босой, носки засунул в карманы, а брезентовые туфли связал за шнурки и перекинул через плечо, потом вытащил из мусора, нанесенного приливом, заостренную, изъеденную солью палку и слез вниз по волнорезу.

По отмели бежал ручеек. Медленно он побрел вдоль него, вглядываясь в бесконечное движение водорослей. Изумрудные, черные, рыжие, оливковые, они двигались под водой, кружась и покачиваясь. Вода в ручейке, потемневшая от этого бесконечного движения, отражала высоко плывущие облака. Облака тихо плыли вверху, а внизу тихо плыли морские водоросли, и серый теплый воздух был спокоен, и новая, бурная жизнь пела в его жилах.

Куда кануло его отрочество? Где его душа, избежавшая своей судьбы, чтобы в одиночестве предаться скорби над позором своих ран и в обители убожества и обмана принять венок, облачившись в истлевшие покровы, которые распадутся в прах от одного прикосновения? И где теперь он сам?

Он был один. Отрешенный, счастливый, коснувшийся пьянящего средоточия жизни. Один — юный, дерзновенный, неистовый, один среди пустыни пьянящего воздуха, соленых волн, выброшенных морем раковин и водорослей, и дымчато-серого солнечного света, и весело и радостно одетых фигур детей и девушек, и звучащих в воздухе детских и девичьих голосов.

Перед ним посреди ручья стояла девушка, она стояла одна, не двигаясь, глядела на море. Казалось, какая-то волшебная сила превратила ее в существо, подобное невиданной прекрасной морской птице. Ее длинные, стройные, обнаженные ноги, точеные, словно ноги цапли — белее белого, только прилипшая к ним изумрудная полоска водорослей метила их как знак. Ноги повыше колен чуть полнее, мягкого оттенка слоновой кости, обнажены почти до бедер, где белые оборки панталон белели, как пушистое оперение. Подол серо-синего платья, подобранный без стесненья спереди до талии, спускался сзади голубиным хвостом. Грудь — как у птицы: мягкая и нежная, нежная и мягкая, как грудь темнокрылой голубки. Но ее длинные светлые волосы были девичьи, и девичьим, осененным чудом смертной красы, было ее лицо.

Девушка стояла одна, не двигаясь, и глядела на море, но когда она почувствовала его присутствие и благоговение его взгляда, глаза ее обратились к нему спокойно и встретили его взгляд без смущения и вызова. Долго, долго выдерживала она этот взгляд, а потом спокойно отвела глаза и стала смотреть вниз на ручей, тихо плеская воду ногой — туда, сюда. Первый легкий звук тихо плещущей воды разбудил тишину, чуть слышный, легкий, шепчущий, легкий, как звон во сне,— туда, сюда, туда, сюда,— и легкий румянец задрожал на ее щеках.

«Боже милосердный!» — воскликнула душа Стивена в порыве земной радости.

[1] Мол в Дублинском заливе.

Он вдруг отвернулся от нее и быстро пошел по отмели. Щеки его горели, тело пылало, ноги дрожали. Вперед, вперед, вперед уходил он, неистово распевая гимн морю, радостными криками приветствуя кликнувшую его жизнь.

Образ ее навеки вошел в его душу, но ни одно слово не нарушало священной тишины восторга. Ее глаза позвали его, и сердце рванулось навстречу этому призыву. Жить, заблуждаться, падать, торжествовать, воссоздавать жизнь из жизни. Огненный ангел явился ему, ангел смертной красоты и юности, посланец царств пьянящей жизни, чтобы в единый миг восторга открыть перед ним врата всех путей заблуждения и славы. Вперед, все вперед, вперед, вперед!

Он внезапно остановился и услышал в тишине стук собственного сердца. Куда он забрел? Который теперь час?

Вокруг него ни души, не слышно ни звука. Но прилив уже возвращался, и день был на исходе. Он повернул к берегу и побежал вверх по отлогой отмели, не обращая внимания на острую гальку; в укромной ложбинке среди песчаных холмов, поросших пучками травы, он лег, чтобы тишина и покой сумерек утихомирили бушующую кровь.

Он чувствовал над собой огромный равнодушный купол неба и спокойное шествие небесных тел; чувствовал под собой ту землю, что родила его и приняла к себе на грудь.

В сонной истоме он закрыл глаза. Веки его вздрагивали, словно чувствуя высшую упорядоченную энергию земли и ее стражей, словно ощущая странное сияние какого-то нового, неведомого мира. Душа его замирала, падала в этот новый мир, мир фантастический, туманный, неясный, словно мир подводных глубин, где двигались смутные существа и тени. Мир — мерцание или цветок? Мерцая и дрожа, дрожа и распускаясь вспыхивающим светом, раскрывающимся цветком, развертывался мир в бесконечном движении, то вспыхивая ярко-алым цветком, то угасая до белейшей розы, лепесток за лепестком, волна света за волной света, затопляя все небо мягкими вспышками, одна ярче другой.

Уже стемнело, когда он проснулся, песок и чахлая трава его ложа теперь не переливались красками. Он медленно встал и, вспомнив восторг, который пережил во сне, восхищенно и радостно вздохнул.

Он взошел на вершину холма и осмотрелся кругом Уже стемнело. Обод молодого месяца пробился сквозь бледную ширь горизонта, обод серебряного обруча, врезавшийся в серый песок; с тихим шепотом волны прилива быстро приближались к берегу, окружая, как островки, одинокие, запоздалые фигуры на отдаленных песчаных отмелях.

(Окончание следует)

Критика

ВИТЕЗСЛАВ РЗОУНЕК

НОВЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОЙ ПРОЗЫ

Тематическое, жанровое, стилевое разнообразие современной чешской прозы бросается в глаза с первого же взгляда История, борьба против фашизма, послевоенное развитие, облик нашей деревни рабочая тема, жизнь молодых... Многие с удивлением обнаруживают например, что у нас есть новая «деревенская» проза, а ведь кое-кто считал эту те му погребенной вместе со старой деревней Между тем жизнь социалистической деревни настолько интересна, что привлекает внимание писателей, в том числе — молодых Впрочем, молодые проявляют себя и в иных тематических областях. Можно сказать, что мы являемся очевидцами вступления в литературу численно большого отряда новых писателей.

При всем этом проза наша имеет один общий знаменатель — стремление глубже проникнуть в проблемы современности Именно здесь — источник многообразия и художественной выразительности Именно здесь — источник зрелости нынешней прозы, ее новых черт...

Слова весомые и обязывающие. Чешский читатель настороженно относится к словам «зрелость» и «новые черты». Ведь в годы кризисного развития более чем часто злоупотребляли подобными выражениями И за той «зрелостью», за теми «новыми чертами» явно пытались скрыть идейное наступление на самую сущность социалистической литературы, социалистического общества. В ходе сложной идейно-политической борьбы наша литература оказалась способной отстоять свой социалистический характер, Но можно ли утверждать, что за короткое время, прошедшее с тех пор, она приобрела новые черты? Отвечая на этот вопрос, ограничимся чешской прозой[1].

Одной из характерных особенностей современной чешской литературы, как уже было упомянуто, является обращение к исторической теме и создание в этой области произведений, отвечающих высоким критериям И не удивительно: ведь в историческом жанре работают такие писатели, как Милош Вацлав Кратохвил, Йозеф Томан, Норберт Фрид, Владимир Нефф, Вацлав Каплицкий, Богумил Ржига Франтишек Кожик

Подход к изображению исторических событий у разных писателей весьма различен. Одни следуют лучшим традициям исторической прозы XIX века, другие используют опыт, приобретенный в работе над современной тематикой, монтируя сюжет из отдельных, подчас контрастирующих кадров— почти как в кинофильме,— реконструируя документальные факты вполне в духе современной прозы Есть попытки писать на историческую тему прибегая к приемам документальной литературы При этом шкала средств художественного выражения, опирающихся на опыт прогрессивной прозы первой половины XX века, весьма широка

Несмотря на разность методов и, естественно, различие материала, у всех этих произведений есть нечто общее Авторы их подводят читателя к мысли о связи прошлого и настоящего в едином потоке жизни. Новая историческая проза показывает, как современность рождается из прогрессивного прошлого показывает, что народ наш всегда умел преодолевать кризисные ситуации и находить пути, ведущие вперед.

[1] Об особенностях развития современной чешской литературы в целом см. статью С. Шерлаимовой, напечатанную в «Иностранной литературе» № 3, 1975. *(Прим. ред.)*

Размышляя о судьбах исторического романа, Владислав Ванчура писал, что вечная переплавка жизни, в результате которой возникает действительность настоящего времени, озаряет новым светом и историю. Настоящее как бы заново осмысляет историю, давая ей свое толкование. В классовом обществе такая связь между настоящим и прошлым весьма относительна. Но созвучность интересов рабочего класса, социализма историческому развитию общества придает этой связи новое значение, отнюдь не преходящее. Становится более ясным, в чем именно прошлое является своим собственным будущим, отвечающим уже интересам всего общества, а не отдельных классов. Этот факт открывает перед исторической прозой социалистической эпохи совершенно новые перспективы

Романы Норберта Фрида «Императрица» (1972) и Владимира Неффа «У королев не бывает ног» (1973) отличаются чертами, еще не ставшими привычными для этого жанра, хотя черты эти имеют принципиальное значение для его развития. На первый взгляд «Императрицу» Фрида можно было бы счесть документальным произведением, построенным на исторических данных, в то время как Нефф в своем повествовании настолько осовременивает прошлое, что оно становится необычайно близким читателю Но в обоих романах изображаемый отрезок времени составляет этап общего развития, устремленного к нынешнему дню Воссоздавая события далекой эпохи, Фрид подводит к их восприятию с точки зрения последующего хода истории. Сопоставляя тогдашнюю оценку тогдашних событий с той, которая будет дана им впоследствии, писатель воссоздает реальный исторический процесс, логику, перед нами вырисовывается закономерность этого процесса.

То же самое мы видим и у Неффа. Его роман, повествующий о событиях XVI века,— полнокровное эпическое произведение; художественные средства, которыми он пользуется, дают возможность воспроизвести атмосферу позднего средневековья и вместе с тем взглянуть на те времена как бы из наших дней. Конечно, в данном случае перед нами — субъективный образ прошлого (иначе и быть не может в художественном произведении), но события, персонажи, их поступки в своей совокупности отражают объективный ход истории со всеми случайностями и закономерностями развития. Как у Фрида, так и у Неффа историческое произведение перестает быть образом лишь одного эпизода прошлого и становится отображением исторического процесса в его динамике, указывая таким образом реальные параметры развития человеческого общества, которые читатель может проверить собственным опытом...

Заметный вклад в развитие исторического жанра внес Милош Вацлав Кратохвил. Я хотел бы остановиться на его романах «Когда Европа танцевала вальс» (1974) и «Жизнь Яна Амоса» (1976). Первый посвящен европейским событиям 1905—1914 годов. Второй — гениальному педагогу XVII века Яну Амосу Коменскому, горячему патриоту, вынужденному большую часть жизни провести в изгнании и никогда не переставшему верить в освобождение своего народа от габсбургского ига.

Стало уже чуть ли не правилом, что каждое свое новое произведение Кратохвил пишет в совсем иной стилистической манере, нежели предыдущие. И это не случайно: Кратохвил более чем кто-либо подчиняет способ изложения избранной теме. Его творчество последних лет показывает, что писатель стремится как можно достовернее передать атмосферу той эпохи, которую выбирает временем действия своего произведения. Подтверждение этому мы находим и в романе о Коменском.

Писатель назвал свою книгу романом, хотя в ней доминирует документальный способ повествования. Описания конкретных событий сменяются умело отобранными цитатами, суждениями эрудированного историка-марксиста. И все же обозначение «роман» точно.

Автор, с его тонким чутьем историка и художника, понял, что собранные факты столь драматичны и значимы, что в сочетании с трудами самого Коменского дают полную возможность показать в увлекательной форме процесс возмужания знаменитого педагога, представить всю полноту и многосторонность его личности, более того — ощутить дух времени, понять идеи и проблемы, какими оно жило. Нам открывается подлинная историческая роль Коменского, вырисовывается его живой, конкретный образ. Знакомясь с истолкованием литературных трудов Коменского, читатель втягивается в мир его раздумий. А размышления Коменского над проблемами, какими жила его эпоха, и составляют основу романа... Итак, перед нами исторический роман, который по праву может быть назван философским. У читателя складывается представление об историческом масштабе личности Коменского и его идей, совершенно конкретное представление о том, как глубоко проник Коменский в сущность проблем, на целые века обогнав свое время в решении многих из них.

Таким образом, и Кратохвил — пусть другими средствами — добивается осуществления своего замысла, отвечающего самой прогрессивной тенденции современной исторической прозы: показать прошлое в его подлинном значении, в его реальной динамике, устремленной к нашему времени. Изображая Коменского, Кратохвил отказывается от сложившегося представления о нем как о сентиментальном патриоте—именно так его рисовала буржуазная историография,— представления, которое наложило свою печать и на некоторые наши историко-биографические труды о Коменском. Великий педагог заговорил с читателем по-иному, донося до него всю полноту идейно-философской жизни своего времени.

Романы Милоша В. Кратохвила и других упомянутых уже авторов свидетельствуют о том, что, лишь глубоко осмыслив закономерности нашей эпохи, писатели находят в

своих исторических произведениях пути к истинным ценностям прошлого, учатся изображать не просто прошлое, но и его реальную динамику. Прозаики, разрабатывающие историческую тему, плодотворно и творчески используют объективно благоприятные условия, которые открывает для них наша эпоха. Эти условия способствуют развитию и других прозаических жанров.

Процессы, происходящие в социалистическом обществе, завоевания, которые эти процессы несут с собой, вызывают совершенно естественную потребность измерить глубину перемен, ставших возможными благодаря этим процессам. Перемены, совершившиеся в деревне, поражают тем более, чем глубже было в свое время неверие в их осуществление. Естественно поэтому, что писатели стремятся отобразить все многообразие и драматизм конфликтов, возникавших в деревне, и, обращаясь к судьбам людей, показывают, какие нравственные ценности принесло социалистическое преобразование деревни.

Когда в 1971 году Ян Козак опубликовал «Святого Михала»[1], многие сочли этот роман всего лишь отголоском повести «Марьяна Радвакова», еще в шестидесятые годы занявшей прочное место в чешской литературе Вскоре, однако, стало ясно, что «Святой Михал» — книга, открывающая в нашей литературе новый период в разработке деревенской темы. Вслед за «Святым Михалом» вышел сборник Владимира Пржибского «Цвет наших ночей», центральный рассказ которого посвящен началу социализации нашей деревни. Затем последовали «Беспокойные борозды» (1972) Владимира Пазоурека. возвращающие читателя к тому же времени, и еще ряд произведений, из которых назовем хотя бы «Большую воду» (1973) Богумила Ногейла, «Нашего деда Йозефа» (1973) Ярослава Матейки и «Доктора Мелузина» (1973) Богумила Ржиги.

Конечно, «Святой Михал» Козака — не просто первая в этом ряду книга. Социализация деревни изображена здесь как реальный процесс изменения человеческих отношений, формирующий социалистическое сознание в людях, ломающий, после всех перипетий, старые обычаи и ведущий людей к пониманию смысла новой жизни, в которой каждый принимает добровольное — и конкретное — участие. Сила и могущество социализма в книге Козака — не тезис и не фон событий, а решающий фактор преображения людей. Именно это позволяет писателю вводить в свою книгу и юмор. Юмор этот — не насмешка равнодушного или злорадствующего наблюдателя. Ему свойственны и острота, и мягкость.

Эти черты особенно заметны в юмореске Матейки «Наш дед Йозеф». В ней много настоящего веселья, второй такой книги пожалуй, не найдешь в нашей современной прозе. Вместе с тем есть в ней и жестокие мотивы — отцеубийство из-за имущества. Ярко написанное, это произведение насыщено материалом и отличается редкостным лаконизмом. В чем же секрет необычайно земной атмосферы и полнокровности книги? Секрет прост: это особый угол зрения, позволяющий через опыт отдельного человека раскрыть логику исторического развития и совершившихся социальных перемен. Так определяются истоки человеческой мудрости героя книги — деда Йозефа, источник его юмора, его неукротимого жизнелюбия, стойкости.

Прошлое встречается с настоящим в характере деда Йозефа, и результат такого столкновения лучше всего формулируют собственные слова этого персонажа: «Разные уж господа сидели над нами, так надо было явиться рабочему Готвальду, чтоб я получил пенсию».

Тот же особый угол зрения позволяет увидеть порядок и смысл в кажущемся хаосе жизни. Он же объединяет описываемые события одного года в деревне в эпическое целое, оно, при всей многогранности, обладает удивительным единством. Манера художнического видения накладывает на юмореску Матейки печать сегодняшнего дня, однако и по содержанию, и по форме книга восходит к традиции чешской прозы, начало которой положила еще Божена Немцова, утверждавшая, что «на бедных мир стоит».

Столкновение прошлого с настоящим полемически представлено в романе Ногейла «Большая вода». Оценивая книгу, следует поставить автору в заслугу не только смелый показ трудностей начала кооперации в деревне, усугубленных стихийным бедствием — наводнением, грозившим и городу, и деревне Конечно, можно найти в романе страницы, написанные скорее языком публицистики, нежели художественной прозы, или места, где автор в пылу полемики выдвигает на первый план явления, пожалуй, второстепенные, хотя их недооценивали в свое время. Но бесспорно, что, показывая деятельность рабочего Урбана, участвующего в кооперации, Ногейл объясняет, почему «большая вода» кризисных лет представляла внешнюю, а отнюдь не внутреннюю опасность для деревни, ибо наша деревня, прошедшая через социалистические преобразования, не была такой, как ее изображали в шестидесятых годах некоторые писатели, старавшиеся подкрепить свои опасные политические позиции литературными аргументами На примере судьбы Урбана писатель убедительно доказывает, что социалистическая деревня — не мечта, а реальность.

Среди пишущих на деревенскую тему есть люди старшего и среднего поколения, есть и совсем молодые писатели — те, кто практически уже не знает деревни прошлого. Назовем среди них Яна Костргуна, автора романа «Черные овцы» (1974). Это его первая книга, родившаяся после непосредственного знакомства с нашей деревней. Ян

ВИТЕЗСЛАВ РЗОУНЕК
НОВЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОЙ ПРОЗЫ

[1] Роман напечатан в «Иностранной литературе» № 7, 8, 1973.

Кострryн обладает способностью пластически изображать жизнь, находить в ее горестях светлые, порой комические стороны, и наоборот — в разгар самого бурного веселья тронуть струну, звучащую трагически. Ось романа Кострryна составляет история отца и сына Тума. Глубокую пропасть между ними проложила давняя провинность отца, выступившего против коллективизации. Мы застаем героев в тот период, когда они очень нелегко находят пути друг к другу, когда в отце постепенно созревает понимание вреда, причиненного сыну,— и не только ему.

Этот конфликт разыгрывается на фоне деревенской жизни, в самой гуще многокрасочной толпы персонажей, каждый из которых несет в себе признаки времени, когда формировался его характер, и при этом живет всеми нашими сегодняшними заботами и радостями.

Чем глубже погружается читатель в поток событий, тем яснее ему становится, что у этой многогранной жизни есть свой внутренний закон: ценность человека определяется его готовностью участвовать в созидании новой социальной действительности. Действительности светлой и исторически оправданной.

В утверждении этого и проявилось новаторство Кострryна, его талант видеть действительность. В то время как у Богумила Ногейла и некоторых других писателей настоящее рассматривается и оценивается сквозь призму тяжелой борьбы, ценой которой оно достигнуто,— угол зрения у Кострryна иной. То, что проза пятидесятых годов — например «деревенские романы» Богумила Ржиги «Земля нараспашку» (1950), «Две весны» (1952), дилогия «Сельский житель» (1955 и 1957) — выражала как мечту, которая воодушевляла на борьбу за социализм в деревне, как мечту о лучшей жизни, лучших отношениях между людьми; то, что Ржига в романе «Доктор Мелузин» или Богумил Ногейл изображают как результат трудной борьбы в деревне,— у Кострryна является критерием не только в оценке прошлого, но и в непосредственных раздумьях о будущем.

Взгляд Кострryна на действительность отражает позицию молодых писателей Конфронтация прошлого с настоящим открывает возможности для нового. вполне конкретного в социальном смысле, решения конфликта между отцом и сыном Немногословная. но исполненная силы и глубины сцена. когда молодой Тума, встретившись с родителями после долгих лет разлуки. оглядывает родные места, позволяет проникнуть в суть драмы, приближающейся к апогею Старый Тума в разговоре с сыном признается в своей давней вине и в том, чего до сих пор никто не знал: он хотел покончить с собой. «Это не решение»,-- возражает сын. «В чем же оно тогда?» — звучит настойчивый вопрос отца. «А вот в этом.— И Петр обводит рукой мирные поля и луга, простирающиеся до самых лесов.-- Вот тут яснее всего видишь кто чего стоит. И кто за что стоит». На это у старого Тумы не находится ответа. Смысл возродившейся духовной связи между ними состоит в том, что сын сумел понять свое время и помог отцу понять, чем тот должен заполнить остаток жизни.

История старого и молодого Тумы — стержень романа, но есть в нем и другая важная линия: отношения между молодым Тумой и коммунистом Кадлецем, организатором кооператива (именно на него поднял когда-то оружие старый Тума). В тот момент, когда Петру грозила кара за преступление отца, Кадлец протянул ему руку помощи и не допустил, чтобы юношей завладела ненависть ко всем и вся. И не обманулся: в молодом Туме он нашел преемника.

Казалось бы, перед нами уже знакомый сюжетный ход. Но это не так. Кострryн тонко подмечает не только то, что роднит оба персонажа, но и те глубокие изменения, которые принесла с собой жизнь. Оба, и молодой Тума, и Кадлец, борются за кооператив, за все то, что дает деревне социализм. И все-таки Петр рассуждает уже иначе, общественная собственность для него уже нечто само собой разумеющееся, у него совсем другой подход к управлению хозяйством. Кадлец же, подводя итог своей жизни, любя свое дело, не без горечи осознает, что время прежних степенных хозяев-практиков проходит Все, что они должны были завоевать и внедрить,— сделано. Настает время хладнокровных, решительных, образованных, а главное молодых, упорных людей, которым не страшно делать то, что еще никогда не делалось. Таких же молодых, какими в свое время были Кадлец и его товарищи Вера их будет сильнее, они сумеют обратить в нее и других, и для этого им не понадобится десять-двадцать лет; этим молодым людям не придется терпеть лишения. Да, таким был удел поколения Кадлеца. На его долю выпало в свое время немало трудностей И хорошо, что время это прошло.

Новая действительность выступает теперь фактором, который входит в сознание человека и решающим образом на него воздействует. Рисуя образ Тумы-старшего, Кострryн показал, как рушится старая система ценностей Создавая образы Тумы-младшего или коммуниста Кадлеца, он отразил процесс развития и углубления конкретного гуманизма нашей эпохи, формирования молодого поколения, идущего на смену тем, кто боролся за установление социалистических порядков. Для этого молодого поколения социализм — уже неоспоримая реальность.

Роман Кострryна—хотя это и первая вещь писателя, который, естественно, еще не приобрел большого литературного опыта,— полнокровное эпическое произведение. Оно удивительно точно свидетельствует о том, что в жизни деревни, как и в литературе о ней, что-то существенно изменилось. И это «что-то» — не только небывало высокий жизненный уровень или социалистические отношения, быстро вошедшие в жизнь. Деревня уже не та, что в наших классических романах,— отсталая, резко дифференциро-

ванная в классовом и имущественном отношении. Деревня нищеты и бедняков. Люди в современных произведениях о деревне показаны с такой же полнотой свойств и чувств, как и горожане. При всем том нравственная основа психологии крестьян-бедняков — их стремление добиться счастья вместе со всеми и не бояться риска, когда речь идет об общем деле,— не утрачена, напротив, она получила дальнейшее развитие.

Итак, современная проза отличается не только от классических романов, повестей, рассказов из сельской жизни прошлого века и начала нынешнего. Некоторые черты отличают ее и от прозы пятидесятых годов, когда борьба за социалистическую деревню лишь начиналась. Новая проза, возвращаясь к прошлому, питается опытом этого социального противоборства. Ни в чем не приукрашивая фактов и не смягчая их классовой оценки, новая проза изображает конфликты и образы прошлых лет с бо́льшим разнообразием оттенков, психологически глубже, образ тогдашней действительности предстает более пластично и убедительно.

Изменения в социальном содержании жизни меняют, углубляют, конкретизируют представления о ее истинных ценностях. Об этом свидетельствует история старого Страки, который за ошибочный шаг, сделанный в попытке осуществить давнюю мечту о счастье, платит самой дорогой ценой. С его смертью как бы символически умирает прошлое. Этой смертью и кончается роман. Но жизнь, реальная жизнь, продолжается. Читатель знает, что молодой Тума отнюдь не без борьбы становится председателем кооператива. Есть еще люди, которые никак не могут забыть прошлое его отца.

Да, прошедшее и настоящее постоянно живут в нас. И, собственно, по-своему будут жить всегда, но важно знать, «кто чего стóит и кто за что стоит». Таков лейтмотив романа «Черные овцы».

Подход к изображению действительности, избранный Кострґуном, характерен для многих молодых литераторов. Последовательно исходя из норм обновленного, развивающегося социалистического строя, они пускаются — особенно в области прозы—в поиски, открывающие для литературы новые перспективы и творческие возможности. Это значит, что молодые готовятся принять эстафету социалистической литературы от старших современников.

Преодоление кризиса оказало глубокое благотворное воздействие на литературу. Факты показывают, что политическая консолидация и политика нового руководства нашей партии, основывающаяся на документах XIV и XV съездов КПЧ, укрепили наше социалистическое общество и внесли нечто новое в его революционную сущность. Это все настоятельнее ставит перед нами проблему человеческих ценностей. Стремление творить такие ценности, созвучные сегодняшнему дню, характерно для современной чешской прозы. В этом смысле обращает на себя внимание новая книга Яна Козака. Этот триптих под общим названием «Белый жеребец» (1975) — еще одно произведение писателя, созданное на материале поездки в Сибирь, увиденного и услышанного там. Уже его очерк «На охоте в Бамбуйке» (1970) показал, что писатель близко узнал и полюбил природу Сибири. На сей раз перед нами не репортаж и не очерк, а сборник рассказов. Каждый из них самостоятелен, но их объединяют образы нескольких героев, жителей далекой Сибири. Эти рассказы можно определить как психологическую прозу — конфликты тут скорее внутренние, чем внешние. И все же такая характеристика неточна.

С помощью реалий Козак умеет неповторимо передать атмосферу описываемой среды. Осенняя тундра, бескрайние просторы вечного льда вокруг одинокой полярной станции, зимняя тайга, подступающая к строительной площадке плотины,— эти картины увлекают своей особенной, подчас дикой красотой. В повестях Козака такие детали выполняют и еще одну роль: они открывают читателю путь к пониманию характера людей, живущих в тех местах.

Уже судя по очерку было ясно, что Козак стремился к чему-то гораздо большему, чем просто посещение новых мест и красочное описание их. Читая это произведение, видишь, что отношения между человеком и природой для автора — некая лакмусовая бумажка, выявляющая подлинную ценность человеческой личности. В новой книге эти взаимоотношения, эта способность найти себя, когда стоишь лицом к лицу с природой,— центральная тема.

В рассказе «Белый жеребец», давшем название всему сборнику, мы становимся свидетелями разрешения кризиса супружеской жизни. Молодая пара приезжает на север, чтобы вдали от тех мест, где они больно ранили друг друга, в тишине сурового края найти примирение и — ради детей — избежать развода. Сначала кажется, что это обоюдное желание исполнится. На лоне девственной природы Маша забывает горькие обиды, которые наносил ей муж. В памяти ее с новой силой всплывает время их первой любви, и она мечтает об ее возвращении. И муж ее тоже словно возвращается к себе, такому, каким она знала его в дни счастья. Но однажды на их глазах погибает белый жеребец, вожак табуна, на который напали волки. Он мог бы спастись бегством — но бросается в битву с голодной стаей, защищая своих кобыл и жеребят. Маша видит все это. И тут ей впервые открывается истинная причина неудачи ее брака — и тщетность всех усилий поправить непоправимое. То, что давно уже жило в ней, но что она не умела еще осознать, теперь ей ясно: жить со слабым и себялюбивым человеком она не может.

Сходны по теме и два других рассказа — «Полярное сияние» и «Плотина». Перед ли-

---

ВИТЕЗСЛАВ РЗОУНЕК
НОВЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОЙ ПРОЗЫ

цом вольных, неукрощенных сил природы обнаруживается подлинное лицо человека. И вот мы видим: тот — эгоист, а этот — человек чистого сердца. У того — искалеченный характер, а этот — человек мечты, жаждущий жить свободно и полноправно, как живет природа, окружающая его.

Есть здесь страницы, к которым возвращаешься снова и снова. Как, например, те, где Галя, героиня повести «Полярное сияние», желая предупредить товарищей о надвигающемся буране, сама попадает в центр снегового смерча. Она чуть было не погибла, спасая других. На неполных двух страницах Козак сумел описать эту сцену так, что мы вместе с этой маленькой и на первый взгляд хрупкой женщиной переживаем нескончаемые секунды отчаяния и страха перед смертельной опасностью, но при этом верим в ее волю, выдержку, способность бороться, воспитанные в ней отцом — отважным сибирским пролетарием.

Мотив человеческой стойкости, умения побеждать собственную слабость отчетливо звучит во всей книге. Драматичностью ситуаций книга напоминает рассказы Джека Лондона, так волновавшие нас в молодости и так волнующие нас до сих пор. Но в противоположность героям Джека Лондона герои Козака борются ради других. И думают они не о себе, не о настоящем, а о тех, с кем им выпало жить, об общем будущем. Пропасть, разделившая два мира, эпохальные изменения в обществе здесь более чем очевидны.

Умение искать и находить характеры людей нашего времени ставит Козака в ряды тех нынешних прозаиков, сущность произведений которых составляет активная защита ценностей человеческого духа, подвергавшихся сомнениям в кризисные шестидесятые годы. К таким произведениям относятся «Конечная остановка» (1971) Зденека Плугаржа—о доме для пенсионеров— и роман-робинзонада Яна Отченашека «Когда в раю шел дождь» (1972), очень популярный, в особенности среди молодежи. Сюда же следует отнести и «Возвращение с ржаного поля» (1973) Ладислава Фукса или «Один сребреник» (1974) того же Плугаржа.

В истекшие годы нашему обществу приходилось решать много важных задач. Необходимо было дать людям уверенность и перспективу. Большую роль призваны сыграть в этом литература и искусство. Вот почему политика партии, решая главные экономические и социально-политические вопросы, обновляя революционную природу нашего общества, открывает простор и для искусства.

Надо сказать, что деятели искусства в большинстве своем, как и все граждане нашего государства, получили уверенность и перспективу. И это уже нашло отражение в их творчестве. Наша проза сегодня безоговорочно связала себя с современностью. В ней ощущается биение жизни; в ней есть место и для драматических конфликтов, и для глубоких раздумий, и для тонкого юмора.

Разумеется, не все возможности тут исчерпаны, не все они использованы полностью. Не всякое произведение — находка. Есть и потери. Существенно, однако, что состояние нашей прозы, которое мы попытались вкратце охарактеризовать, состояние наших литератур — чешской и словацкой — неопровержимо свидетельствует о том, что они полны жизненных сил. Таков самый главный вывод, и опирается он на факты.

Перевод с чешского Н. АРОСЕВОЙ

◆

ЮРИЙ НАГИБИН

ОСТРОВИТЯНИН

Сон о Юхане Боргене

Вот никогда не думал, что Юхана Боргена, знаменитого Юхана Боргена, так трудно найти. Он не только самый большой из ныне здравствующих писателей Норвегии, но и один из лучших писателей современной мировой литературы. Норвежцы любят говорить с полуискренним смирением, что у них «маленькая страна», хотя по европейским масштабам территория Норвегии довольно значительна и главное — взгляните на карту: скандинавская «собака» лакает из Северного моря, а хвост купается в Баренцевом, далеко за Полярным кругом. Однажды мне пришлось лететь из Осло в Киркинес со всеми остановками, и это напомнило мне по тягомотной длительности сибирские перелеты. Очевидно, норвежцы имеют в виду народонаселение: четыре с половиной миллиона конечно, не много, особенно для такого пространства. И в этом малолюдстве великий писатель затерялся как иголка в стоге сена. Найти Боргена оказалось делом весьма и весьма не простым, хотя в Осло как меня уверяли, живет его дочь — писательница Ане Борген, но и она куда-то запропастилась.

Я обращался к людям, близким писательской среде: переводчикам, журналистам, литературоведам, издательским работникам, но таяли стремительно, апрельскими сосульками мои недолгие норвежские дни, а создатель «Маленького лорда» оставался неуловим. А я-то думал, что любой прохожий, стоит мне произнести заветное имя «Борген» возьмет меня за руку и отведет к тому, кто в глазах всего света является гордостью Норвегии.

И все же неделя не пропала даром: установили, что писателя нет в Осло. А там уж и не знаю, какие таинственные силы сработали, быть может, молчаливый норвежский бог? — но стал известен адрес Боргена и даже номер его далекого телефона. Загородное обиталище писателя находилось километрах в ста от Осло на острове (почему-то в Норвегии принято говорить: на островах). Как будто островитянин переносит свое легкое, съемное жилье с острова на остров. Быть может, когда-то так и делалось: выбил кабанов и оленей, переловил кроликов и куропаток, истощил каменистую почву и перебрался на другой остров, предоставив прежнему восстанавливать убыль. Борген жил на острове Асмален, и еле слышный, текущий по тонкому проводу, все время затухающий, теряющийся в воздушном океане голос его жены прошелестел, что он рад гостям, их сын будет ждать нас в полдень с моторкой, чтобы перевезти через пролив.

Почему я так упорно рвался к Боргену? Должен признаться — знаменитости, особенно литературные, никогда не привлекали меня. Пушкин говорил: поэт весь в своих словах. То бишь нечего ждать, будто личное знакомство что-то прибавит к наслаждению его музой. Надменный Гримм писал Жан-Жаку Руссо: «Дайте мне наслаждаться Вашим прекрасным талантом и избавьте меня от Вашей неприятной личности». Требование дерзкое, но примечательное. Впрочем, те немногие великие люди, которых я знал, вызывали во мне восхищение и глубокую нежность, а отнюдь не разочарование, но все

равно, сам не знаю почему, знаменитости мне противопоказаны.

Роман Юхана Боргена «Маленький лорд» потряс меня, как мало что в мировой литературе. Я могу сравнить впечатление, произведенное им, лишь с открытием для себя прозы Пруста с «Улиссом» Джойса, с романом Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел», с неистово поэтичным бредом Маркеса «Сто лет одиночества» Каждое из этих произведений было рождением неведомого мира, с каждым я сам рождался наново, обогащенный новым знанием безмерных человеческих глубин. ошеломленный неисчерпаемостью литературных средств

В «Маленьком лорде» нет новаторства формы, он вполне традиционен в духе старого, привычного европейского романа. где жизненная история героя. выходца из буржуазной среды излагается в хронологическом порядке, от дней безмятежного детства. Название, перекликающееся с известной умилительно-сопливой детской книжкой Барнетт «Маленький лорд Фаунтлерой», как бы призвано подчеркнуть добропорядочный настрой романа. Но в этом заключена жестокая, беспощадная ирония Боргена, умеющего быть таким добрым в своих рассказах о простых людях Норвегии а здесь вдохновенно, скрупулезно и въедливо, с поразительными озарениями прослеживающего историю своего врага Вилфреда Сагена («Маленький лорд» — лишь первая часть трилогии) врага всех нас: высокоодаренного подростка, потом юноши. ставшего в роковой час норвежской истории предателем своего народа, пособником фашистов. Самое же удивительное, что роман хоть он и не от первого лица, написан как бы изнутри центрального образа. Проникновение автора в суть странного мальчика с локонами до плеч — потому и зовет его «Маленьким лордом» любящая мать, усердно культивирующая нежный инфантилизм в быстро мужающем сыне,— столь глубоко что он как бы сливается с ним, и нельзя отделаться от ощущения, будто это написано о самом себе. Кстати, Борген и социально близок своему герою — сын видного юриста, выласканный материальным переизбытком в сочетании с духовной утонченностью. В изображаемую Боргеном эпоху именно эта среда формировала крайних индивидуалистов что в пору второй мировой войны и оккупации Норвегии повернулись к фашизму Но как сочетать это с отчетливой автобиографичностью романа?

Ведь Юхан Борген — последовательный антифашист, угодивший за свои убеждения. когда гитлеровцы заняли Норвегию. в квислинговский застенок. Такова принятая у нас версия его ареста. Но в Норвегии я узнал, что вовсе не фельетоны, статьи и эссе, тонко язвившие оккупантов и коллаборационистов, привели Боргена в тюрьму Грини — он был назначен связным между возглавившими норвежское Сопротивление коммунистами и лондонским правительством. Писатель может натянуть на себя любую личину, зажить в любой шкуре, но Борген не перевоплощался в Маленького лорда, он и есть Маленький лорд. Где и как расцепляется он со своим героем, когда из сообщника становится судьей,— понять это значило бы понять. очень много не только в самом Боргене, но и в природе творческого акта.

«Маленький лорд» загадывает трудные загадки. Я не знаю другого романа столь прозрачного стилистически и столь сложного для постижения. Не замечаешь как автор, легко и просто орудуя чисто бытовыми подробностями (при этом Борген вовсе не «бытовик», для него каждая присутствующая в мире вещь — знак некой высшей жизни), затягивает тебя в бездонные омуты, в такие грозные, темные глубины, что, даже умея плавать, ты начинаешь тонуть

А как идилличны первые страницы! Торжественный семейный обед в богатом, нарядном норвежском доме. Любезно и важно принимает гостей трогательный хозяин, четырнадцатилетний мальчик с душистыми до плеч локонами Вилфред Саген — Маленький лорд. Это милое прозвище нежно щекочет нёбо его прелестной матери, ведь оно — залог длящегося невинного детства сына и ее молодости, грустной вдовьей молодости: красивый, блестящий, даровитый муж рано покинул мир. Перед нами типично буржуазный дом благостной, но уже истекающей, уже пронизанной тревогой поры — канун первой мировой войны. Дом высокоинтеллигентный, духовный, утонченный, здесь не пахнет салом денег, и даже дядя-делец (а есть еще дядя — эстет, музыкант, знаток искусств) не излучает вульгарности, лишь бодрый, свежий практицизм.

Атмосфера создана, и читатель, уже поверивший мягкой и властной легкой и мускулистой руке автора, готов с охотой следовать за ним в поэтичный мир одаренного, милого, странного мальчика с длинными волосами. Но уже в следующей главе эта добрая рука наносит читателю прямой в челюсть, от которого взбалтываются мозги в черепной коробке. Мальчик выпрашивает у матери разрешение пропустить школу запасается у служанки бутербродами, надевает новое элегантное пальто опускает в шелковый карман электрический фонарик и отправляется добывать чистотел из-под талого снега для своего гербария. Да, если б так... На самом же деле он пробирается — с великими предосторожностями. достойными опытного преступника — в квартал бедноты, где сперва провоцирует уличных мальчишек на столкновение, потом ловко ошеломив их туповатые, доверчивые души фонариком-невидалью, приводит в покорность и подбивает на уголовщину: очистить кассу хозяина табачной лавки, жалкого старика. Мелкий и подлый грабеж удался. Сам Маленький лорд, конечно, не притронулся к деньгам но когда его сообщники убежали двумя сильными ударами поверг на пол несчастного старика, после чего спокойно покинул лавку и лишь затем до содрогания насладился воображаемой погоней, опасностью и счастливым избавлением

Дикий поступок? Да. Но не более дикий, чем другое его деяние, тоже вроде бы ничем не вызванное. Однажды в исходе ночи он

взял велосипед и помчался опять же в бедный квартал, но в другой, пригородный, и там развел между домами небольшой, но опасноватый костер. А затем, остановленный за езду без света, изо всех сил ударил коротышку полицейского и вновь подарил себе ощущение погони, ужаса и спасения.

Что это — юный доктор Каллигари[1], давно в зубах навязший образ перевертня? О нет! Никакого раздвоения личности: Вилфред целен как монета, в которой тоже две стороны, хотя монета одна. Целен как фальшивая монета. Но не будем забегать вперед. Что ж, читатель ныне опытный. Им немало читано-перечитано на тему такого вот ожесточенного, бессмысленного внешне, но глубоко органичного молодого бунта. И первое, что приходит на память,— Жак из знаменитой эпопеи Роже Мартен дю Гара «Семья Тибо». Бунт одаренного юноши против затхлой буржуазной среды, ее лжи, лицемерия сковывающих условностей, бунт порой нелепый, даже уродливый, но внутренней сутью своей здоровый, благородный, как и бессознательная тяга к людям другого класса. И все было бы очень просто, кабы было так... Но читатель скоро начинает чувствовать, что дикие бунтарские выходки Вилфреда лишены социальной подоплеки. Он всегда помнит что он — Маленький лорд хотя претенциозное прозвище ему ненавистно, как и локоны до плеч,— просто вырос из этих атрибутов детства. Он тянется к низшим лишь для того, чтобы острее ощутить свое превосходство, свою избранность, утвердиться в презрении к тем, кто родился на теневой стороне жизни. Его бунт порожден стремлением освободиться от окружающего, создать свой собственный, замкнутый, никому не доступный мир. И это не препятствует вспышкам любви-жалости к матери, к изысканному дяде Рене и даже к примитивному дяде Мартину, словом, к родной крови, и влюбленности в молодую тетку Кристину, и трепетной нежности к девочке Эрне, чьи губы шершавы от солнца и морской соли, и острой тяге к скрипачке Мириам, но все эти добрые чувства проявляются лишь к людям своего круга. Да, Жаком Тибо тут и не пахнет!

Постепенно в книге нарастает тема редкой музыкальной одаренности Маленького лорда, которому по плечу — о, хрупкое отроческое плечо!—все тайны Иоганна Себастьяна Баха, и меняется образный строй романа, ткань его становится легче, воздушней, поэтичней, и как легко дается Боргену это воспарение! Хоть он и не привязан к быту его наблюдательный глаз цепко ловит все подробности жизни, обстающие человека, и будто сами собой возникают и натюрморт и жанр, и городской пейзаж, но как же легко взлетает он по лунному лучу туда, где в хрустальной чистоте звучит лишь музыка сфер. Очарованный и несколько успокоенный читатель начинает думать, что ему предложен роман о трудном вызревании художественной натуры. В памяти оживает диковатый Юджин, герой романа Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел», тоже окрашенного автобиографичностью. И принимаешь крайний субъективизм Вилфреда, его острые, порой враждебные отношения с окружающими, тайный конфликт с матерью, ожесточенное стремление скрыть от всех свое «я», и самолюбование принимаешь, и самовозвеличивание, и замыканье в раковину, и внезапный бросок к людям, и вечный поиск чего-то, и мучительные позывы созревающей плоти. До чего же не просто создается художник! Талант — дар божий, но и насмешка дьявола.

Не успев окрепнуть, сходство с вулфовским героем исчезает без следа. Пусть и невысказываемая прямо, цель индивидуалиста Юджина — в конечном счете слиться с миром. Каждому истинному художнику необходим выход к людям иначе зачем все, что он делает? Конечная и рано постигнутая цель Вилфреда — отделиться от мира непроницаемой стеной и тем обрести полную свободу. При этом Маленький лорд вовсе не освобождает мир от обязательств в отношении себя — ему должно получать из окружающего пищу для самоутверждения любовь, удовольствия и удивление. Да что-то не похоже на «портрет художника в юности»! Тем более что из патологического стремления скрыть свою внутреннюю жизнь он оборудовал рояль н е м о й клавиатурой, и музыка из-под его пальцев звучит лишь ему одному. А вскоре он и сам онемел, заперев голос, сведенный судорогой гортани. И пусть потом голос вернулся к нему, это не меняет сути дела и роковой предопределенности пути. Вот в какую черную дыру загнал Вилфреда бес сверхиндивидуализма. Дальше, как говорится, идти некуда. Ан есть еще шаг — за край, и герой совершает его в конце романа. Но здесь так смешалось реальное с символами, грубая правда жизни с видениями, проносящимися в воспаленном воображении героя, что финал романа во всей его сложности и не перескажешь. Если идти по поверхности, то дело выглядит так: движимый всегдашним стремлением ловить рыбу в мутной воде чужой социальной среды, пьяный Вилфред попадает в компанию двух проходимцев и проститутки, которые грабят его, раздевают, избивают и голого бросают в лесу. Дело осложнено тем, что к этим полупризрачным людям подтягиваются прежние, казалось бы, давно распутавшиеся узлы: совращение уличных мальчишек, покушение на хозяина табачной лавки — старик, представьте, умер от шока; ко всему еще скрипачка Мириам оказывается племянницей убитого старика, в память его она приходит играть на скрипке беднякам квартала. Бред заворачивается круто, образы, порождаемые ущербной совестью и ликим страхом, переплетаются с явью, и уже не отделить правды от вымысла. Ко всему еще — и это не случайно — один из проходимцев вдруг выворачивается в социалиста... А завершается эта дьяволиада фантасмагорическим бегством голого,

[1] Герой кинофильма «Доктор Каллигари», получившего широкую популярность в 20—30-е годы. *(Здесь и далее—прим. автора.)*

ЮРИЙ НАГИБИН
ОСТРОВИТЯНИН

окровавленного, со сломанной рукой Вилфреда от преследующей его толпы (навязчивый кошмар всей его жизни) и отчаянным прыжком в море. Но тут, в море, его и настигают откуда-то возникшие лодки и чей-то голос вещает: «Теперь он от нас не уйдет». Сложный, запутанный узор раскрывается в очевидном символе краха индивидуализма и возмездии.

Не случайно голос принадлежит «человеку в рабочей блузе». Вилфред противопоставил себя всему миру, но один мир он в тайниках души любил — благоуханный, искусственный, фальшивый, порой невыносимый, но близкий всей кровью мир матери, дяди Рене и даже дяди Мартина, а другой — черный, луковый мир простонародья — ненавидел и боялся. И пытался причинить этому миру зло. И попался с поличным.

Но человек в блузе все-таки ошибся: Вилфред в конце концов угодил в совсем иные руки. В последней части трилогии «Теперь он в наших руках» сверхиндивидуалист и человеконенавистник приходит к фашистам. Но незатухающая мысль о возмездии толкает его к самоубийству. Все закономерно. А как же Бах, Букстехуде — ведь было же это?.. Да, было. Один из самых мерзких нацистских преступников, палач Кальтенбруннер, блестяще играл на рояле. Но это — к слову...

Казалось бы, при такой однозначности исчерпывающе точного решения не должно быть сложностей в понимании главного образа романа. Еще до войны появилось немало хороших книг, достоверно изображавших превращение обывателя в нациста. Игра там велась с открытыми картами: читатель заранее знал, куда его ведут, и хотел лишь, чтобы его не обманывали не подсовывали слишком облегченных решений. Стоящие писатели создавали математически точные структуры, это было полезное, обогащающее чтение. Но колдовство Боргена — не чета даже самой мастеровитой квалифицированной литературе, если она без бога. Он прядет не из льняной кудели а из лунного света, но его нитку не оборвать.

Борген не решает заранее поставленной задачи, не строит систему доказательств, а зорко и трепетно следит за своим героем, выколупывая его из всех укромий, из всех защитных оболочек, до которых тот столь увертливо охоч. А это совсем не просто, ибо лучше всего герой хоронится в темных углах души самого писателя или еще глубже — в тайниках подсознания Борген — об этом уже говорилось — выходец из того же круга, что и Маленький лорд, его искушали те же соблазны, дразнили те же бесы, насылаемые временем, средой модной философией, литературой искусством. Разумеется, он был не литературной схемой, но нормальным мальчиком из теплого тела, то плохим, то хорошим склонным и к детской жестокости, и к добрым порывам к дерзостям и к постижению чужой жалостной сути. Он не был запрограммирован как и всякий живой человек, он испытал губительные соблазны, но спасся, одолел волей к творчеству смертный грех индивидуализма. А вот столь близкий ему Маленький лорд не одолел, не пожелал одолеть, заглушил в себе чистый родник творчества и человечности ради призрачного торжества над окружающим, принял причастие дьявола и пал под обломками своей распавшейся личности. Взаимопроникновение автора и героя определило незаданность и глубину образа и вместе с тем крайне затруднило его охват. Признаюсь, я рассчитывал, что Борген поможет мне укрепиться в моем понимании романа и героя: глядишь, приоткроет дверцу туда куда мне не дано заглянуть по недоступности всей трилогии.

И еще мне хотелось хоть что-то понять в Норвегии. Ну хотя бы, почему живые норвежцы так непохожи на свое литературное воплощение у лучших писателей, будь то Ибсен или Бьёрнсон, Унсет, или Гамсун, или современный нам Юхан Борген. А может, правильней сказать, что герои лучших норвежских книг мало похожи на тех норвежцев, что заполняют улицы Осло и Бергена, Драммена и Тронхейма. Так, во всяком случае, мне кажется.

Тут я должен обратиться к дням десятилетней давности. Тогда я приехал в Норвегию за материалом для сценария фильма «Красная палатка». Меня интересовала в первую очередь романтическая фигура великого путешественника Руала Амундсена. Взволнованный встречей со страной моих отроческих грез, я ожидал в каждом норвежце увидеть лейтенанта Глана, а в каждой норвежке — Эдварду [1]. Когда о стране судишь по книгам, невольно попадаешь впросак. И юные богатырши, и длинноногие, спортивного напряжения спутники их, заполнявшие вечерние улицы Осло, обескураживали однозначностью простых своих устремлений к джазовой музыке, ледяному пиву, горячим сосискам, походам в горы с тяжелыми рюкзаками за спиной, спорту и кино. Их старшие соотечественники каменели в самодовольном спокойствии.

Я утешал себя тем, что Глану как им положено, скрываются в лесах, слушая мягкий постук еловых шишек о хвойный настил, а Эдварды несут при них службу любви, томления и неверности.

И скользили мимо, не запоминаясь, оплывшие, равнодушные, отчужденные физиономии норвежских кинобоссов, не веривших в финансовый успех фильма и потому источавших арктический холод, любезно-безразличные маски ученых из института Арктики, которым невообразимо скучно было возвращаться усталой мыслью к далеким дням Амундсена и злосчастной экспедиции Нобиле, и сонные лица каких-то полуочевидцев тех грозных, повитых туманной дымкой событий, но Гланы... Гланов не было.

А потом поиск привел меня в дом-музей Амундсена, о существовании которого под боком у столицы и слыхом не слыхали мои многочисленные знакомые. Хранителем дома, пошедшего с торгов незадолго до гибели Амундсена (человек, подаривший родине

[1] Лейтенант Глан и Эдварда — герои романа «Пан» норвежского писателя Кнута Гамсуна (1859—1952).

Южный полюс и два великих северных пролива, разорился на своих экспедициях), был его племянник Густав, сын любимого брата.

Помню, наша машина соскользнув с можжевелово-сосновой кручи, будто упала к крыльцу двухэтажного деревянного, незатейливой архитектуры дома. Внизу простиралась пустынная темно-синяя жгуче отблескивающая вода фиорда; у песчаной кромки берега переваливалась с боку на бок тревожимая набегающей волной старенькая, рассохшаяся лодка; кроны сосен упирались в небо, сгущая над собой его синеву. От служебной постройки в нашу сторону шел, на ходу подтягивая старые штаны, загорелый пожилой человек с ярко-синими — уже издали — глазами.

«Капитан Амундсен!» — представился он хриплым голосом.

До чего же похож на своего знаменитого дядю! Тот же рост, то же сухопарое сложение, то же сопряжение мускулов на худом выразительном лице, та же пронзительная, неистовая синь глаз. Лишь орлиная крутизна характерного амундсеновского носа выпрямилась в ущерб лицу, потерявшему в резкой силе. А так — хорош! Особенно когда закурил, сжав краешком обветренных губ мундштук, и вдруг поглядел вдаль по-орлиному, прямо на солнце.

Мы поздоровались, я сказал о цели нашего приезда. Густав Амундсен издал странный горловой звук — не то взрыднул, не то всхохотнул, а может быть, два противоречивых чувства одновременно вспыхнули в нем. Впоследствии я убедился, что странный этот горловой звук вообще характерен для норвежских мужчин, для наиболее эмоциональных из них. Коротким всхлебом натренированная в сдержанности и слегка одеревеневшая душа высвобождается. Он извлек ключ из глубокого кармана заношенных штанов, но стершаяся бородка проворачивалась вхолостую в замочной скважине. Амундсен что-то крикнул насквозь прокуренным, навек простуженным, но хорошим добротным мужским голосом, и откуда-то вся развеваясь на ветру, которого не было, юбкой, кофтой вроспуск, незаколотыми легкими волосами, улыбаясь большой улыбкой ярко-красного рта, возникла молодая женщина с громадной связкой ключей. Кем была она Густаву Амундсену? Дочерью?.. Женой?.. Подругой?.. В нем снова взрыднулось-всхохотнулось — вспышка радости-боли навстречу любимому существу. И я понял, что все-таки нашел Глана на этой земле. И Эдварду.

Но как ни крути, а при множестве встреч один Глан и одна Эдварда — маловато. А где же строитель Сольнес, кинувшийся с верхушки возведенной им башни, которая мне почему-то представляется силосной, где демоническая Гедда Габлер, все время помнившая о пистолетах своего отца-генерала, где бунтарка Нора, где мятущийся Пер Гюнт[1], где Нагель[2], так мощно заряженный страданием, где вообще все прекрасные и странные герои великой норвежской литературы? Должны же быть у них прообразы. Или извелись сильные и своеобразные характеры в нынешней бюргерской тишине, прочном достатке, легкой осуществимости всех доступных желаний? Но ведь есть молодежь, и ей от века свойственно беспокойство. Последний вопрос я задал уже в нынешний приезд своему знакомому, государственному служащему.

«Есть беспокойная молодежь,— сказал он зевая.— Даже экстремисты водятся. Но не придавайте этому чересчур большого значения, из экстремистов вырастают самые добропорядочные буржуа: парусная яхта, загородный дом, рыбалка летом, лыжи зимой, заграничный туризм — в меру, счет в банке — желательно без меры — вот на чем замыкается мир достигшего восковой спелости левака. Причудливые характеры вы встретите скорее в деревне, или среди рыбаков, или на севере, там люди не так заштампованы».

И все же правда, наверное, в том, что норвежцы разные. Есть и Тур Хейердал, и его прекрасный сын Тур-младший, и Бенгт Даниэльсон...[1]

В пятницу вечером, да и в субботу утром лучше не выезжать из Осло — будешь плестись в хвосте длиннющей вереницы машин. Норвежцы исступленно стремятся на природу: в горы, в лес, на берега фиордов, озер, рек. Кого ждет собственный дом, кого походная палатка или просто костер под открытым небом.

Но мы отправились к Юхану Боргену ранним утром обычного трудового дня, и неширокое, ровное, в меру извилистое шоссе было просторно, как и весь мир вокруг нас, и так же просторно было мыслям, то растекающимся по окружающему, то собирающимся вокруг Юхана Боргена и его удивительного романа.

Наверно, я крепко задумался. Еще недавно стоило оглянуться, и был виден порт Осло, грузо-пассажирские пароходы, прогулочные яхты, катера ловцов кревегок — улов быстро распродается прямо с борта жадным любителям даров моря, разноцветные моторки, большой, несколько устаревшего обличья пароход, подаренный жителями Осло королю Улафу, любящему море парусные гонки (в прошлом отличный яхтсмен, чемпион), а на суше породистых лошадей, и тот тревожный размерами и непривычностью громозд, напоминающий издали доменную печь, который сейчас докрашивают в доке: самоходная установка для добычи нефти с морских глубин, сконструированная норвежскими инженерами. В территориальных водах Норвегии обнаружены громадные запасы нефти, которые уже начали разрабатывать.

Дорога закручивалась спиралью меж поросших то буками и кленами то соснами и

[1] Персонажи драм норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828—1906).

[2] Герой романа Кнута Гамсуна «Мистерии».

[1] Современный норвежский писатель и путешественник.

ЮРИЙ НАГИБИН
ОСТРОВИТЯНИН

елями круч; оголенные скальные выступы омыто изумрудились плюшевым мохом. Затем мы простреляли ухоженную чистую равнину, аккуратно размеченную проволочными квадратами выпасов, купами деревьев, домиками под дымно притемнившейся красной черепицей; изредка промелькивали островерхие кирхи с непременной стаей ворон и галок над слабо проблескивающим утреннюю хмарь золотым крестом. Мир был юн, прохладен, росен, грудь распахнулась дыханию, но, вместо того чтобы наслаждаться живительной бодростью, износившийся организм повлекся в неурочный сон. Неодолимый, глубокий сон, которому не мешали ни толчки, ни радио, включенное водителем на полную мощность, ни неудобство позы, ни подъемы и спады, отчего ватное тело то вжималось в спинку сиденья, то клонилось вперед, ни смех и болтовня спутников. Этот стариковский сон слабости был мне легок, здоров и приятен. Я спал как лишь в детстве спалось в сотово издырявленных древоточцами, розоватых, медово пахнущих стенах акуловской дачи под шорох дождя в сиренях.

Изредка опамятываясь, я видел или зеленую под очистившимся, заголубевшим небом равнину, или ребра и огладья горных склонов, или лес в дымчатом выпоте, вспоминал, кто я и куда еду, и вновь радостно засыпал.

Проснулся я окончательно в городке Фредрикстаде, где мы заплутались, упустив нитку дороги. Мы стали спрашивать прохожих, где живет Юхан Борген. В Осло городок Фредрикстад казался столь приближенным к писателю и столь малым, захолустным по сравнению с его всесветной славой, что мы полагали: достаточно добраться сюда, и дело сделано.

Ничего подобного. Маленький Фредрикстад, предлагающий своим обитателям множество до отказа набитых магазинов, прекрасный парк и летнее кафе при нем, рестораны, бары, кино, бензозаправочные станции и все, что требуется для работы и быта, а завершившим земной путь—влажное, тенистое, кощунственно соблазнительное кладбище, не считал себя довеском к чужой славе и, утверждая свою независимость, упорно отказывал нам в нужной справке. Наконец мы сообразили спросить об острове Асмален, и тут какая-то сердобольная душа снизошла к нашим мольбам. Резко кинула направление загорелая рука, простуженный морской голос добавил ориентир, проехать шесть мостов.

Мы выкрутились из узких улиц и принялись отсчитывать мосты то ли через реки, то ли через щупальца фиорда. И на одном самом широком и длинном мосту нас остановила застава — пришлось уплатить «мостовую» пошлину. Опахнутые веем средневековья, мы выложили сорок пять крон, за что получили карту местности и возможность двигаться дальше, к новым мостам, свободным от застав.

Нас было четверо: мой московский друг, правивший машиной, преподаватель Ословского университета, любезно взявший на себя роль переводчика, его сын, студент медицинского института, и я. Каждый из нас старательно отсчитывал мосты но цифры почему-то не сходились. Километры наматывались на колеса, и неуверенность наша все возрастала, но отступать было некуда. Мы продолжали мчаться вперед, а вода то подступала широким разливом и едва не заплескивала на шоссе, то съеживалась в ослепительные пятаки и ленты. И вдруг воды не стало, дорога уцепилась за обрывистое подножие каменистого кряжа в зеленых и бурых, с красной искрой лишайниках. Два-три витка, и впереди вновь простерлась вода — широкая и спокойная. Из нее выгорбились гранитными спинами острова. Хрипатый житель Фредрикстада не обманул нас, где-то тут укрылся Юхан Борген, но нам никогда не добраться до него, нельзя же верить тоненькой ниточке еле слышного телефона. Я забыл, что в Норвегии, коль тебе посчастливилось о чем-либо договориться, недоразумений не бывает.

Машина остановилась на краю берегового откоса, под которым находился деревянный причал. И тут же из серповидного ботика с высокими бортами и круто задранным носом поднялся молодой человек в старой кепке, кидавшей тень на загорелое лицо, ловко прыгнул на берег, в несколько сильных рывков одолел кручу и подошел к нам, уже издали протягивая загрубелую рабочую руку. С красно-загорелого, обветренного лица растерянной, беззащитной, какой-то раненой добротой глянули ярко-голубые лучащиеся глаза. Я пожал его крепкую руку, поймал свое отражение в глубине раненых глаз и что-то с болью понял.

Сойти в колеблемую волной лодку с высокой пристани было делом не легким, но мускулистая рука Боргена-младшего помогла нам справиться с этой задачей. Взревел, играя в ярость и силу, старенький мотор, расположенный не на корме, а посреди ботика, и мы затрюхали по мелкой зеленоватой волне к ближайшему острову. Три гуся прошли над нами, вытянув шеи будто всматриваясь в далекую манящую цель и согласно взмахивая широкими крыльями. С их мощно плавных крыльев низошла великая тишина. Я вдруг заметил, как тих нетронутый мир: он не гудит, не скрежещет, не визжит не вопит, в молчании свершает свою серьезную жизнь. Молчаливы вода и небо и поросшие молчащими деревьями берега. Тут и мы, суматошные, источающие столько ненужного шума людишки, включились в благостную тишину, заглушив мотор и продвигаясь к причалу — дощатому настилу на сваях — одной лишь силой разгона. И мягко приборгились...

На каменистом острове на самом его взгорбке, стоял большой деревянный дом; худенькие ветлы и низкие, приклоненные сосенки не давали ему ни тени ни защиты от ветра, да, похоже, дом и не нуждался в этом, привычно и легко напрягаясь против стихий своими терпеливыми ребрами. Позже мы обнаружили, что жилище Боргенов состоит из двух домов: старого, более чем столетней давности, и пристроенного к нему

молодого дома, но от причала зрился лишь старик, выбеленный ветрами и солеными заплесками, будто поседевший. В Норвегии каждая усадьба имеет свое название. Эта называлась Кнаттен.

Вверх по узкой тропке, навстречу истошному лаю, ничуть не мешавшему тишине, лишь подтверждавшему ее гулкую емкость, навстречу поднявшейся с камня молодой смуглой и черноволосой индианке в чем-то ярко-желтом. И не уловить было, как произошло ее превращение в пожилую норвежскую женщину с двухцветными волосами — рыжеватыми у корней по широкому разлому двух жестких угольных крыл, с цепким вбирающим взглядом и спокойной складкой темных губ. То была жена Юхана Боргена Аннемарта, уроженка заполярного города Будё.

Я пожал небольшую, по-мужски твердую руку Аннемарты. В разрезе вязаной кофты, на смуглом подъеме груди покоилось украшение из бус, колечек разноцветных камешков. «Здравствуйте,— сказала она и тут же спросила: — Так?..» И получив подтверждение, что именно так: «Я учила русский. В Осло. Все забыла». Ее низкий надежный голос звучал приветливо, но большое, свободное лицо сохраняло хмуроватую серьезность, не корчась в любезных улыбках. Эта женщина привыкла воспринимать жизнь как долг и заботу и не тратила себя ни на пустые условности, ни на преждевременную самозащиту. Она не приспосабливалась к новизне и не боялась ее. И мне вдруг перестало «пахнуть нефтью».

Только сейчас и понял, что в этот приезд в Норвегию мне все время пахло нефтью. Ею пахли разговоры и споры, в которых слово «нефть» даже не произносилось, поведение самых разных людей, не имеющих ни малейшего отношения к нефтедобыче, сместившаяся в сторону отчуждения повадка иных знакомых и даже тех, кого я считал друзьями, пахли море и суша и сквозь плотный аромат пышных столичных сиреней едко тянуло нефтью. Утверждения, доводы, надежды, апломб — все пахло жирной переливчатой жидкостью — черной кровью современного мира.

А здесь пахло немного морем, немного нагретым камнем и очень сильно — освобожденным от корысти достоинством человека. Аннемарта посетовала что лето в нынешнем году безбожно опаздывает и мы не услышим запаха даже самых ранних, слабых роз. В ее розарии, разбросанном вокруг дома по всему участку, более семидесяти сортов Розы собраны на клумбы и гряды, их кусты окружают дом с четырех сторон, образуют аллейки в саду, прячутся за деревьями и хозяйственными постройками и все роскошество — на тонюсеньком в несколько сантиметров слое родящей почвы под которой камень. Это какая-то разновидность гранита. Он всюду, куда ни кинешь взгляд. Им сложены напирающие на участок горные склоны и круча береговой пади, он обнажается меж огородных грядок и кустов, у подножий деревьев, под дверным порогом.

Камень царит в просторе. А точнее, тут троецарствие: камень, вода, небо, совсем как на пейзажах Рокуэлла Кента, только без его резкости и контрастности. Здесь все мягче, переходчивей, слияннее. Деревца, кусты, цветы, мхи зрятся лишь в приближении, как сквозь луну, взятый же нацельно, в обым, простор являет очарование чуть размытой лунной наготы.

Захлебистый лай преградил нам подход к дому. Но напрасно сдержали мы шаг: собаки исходили обороняющей яростью в загоне из железной мелкоячеистои сетки. Черные, короткая шерсть дыбом на загривке, с лисьими, только чуть более тупенькими мордами, они принадлежали к той чудесной породе, которую в Скандинавии называют «перекресток дорог». Но Аннемарта, будто разгадав мои кощунственные мысли самолюбиво сообщила, что тут слились весьма аристократические крови. Хозяйке отпахнула дверцу: черный, визжащий, рычащий клубок выкатился из загона и распался, превратившись в трех добрячек. Маму звали Шальме, дочерей — Куре и Вире Шумная компания скрылась в доме, а я задержался.

Мне почему-то захотелось побыть одному. Тем более, что Аннемарта предупредила: Борген выйдет немного позже, ему с утра недужится — сердце. Я слонялся по участку, узенько втиснувшемуся между горным склоном и обрывом. Каждый клочок земли средь валунов, гранитных выбросов, хрящей и каменюк понужден растить что-либо: розы, тюльпаны, весенние крошечные астры, кусты краснотала и шиповника, сосны, березки-кривулины, ивняк, какие-то овощи. Там и тут, в прислон или в лежку,— сельскохозяйственные инструменты: кирки мотыги, лопаты свидетельствуют, как нелегко извлечь зеленую жизнь из здешней почвы. Весь отвоеванный у твердели участок с трогательным тщанием обуючен. Видать, жена и сын любовно потрудились для Юхана чтобы ему хорошо и удобно было в своем уединении. Деревянный столик со скамейкой под ветлами, диванчик и креслица в кустарниковой тени, другой диванчик на нестрашном здесь, в морской остыни, солнечном припеке близ роз и тюльпанов, гладкий чурбачок, пригодный для передыха, с края огорода, охраняемого от птиц насаженным на шест черепом. Тут же валяется отбитая фарфоровая головка куклы — след неведомой мне жизни этой семьи. Но праздных, случайных предметов мало, все нужное: пластмассовые канистры, машина для стрижки газона свернувшийся змеей поливальный шланг, садовые ножницы.

Таким же насыщенным до предела оказался и самый дом. Едва переступив порог, я понял, что не квартира в Осло а эта островная хижина является главным обиталищем писателя. Борген, знать, не из тех, кто равнодушен к бытовому наполнению жизни к предметным знакам минувшего. Дом набит старинными вещами, фотографиями, картинами, рисунками, вышивками, какими-то

ЮРИЙ НАГИБИН
ОСТРОВИТЯНИН

странными композициями из тканей (автором оказалась Аннемарта), поделками народного искусства; мебель большей частью старая, из чистого природного дерева, не униженного полировкой, а если где и лоснится, так от долгой службы. И домотканые коврики, и шкуры, и всюду куда ни глянь, книги, журналы, газеты, какие-то проспекты, каталоги — семья не исключает себя из современного мирового круговорота, просто живет наособь.

Борген не появлялся довольно долго. Хозяйка принесла белого вина в больших запотелых бутылках и разлила по бокалам. Прозвучало традиционное норвежское «Сколь!», я отпил очень холодного, чуть горчащего бордо и поймал себя на мысли что готов уехать, вот так уехать, едва прикоснувшись к быту Боргена и даже не увидев его самого. И дело было не в том что лишь сейчас до меня дошло, насколько обременителен наш приезд старому и, очевидно, очень больному человеку. Ну, что я, в самом деле, восторженный собиратель автографов и улыбок великих людей, что может дать этот летучий визит, этот промельк в окне мчащегося поезда, кроме печали и разочарования? Нельзя же всерьез верить, что меня «осенит свет истины». Я увидел место, где текут дни старого писателя, заглянул к нему в дом, прикоснулся к вещам, окружающим его исстари, выпил ломящего зубы вина с его женой, поймал улыбку сына, так чего же еще надо? Теперь, когда я буду перечитывать «Маленького лорда» или знакомиться с новыми произведениями Боргена, сквозь строки будут светиться и этот каменистый остров в звоне несказанной тишины, и дикие гуси с вытянутыми шеями, и Шальме-Куре-Вире, и садик на камнях, под стать японскому, и оторванная головка куклы и рыжеватый пробор в угольно-черных волосах пожилой царицы роз, и глубже станет ощущение писателя, этого довольно. Оставить ему книжку, изданную в Осло, с доброй надписью, выпить последний бокал вина с Аннемартой и — по домам! Не надо вторгаться в тишину того, кто избрал уединение. Но было поздно. На пороге комнаты стоял Юхан Борген. Боже как он ветх и худ, как обобран возрастом и болезнью!

Я осторожно пожал его теплую, сухую, почти невесомую руку. О как грозно хрупка оболочка, приютившая такой могучий дар! Он довольно высок, но плоск и тонок, как травинка. Ему нельзя выходить на ветер, особенно когда злой норд пластает деревья на его участке. Если за ушами от старости глубокие провалы, в народе это называют «лошадиной головой». А чело высокое и чистое, и сквозь толстые стекла очков лучатся небольшие светлые застенчиво проницательные глаза. Уши с четкой лепкой раковин не прижаты к почти голому черепу, а жадновато сориентированы на собеседника. Глаза и уши писателя — соглядатая-слухача. Худая крупная кисть то и дело непроизвольно тянется к сердцу, нашаривая тревожащую боль под вязаным жилетом. Его неимоверную худобу облегают жилет и шерстяная кофта, старые брюки и клетчатая рубашка с широким воротом, застегнутым на пуговицу под слабым кадыком.

Часто улыбаясь запавшим ртом, Борген говорит, что рад нашему приезду. Очень рад и благодарен от души. Все идет по протоколу. Но с каким-то растерянным выражением он продолжает: его тронуло, смутило, обрадовало, но еще больше удивило что писатель чужой страны захотел увидеть его и не поленился проделать такой длинный путь. Конечно, он не дипломат и несколько пересаливает, вернее, переслащивает. Я возражаю: нет ничего удивительного в том, что стремишься увидеть своего любимого писателя. «Но вот это меня и удивляет!» — засмеялся Борген и вытер очки. И тут пришел мой черед удивляться: Борген вовсе не платил дань вежливости, он на самом деле искренне и смущенно недоумевал, с чего вдруг кому-то понадобился. Подобная скромность, хоть и обескураживает все же неизмеримо приятнее елейной спеси м э т р а, снисходительности старого мудреца и прочих ипостасей живого классика национальной литературы, с которыми я вполне мог столкнуться. Благодарный, я сказал, что вовсе не являюсь белой вороной среди моих соотечественников: на «Маленького лорда» в библиотеках всегда очередь. Борген шатнулся к книжной полке и безошибочно извлек том в черном переплете — «Маленький лорд», выпущенный нашим «Прогрессом». Большая полка была забита иностранными изданиями Боргена.

Он повертел книгу в руках, уважительно пошевелил изжелта-серые страницы.

— Значит, есть еще место, где меня читают,— и опять засмеялся.

Этот искренний, смущенный, какой-то детский смех исключал литературное кокетство, и уж подавно не было в Боргене той сосущей неудовлетворенности, что отравляет дни и ночи причастных непосильному делу литературы, даже самых взысканных славой, почестями, деньгами. Почти каждому писателю кажется, что ему недодали, ах, как недодали по заслугам!

— А разве вас мало читают? — спросил я.

— В Норвегии?..— Он посмеивается и гладит сердце, успокаивая, чтобы не рванулось прочь из грудной клетки.— Книги выходят, значит, раскупаются. Несколько тысяч экземпляров всегда разойдутся, хотя бы для того, чтобы занять место на полках. И потом — старики, пенсионеры у них уйма свободного времени. Но ведь главный читатель — молодежь. Там другие кумиры.

— Какие?

Он посмеивается.

— Не знаю... другие.

— Кумиры на час?

Снова смешок. Борген слишком норвежец, чтобы злословить, кого-то осуждать.

Я знаю за собой свойство — выдумывать наперед человека, вместо того чтобы постигать трудным, долгим усилием, и иметь дело с таким вот выдуманным человеком, отметая прочь все, что не сживается с заранее сочиненным образом. Но Боргена я не хотел придумывать и не стал этого делать, а зримый он как-то не давался мне. Он говорил, посмеивался, смущался, лучился из-за тол-

стых стекол искренней добротой, даже пил вино, поднося дрожащей рукой бокал к моему бокалу — стеклянные выпуклости соприкасались без звона,— и пригублял поплескивающую золотистую жидкость, словом, не только присутствовал, но и находился с окружающими в живом обмене, и все же безнадежно ускользал от меня. И недобрым словом поминал я пресловутую норвежскую сдержанность, доведенное до абсурда чувство такта: только не навязывать себя, своих мнений, чувств, не быть в тягость, не подавлять избытком индивидуальности, а смазаться, раствориться в облачке неопределенной благожелательности, дающей полную свободу другому, другим. А мне не хотелось этой свободы, мне хотелось зависимости от Юхана Боргена. Видит бог, я уже любил его — не за Маленького лорда и не за старую Лиз из дивного рассказа об одиночестве, а просто любил — его старое лицо благородную округлость черепа, его бедные руки, милую худобу, улыбку, очки, застенчивый смешок. А он упорно не хотел уловить чужую душу, в нем не было ничего от проповедника, пророка, учителя, провидца, носителя истины, ничего толстовского.

...Почему-то заговорили о путешествиях. Я спросил Боргена, много ли он путешествовал.

— О нет! Куда меньше, чем хотелось бы. Когда были силы, не было денег. Теперь есть деньги, но нет сил. Конечно, я кое-что повидал... И в Старом и в Новом свете, даже в Африку забрался. Это были скорее странствия, нежели путешествия.

— А похожи норвежцы на японцев? — спросил я, усугубляя дурь вопроса скверным английским произношением.

Мне всегда казалось, что это так. Эти нации роднит загадочность и несоответствие общечеловеческому стереотипу. У них сходный кодекс вежливости, правил поведения и при великой внешней покладистости — неодолимое, приводящее в отчаяние упрямство, несдвигаемость с мертвой точки.

— Я как-то не думал об этом. Наверное, похожи.

— В самом деле?

— Норвежцы немножко похожи на шведов, датчан, исландцев, финнов, немножко на русских, немножко на американцев и англичан... Мне кажется, они немножко похожи на всех людей в мире. Так зачем же исключать японцев?

Ответ оказался умен не по вопросу.

— А ездить и видеть мир — счастье,— сказал Борген, чуть приоткрывая створку раковины.— Особенно если можешь любить города, как людей. Вы можете?

— Кажется, могу.

— Ах, как я люблю Париж, Лондон, Копенгаген, Рим, Афины, Лос-Анджелес, Каир!..— Он боялся пропустить хоть один любимый город.— Но сейчас они кажутся мне призрачными, как будто я придумал, что бывал там... Как будто я вообще придумал их.

А ты, видать, не так уж счастлив на своем острове! — вдруг понял я. Видимо, порой мне удавалось настраиваться на его волну. Вот и сейчас я знал, что он ускользнул из настоящего, затерялся где-нибудь в Копенгагене или Лос-Анджелесе своей молодости, и мой вопрос грубо втащит его в действительность, но подавил в себе чувство жалости: нагрезится вдосталь, когда я уеду

— «Маленький лорд» .. это о себе?

— Конечно,— сказал он как о чем-то само собой разумеющемся.

— Но в конце... вы же ненавидите своего героя?

— Это в порядке вещей. Только себя человек умеет по-настоящему любить и по-настоящему ненавидеть.

— А как надо понимать, когда он голый, окровавленный бежит от разъяренной толпы? Как метафору, как истинное, хотя и не укладывающееся в трезвом сознании происшествие, как сон, как кошмар дошедшего до абсурда страха перед расплатой, не столько даже за содеянное, сколько за предстоящее?

— Но ведь все это одно и то же,— сказал Борген рассеянно,— поскольку безразлично к сути дела. И потом, так ли четка грань между тем, что случилось, и тем, что могло случиться? Адом в яви или адом в душе? Важно, что он это пережил: голый и беззащитный перед толпой, голый трус, голый беглец, он, считавший себя неуязвимым.

— А его приход к фашизму?..

— Это предостережение среде, порождающей людей с гипертрофированным «Я». Но вообще... тут сложнее. Нельзя считать, что он стал убежденным фашистом. Он предает свой народ, но предает и гитлеровцев. Понимаете, в какой-то момент человек обязан сделать окончательный выбор, решить для себя, с кем он. А Вилфред с его ненавистью к людям и страхом перед ними этого выбора так и не сделал. И погиб.

— Нелегко, наверное, писать такой роман!..

Взгляд Боргена за очками напрягся.

— Когда я его кончил, у меня дергалась голова, дрожали руки, пропал сон и аппетит. Знакомый невропатолог сказал, что это от перенапряжения, что я слишком сильно пережил свою книгу...— И вдруг от глаз к вискам разбежались лучики он беззвучно рассмеялся.— Но другой невропатолог авторитетно заявил, что все дело в белом сухом вине, которым я злоупотреблял. Ваше здоровье!..

Я понял, что он больше не хочет говорить о своем романе. И тут, весьма кстати, нас позвали к столу. За завтраком состоявшем из омлета, черной, сухой, рассыпчатой, как дробь, норвежской икры окорока, салата, масла и хлеба, под то же холодное бордо, разговор, как и обычно в застолье, двигался скачками — от одного предмета к другому вроде бы без всякой связи, но какая-то внутренняя логика в нем все же была. И не случайно подвернулся нам Кнут Гамсун, оказавший большое влияние на всех норвежских писателей, в том числе и на Боргена.

Борген. Я видел Гамсуна лишь однажды.

ЮРИЙ НАГИБИН
ОСТРОВИТЯНИН

Мы куда-то шли. Разговаривали, молчали Что-то промелькнуло, не помню что. Я вынул блокнот и сделал заметку И тут же Гамсун принялся мне выговаривать: мол, это все равно забудется, только завершенной, отделанной фразой можно сохранить образ явления, вещи. Если вы не доверяете своему воображению, его способности создавать что-то из пустоты, остановитесь и постройте фразу. Фраза — сачок, а ваша закорючка ничего не удержит.

Тут было над чем подумать...

Вспомнили о великом норвежском художнике Эдварде Мунке чьи полотна украшают стены дома. Борген хорошо знал художника, дожившего до глубокой старости

Борген. Мунк никогда не был сумасшедшим, сколько бы ни утверждали обратное.

Кто-то из собеседников. У него есть автопортреты, написанные в сумасшедшем доме.

Борген. В сумасшедшем доме он скрывался от сумасшествия так называемого нормального мира. Отдыхал среди корректных профессионалов от раздерганных дилетантов безумия.

...Чувствовалось, что Боргену все труднее становится поддерживать беседу. Короткий завод кончился. Он что-то клевал как птица с тарелки, подносил бокальчик к губам, но куда чаще тянулся левой рукой к сердцу. И ловя последние мгновения, я спросил:

— Что вы сейчас пишете?

— Ничего. Если не считать коротких рецензий для газеты.

— Но почему?..

— Устал. Болен. Да и кому это надо? — Он улыбнулся, затем спросил: — Как вы относитесь к радиотеатру?

Я пожал плечами.

— Сам не знаю... Хорошо наверное.

— Стоит писать радиопьесы Их слушают в деревне. Телевидение не совсем еще подавило радио. Его слушают в сельских местностях, особенно на севере, в рыбацких поселках.

Приверженность Боргена к радио я понял когда, встав из-за стола мы обменялись книгами. Его последний сборник который он мне подарил, включает наряду с рассказами радиопьесу. Он сетовал — если только это слово подходит к покорно иронической печали, звучавшей в его словах,—на охлаждение к нему современного читателя, радио дало ему новую связь с простыми людьми Норвегии, которые не покупают книг но в своей глуши жадно ловят радиопередачи.

— Юхану надо немного полежать,—сказала Аннемарта.— И он снова выйдет. А мы пока попьем вино во дворе.

И подавая пример, с полным бокалом направилась к дверям. Борген улыбался, румянец сплел паутинку на бледных щеках он как бы просил извинения за свою слабость. Потом повернулся и, прижимая к впалому животу мою пестро одетую норвежскую книгу, зашаркал в глубь дома

Провожая Боргена взглядом, я чуть задержался, и когда вышел, во дворе уже составились прочные группы. переводчик чокался с Аннемартой, его сын разговаривал с мастерившим что-то у сараюшки Боргеном-младшим, мой друг дразнил Шальме, Куре и Вире, вновь загнанных в свое проволочное псовище. Я выбрал пару: фру Борген—переводчик и присоединился к ним.

— ...Да, на мотоцикле,— говорила Аннемарта, прихлебывая вино.— Его склеили буквально из кусков. Но то рука то голова.., Десятки операций даже в Англию возили, ничего не помогало. С учебой, конечно, было покончено. Это длилось годы А потом както выправился, только стал очень добрым, слишком добрым, невозможно добрым, как Христос. Готов все с себя отдать. Он не может владеть тем, чего нет у другого. Вот и живет при нас.

Она говорила о сыне. В драненькой тужурке, заношенных брюках и насунутой на нос кепчонке он усиливался против какой-то хозяйственной железяки которую требовалось согнуть, в тени наклонившегося над ним рослого красивого сына переводчика. Улыбка безмерной, безысходной доброты искажала его черты почти что гримасой страдания — ему нечего было отдать собеседнику. Хорошо же устроен мир, если человека, единственный изъян которого — доброта, нельзя отпускать с отчего порога. Но ведь так было всегда. Боргены сделали правильный вывод из скорбного примера плотника Иосифа и жены его Марии, не удержавших сына возле пахучих стружек и теплого хлева.

Внезапно появился Борген с моей книгой в руке.

— Ты уже встал? — удивилась жена.

— Нет, еще не ложился... Я прочел предисловие.— Он многозначительно посмотрел на меня, покивал головой, улыбнулся — у сына была отцовская улыбка только доведенная до критической черты.— повернулся и побрел прочь.

Утих даже тот слабый ветерок, который мышью шуршал в кустах траве, каменистой пыли. Совершенная, хрустальная тишина повисла над всем оглядьем. водой скалами грядой островов. Бесшумно налетели чайки, покружились над домом и сгинули как растворились в пустом воздухе. Потом в бесконечной выси два коршуна стали низать олимпийские кольца, и вдруг один из них, что-то высмотрев, косо, через крыло заскользил вниз.

И заскользили мои мысли вкось всего, что уже думалось и соображалось в последние дни. Борген мало сказал о своем романе и почти ничего о своей стране. Но неужели я всерьез рассчитывал постичь в коротком разговоре чужую древнюю страну? Да знаю ли я свою собственную страну. чью судьбу делю вот уже скоро шесть десятков лет? Ну, а узнал ли я что-нибудь о самом Боргене? Может быть, что-то и узнал сразу не понять. Да и надо ли понимать? Разве очарование человека не важнее всех головных построений?..

Так утешал я себя, предчувствуя то горькое ощущение упущенных возможностей. какое наверняка заточит мне душу, как только мы расстанемся с Боргеном.

А он опять появился, цепляя землю нога-

ми. Усталость высосала лицо. Наш приезд выбил его из привычного режима, разволновал, лишил необходимого отдыха.

— Я прочел первый рассказ — сказал он мне приглушенно-значительным тоном заговорщика.

Но нам не удалось развить наш маленький заговор против тех, кто не пишет рассказов и не читает их так. В голосе фру Борген пророкотала надвигающаяся гроза:

— Иди отдыхать, Юхан!

— А вы не уедете? — спросил он жалобно.

Но теперь мы поняли, что должны уехать сразу, иначе он не угомонится.

— Нам пора. Спасибо за встречу.

— Это я должен вас благодарить.

Его легкие руки в моих руках. В Норвегии не целуются с посторонними не знаю, целуются ли с близкими. Я просто держу в своих ладонях эти невесомые, худые, милые руки, просвечивающие розовым, как фарфор, меж тонких пальцев. Его рот слегка шевелится, будто разминает какие-то слова, которые все равно не будут произнесены вслух: ведь маленького Юхана, как и всякого норвежского ребенка, научили не выдавать своих чувств. Мне было грустно, разве мог я предполагать, что в недалеком будущем узнаю, о чем молчал тогда Юхан Борген.

И он уходит.

И вот уже скрылся в доме. И какая настала тишина!..

Никому из нас не выпало вульгарной участи первому нарушить эту великую тишину. Пронзительный свист рассек мироздание, вслед за тем низвергнулся чудовищный, сминающий душу грохот, и все вокруг, и мы сами превратились в безобразный, отвратительный грохот, несовместимый с достоинством места: тихими водами и немым камнем. Три сверхзвуковых истребителя с расположенного поблизости натовского аэродрома стали выписывать тренировочные круги, нагоняя собственный, сильно отстающий грохот. Не было тишины и у этого затерянного уголка земли, не было тишины у Боргена.

И прощались мы с Аннемартой под ломивший уши, высасывающий сердце и обеззвучивший речь, с ума сводящий шум. Боргенмладший звал нас улыбкой в путь. Аннемарта величаво опустилась на пригретый солнцем камень с налитой всклень рюмкой в руке, и не успели мы достичь причала, как вновь обернулась черной смуглой, недвижной, будто изваяние, индианкой, колдуньей, хранительницей малого истребленного племени, противопоставив грязному шуму тишину каменной недвижности и порядка в себе самой. Мы махали ей, но разве отзовется изваяние?

При расставании на том берегу молодой Борген мучался, чем бы нас одарить. Но ничего не было, и он сказал проникновенно:

— Приезжайте на будущий год, уже отменят «мостовую» пошлину.

Все-таки он исхитрился подарить нам сорок пять крон...

Я еще оставался в Осло когда пришло письмо от Боргена на имя переводчика, но адресованное всем нам. Письмо удивительно трогательное и грустное. Я все-таки не понимал до конца, как искренен Юхан в каждом слове и как он одинок. «Я испытываю странное чувство, когда находятся люди, рассматривающие меня как лицо, имеющее какое-то значение,— признается всемирно известный писатель.— Поэтому мои ответы на задаваемые вопросы бывают так бессодержательны». И он корит себя за «неуклюжесть и недостаток умственной гибкости»,— это Борген-то, один из умнейших и образованнейших прозаиков века! Если б за этим была лишь преувеличенная скромность деликатной и стыдливой души! Но все куда печальней. Ледяной ветер одиночества... Нет среды, нет единомышленников нет веры, что твое дело кому-то еще нужно И прошлое, которое было таким наполненным, живым, гулким, представляется сном. «Я объездил много стран, выступал с чтением своих рассказов, играл на сцене и даже читал лекции, сейчас все это кажется не бывшим или принадлежащим совсем другому человеку».

Почему современники так неблагодарны, так жестоки к своим певцам? Почему торопятся воздать холодом, равнодушием или подчеркнутым пренебрежением за былое поклонение, славословия, упоенность? Не спешите, старые песни нередко оживают и опять ширят душу и ведут в бой в то время как новые, что пьянят сейчас, оборачиваются немотой. Будьте же люди, добрее и терпеливей к тем, чьими сердцами вымощены дороги веков.

«Я сам удалился от всего того, что называют литературными кругами. Но в действительности изоляция совершилась задолго до того, как мы покинули Осло и весь свет Издавна любимые мной города кажутся призрачными. И вдруг все это оживает становится близким благодаря короткой двухчасовой беседе. Какой благостный толчок». И еще Борген называет нашу встречу «стимулирующей», ведь он узнал, что его читают и любят.

Почему-то я рассматривал свидание с ним лишь со своей точки зрения: что даст оно мне. Я заранее исключал, что и для Юхана Боргена это может что-то значить. Наверное, я тоже скромный человек. И то что получилось из этой встречи, куда больше и важнее моих бедных расчетов

И особенно радостно: Борген ощутил прибыток энергии, ему захотелось действовать, бороться. «Пора уже сделать что то с нашими чересчур скромными знаниями о русской, точнее, советской литературе... У меня часто бывает такое ощущение, что там (имеется в виду газета «Дагбладет» где сотрудничает Борген.—*Ю. Н.*) ко мне вежливы просто как к ветерану. Тем не менее я постараюсь сделать все в этой область, насколько позволит мне остаток моих сил».

Прекрасное намерение, но еще лучше — пробудившееся в нем желание писать. Ради этого стоило платить пошлину не на одном, а на всех шести мостах, что стеснляют дорогу, ведущую из норвежской столицы к месту его добровольного изгнания.

Письма из-за рубежа

КЭНКИТИ ЯМАМОТО

КУНИО ЯНАГИДА: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Вступление Т. ГРИГОРЬЕВОЙ

Почему видный литератор Японии Кэнкити Ямамото решил написать для журнала «Иностранная литература» именно об известном фольклористе Кунио Янагида? Наверное, потому, что Янагида дорог японцам. Он начинал свою деятельность в эпоху Мэйдзи (1868—1912), когда Япония вступила на путь современного развития. И сейчас, по истечении века, можно подвести итоги и оценить, кто же из деятелей Мэйдзи был прав, кто заблуждался, ибо позиции и мнения тогда были кардинально противоположными: от полного пренебрежения национальной культурой (некоторые даже выражали готовность отказаться от собственной письменности) до ярко выраженной неприязни ко всему иностранному. Видимо, Кунио Янагида относился к тем ученым, чья позиция во многом отвечала интересам нации,— ведь недаром интерес к нему возрос в 70-х годах XX века, и особенно среди молодежи. Судя по всему, японская молодежь хочет знать свое прошлое, свои корни, то, что накоплено поколениями, с одной стороны — чтобы не обездолить себя духовно, с другой — чтобы понять это прошлое, взять истинное и преодолеть ложное, в себе преодолеть. Древние говорят: зная прошлое, можно узнать будущее, а не зная прошлого, можно и себя забыть.

Устойчивость дерева зависит от глубины и силы корней. Приобщаясь к собственной культуре, народ обретает себя, обретает ту меру духовности и нравственности, которая не позволяет посягать на другие культуры. Об этом немало писали и русские поэты — о том, что любовь к прошлому есть одно из достойнейших качеств человеческой души.

Янагида не только радел о прошлом своей культуры, но мечтал об ее обновлении за счет собственных традиций: обращаясь к тому, что хранится в памяти и в обычаях простого народа, до которого волны цивилизации докатываются с меньшей скоростью и силой. Он пришел к истокам, к полузабытым или вовсе неизвестным пластам народного творчества, чтобы сделать японскую культуру более полнокровной и жизнестойкой. Надо сказать, что обращение к народному творчеству — одна из древнейших традиций японцев. Когда-то правители страны, желая знать, чем живет народ, отдавали специальные указы — записывать обычаи и сказания. Так появились «Фудоки» (VIII в.), и из века в век составлялись поэтические антологии которые сохраняли поэзию для будущих поколений. Правда, знаменитая «Манъёсю» (VIII в.) питалась соками народного творчества, а уже последующие антологии составлялись поэтами-профессионалами и отражали настроение по преимуществу высшего круга.

Единое русло культуры как бы раздвоилось. Но нельзя дело представлять так, что эти два рукава все более расходились. Они то расходились, то сходились, и когда они сходились, то появлялись такие поэты, как Басё, о котором пишет Янагида и который, судя по всему, близок ему. Басё — его творчество хорошо у нас знают и любят — воплощает национальный дух и потому принадлежит всем. Как и этот странствующий поэт, Янагида бродил по дорогам Японии, чтобы воочию увидеть жизнь народа. И Кэнкити Ямамото не случайно

несколько раз говорит, что ходил Янагида в соломенных сандалиях, чтобы ощутить токи земли. Это тоже древний обычай — ощущать то, чем живет народ, непосредственным, прямым общением с ним. То есть Янагида не только своими трудами, своими исследованиями восстанавливал утраченные традиции, но и собственным жизненным опытом, который неотделим от его человеческой сущности. Я бы назвала ее добротой, что лишает покоя тех, кто не может не думать о том, что есть на свете голодные и несчастные и что, наверное, можно им как-то помочь. Не одна лишь любовь к фольклору вела его по дорогам странствий. Его, видимо, одинаково волновала судьба одного человека и всей нации.

И действительно, была опасность психологического сбива. Европейская система знаний, наука, или то, что было принято в Японии понимать под нею в ту пору — по преимуществу практические знания,— помогали, как говорили тогда сторонники цивилизации европейского типа, создать «богатое государство и сильную армию». (Попытка добиться демократических свобод была довольно быстро пресечена правительством.) Но это чрезмерное увлечение европейской наукой, по мнению японских ученых, угрожало целиком перестроить мировосприятие японцев, на котором держится культурная традиция.

Ускоренная модернизация, стремление перестроить сознание и психологию японцев приводили к аритмии социального организма и вызывали серьезные и трудно восстанавливаемые потери в самом человеке (от положения которого в конечном счете и зависело состояние государства). Во имя ускоренной модернизации поддерживались те традиции или национальные предрассудки, которые способствовали быстрому «обогащению государства», в ущерб тому, без чего человеческая личность не может развиваться гармонично. И хотя Япония поразила мир своими техническими и экономическими успехами, она заплатила за них дорогой ценой. Не только ученые, но и писатели страны обеспокоены ныне односторонним развитием человека. Янагида, ученого-гуманиста, не могло не тревожить будущее народа. Он избрал свой путь, который, с его точки зрения, способствует оздоровлению нации,— обратился к народной традиции, к самой почве культуры, чтобы выровнять положение. Отсюда — несколько настороженное отношение к европейской науке. Казалось бы, как такой человек, как Кунио Янагида, может возражать против перевода на японский трудов по этнографии или порывать с теми писателями, которые представляли японскую литературу тех лет? Наверное, у Янагида были для этого свои основания.

В первом десятилетии нашего века в Японии процветала так называемая школа «натурализма» (сидзэнсюги), одним из теоретиков которой был друг ученого — писатель Таяма Катай. Он провозгласил метод «плоскостного», «неприукрашенного», «откровенного описания» — без идеалов, без мастерства (не без влияния популярного в те годы в Японии философского позитивизма и натурализма французских писателей). Катай проиллюстрировал эти принципы на своем романе «Постель» (1908), положившем начало «повести о себе», которой отдали в то время дань многие японские писатели. Это был довольно резкий поворот от традиционной литературы, черпавшей вдохновение в прошлом, в японском и китайском фольклоре, в сюжетах старинных легенд и преданий. И вдруг такая непривычная сосредоточенность на «себе», на собственных душевных перипетиях, с подчас ненужными интимными подробностями. И хотя школа «натурализма» имеет свои заслуги — она привлекла внимание к социальной сущности человека,— интерес к ней довольно быстро пропал. Не потому ли, что она оторвалась от национальных корней? Во втором десятилетии началась реакция на «натурализм», которая привела к другой крайности — к эстетизму. Одна крайность порождает другую. Мировое признание пришло к тем писателям, которые и с традицией не порывали, и были близки к нуждам современников, таким, как Акутагава Рюноскэ. Он вернулся к сюжетам старины, к сборнику преданий «Кондзяку-моногатари» (XI в.), что не помешало ему быть злободневным.

Видимо, Янагида беспокоило чрезмерное увлечение европейской наукой или литературой именно потому, что они могли нанести ущерб национальной культуре или тем самым корням, которые он с такой любовью и тщательностью разыскивал. В каждой культуре есть общее, что можно обнаружить в любой культуре (ибо каждая нация не только дает, но и берет), и есть неповторимое, присущее данной культуре, чем она способна обогащать другие культуры. И об этом действительно нельзя забывать — об одной стороне без ущерба для другой, ибо нормально они могут развиваться только во взаимодействии и в равновесии. И потому Янагида не уставал повторять, что страна должна «знать себя». И у японцев (Кэнкити Ямамото выделяет эту мысль) за последнее десятилетие обострилось «стремление познать самих себя». Здесь есть некоторая разница. «Знание страны» — одна из древнейших традиций японцев, чего нельзя сказать о «знании себя». «Познай себя» — этот призыв и не мог сам появиться на почве традиционного мышления (с его идеей «не-я», преодоления личного). Все же это вещи взаимосвязанные: нельзя познать себя, не познав страну, нельзя

КЭНКИТИ ЯМАМОТО
КУНИО ЯНАГИДА: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

познать страну, не познав себя. И здесь Запад с Востоком оказываются взаимно необходимыми. Но не только потому обострилось у японцев стремление «познать самих себя», что мировое общение приводит к возможности обмениваться мировым опытом, но, наверное, и потому, что собственный горький опыт заставил их задуматься над тем, так ли безукоризненны их традиционные и нетрадиционные представления и идеалы. Знают ли они самих себя и не принимали ли неистинное за истинное: этими сомнениями пронизана японская литература наших дней. Что здесь: жестокий урок войны или страх перед экологической катастрофой? Но если люди уже способны поставить перед собой такую задачу — «познать себя»,— значит, у них есть будущее. Познавший себя не станет попирать других.

Конечно, то, что пишет Кэнкити Ямамото, отличается от того, что написал бы русский автор, если бы захотел рассказать о своем соотечественнике, отличается не только реалиями быта, обычаями, но и самим подходом к вещам, методом рассуждений. Однако уже сам факт, что японский литератор делится сокровенными мыслями с нашим читателем, говорит о возможности понимания и необходимости общения.

В последние годы один за другим мы отмечаем столетние юбилеи выдающихся японских ученых, деятелей искусства и мыслителей, родившихся в первые годы эпохи Мэйдзи. В июле 1975 года исполнилось 100 лет со дня рождения Кунио Янагида.

При мысли о том, что со времени рождения К. Янагида прошло уже целое столетие, невольно охватывает странное чувство растерянности. Ведь память еще хранит светлый и добрый образ живого Янагида. Его труды оказываются сейчас злободневными и ставят перед нами насущные вопросы. Деятельность Янагида была настолько широка, что и ныне отвечает самым разнообразным интересам.

Интерес молодых читателей к произведениям Янагида продолжает расти и после его ухода из жизни; сейчас издается большое количество книг и журналов, так или иначе связанных с его именем.

Янагида умер в 1962 году, вскоре после того, как было торжественно отмечено его 88-летие. Вторая половина его долгой жизни была посвящена главным образом работе в области японской этнографии, основы которой он заложил.

И сегодня этнографию Японии иногда по праву называют наукой Янагида. Вместе с тем Янагида, так много вложивший в развитие этой науки, не ограничивался только ее рамками — в своих произведениях и практической деятельности он пошел значительно дальше. Однако, согласно принятому в ученых кругах мнению, наука является наукой только в том случае, если она имеет четко сформулированные цели и методы. Янагида очень скоро стал пользоваться заимствованным из английского языка словом «фольклор», который он трактовал не только в научном смысле. Что же касается выражения «этнография Японии», то он начал применять его лишь после 1940 года, ибо считал неверным ограничивать круг научных исследований еще до того, как закончился процесс становления научной дисциплины. Методы были четко определены. Вопреки общепринятой практике, при которой на первое место ставится задача овладения письменными источниками, библиографией, ученый стремился постичь национальные особенности Японии и японцев, собирая и осмысляя сохранившиеся в народе памятники материальной и духовной культуры.

Трудно полностью охватить все творчество и заслуги Янагида. Он был не только ученым, проявлявшим непосредственный интерес к жизни народа, у него был и талант выдающегося литератора.

На склоне лет Янагида продиктовал текст книги «Родные места: 70 лет спустя», в которой вспоминает о днях своего детства. В ней, в частности, рассказывается: старший брат женился на девушке из соседней деревни и стал жить с ней в тесном доме своих родителей; между свекровью и невесткой случались ссоры, и кончилось тем, что примерно через год молодая вернулась под родительский кров. Аналогичная ситуация описана как будто в одном из романов Сатио Ито: как и у Янагида, причиной семейной драмы служит там тесное жилье, и автор тоже в течение всей жизни вспоминает добрым словом нежную невестку. Янагида замечает: «Возможно, эта жизненная коллизия и пробудила во мне интерес к этнографии». Возникновением этого интереса писатель во многом обязан и матери. Вот как он о ней пишет: «У нее была великолепная память, хранившая немало народных преданий; семья многим обязана ей. Вечная труженица, верная жена своего непрактичного, плохо знавшего реальную жизнь мужа, она воспитала и вывела в люди пятерых детей». Кунио, с детства неотступно следовавший за матерью, был типичным «байкусо». Так называют в тех краях съедобного моллюска «бай» — моллюск настолько прочно прикреплен к стенкам раковины, что его можно скорее раздавить, чем оторвать от нее. Янагида вспоминает, что в детстве он обычно просыпался от потрескивания хвороста в кухонном очаге, к этому времени мать уже успевала принести с улицы вязанку хвороста, наломать его и развести огонь; по дому распространялся знакомый приятный запах. Янагида пишет, что мать обладала «государственным умом», умела говорить, найти нужное слово, успокоить разгоряченного человека. «Она не читала древние трактаты: ни «Великое учение», ни «Учение

о середине» из четверокнижия, ни «Сутру лотоса», которую все читали, она их в глаза не видела. И все же мать хорошо знала их содержание, поскольку ей довольно часто доводилось слышать их в пересказе. В тех случаях, когда я их читал вслух при матери, она даже исправляла мои ошибки».

Янагида очень высоко ценил материнские способности; он считал, что ее метод приобретения знаний особенно подходит для простых людей, которые не имеют возможности посещать школу и учиться грамоте. В детстве, неотступно следуя по пятам за матерью, он много раз убеждался в ее жизненной мудрости. Такого рода качества часто раскрываются в повседневной жизни простых людей и помогают установлению добрых отношений в семье, между соседями, даже между жителями целой деревни. Они необходимы людям, считает Янагида,— в детстве он неоднократно убеждался в этом и восхищался ими.

От отца Янагида унаследовал тягу к знаниям. Приверженность отца к «кокугаку»[1] и «синто» [2] наложила отпечаток и на духовный облик Янагида. Отец почитал синтоистских богов и императора и добился, чтобы семья Мацуока отошла от буддизма.

Благодаря отцу, который был большим любителем книг, Янагида узнал массу вещей; от матери же, далекой от чтения, унаследовал глубинное понимание жизни и способность к трезвым суждениям о ней. Все это важно иметь в виду, поскольку эти обстоятельства повлияли на формирование научных взглядов и литературное творчество Кунио Янагида.

Янагида вспоминал, что одной из причин, вызвавших у него интерес к этнографии, было желание искоренить нищету, голод, которое привело его к изучению агроэкономики и истории крестьянства.

В 1885 году, в Ходзё, мальчик собственными глазами видел, как люди погибали от голода. Тогда перед домом известного городского торговца, владельца магазина «Ёгэн», и еще перед несколькими богатыми домами были сооружены большие жаровни, в них варили рис, который тут же раздавали голодающим. Судя по тому, что люди подходили за пищей с глиняными чайниками, варево, видимо, представляло собой некое подобие рисового отвара, вспоминает Янагида. Он пишет: «Поскольку наш дом находился рядом с районом городских трущоб, мать считала, что нам не следует есть пищу, которая могла бы вызвать зависть у соседей, и заставляла нас ежедневно питаться такой же кашицей».

В городке Нуногава (префектура Ибараки), куда семья переселилась, когда Кунио было тринадцать лет, строго придерживались неписаного правила — каждая семья должна была иметь не больше двух детей. Кунио, который рос в шумном окружении своих братьев, не мог понять, в чем дело. Но он перестал удивляться, узнав, что этот обычай появился после страшного голода.

В самой излучине протекавшей через городок реки Тонэгава стоял небольшой, скромный храм, в котором была установлена фигурка Дзидзо[1], а при входе в храм висела цветная картина «эма». Содержание «эма» приводило в ужас: мать душит своего только что родившегося младенца, нарисованный на «эма» бодисатва Дзидзо как бы оплакивает это ужасное действо. Так «обычай двух детей» нашел непосредственное отражение в искусстве.

Еще до окончания высшего учебного заведения Янагида изучал китайскую систему хранения риса и других зерновых на случай стихийных бедствий. Побуждало его к этому сознание необходимости избавить людей от такого страшного несчастья, как голод, с которым он столкнулся в детские годы.

В конце периода Эдо [2] издавалось немало книг о том, как избавить народ от бедствий. Этот вопрос занимал большое место и в рамках курса агроэкономики, который Янагида изучал в университете.

«Практическое применение науки» — этот девиз явился исходным в научных исследованиях Янагида, ученый сохранял его в своем сердце всю жизнь. Утверждая необходимость «подчинить науку спасению мира», он подчеркивал, что научные исследования должны главной своей целью ставить избавление людей от страданий, вызываемых бедностью,— будь то вражда между свекровью и невесткой из-за тесноты в доме или голод, обрушившийся на людей.

В июле 1900 года Янагида окончил политическое отделение юридического факультета Токийского императорского университета и начал работать в министерстве сельского хозяйства и торговли. По роду деятельности он должен был совершать инспекционно-ознакомительные поездки, заниматься чтением просветительских лекций. В наше время, когда мы не можем обойтись без поездов, автомашин и самолетов, трудно представить себе путешествия, какие совершал Янагида, неторопливо и с удовольствием бродивший пешком в сношенных сандалиях, внимательно присматриваясь к жизни крестьян. Когда на ногах ботинки, а не соломенные сандалии, соприкосновение с землей не передается телу.

Эти путешествия и заложили основу этнографических познаний Кунио Янагида. Они

[1] «Кокугаку» — «национальная наука», представители этой школы (XVIII в.) ставили своей целью возрождение японской древности. *(Здесь и далее прим. ред.)*

[2] «Синто» (буквально «путь богов»)—то же, что синтоизм—древнейшее верование японцев во всеобщую одухотворенность вещей: во всем, будь то гора, река, дерево,— живет свое божество ками, как бы дух горы, реки и т. д. Эта вера очень устойчива в народе.

[1] Этот бодисатва популярен у простых людей Японии, так как, по поверию, помогает слабым и детям.

[2] Период Эдо — с 1603 по 1868 год.

заставили его отказаться от карьеры ученого-агроэкономиста, от карьеры чиновника министерства и направили на путь создания японской этнографии. Это способствовало и тому, что свои сочинения Янагида писал уже не только как научные труды, но и как литературные произведения.

Для Янагида, обошедшего пешком, в соломенных сандалиях, всю Японию, важно было не просто познакомиться с положением дел в деревне, но познать жизнь крестьян во всех ее деталях. Усилия его имели еще и практическую цель — служить развитию агроэкономики во имя спасения людей от голода и других бедствий. Постепенно в своих исследованиях он пришел к еще более важной мысли: глубже познать свою страну — Японию.

В 1902 году Янагида был назначен советником юридического управления, в котором проработал до 1914 года. Здесь он по собственной воле занимался, казалось бы, малоинтересным для юриста делом — амнистированием. Ему приходилось читать многотомные уголовные дела, чтобы определить, могут ли быть приняты во внимание те или иные смягчающие вину обстоятельства. В зависимости от этого решался вопрос о направлении петиции императору. В эти дни в силу специфики работы Янагида нередко соприкасался с такими фактами из жизни людей, которые скрыты от взгляда посторонних. Возможно, Таяма Катай[1] и некоторые другие японские писатели впоследствии использовали в своих произведениях рассказы Янагида.

Контактам Янагида с японскими литераторами положило начало знакомство с Огаи[2]. После этого он стал встречаться с Тосон[3], Сюкоцу[4] и другими членами группы «Бунгакукай» («Литературный мир»), с Кёка[5] и другими. Дом Янагида в Токио на улице Кагамати превращается в своеобразный литературный салон, который посещали писатели Катай, Доппо[6], Ариакэ[7], Бидзан[8], Фуё[9], Тосон и другие. Здесь происходили так называемые «литературные субботы». Впоследствии эти субботы явились предтечей некоторых литературных кружков.

В этот период Янагида более чем когда-либо живет в гуще литературной жизни, отдается литературе. Это началось с его увлечения классической и новой японской поэзией. Будучи хозяином салона, он знакомил гостей с содержанием романов иностранных писателей, которые одним из первых получал из книжного магазина Марудзэн, в частности с произведениями Доде, Тургенева, Мопассана, Бурже, Франса.

Это было время, когда Янагида особенно сблизился с представителями новой литературы Японии и даже стал оказывать известное влияние на творчество японских писателей. Например, прочитав написанную его давним другом Катай повесть «Конец Дзюэмона», где рассказывается о трагедии человека, близкого природе, он специально навестил автора и сообщил ему о своих добрых впечатлениях от прочитанного. Однако за роман «Постель» он осудил этого писателя, расценив книгу как недостойное и нечистое произведение. Появление романа «Постель», ознаменовавшего начало перехода японской литературы к школе «натурализма», к «повести о себе», способствовало тому, что Янагида совершенно отошел от литературной среды.

Янагида осуждал Катай за то, что в своих романах тот «полностью отказался от воображения, от всего, что люди связывают с литературой и искусством, перестал даже уделять внимание выбору темы произведения». Он и позже не изменил своего мнения. Во взглядах Янагида и Катай на литературное творчество теперь уже не было ничего общего: Янагида считал, что литература должна быть интересной и доставлять людям радость, Катай же утверждал, что «роман может быть и неинтересным» и даже «не должен быть интересным». Со времени опубликования романа «Постель», считал Янагида, японская литература резко сузила свою сферу. С его точки зрения, японские литераторы забыли о простом народе, составляющем большинство японской нации, их произведения повествуют, как правило, о жизни небольшого круга городской интеллигенции.

Янагида как-то сказал мне, что лучше всего познать историю простого японского народа помогают четыре книги: «Повествования о прошлом и настоящем» («Кондзяку-моногатари»)[1], сборник повествований «Сясэкисю»[2], записи «Кёгэн»[3] и «Сборник поучительных и забавных историй» («Сэйсуйсё»)[4]. Он также добавил, что особенно важное значение в этом смысле

---

[1] Таяма Катай (1871—1930) — писатель, теоретик искусства.

[2] Мори Огаи (1862—1922) — автор ряда исторических романов, лирических повестей и пьес; считается представителем романтического направления в японской литературе.

[3] Симадзаки Тосон (1872—1943) — зачинатель новой японской поэзии, автор ряда реалистических романов, некоторые из них переведены на русский язык.

[4] Тогава Сюкоцу (1870—1939) — эссеист, специалист по английской литературе.

[5] Идзуми Кёка (1873—1939) — представитель жанра «идейной повести».

[6] Куникида Доппо (1871—1908) — романтический поэт и родоначальник современного короткого рассказа.

[7] Камбара Ариакэ (1876—1952) — поэт-романтик.

[8] Каваками Бидзан (1869—1908) — представитель жанра «идейной повести».

[9] Огури Фуё (1875—1926) — писатель, сочетавший в своем творчестве традиционные черты с натурализмом европейского типа.

[1] «Кондзяку-моногатари» составлены во второй половине периода Хэйан (794—1192). В сборнике объединены самые разнообразные фантастические истории и легенды.

[2] «Сясэкисю» — сочинение Мудзю Итиэн (1226—1312), где собраны поучительные истории буддийского толка.

[3] «Кёгэн» — своего рода комические интермедии, которые разыгрывались в перерыве между пьесами театра Но. Оформились в XIV в.

[4] Сборник «Сэйсуйсё» написан в 1623 году буддийским монахом Сакудэн Аракуан.

имеет «Семитомник Басё» [1]. Янагида подчеркивал, что наряду с потоком литературы о жизни аристократии и богатых людей, начало которому положила «Повесть о Гэндзи», в Японии существует и другой поток — литература о простых людях.

Янагида нередко подсказывал Таяма, Катай и другим писателям темы будущих произведений. Разного рода уголовные истории, которые становились ему известны из прошений об амнистии на имя императора, подчас служили материалом для их книг. Свои надежды Янагида связывал прежде всего с «народной литературой», начало которой положил сборник «Повествований о прошлом и настоящем». Поскольку писатели, современники Янагида, этих надежд не оправдывали, он стремился сам создавать произведения, которые бы удовлетворяли этим требованиям. Как это ни парадоксально, все, что он сделал в этнографии, не было чистой наукой, его деятельность в этой области как бы восполняла то, чего недоставало японской литературе. Этнографические исследования Янагида нередко охватывали те сферы, которых избегали в своих произведениях японские писатели того времени. Поэтому его заслуженно называют писателем не только потому, что он прекрасно владел стилем «дзуйхицу» [2].

Со временем в душе Янагида возрос интерес к народным сказаниям и легендам. Летом 1908 года он предпринимает специальную поездку на остров Кюсю с целью сбора фольклорных материалов.

В работе «Остров Юкайто» Янагида вспоминал об этой поездке, которая позволила ему «детально познакомиться с деревенской жизнью на Кюсю». Наибольшее значение имело для него посещение деревни Сиибамура. Интерес к этому месту, желание побывать здесь, увидеть многое своими глазами пробудились у Янагида после того, как в Кумамото он услышал рассказ одного из своих знакомых о районах Хюга и Насу, где находилась Сиибамура. Было и еще одно обстоятельство — раньше он был приглашен в дом кумамотского барона Асо, где к своей большой радости обнаружил шесть современных репродукций «какэмоно» [3], на которых были изображены различные сцены из охотничьей жизни в районе Симоно. По ним можно было судить о богатой добыче, о роскошных одеждах самураев-охотников и даже их слуг.

В жизни деревни Сиибамура сохранялись элементы, позволявшие до некоторой степени представить себе обычаи и правила, которые были приняты на охоте еще в те времена, когда она являлась своего рода религиозным действом. Янагида хотелось подробно записать все, что он узнал в Сиибамура, сделать это достоянием многих людей.

Итогом этой поездки стал объемный «Сборник охотничьих рассказов». В деревне Сиибамура староста поведал Янагида о древних охотничьих обычаях, преданиях, которые передавались от поколения к поколению, а нередко находили отражение и в письменных памятниках.

Осенью того же года Янагида предпринял еще одну поездку — на северо-восточную окраину острова Хонсю. Так возникла книга «Повесть о Тоно». Как и «Сборник охотничьих рассказов», эта книга была издана им за свой счет. Вот что писал Янагида в работе «Мои издательские дела»: «Я решил, что после выхода в свет книги о населении юго-западной Японии (остров Кюсю) было бы хорошо рассказать и о северо-восточной части страны... Это была удачная идея, и обе эти работы положили начало сравнительному методу исследования, который мне приходилось впоследствии часто применять в своих работах. В то время я с радостью узнал, что люди проявляют большой интерес к беседам и сообщениям по этнографии... их занимают нравы и обычаи, существующие в наших краях».

В «Повесть о Тоно» вошло много удивительных и страшных историй о богах гор, деревенских и домашних, об отшельниках, о снежных женщинах, о фантастическом существе «каппа», о полуобезьянах-полусобаках. Этот богатый материал давал ответы на вопросы, которые давно занимали Янагида,— они касались веры простых людей в божество гор.

Говоря о Янагида, необходимо иметь в виду, что ему не чужды религиозные чувства. Как человек, носивший бога в своем сердце, Янагида испытывал потребность познать его сущность. В этом направлении и шли его научные изыскания. Одно из важных исследований, которое Янагида вел в течение всей жизни, имело целью собрать существующие предания о боге-хранителе, в которого верили как отдельные семьи, так и целые деревни. Прототипом такого бога-хранителя в представлении Янагида был близкий и добрый бог, дух которого обитал в синтоистском храме Судзигамори, что находился в его родном городке. Его образ связывался в сознании Янагида с кустами красной мирики, растущей в роще у соседней деревни, с каменными фигурами сторожевых псов у ворот храма и приносимым божеству кушанием «адзукимэси» [1]. Но в сердце Янагида таилось сомне-

[1] Мацуо Басё (1644—1694) — прославленный японский поэт; писал в форме «хайку», коротких трехстиший (17 слогов). «Семитомник» был составлен Басё и его учениками в 1684—1698 годах.

[2] «Дзуйхицу» — традиционный для Японии литературный жанр заметок, записок; буквально: «вслед за кистью».

[3] «Какэмоно» — японская картина (или каллиграфическая надпись) на продолговатой полосе шелка или бумаги; вешается вертикально или хранится в свернутом виде.

[1] «Адзукимэси» — рис, сваренный вместе с красной фасолью.

ние, хотя и не было противоречия между объективным, рациональным взглядом и его горячим желанием понять, что представляют собой божества-ками, живущие в душах простых людей Японии, в том числе японских крестьян.

Появившаяся примерно в то же время книга Янагида «Диалог о каменных статуях богов» вобрала в себя материалы переписки между Янагида и его единомышленниками, их размышления о каменных статуях богов, устанавливаемых в молельнях и часовнях.

В этой работе была впервые конкретно описана методика этнографических исследований Янагида.

«Сборник охотничьих рассказов» и «Повесть о Тоно» содержат повествования о различных житейских событиях — их слышал Янагида в глухих районах на юге и севере Японии. Эти произведения вошли в золотой фонд японской этнографии. Характерная для Янагида манера письма, объективная, лишенная какой бы то ни было вычурности, помогает почувствовать и его своеобразное ироническое отношение к тогдашним литераторам, стремившимся перещеголять друг друга в «самовыражении».

Будучи чиновником, Янагида в то же время много путешествовал по стране в поисках нужных материалов. В 1913 году, в возрасте тридцати девяти лет, он вместе с Тосио Такаги стал издавать журнал «Кёдо кэнкю» («Изучение родного края»), на страницах которого обсуждались народные предания, обычаи и нравы. Янагида и сам публиковал в журнале научные исследования и с его помощью находил единомышленников по всей стране. Сбор народных преданий, запись народных обычаев — это многотрудное дело было не под силу одному человеку, поэтому так важно было подготовить побольше специалистов в этой области.

Разыскивая интересовавшие его материалы и осмысляя их, Янагида хотел, чтобы и его ученики, так же как и он сам, ходили в соломенных сандалиях по стране. Сбор исходных данных он считал необходимым условием научной работы. Однако впоследствии Янагида брал на себя только обработку и конечное осмысление материалов, которые искали по всей стране его ученики.

У него были веские причины спешить с этой работой. Если в развитых промышленных странах, таких, как Англия и Франция, сохранилось в то время лишь совсем небольшое число неизвестных народных преданий и легенд, то Япония представляла собой в этом отношении настоящую сокровищницу. Однако высокие темпы модернизации после революции эпохи Мэйдзи толкали на мысль о том, что терять время было нельзя. Сбор и накопление в максимально короткие сроки большого количества материалов оказались жизненно важными для японской этнографии. На помощь со стороны государства надеяться не приходилось — помогала только дружеская солидарность единомышленников!

Янагида мечтал о том, чтобы и простой народ участвовал в развитии науки. Большое значение он придавал приобщению женщин к научным поисками. Янагида называл этнографию «полевой наукой», «наукой собирания». Он подчеркивал, что в науку, занимающуюся изучением духовного склада народа, должны вносить свою лепту прежде всего «простые люди», собирая данные о тех районах страны, где живут. Подготовку таких материалов, необходимых для развития этнографии, он рассматривал как свою первоочередную задачу. Когда Янагида говорил о незаменимых людях, на которых держится этнография, о «носителях знаний» и о «друзьях», он имел в виду именно этих простых собирателей.

Разбросанные по всей стране помощники Янагида, подготовке которых он отдал много сил, стали незаменимыми людьми. Ученый считал, что запись народных преданий и обрядов должна преследовать три цели. Вот что он писал об этом в предисловии к работе «О народных преданиях»:

«Первую цель можно определить как наблюдение, познание внешних сторон жизни, сбор данных посредством путешествий. Здесь исследователю необходимо прежде всего зрение. Он получает материал, касающийся, как правило, внешних сторон жизни.

Вторая цель — истолкование жизни — означает обстоятельное ознакомление с тем или иным районом страны, требует продолжительного пребывания там. Исследователю нужен при этом и тонкий слух, ведь в данном случае он имеет дело с языком и должен постоянно вслушиваться в его звучание.

Третья цель — постижение основ самой жизни. И здесь исследователь должен прислушиваться прежде всего к зову своего сердца, внимательно всматриваясь в условия существования своих земляков и соотечественников. Иностранцам трудно справиться в этой задачей».

Янагида утверждал, что путь к познанию открывают не только университетские лаборатории, но и «полевая наука», та, что при желании доступна всем простым людям. И поскольку невежество порождает общественное зло, подчеркивал Янагида, то развитие и совершенствование «полевой науки» отвечает интересам государства.

Янагида рекомендовал в качестве настольной книги уже упоминавшийся «Семитомник Басё» и не переставал удивляться, как старец Басё сумел так хорошо познать жизнь различных слоев общества. Он радовался, когда видел, что с помощью таких изысканных литературных форм, как «хайкай» и «рэнга» [1], можно выразить малейшие нюансы человеческой души. Произведения Басё и других мастеров давали

[1] «Хайкай» — комические стихи различных форм. «Рэнга» — «стихотворная цепь», образуемая соединением пяти- и семисложных стихов.

Янагида материал для его исследований, раскрывали душу и психологию японцев. В этом смысле и литература может рассматриваться как часть этнографии. Ведь пристальное внимание к жизни народа, к движениям человеческого сердца всегда было задачей литературы.

Когда в 1921 году Янагида стал членом «Международного объединенного комитета» и как его представитель поехал в Женеву, он встретился там со знаменитым антропологом Дж. Дж. Фрейзером [1], автором книги «Золотая ветвь», получил возможность прослушать его лекции. Методика Фрейзера, несомненно, оказала свое влияние на Янагида. Вместе с тем он твердо верил, что у японской этнографии должны быть собственные цели и собственная методика. Янагида не удовлетворяло существовавшее тогда в Японии положение, при котором в различных областях науки господствовал плагиат, питавшийся переводами с иностранных языков. Янагида считал, что его наука — это этнография «одной страны». Возможно, в будущем, подчеркивал он, когда будет создана «всемирная этнография» (или «всемирная антропология»), японская наука станет составной ее частью. Однако на нынешнем этапе внимание следует сосредоточить прежде всего на своих внутренних проблемах. Дело тут не только в том, что иностранцам трудно постигать Японию. Для Янагида была особенно важна мысль, что японцы должны сами познавать свою страну. Он был сыном своей эпохи — эпохи Мэйдзи, думал о благе страны и народа.

Янагида утверждал постоянно и настойчиво, что страна должна «знать себя». В 1931 году он впервые употребил выражение «новое страноведение». Впрочем, оно утвердилось в его лексиконе лишь после окончания войны. Янагида считал, что «новое страноведение» должно давать ответ на реальные проблемы времени. Наука, служащая интересам людей, может выполнять свои задачи, лишь способствуя «изучению собственной страны». Янагида писал, что «люди стремятся познавать самих себя» и наука призвана помогать им в этом. Лишь «когда политика и жизнь станут совершеннее,— писал он,— наука сможет считать свою задачу выполненной» (из работы «Молодежь и научные исследования»).

Собрание сочинений Кунио Янагида (31 том) и пять отдельных томов его трудов действительно помогают японцам понять собственную страну. Он стремился раскрыть черты национальной психологии, народную душу, и в этом смысле можно говорить об особом этическом характере его учения, отличающемся, скажем, от синологии или египтологии.

В самый разгар бесконечно длинной войны Японии против Китая мне довелось встретиться с ним в его рабочем кабинете. Тогда он без обиняков, взволнованно сказал, что «такой неблаговидной войны еще не было». И эти слова произвели на меня глубокое впечатление. Он считал, что на всех японских ученых, в том числе и на нем, лежит ответственность за то, что они не смогли помешать вовлечению страны в эту позорную войну. В представлении Янагида наука не должна заниматься лишь бесплодным теоретизированием.

В последние десятилетия у японцев обострилось стремление познать себя. У этого явления разные причины. Но можно точно утверждать, что одна из них — большое влияние творческого наследия Янагида. Речь в данном случае идет не о кабинетной, «теоретической науке», но о науке, тесно связанной с жизнью народа. В этом — очарование и притягательная сила трудов Янагида. Еще не раз будем мы открывать для себя значение его жизни и творчества.

Перевод с японского В. Т. ФЕДЯИНОВА

[1] Джеймс Джордж Фрейзер (1854—1941) — английский ученый, исследователь истории религии.

◆

Культура и современность

Заметки на полях

О МЕРАХ И ПОЛУМЕРАХ

Судьбы культуры в условиях современного буржуазного мира все более волнуют общественность Запада, вызывая горячие споры на страницах печати. Журнал «Тиден», теоретический орган социал-демократической партии Швеции, тоже выступил по существу вопроса, выразив беспокойство относительно положения дел в культурной жизни страны. Если, например, государственная политика, проводимая правящей социал-демократической партией, привела к определенным успехам, скажем, в сфере культурно-просветительской деятельности среди населения, в развитии системы образования для взрослых, организации досуга, сохранении фольклора, развитии библиотечного обслуживания населения, то обстановка во многих областях искусства, литературы, в книгоиздательском деле принимает порой кризисный характер.

В этом году правительство внесло на рассмотрение риксдага законопроект, предусматривающий ряд мер по улучшению положения в различных сферах культуры. Так, предполагается увеличение пособий художникам, музыкантам, писателям (которые часто вынуждены бросать занятие творческим трудом, так как он не обеспечивает им прожиточного минимума), повышение ассигнований на поддержание деятельности общества содействия развитию искусств, всешведского объединения выставок, а также на художественное оформление помещений государственных учреждений. Намечается увеличить ассигнования музеям и некоторым другим организациям и учреждениям на сохранение памятников старины.

Нетрудно заметить, что все эти меры затрагивают только финансовую сторону вопроса и так или иначе фактически являются продолжением политики, в основе которой лежит теория «автоматического овладения культурой». Журнал так раскрывает суть этой теории:

> «Исходное убеждение в том, будто предпосылки для развития культуры автоматически вытекают из самого процесса материального преобразования общества, порой, однако, приводило социал-демократов к фальшивому оптимизму в оценке перспектив дальнейшего движения вперед. Некоторые утверждали, что как только народ достигнет материального благосостояния, он автоматически поднимется на более высокий уровень культуры».

Швеция в силу ряда причин достигла относительно высокого материального уровня жизни, но в области культуры адекватного подъема не произошло. Наоборот, процесс духовного застоя и культурного обеднения общества обострился. Журнал «Тиден» открыто признает это:

«Социальное и экономическое благополучие, к сожалению, не обеспечивает соответствующих сдвигов в сфере культуры — искусства, музыки, литературы высокого класса».

Однако попытаемся более подробно разобраться в культурной ситуации в Швеции и понять, что именно порождает в стране пессимизм. Так, известный шведский искусствовед Аллан Эдваль говорит следующее:

«В шведской культуре отмечается застой, а если оценить положение в историческом плане, то это — регресс. Подобная ситуация вызвана тем, что шведская культура подчиняется законам рынка. Если какая-либо ее отрасль не приносит доходов, то ее просто свертывают. Социал-демократы администрируют лишь буржуазной культурой. С прогрессивной культурой они не желают иметь дело».

Эдваль приводит такой пример. Приблизительно до 1960 года Королевский драматический театр в Стокгольме жил на доходы... Управления денежных лотерей. Культура, таким образом, финансировалась «за счет скудных крох, перепадавших от игры людей в денежное счастье».

Он продолжает:

«Ныне такая же обстановка царит в области кино. Производство отечественных фильмов почти целиком зависит от доходов, приносимых демонстрацией фильмов порнографического характера. Это — чистейшая шизофрения шведского киноискусства».

Коммерческий подход к оценке культурных ценностей, определяемый лишь соображениями денежной выгоды, характерен и в отношении литературы. Здесь бизнес надежно оседлал пегаса. Примеров беззастенчивой эксплуатации литературы можно было бы привести множество. Сокращается издание произведений художественной литературы. По сравнению, скажем, с 1970 годом в последующие три года было отмечено сокращение изданий: романов — на 28 процентов, произведений лирического жанра — на 38 процентов, а переводной литературы — на 44 процента. Прогрессивной литературе становится все труднее пробиваться к читателю. На ее пути — коммерческие барьеры: установленные нормы прибыли от изданий книг, а также мутный поток доходной «желтой литературы», проповедующей культ насилия и секса, всевластия денег.

Под угрозой свертывания находится издание произведений классической литературы. Ее тиражи сокращаются, а то, что издается, нередко выходит из типографий дельцов от литературы в неузнаваемо искаженном виде. Речь идет о произвольных сокращениях произведений классики, об изуродованных «миниатюрах» Диккенса, Флобера, Гюго и других авторов.

«Вопрос об издании художественной литературы достиг ступени, когда речь идет не столько об экономической стороне дела, сколько о сохранении культуры нашего общества»,—

с вполне обоснованной тревогой говорил шведский литератор Ларс Фурулунд и задавал вопрос: а в состоянии ли Швеция вообще иметь «собственную жизнеспособную литературу»? Вопрос этот совсем не риторичен. Ведь спрос на книги падает. Как утверждают специалисты, 80 процентов населения Швеции никогда не посещают книжных магазинов, а 75 процентов — никогда не пользуются услугами библиотек.

Журнал «Тиден» признает и тяжелое положение в книгоиздательстве, где коммерческие интересы душат настоящую литературу, где частные издательства в погоне за прибылью наводняют книжный рынок пустой, а нередко и вредной в общественном плане литературой.

«Государство должно проявлять значительно больший интерес к проблемам литературы, чем сейчас. Это необходимо, в частности, потому, что книги стоят очень дорого и простой народ отказывается приобретать их для личного пользования. Это необходимо и для сдерживания духа коммерции в сфере издания массовой литературы. Издательства выпускают, а соответствующие организации в массовом порядке распространяют по дешевой цене такие произведения, ко

торые по своему содержанию резко противоречат требованиям, предъявляемым общественностью к культуре».

В начале нынешнего года министр просвещения Б. Сакриссон внес конкретные предложения относительно создания государственного издательства массовой литературы. О масштабах его планируемой деятельности можно судить по тому, что в текущем году это издательство должно выпустить книги десяти названий по доступной цене (5 крон) крупным тиражом (40 тысяч экземпляров), в будущем — 18 названий книг, в 1978 году — 28. Заметим кстати, что ныне в Швеции, по признанию Сакриссона, книги одни из самых дорогих в мире (в среднем порядка 12—14 долларов).

В Швеции отмечается резкое сокращение продолжительности «жизни» книги, еще недавно составлявшей по меньшей мере четыре года. Теперь же коммерсанты от литературы стремятся побыстрее уничтожить нераспроданный тираж. Это оказывается выгоднее, чем держать его на складах. Такая политика наносит ущерб как интересам читателей, так и особенно интересам писателей, доходы которых непосредственно зависят от реализации их произведений. Прошлой осенью стокгольмские писатели скупили нераспроданные частными магазинами книги для детей и юношества и весьма успешно сами распродавали их. В этом году кампанию спасения книг, осужденных книготорговцами на уничтожение, решено продолжить.

Кризисное положение в сфере литературы и искусства вызвало появление в Швеции в конце 60-х и начале 70-х годов так называемых «сентрумбильднингар» — объединений писателей, художников, музыкантов, деятелей театра и кино, поставивших своей целью на общественных началах содействовать росту прогрессивных форм культуры и искусства, продвижению их в массы и освобождению от коммерчески-спекулятивных интересов частного капитала. Однако эта полезная инициатива наталкивается на труднопреодолимое препятствие: недостаток финансовых средств.

Журнал «Тидеи» видит причину провала политики в области культуры прежде всего в недостаточном внимании государственных органов к вопросам культуры, в мизерных ассигнованиях на культурные цели. По самым оптимистическим расчетам, отмечает он, к концу 70-х годов эти расходы могут достигнуть лишь одной сотой доли расходной части государственного бюджета страны!

Но главная причина — политического характера. Журнал отмечает:

> «Решающим препятствием на пути внедрения культуры в массы, на пути поднятия уровня образования народа является жестокая эксплуатация людей и превращение их в пассивных роботов на своих рабочих местах в результате их полного бесправия».

Каков же выход из положения?

> «Введение демократии на рабочих местах является поэтому сегодня важнейшим требованием и с точки зрения овладения ценностями культуры».

Итак, «демократия на рабочих местах» должна устранить все трудности и препятствия, изолирующие культурные ценности от широких масс, открыть народу «зеленую улицу» в священный храм науки, культуры и искусства. Лозунг «демократия на рабочих местах» не первый год стоит на повестке дня современной Швеции. Он означает участие рабочих в управлении предприятиями, участие столь же внешне привлекательное, сколь и фиктивное. Создавая видимость ограничения власти предпринимателей, оно в то же время не решает главного вопроса — не лишает хозяина права распоряжаться судьбой рабочей силы, нанимая и увольняя людей, исходя из соображения собственной, личной выгоды, не считаясь с интересами рабочих.

Реализацию этого лозунга социал-демократическая пропаганда представляет в качестве важнейшего мероприятия для дальнейшего реформистского преобразования общества как в материальной, так и в духовной сферах. Фактически речь идет о дальнейшем приспособлении общества к условиям научно-технической революции без того, чтобы поколебать его буржуазные основы, о продолжении той политики классового примирения и сотрудничества, которую шведские социал-демократы проводят с момента прихода к власти в 1932 году и которая не столько приблизила страну к рекламируемым «социалистическим идеалам», сколько укрепила и модернизировала капиталистические устои общества.

Журнал «Тиден», предлагая свой рецепт спасения культуры, советует вырвать ее из цепких лап капитала, из сферы рыночных отношений. А для этого, считает он, для культуры необходимо создать «фундамент, свободный от духа коммерции». Но позволительно спросить, как это сделать в обществе, основанном на духе коммерции? Журнал ответа не дает, хотя пишет достаточно категорично:

> «Коль скоро рынок (частные предприниматели.— Д. Е.) имеет тенденцию войти в противоречие с демократическими устремлениями, инициатива должна перейти к государству... Настало время поставить культуру на первый план».

А как практически решить эту задачу? Неужели достаточно «демократии на рабочих местах» и более крупных ассигнований на культуру? Практика самой Швеции убеждает, что меры реформистского толка по приспособлению культуры к требованиям современного капиталистического «общества потребления» явно недостаточны. Необходимо подлинное раскрепощение культуры от пут коммерции и интересов денежного мешка. С помощью же политики классового мира и согласия добиться этого невозможно.

Д. ЕРШОВ

АФРИКАНСКИЙ РОМАН: СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЗИРОВАНИЕ

Критика и литературоведение в Африке еще моложе юной литературы этого континента, но они уже познали все основные направления и школы, существующие в мире. В последнее время все чаще появляются публикации о социологии африканской литературы — один из самых важных и значимых вопросов как для писателей, так и для критиков. Он начал разрабатываться с первых же шагов африканской науки о литературе посредством широчайшего спектра методов — от вульгарно-социологического до структуралистского.

Большинство авторов сужали тему «социология африканской литературы» до рамок социологии романа. Так, нигерийский исследователь С. О. Анози, чья монография «Социология африканского романа. Реализм, структура и детерминация в современном западноафриканском романе» до сих пор остается одной из самых содержательных по интересующей нас теме, объясняет это тем, что роман — наиболее чуткий инструмент, улавливающий малейшие сдвиги в обществе. Его основная функция как социального искусства — отражение реальности. Социальная действительность находит наиболее точное отражение не в стихах, где, по мнению Анози, ее сильно искажает воздействие личности поэта, а в романе, в котором осмысляется главным образом не личный, а коллективный опыт.

Другая особенность большинства работ состоит в том, что речь в них идет об Африке в целом или о крупном регионе (Западном или Восточном), а не о какой-либо отдельной стране. Так, кенийский критик Дж. Мутисо в недавно вышедшей книге «Социо-политическая мысль в африканской литературе» утверждает, что все африканские писатели так или иначе касались одних и тех же тем и что ни одна из литератур континента не имеет в этом смысле национальных особенностей.

> «У всех одинаковые социо-политические ситуации, обусловленные конфликтом культур в колониальный период, стремлением к независимости в 50-е годы. В настоящее время им свойственны этнический конфликт, напряжение между сельским и городским секторами и самое главное — отсталость».

Пожалуй, одно из немногих исключений в серии работ об африканском романе — статья Дж. П. О'Флинна «К социологии нигерийского романа», помещенная в сьерра-леонском журнале «Африкэн литераче тудей». Сразу заметим, что О'Флинну даже в малой степени не удалось установить национальные особенности нигерийской литературы. Метод автора основывается на простейших подсчетах: в 1960 г. было издано такое-то количество книг, а в 1966 и 1970 гг.— такое-то, и стало быть... Как на

фактор развития указывается даже на число книжных лавок (приводятся цифры), хотя делается оговорка, что, «конечно, сами по себе книжные магазины не порождают романов».

Цифры помогают О'Флинну также в выяснении вопроса об идейных позициях романистов, которые, по его концепции, почти полностью обусловлены происхождением и местом службы. О'Флинн называет двенадцать имен, первыми утвердившихся в нигерийской литературе.

> «За исключением трех (Алуко, Шойинка и Тутуола),— говорится в статье,— они были выходцами из восточных районов, и, за исключением Тутуолы, все принадлежали к высшим слоям буржуазии. Восемь из них учились в одном из четырех-пяти правительственных колледжей, а семь — в первом Нигерийском университете в Ибадане. Связи их с правящим классом в силу их принадлежности к элите чрезвычайно глубоки, и по крайней мере две трети из них в то или иное время были на государственной службе. Короче, их легко выделить в среде нарождающейся нигерийской буржуазии в те годы, когда этот класс занимает позиции, контролирующие национальную власть».

Вот суть концепции О'Флинна: роман — форма буржуазная, рост буржуазии автоматически приводит к расцвету романа (и, наоборот, расцвет романа свидетельствует о росте буржуазии), и социальное происхождение романистов — доказательство этого положения! Ссылаясь на исследования, в которых отмечается связь между урбанизацией и подъемом английского романа XVIII века, О'Флинн, не утруждая себя доказательствами, заявляет:

> «В Нигерии XX века появилась целая группа городов, которые по своим размерам не имеют соперников во всей черной Африке, и, с л е д о в а т е л ь н о (выделено мной.— В. Б.), господство Нигерии в африканском романе в первое его десятилетие отчасти объясняется высокой степенью урбанизации и обусловленными урбанизацией преимуществами».

Далее мысль исследователя движется по самой прямой дороге: если рождение романа в данном обществе зависит от становления буржуазии, то необходимо определить тот период в нигерийской истории, когда этот класс начал формироваться и выдвигать свои требования. Этим и занят критик; вначале он высчитывал, сыпал цифрами, теперь он называет даты, чуть ли не с точностью до года, устанавливая появление на свет нигерийской буржуазии. Его теоретические установки обладают такой «строгостью» и «точностью», что факты из истории развития романа в Нигерии делаются практически излишними: их можно просто «вычислить». Действительно, если, например, в 1966 г. нигерийская буржуазия переживала кризис, то как не предположить, что кризис распространился и на роман? (Хотя остается и лазейка в виде инерции развития.) О'Флинн так и пишет:

> «Через пять лет после получения независимости наступил некоторый спад — как раз в то время, когда с треском распадались группировки, сформировавшиеся в борьбе за независимость. Затем в 1970 г. конфликт уладился, и роман воскрес».

Что же это за кризис и как он сказался на развитии романа, на эволюции взглядов писателей?

> «Никаких проблем для писателей не возникало,— утверждает О'Флинн,— до тех пор, пока буржуазия оставалась прогрессивным классом, а так оно, несомненно, и было в те годы, когда буржуазия возглавляла освободительное движение. Таким образом, романист мог отражать и пропагандировать сознание класса, своего класса, чьи интересы, казалось, совпадали с интересами нации в целом. В течение десятилетия нигерийский роман двигался вперед на волне народных сил, направленных в одну сторону. Когда по достижении независимости эта волна наткнулась на берег, разбилась на противоборствующие части, внутри которых в свою очередь возникли противоречия, тогда и роман очень быстро пришел в упадок».

Ко времени кризиса появился так называемый «роман разочарования»: «Голос» Г. Окары, «Интерпретаторы» В. Шойинки, «Человек из народа» Ч. Ачебе, который засвидетельствовал подозрительность властей по отношению к интеллектуалам, а «разрыв между литераторами и политической элитой,— по утверждению О'Флинна,— был резко обозначен первым арестом Шойинки».

Таким образом О'Флинн как будто говорит об оппозиции писателей правящей элите, о разрыве, о перемене установок, о переходе на новые идейные и классовые позиции? Ничего подобного. Жесткая схема, по которой роман непременно должен находиться в недрах буржуазии, вынуждает О'Флинна пророчествовать о дальнейшем поглощении литературы крепнущей буржуазией. Статья заканчивается так:

> «Многообразные связи... рухнули, когда правящая элита оказалась не в состоянии осознать требования постколониального периода. Союз уступил место болезненному конфликту. Еще слишком рано пытаться очертить послевоенные структуры, однако если, как мы предполагаем, основной их чертой будет рост и экономическая стабилизация буржуазии, то можно ожидать, что нигерийский роман, подобно роману других стран, еще больше будет локализовываться внутри этого класса и его стремлений, противоречий и занятий. Национальные по сути романы, вроде «Человека из народа», «И пришло разрушение», в этой ситуации будут уступать место индивидуалистической, отчужденной беллетристике — более утонченной и одновременно более ограниченной. В этом смысле, возможно, роман «Интерпретаторы» когда-нибудь будет восприниматься как провозвестник второго поколения нигерийского романа».

Если здесь есть социология, то вся она заключается лишь в манипуляции терминами: «буржуазия», «класс», «урбанизация», «элита». Что же касается нигерийского романа, то о нем по существу ничего не сказано, вычерчена лишь кривая его показателей (по количеству) и грубо — в зависимости от политических событий — обозначены периоды его развития. Социальная позиция писателя почти буквально связывается с тем, что делал автор (а то и его родители) до 1960 г. (года получения независимости), а затем в 1966 г. (начало гражданской войны).

Вполне очевидно, что это не социология, а социологизирование, выяснение анкетных данных с последующим их наложением на данные о росте городов. Оно не способно дать представление ни о национальных особенностях, ни о социальных и литературных закономерностях развития романа.

Большинство африканских авторов избирают другой, более продуктивный способ социологических исследований африканской литературы. К их числу относятся и упоминавшиеся нами Дж. Мутисо и С. О. Анози. Так, для Мутисо словесность — своеобразный материал, который может и должен быть использован социологом при условии, что будет учтена литературная специфика. В целом для автора несомненна общественная природа африканской литературы, тем более что искусство в Африке по традиции высоко функционально и современные писатели привержены к этой традиции, считая, что общественная значимость произведения выше эстетического удовольствия, которое оно доставляет.

> «Всякая литература,— пишет Дж. Мутисо,— в той мере, в какой она имеет дело с личностью в обществе, содержит элементы социальной и политической теории. Разумеется, художник не всегда пишет с намерением пропагандировать определенную идею, но он не может творить в безвоздушном пространстве».

В дальнейшем Дж. Мутисо использует литературные произведения, которые он цитирует в изобилии, почти как материалы социологических исследований. Исходя из затронутых в литературе (не только в романах) проблем, автор делит свое исследование на разделы: «Интеллектуалы», «Служащие и специалисты», «Политики и политический процесс», «Роль женщин», «Противоречия между городом и деревней», «Конфликт личности и общины». Все эти разделы составляют главу «Самость (identity) группы и личности в африканском контексте». Другая, более обобщающая глава — «Самость Африки в мировом контексте» — состоит из разделов: «Интерпретация прошлого, настоящего и будущего», «Панафриканизм», «Социальные перемены».

Исследование Дж. Мутисо проведено конкретно, и жаль, что литература является для него лишь иллюстративным материалом, а не главным объектом интереса. Но результаты работы вполне заслуживают подзаголовка: «Социология африканского романа».

Следует отметить, что самостоятельный вклад в разработку темы «Социология африканской литературы» внесли и писатели, размышляющие о своем творчестве. К их числу относятся в первую очередь Чинуа Ачебе, Эзикайл Мпахлеле и Воле Шойинка. Но это — особый разговор.

ВИКТОР БЕЙЛИС

ИСПАНИЯ И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА

Под таким заглавием мадридский ежемесячный журнал «Ресенья де литература, арте и эспектакулос» опубликовал ответы на анкету, предложенную деятелям литературы и искусства, политикам и философам.

В течение ряда лет — практически всего первого десятилетия после установления в стране франкистского режима — Испания была по существу отрезана от внешнего мира. Ущерб, причиненный годами изоляции, ощутим и по сей день. Этот факт обращает на себя внимание и вызывает беспокойство многих представителей интеллигенции. Так, молодой писатель И. Монтеро отмечает:

> «В первые послевоенные годы даже и речи не могло быть о настоящем знакомстве с мировой культурой. Направления философской мысли, эстетические искания, творчество отдельных писателей тех лет так и остались для нас неизвестными».

В начале 50-х годов потребность в экономических и политических контактах с другими странами заставила испанское правительство несколько изменить направление своего внешнего и внутреннего курса. На Пиренейский полуостров стали просачиваться отрывочные и беспорядочные сведения о культурной жизни зарубежных стран. Более широкое распространение произведения зарубежной культуры получили в Испании лишь в 60-е годы, когда режим предпринял ряд практических мер, направленных на либерализацию своей внешней политики. Постепенно испанцы стали знакомиться и с культурой социалистических государств, в первую очередь Советского Союза. На Апеннинском полуострове давно любят и уважают русскую литературу, особенно произведения Достоевского, Тургенева, Чехова, Л. Толстого. Изданы Горький и Шолохов. Только роман «Мать» за последние три года переиздавался шесть раз. В последнее десятилетие переведены произведения Есенина, Булгакова, Шкловского, Эренбурга, Зощенко, Шварца, Ильфа, Петрова, Катаева, Айтматова. Большая заслуга в этом барселонского издательства «Планета», выпускающего многотомную серию «Мастера русской литературы». Однако объем этих изданий в общем количестве переводной литературы в Испании пока что невелик.

По данным ЮНЕСКО, в стране в последнее время ежегодно выпускается свыше 23 тыс. названий книг. В этом отношении из европейских стран Испания уступает только СССР, ФРГ, Англии и Франции. Давние и почитаемые традиции книгоиздательского дела объясняются тем, что Испания издает книги не только для внутреннего рынка. Как правило, значительная часть тиража (нередко до двух третей) уходит в Латинскую Америку, большинство стран которой не имеет своих издательств (исключение составляют Мексика и Аргентина). Поэтому внушительные цифры выпускаемой книжной продукции не отражают реального положения дел в самой Испании.

Кроме того, испанский читатель крайне неоднороден. В ответах на анкету «Ресенья де литература, арте и эспектакулос» некоторые писатели обратили особое внимание на огромный разрыв между интеллектуальной элитой и подавляющим большинством населения, ставший одной из характерных особенностей духовной жизни страны. Это связано с низким культурным и образовательным уровнем, отсутствием читательского интереса к литературе, понимание которой требует вдумчивого и серьез-

ного отношения к книге. Большой популярностью пользуются назидательные романы и религиозная литература, которая по количеству выпускаемых названий занимает третье место, уступая лишь художественной и социально-политической литературе. Читательский спрос определяет издательскую политику. Это относится и к переводам.

Признавая резко возросшее в последние годы количество переводной литературы, многие писатели, ответившие на анкету журнала, выражают неудовлетворение ее характером. При переводах образуются лакуны в общей панораме мировой культуры, всячески рекламируется массовая литература, а подлинно интересные, глубокие книги нередко остаются неизвестными широкому испанскому читателю.

> «Я хочу указать на фрагментарность наших представлений о зарубежной прозе. Кроме нескольких заслуживающих внимания исключений до нас доходит либо авангардистская литература, где одна мода быстро вытесняет другую, либо нашумевшие бестселлеры. Произведения, не вызвавшие сенсаций и скандалов, но на самом деле содержательные и интересные, чаще всего проходят мимо нас»,— отмечает писатель Мануэль Андухар.

Неудивительно поэтому, что скептицизм в оценке степени и благотворности влияния современного литературного процесса на испанскую культуру звучит и у крупнейшего прогрессивного издателя Карлоса Барраля, у критика и эссеиста Франсиско Умбраля, у поэта и издателя, составителя нескольких антологий, в том числе «Новой испанской поэзии», Хосе Батльо. К ним присоединяется и Рауль Мородо, общественный деятель и политик, отмечающий, что влияние прогрессивных достижений мировой культуры в Испании пока еще очень незначительно.

> «Это относится как к области выразительных средств и стиля, так и к проблематике. Но иначе и не может быть, пока сохраняются современные политические условия. Особенно драматично положение испанского театра. В целом, за исключением, быть может, пластических искусств, испанская современная культура не имеет ничего общего с тем, что заключается сегодня в понятии западная культура».

Влияние зарубежной буржуазной культуры на испанскую, даже теми, кто его признает, как правило, оценивается отрицательно. Предположение о том, что слишком большое количество переводной литературы, причем не всегда первосортной, приведет к бездумному копированию манеры модных писателей и механическому перенесению чуждой проблематики на национальную почву, высказывает молодой писатель Карлос Мурсьяно. Об интеллектуальной колонизации Испании другими странами, в первую очередь Соединенными Штатами Америки, пишет драматург Франсиско Ньева. Его тревогу разделяет и прозаик Хуан Хиль-Альберт:

> «Если под словом «культура» понимать общественные устои, обычаи и традиции, то результаты подобного влияния мне кажутся неутешительными... Перенимая чуждый стиль жизни, испанцы утрачивают особенности своего национального характера. Внешне наша культура начинает смехотворно походить на культуру США, влияние которой гораздо значительнее, чем западноевропейских стран».

Опасения испанских писателей не напрасны. По данным ЮНЕСКО, почти половину всей художественной литературы, ежегодно выпускаемой в стране (3181 название из общего числа 7461), составляли переводы, среди которых первое место (приблизительно четвертую часть) занимают книги американских авторов. В том же году на экранах столицы было показано 111 американских фильмов и лишь 74 — испанских.

Большинство писателей, выступивших на страницах «Ресенья де литература, арте и эспектакулос», признают отставание испанского литературного процесса от мирового и западноевропейского, в частности. Чаще всего они склонны объяснять его причинами политического характера. «Наша культурная изоляция — следствие изоляции политической»,— пишет Хосе Луис Кано. Более определенно высказался по этому поводу Хосе Батльо:

«О том, что происходит в мире, мы узнаем поздно, и узнаем недостаточно. Это относится не только к культуре, но и к другим сферам нашей действительности. Причины можно объяснить одной печально знаменитой фразой: «Смерть интеллигенции!», произнесенной в саламанском университете сорок лет назад».

Х. Батльо имеет в виду выступление генерала Мильяна Астрая 11 декабря 1936 года в городе Саламанке на торжественном акте, посвященном «празднику испанской расы». Этот девиз — одно из программных положений идеологической доктрины франкизма, выражающей пренебрежительное отношение к интеллигенции, ее искусственное противопоставление народу как «хранителю национальных традиций». Обратная сторона этого девиза — культивирование в стране невежества. Эта специфически национальная проблема, вытекающая из фашистского характера государства, не только не утратила своей актуальности, но, напротив, особенно остро стала ощущаться испанской интеллигенцией в последние годы. Переориентация с духовных ценностей на материальные, обусловленная экономическим подъемом 60-х годов, изменением образа жизни, стала одной из ведущих тенденций в испанском обществе.

С особенно резкой критикой испанского «общества потребления» выступили молодые оппозиционно настроенные драматурги, входящие в так называемый Независимый театр. Он появился на рубеже 70-х годов и свидетельствовал о неприятии значительной частью молодежи политического устройства Испании, ее моральных и нравственных ценностей. Среди выступивших на страницах журнала «Ресенья де литература, арте и эспектакулос» немало драматургов и театральных критиков, поэтому театр, главным образом оппозиционный, стал предметом пристального внимания. Впрочем, это объясняется еще и тем, что театр, наряду с телевидением и кино,— одно из слабых мест в испанской культуре. Почти все единогласно отмечают недостаточное знакомство с работой своих коллег в других странах, консерватизм испанской публики и всей театральной системы в целом, отсутствие условий для творческой работы режиссера. Но наибольшее беспокойство вызывает положение испанских драматургов. В последние годы на сценах Мадрида и Барселоны все чаще появляются пьесы Брехта, Сартра, Вайса, Дюрренматта, в течение долгого времени подвергавшиеся негласному запрету властей. В то же время положение прогрессивных испанских драматургов не становится много лучше. Более того, после проведенной в 1970 году реорганизации Центрального управления цензуры театральных произведений административное давление на испанский театр еще более усилилось. Особому остракизму подвергаются независимые драматурги, чьи произведения до недавнего времени вообще не появлялись на коммерческой сцене. Известный драматург и критик, автор нескольких монографий об испанском театре, Х. М. Родригес Мендес с горечью констатирует:

«Мы имеем полное право говорить о совершенном отсутствии в нашей стране того, что действительно можно назвать театром... В последние годы положение вещей стало поистине ужасающим. Немало великолепных пьес испанских драматургов до сих пор не поставлено и вряд ли будет поставлено в ближайшее время».

Анкета журнала «Ресенья де литература, арте и эспектакулос» показывает, что прогрессивные слои интеллигенции испытывают глубокое неудовлетворение положением дел в Испании. Проявляя интерес к жизни других стран, большинство писателей вынуждены признать культурное отставание Испании, обусловленное, в первую очередь, политическими причинами. Они понимают, что преодоление этого отставания невозможно без изменения ситуации во всех сферах духовной жизни страны, которое, в свою очередь, требует радикальной перестройки общества. Поэтому прогрессивная интеллигенция решительно присоединяет свой голос к тем, кто в сегодняшней Испании требует демократических перемен.

Н. МАТЯШ

◆

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ

II. РАСКРЫТИЕ ЗАГОВОРА И ПОСЛЕДСТВИЯ

Дополнительные магнитофонные записи и документы, раскрывающие планы португальских правых сил и их закулисные махинации

Заключительная беседа с д-ром Луишем Диашем и д-ром Жозе Фигейреду 26 марта 1976 года в итальянском ресторане «Бобино» на Бургплац в Дюссельдорфе

Луиш: Наше правительство, находящееся в изгнании, собирается сейчас вернуться в Португалию.

Жозе: Начиная с этого воскресенья. (Пауза.) Я, между прочим, тоже еду — и брат президента, Франсишку. (Газеты ФРГ уже 25 марта сообщили о том, что Спинола якобы вернулся в Португалию.)

Вальраф: Это возвращение в Португалию началось с момента перехода границы Саншешем Осориу?

Луиш: Нет. Это был индивидуальный акт. Когда генерал был в Париже, Осориу сказал ему, что он больше так не может и вернется домой. А когда в Португалию прибудет и генерал, то очень вероятно, что он официально провозгласит прекращение деятельности ДДОП. В последние месяцы мы много говорили о том, что так будет лучше.

Жозе: Генерал закончит свою книгу и официально будет только директором нашего Института национального возрождения.

Луиш: И мы тоже не будем больше членами ДДОП. Конечно, только официально. Генерал и мы собираемся действовать исключительно в рамках легальных организаций. Официально.

Вальраф: Кто из важных лиц вернется в первую очередь?

Луиш: Все, кто пребывает сейчас за границей, генерал — в последнюю очередь. Я еду уже через неделю. Но свои квартиры в Женеве я сохраню еще на несколько месяцев. В Португалии Жозе и я будем ответственными за координацию внутренних и внешних интересов Португалии. Естественно, что в первую очередь речь пойдет об интересах нашего Института, резиденция которого будет в Лиссабоне, под сенью правительства. В Порту, Браге, Брагансе и других городах

Окончание. Начало см. в № 10.

расположатся филиалы, а курсы будут организованы по всей стране.

Вальраф: А какие международные связи есть, собственно, у генерала?

Луиш: Связи у него хорошие, и их немало. Многие стали обращаться к нему, особенно в последнее время. И среди них есть такие, которых мы считаем слишком левыми. И поэтому мы не позволяем ему принимать самостоятельные решения. У генерала есть один большой недостаток — он слишком легко доверяется людям.

Вальраф: Генерал сказал вчера, что южная организация ДДОП лучше, чем северная. Мне кажется, что он принимает желаемое за действительное.

Луиш: Нет, нет. Он совершенно прав: организовать наше движение на Юге действительно намного труднее. В постоянном окружении коммунистов наши люди стали осторожнее и организованнее. А что до Севера, то обосноваться там легче легкого.

Вальраф: В каких городах Алентежу ДДОП сильнее всего?

Жозе: Прежде всего в округах Порталегри и Эштремош.

Луиш: В Беже, несмотря на присутствие двух депутатов от КП, имеется сильный антикоммунистический потенциал, проявившийся в выборе трех депутатов от СП. Те, кто голосовал в Беже за СП, голосовал не за социалистов, а против коммунистов. Поэтому социалисты Алентежу нам очень важны.

Жозе: Кроме того, у нас под рукой еще члены нашей бывшей Партии прогресса, которым мы советуем, за кого голосовать на следующих выборах. Все это зависит от региона и действует по цепочке — от СДЦ через НДП на СП. А в отдельных округах Алентежу мы прямо рекомендуем СП. Я лично считаю, что революцию делает не пролетариат, а мелкая буржуазия. И португальская мелкая буржуазия голосовала за СП потому, что настроена она антикоммунистически. Эту мелкую буржуазию мы должны перетянуть на свою сторону. Говоря между нами — и об этом тоже мы не можем заявить официально,— СП оказала нам в этом немалую помощь. Социальное недовольство мелкой буржуазии режимом Каэтану и его антикоммунизмом СП удачно направила в нужное для нас русло.

Вальраф: Ведь и ДВС, в конце концов, тоже начало под флагом социализма.

Луиш: Как только слышу это ДВС, у меня сразу начинаются колики. Выражением изменившегося мнения португальского народа служит изменение надписей на стенах. Сначала было «Народ и ДВС — вместе», потом стало: «Народу с ДВС не по пути», а недавно я видел — «Народ — против ДВС». Таково положение в настоящий момент. Вообще же я считаю, что порядочные люди — это анархисты. Они выдумывают такие замечательные словечки. Особенно когда входят в раж. И когда их лозунги станут звучать глупо, для нас это будет победой. Им приходили в голову такие забавные идеи, как, например, писать на стенах кладбища: «Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает» или на воротах дома для умалишенных: «Вашку [1] вернется!» А все дело в том, что у левых нет никакого чувства юмора. (Все смеются.)

Вальраф (к Луишу): Ведь вы гражданский, где же вы получили военное образование?

Луиш: В 1958 году в Париже, на шестимесячных курсах НАТО. Закончил с отличием, а Кошта Гомеш, мой тогдашний сокурсник, провалился. Теперь он президент государства, а я живу в изгнании. Ирония судьбы. В этих натовских школах обучались либо военные не ниже полковников, либо министры иностранных дел, состоящие на службе. Я был там самым младшим, потому что был всего лишь доверенным лицом в правительстве Салазара. Моя жена водила дружбу не с женами, а с дочерьми тамошних курсантов.

Вальраф: А немцы на вашем курсе были?

Луиш: Я помню двух гражданских, одного звали, по-моему, доктор Ханзен из министерства внутренних дел, а другого — Губерт Шмидт из министерства иностранных дел. Кроме того — шестеро военных: полковники и два генерал-майора. Так как в то время я был представителем португальского правительства, то во всех дискуссиях я подвергался сильным нападкам. Только немецкие и итальянские офицеры принимали мою сторону. Каждый день с девяти до одиннадцати утра нам читали лекции о финансовых, военных и политических проблемах. Лекторами были лучшие специалисты от всех пятнадцати стран НАТО. Потом мы обедали. После полудня расходились по рабочим группам. Одного из немецких полковников звали Кляйн, а другого — ван де Брюгге.

Вальраф: А Карлуччи, американского посла в Португалии, вы знаете?

Луиш: Меня познакомил с ним в Бразилии мой друг, профессор института «Риу Бранку» Марселу Маркиш Мойрейра, который показывал Карлуччи трущобы Рио-де-Жанейро. Карлуччи очень умен и очень шустр, но не очень образован.

Жозе: Не удивительно с таким происхождением.

Луиш: Вот именно. Его семья из Сицилии, а они там все с мафией. Отец его был мелким батраком. Чтобы утешить, я как-то сказал ему: лучше быть бедняком в Бразилии, чем богачом в Нью-Йорке. В Бразилии бедняки по крайней мере свободны, чего не скажешь о богачах в Нью-Йорке.

Вальраф: Какую роль он играл в Португалии?

Жозе: Вначале такую, что хуже не бывает.

[1] Вашку душ Сантуш Гонсалвиш — полковник, позднее бригадный генерал, глава второго, третьего и пятого временных правительств Португалии.

А сейчас он начинает наверстывать упущенное. Странный народ эти американцы, за что ни возьмутся, все с кондачка — ну копия Албоима Галвао. Карлуччи финансировал АОП... Что вы скажете об установлении контактов с Никсоном?

Вальраф: Они наверняка не помешают. После визита в Китай у него появилось значительно больше возможностей поддерживать дружественные организации.

Луиш: Генерал и Никсон знают друг друга с тех времен, когда они оба еще были президентами. Они встречались на Азорских островах. И мы думаем, что было бы очень важно восстановить эти контакты именно сейчас. Мы уже подготовили письмо, которое отошлем на следующей неделе. Речь идет о новой встрече.

Луиш: Хорошие связи у нас и с арабскими странами.

Вальраф: Есть еще надежда вернуть Острова Зеленого Мыса? И как обстоят дела на Мадейре и Азорах?

Луиш: Что касается Мадейры и Азорских островов, то тут у нас никаких забот. Дело уже на мази.

Жозе: А будущее Островов Зеленого Мыса решается сейчас в Гвинее (Бисау)... Может быть, вам хотелось бы послушать кое-что о португальских масонах? Салазар любил говорить, что против воли масонов Португалией управлять нельзя. В Португалии есть две масонские ложи — «Французская» и «Шотландская». Ложи эти враждуют. «Шотландская» ложа аристократичнее и консервативнее, чем другая. Она помогла Салазару прийти к власти. Салазар, однако, был достаточно умен, чтобы разницу между этими ложами использовать в собственных интересах. Масоны, впрочем, есть и во флоте — Кошта Гомеш, Азиведу и другие.

Луиш: Благодарить вас при данном положении было бы излишним. Вас отблагодарит история. Особенно тронул нас оказанный вами теплый прием. Мы не испытывали ничего подобного за все время нашего изгнания. Приятно сознавать, что мы не одиноки в своей борьбе. Долгое время шли мы разными путями и вот наконец встретились. Если бы наша встреча состоялась раньше, то, возможно, все и не сложилось бы так хорошо. Провидение вело нас верным путем.

Вальраф: И мы тоже сделали выводы. Отныне наша борьба будет значительно более направленной!

Спинола как он есть

(24 марта)

Луиш: Думаю, стоит сказать несколько слов о политических взглядах генерала. Чтобы, когда он завтра приедет, у вас уже была предварительная информация. Даже самые благожелательные правые всегда сомневались относительно роли генерала в португальской революции. По всем пунктам, правда, не согласен с ним и я, но он действительно человек, которому можно довериться. Пользовался доверием он также и у Салазара. А когда в 1961 году Марселу Каэтану и Кошта Гомеш попытались свергнуть Салазара, на пути переворота встал полк генерала. В кабинете Салазара отец Спинолы был первым человеком. Потом Спинола занялся военным решением проблемы Гвинеи (Бисау), и вот по этому-то вопросу и разошлись мнения Каэтану и Салазара. В 1971 году Спинола написал книгу, которая поначалу представляла собою тайное донесение для Каэтану. В донесении Спинола предлагал свое решение колониальной проблемы. А когда за две недели до революции революционеры пришли к генералу, чтобы просить его взять на себя руководство, то он поначалу отказался. Впрочем, он завтра все расскажет сам.

Вальраф: Как, собственно, случилось, что генерала выслали из Испании?

Жозе: Скажу только, что за неделю до этого в Испании был ратифицирован договор об американских базах. И это принесет им несколько миллионов долларов.

Вальраф: Как вы оцениваете политические и военные способности генерала?

Жозе: У него замечательные военные способности. Говорю — «замечательные», потому что он мыслит не категориями классического ведения войны. В борьбе против африканского освободительного движения он изучил и перенял их партизанскую тактику. Проблема заключается только в том, что как политик он не мог делать того, чего хотел как военный. Армию контролировать легче, чем политику.

Вальраф: Какие актуальные политические или исторические примеры служат генералу образцом?

Луиш: Генерал — хороший ученик Клаузевица. Главные черты характера генерала — мужество, доверчивость и целеустремленный антикоммунизм. Решающим в нем является для нас то, что положительные качества покрывают в нем отрицательные. От других же он отличается тем, что целыми днями думает только о Португалии, в то время как другие целыми днями думают только о самих себе.

Вальраф: Есть ли у него сейчас пример для подражания?

Луиш: Он тщеславен и примером считает только самого себя.

Жозе: Вопрос о примере для подражания не существует для него вообще. В обращении он не прост.

Немецкие друзья путчистов Спинолы — «Настоящая голгофа» (Из предварительной беседы с д-ром Луишем Диашем и д-ром Жозе Фигейреду в среду, 24 марта в дюссельдорфском ресторане «Шнелленбург» в «Рейнском зале»)

Хотя отношения со Штраусом и кажутся закономерными, вместе с тем они кажутся и настолько непостижимыми, что на следующий день вечером в изысканном ресторане «Оранжерея» я еще раз завожу об этом разговор.

Луиш уточняет: С доктором Штраусом мы встретились вначале в Испании, и он нас сразу же пригласил на ужин. Мы проговорили весь вечер и разошлись в прекрасном настроении. В разговоре он мне показался невероятно симпатичным. Неделю спустя мы побывали у доктора Фосса и показали ему проект.

Жозе: И разработки тоже.

Луиш: Он был очень дружелюбен. Потом он рассказывал нам, что говорил об этом и с доктором Штраусом, потому что я просил его сделать это как можно скорее. Помню, было время карнавала... Мы поговорили тогда с доктором Штраусом и о возможности нашего проживания в Германии. Здесь, в Баварии, сказал он, это вовсе не исключено, в определенной мере можно заниматься и политикой, давать интервью и так далее.

После того, как на пресс-конференции в Бонне я объявил о связях Штрауса и Спинолы, прежде всего последовало опровержение личного референта Штрауса, доктора Фосса. Два часа спустя Штраус рассказал корреспондентам ДПА о своей встрече с этой «фигурой современной истории», после чего сознался в контактах с «героями демократического освобождения Португалии» и доктор Фосс.

И неожиданно столь желанный гость превратился в «препятствие для демократического развития Португалии!» (Штраус). «И поэтому я отказался (примечание: после февральской встречи) иметь с ним дальнейшие связи».

Этот нелояльный «поворот спиной» произошел, надо полагать, под давлением общественного мнения, так как согласно Диашу связи развивались и после вышеуказанной встречи. Предательство или соучастие в заговоре оказалось вопросом даты!

И, видно, не по собственной воле подверг жесткой критике председателя ХСС главный редактор «Ди вельт» в статье от 9 апреля: «...уж он-то (Спинола) наверняка не относится к тем авторитетам, с которыми можно сесть за один стол. Советников, которые это рекомендуют, следует увольнять».

За одним столом с друзьями и ближайшими доверенными Спинолы заседал каждую неделю в китайском ресторане Лиссабона «Макау» высокопоставленный сотрудник посольства ФРГ д-р Карл-Гейнрих Обераккер. На вечерах присутствовал второй личный адъютант генерала д-р Жозе Фигейреду.

Жозе: Наши контакты с посольством ФРГ протекали через д-ра Обераккера, которого мы уже хорошо знали по Бразилии.

(Д-р Обераккер, посредник между западногерманской и бразильской промышленностью, был всегда известен как блюститель национальных интересов Федеративной Республики. В 1955 году он выпустил книгу под заглавием «Немецкий вклад в возрождение бразильской нации», где даже Швеция представляется как послушная часть великогерманского рейха. В Португалии Обераккер поддерживал постоянные контакты со связным ПИДЕ в государственном радиокомитете Беккертом д'Ассумпсау, который при Салазаре и Каэтану заправлял государственной цензурой на радио.)

Связи с Обераккером особенно выявились для Жозе Ф. после его ареста при неудаче первой попытки Спинолы совершить государственный переворот 28 сентября 1974 года. Связи эти оказались полезными. (КОПКОН, тогдашняя португальская служба безопасности, в помещении бюро основанной Жозе и Луишем Партии прогресса изъяла списки оружия и план переворота, после чего Жозе на восемь месяцев попал в тюрьму.)

Жозе: Когда я был в тюрьме, он (Обераккер) через своих людей постоянно держал со мною связь и организовывал мне помощь. Он даже предпринял дипломатические шаги, которые и привели в конце концов к моему досрочному освобождению. А когда четверо наших офицеров после второго неудавшегося переворота укрылись в посольстве ФРГ, Обераккер помогал им как мог... Ему же мы обязаны и тем, что был положен конец происка директора Немецкого института в Лиссабоне, который еще при Марселу проводил разлагающую культурную политику.

Курт Майер-Клазон, известный переводчик латиноамериканской литературы, в том числе и Пабло Неруды, во времена диктатуры Салазара и Каэтану показал себя либеральным, прогрессивным культурным деятелем — ставил, например, пьесы Брехта, Хохгута, Вайса и других. Португальская интеллигенция, стоявшая в оппозиции фашистскому режиму, ценила его как типичное проявление западногерманских интересов.

В результате бесконечных интриг посольства ФРГ в Лиссабоне он должен был покинуть свой пост в конце июля 1976 года (причина: «преклонный возраст»).

Жозе: В сентябре 1973 года наш друг Обераккер связал нас с Куртом Цизелем и с Немецким институтом. С тех пор я регуляр-

но получаю «Дойчланд-магазин». Там напечатано красивое фото, на котором я стою на Химзее между Куртом Цизелем и Георгом фон Штудницем, который был последним, кому Салазар дал перед своей смертью интервью. Был ли Обераккер тем человеком, который установил контакты ДДОП с БНД (федеральная разведка и контрразведка), доказать пока нельзя.

Луиш: Только между нами. Ведь ЦРУ тесно сотрудничает с тайными немецкими службами. Через одного нашего хорошего приятеля мы установили связи с БНД. Этот же приятель запрашивал федеральное правительство о возможности оказать нам поддержку. Это было в то время, когда Галвау ди Мелу находился в Париже. Коалиция СДПГ—СвДП отклонила запрос.

Экскурс: оправдательные попытки личного референта Ф. Й. Штрауса д-ра Фосса по делу Спинола—Штраус

То, что было задумано как оправдание, на самом деле обернулось дальнейшими признаниями. Ответы доктора Фосса на вопросы тележурнала «Панорама» передавались по телексу:

Вопрос 1: Согласно сообщению ДПА вы заявили, что принять Спинолу г-на Штрауса «просили со всех сторон». С каких сторон просили г-на Штрауса?

Д-р Фосс: В связи с официальным государственным визитом д-ра Штрауса в Португалию в 1960 году целому ряду лиц было известно, что господин Спинола, бывший тогда в ранге майора, находился вблизи господина Штрауса. Это и послужило основанием того, что как иностранные, так и португальские политики и дипломаты просили господина Штрауса принять г-на Спинолу для беседы.

Вопрос 2: Сколько личных контактов было между г-ном Штраусом и генералом Спинолой и его уполномоченными, а также между вами и генералом Спинолой и его уполномоченными?

Д-р Фосс: Личный контакт между г-ном Штраусом и г-ном Спинолой был только один, а именно — 15 февраля 1976 года в Мюнхене, в котором принял участие также и господин Диаш. Изложенные г-ном Спинолой во время этого разговора взгляды убедили г-на Штрауса в том, что в дальнейшем демократическом развитии Португалии Спинола не играет никакой роли, а представляет скорее препятствие. После этого г-н Штраус отказался поддерживать с ним связи. Между тем у меня было два личных контакта с г-ном Диашем. Во время последней встречи г-н Диаш был в сопровождении г-на Фигейреду.

Вопрос 3: Сколько телефонных разговоров состоялось между вами и названными лицами?

Д-р Фосс: ...15 февраля 1976 года — между г-ном Штраусом и генералом Спинолой, которому была посвящена моя первая встреча с д-ром Диашем, было несколько телефонных разговоров. Обговаривалась также моя последняя встреча с г-ном Диашем. Дальнейшие попытки д-ра Диаша связаться с нами по телефону были безрезультатны.

Вопрос 4: Вы согласились с тем, что имели ряд контактов с г-ном Диашем. А с д-ром Фигейреду были у вас связи?

Д-р Фосс: Во время моей второй и последней встречи с д-ром Диашем его сопровождал д-р Фигейреду.

Вопрос 5: Когда состоялась ваша первая и когда последняя встреча с одним из названных лиц?

Д-р Фосс: Первый контакт с д-ром Диашем состоялся 13 февраля 1976 года и последний — 27 февраля 1976-го.

Вопрос 6: Откуда вы знали, что д-р Диаш и д-р Фигейреду уполномоченные лица генерала Спинолы?

Д-р Фосс: Д-р Диаш сообщил мне ряд данных, которые в результате моей последующей проверки свидетельствовали о том, что они — сотрудники г-на Спинолы.

Вопрос 7: Вручили вам указанные господа верительное письмо? Подвергли вы проверке его достоверность?

Д-р Фосс: Нет. И не сделал я это по причине, указанной в ответе на вопрос 6.

Вопрос 8: Получили ли вы от уполномоченных Спинолы (или от самого Спинолы) какие-либо бумаги, списки, аналитические сводки?

Д-р Фосс: Анализ политического положения в Португалии, который г-н Спинола передал г-ну Штраусу и который г-н Диаш повторил в личной встрече со мной 27 февраля 1976 года. Анализ был изложен письменно и служил рабочим документом для краткого визита г-на Штрауса в Португалию, куда он ездил 26 марта 1976 года на встречу с руководителями европейских партий, которая имела место в Порту. И эта встреча утвердила г-на Штрауса в его мнении о политической незначительности Спинолы.

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ
РАСКРЫТИЕ ЗАГОВОРА И ПОСЛЕДСТВИЯ

Вопрос 9: Вы протестовали против того, что со Спинолой или его уполномоченными велись когда-либо разговоры, которые касались планируемого путча или поставок оружия. Настаиваете ли вы по-прежнему на этом протесте?

Д-р Фосс: Настаиваю на этом высказывании на все сто процентов. Не существует, впрочем, никаких террористов Спинолы, а по единодушной информации всех разведывательных служб — это около 100 кубинцев и членов различных международных террористических организаций, также и из Федеративной Республики Германии совершают террористические акции с целью воспрепятствовать предстоящим в Португалии выборам. Уже имелись сообщения об убийствах и террористических акциях, совершенных этими группами против правых политиков.

Вопрос 10: Вы только что протестовали против утверждения, будто г-н Штраус в ответ на вопрос генерала Спинолы заявил, что он (Штраус) считает возможным помочь генералу Спиноле получить в Федеративной Республике политическое убежище, а именно — в Баварии. Вы настаиваете на этом протесте?

Д-р Фосс: Я заявил, что г-н Штраус на просьбу г-на Спинолы о политическом убежище в Федеративной Республике Германии сказал, что в отношении иностранцев у нас совершенно либеральное законодательство, о чем, например, может свидетельствовать борьба греческих приезжих рабочих против военной хунты, деятельность турок и иранских студентов и тому подобное. И для Спинолы это законодательство не менее действенно, чем для других.

На следующий день после пресс-конференции в Бонне, на которой я рассказал о планах Спинолы и сообщил о контактах со Штраусом — конференция состоялась 8 апреля,— Штраус выступил в бундестаге сам.

Вольфрам Реклингхаузен от СДПГ: А сейчас не скажете ли вы что-нибудь о Спиноле?

Штраус: Не принадлежу к тем, которые чтут г-на Спинолу как великого героя, спасителя отечества и проводника демократии, в отличие от некоторых в других местах (аплодисменты от ХДС—ХСС). Но если он меня просит о встрече, то у меня нет оснований отказать ему. (Вольфрам Реклингхаузен от СДПГ: И что же он от вас хотел? — Перебивающие возгласы от ХДС—ХСС.) Я готов рассказать об этом на пресс-конференции. Только для вас репетиторских часов у нас здесь нет. (Аплодисменты от ХДС—ХСС. Возглас от СДПГ: О Европе!) Но уж если вы хотите отклониться от темы, то ввиду широты позиции федерального канцлера нужно быть готовым к очень многому (Венер от СДПГ: А как вы думали!), и поэтому в своих записках я кое-что наметил. (Смех от ХДС—ХСС. Венер от СДПГ: Слушайте, слушайте!) Возьмем португальскую тему: да, я присутствовал на общественном мероприятии, на котором собрались сотни журналистов со всей Европы, а также радио и телевидение,— на первом официальном съезде СДЦ. Это португальская партия христианско-демократического толка. И там вместе с представителями христианской демократии из Голландии, представителем британских консерваторов и другими (Венер от СДПГ: Заключил так называемый «исторический компромисс»! — Осторожней, господин Венер, вас сейчас «побреют»! — Смех от СДПГ.— Осторожно, господин Венер! — Возглас депутата от ХДС—ХСС г-на Маркса), я сказал там то, что охотно повторю и здесь, а именно: до сегодняшнего момента восстановление демократии в Португалии после изменения системы в апреле 1974 года произошло не благодаря военным и не благодаря политикам, а благодаря мужеству народа, который воспрепятствовал марксистскому путчу. (Аплодисменты от ХДС—ХСС.)

Вице-президент г-жа Функе: Господин коллега Штраус, позвольте господину депутату графу Ламбсдорфу задать вам вопрос.

Штраус (ХДС—ХСС): Сейчас, прошу, не надо! Вы не настоящий партнер, граф Ламбсдорф. (Смех от СДПГ.) Вы конечно же решите, что я избегаю вопроса. (Вольфрам Реклингхаузен от СДПГ: Так дайте же его вам задать!) Нет, я хочу сейчас сказать то, что вам не по нутру, то, что вам не понравится, и при этом позволю себе обратиться к коллеге Брандту. Вы, господин Брандт, дезавуировали в Португалии социал-демократическую партию НДП, пошли к вашему единомышленнику Соарешу, которого вы по-братски обнимали и целовали, и не только в Португалии, но и в Бонне. (Штюкклен от ХДС—ХСС: Так оно и было!) А ведь Сареш — член Португальского народного фронта, не так ли? (Аплодисменты от ХДС—ХСС. Венер от СДПГ: Чем вы воспользуетесь еще в качестве громоотвода? — Возгласы от СДПГ.) Я могу еще выставить моего собеседника господина профессора Амарала, председателя СДЦ в Португалии, его заместителя Кошту — этих политиков здесь кое-кто знает — или генерала Мелу. (Д-р Маркс от ХДС—ХСС: Правильно!) Этого общества мне не нужно ни стыдиться, ни извиняться за него. Может ли притязать для себя на то же самое господин Сареш, который на последних областных выборах в Италии, стоя на рыночной площади в Риме, призывал голосовать за коммунистов (Штюкклен от ХДС—ХСС: Вы слушайте, слушайте! — новоявленный поборник Народного фронта,— но это другой вопрос. (Аплодисменты от ХДС—ХСС.) ...он был в одном кабинете с господином Куньялом и поэтому — наверняка не желая такого финала — существенно способствовал захвату власти в Португалии коммунистами. (Венер от СДПГ: Ведь они были даже в одном кабинете с «коммунистом» Венером!) Я бы об этом не стал говорить. Но если вы меня спрашиваете о Спиноле, то я хочу

спросить о Соареше. Я не имею столько общего с первым, сколько вы имеете со вторым. В этом состоит разница между нами...

На том же заседании по поводу заявлений Штрауса высказался председатель СДПГ.

Брандт: Мой третий вопрос, на который я перед этим подал заявку и который вытекал из речи господина Штрауса, заключается в следующем: с кем хочет господин Некто, имеющий подобные установки, с кем хотят строить Европу те, кто с этим Некто связан тесным политическим родством? С афинскими полковниками, господин Штраус, каши больше не сваришь! (Смех и аплодисменты от СДПГ.) Нумерация домов изменилась. (Д-р Хаузер Засбах от ХДС—ХСС: Какая наглость! — Крики от ХДС—ХСС.) Франко больше нет; Спинола — и в него не стоит бросать камни — выпал из политических событий. (Крики от ХДС—ХСС.) Почему же вы так нервничаете? Ведь я только говорю, что с правыми экстремистами и полуфашистами в Европе не создать ни одного государства. (Аплодисменты от СДПГ и СвДП — по-прежнему крики от ХДС—ХСС.) Больше я ничего не скажу.

■

Реакции и последствия

Из внутреннего донесения сотрудника одного из посольств в Лиссабоне

«Дело Спинолы» доходило до Португалии медленно и поэтапно. В среду попытка бывшего президента совершить путч была обнародована поначалу только в крупных заголовках, текст был опубликован в отрывках. Закулисные деятели отреагировали скорее прохладно. За чистую монету приняли эту историю только левые экстремисты, они злорадствовали, что человек с моноклем, который уже однажды провалился со своей попыткой мятежа против революционеров 25 апреля, угодил при новых поползновениях к путчу в такую примитивную ловушку. Для вновь окрепших правых «дело Спинолы» представлялось происками мирового коммунизма. А когда премьер-министр Азеведу во время своего официального визита в Вену заявил, что публикацию в «Штерне» [1] он считает достоверной, в Лиссабоне ее все еще считали «уткой». Президент Кошта Гомеш выступить по этому вопросу отказался принципиально.

И поэтому известие о том, что Спинола высылается из Швейцарии, достигшее Лиссабона в четверг около 15 часов, подействовало как взрыв бомбы. Для редакции газеты «Жорнал» это было доказательством того, что Вальраф прав. И на следующий день эта независимая либеральная газета перепечатала полный текст опубликованного в «Штерне» репортажа. Одновременно левая дневная газета «Диариу» публикует штерновский текст как продолжение истории. Только спустя четыре дня после первых сообщений лиссабонцы узнали всю меру «скандала со Спинолой».

В киосках этот политический детектив становится бестселлером. Толпы людей собираются у газетных лотков. В кафе мужчины и женщины, завороженные, погружены в чтение репортажа, занимающего почти четыре газетные полосы, горячо спорят. Настроения разделяются и здесь, господствуют самые крайние суждения. Один водитель такси говорит: «Если бы этот тип, который так спровоцировал Спинолу, попался мне в руки, я бы перерезал ему глотку. Потому что Спинола — человек чести. Он никогда не предавал португальцев. Если бы он был сейчас кандидатом, я голосовал бы за него». Левый студент, который не хочет называть своего имени: «С этим гигантским путчистским планом правые... продулись. Даже болвану должно быть ясно, что португальские правые — фашисты».

Публикация становится предметом дискуссий в предвыборной борьбе в стране, в которой граждане выбирают парламент впервые за последние пятьдесят лет и, согласно опросам, на 50% еще колеблются в выборе между фронтами. Говорят, что «Штерн» хочет якобы оклеветать правых и оказать помощь левым экстремистам, прежде всего — коммунистам. Этот журналистский выпад является якобы предвыборным маневром, «дьявольски подготовленным способом, достойным порицания», последствия которого «невозможно даже рассчитать и предвидеть», говорит правая газета «Комерсиу ду Порту».

Значительно больше, чем спекуляции типа «кто и чего хотел добиться репортажем «Штерна», волновала многих лиссабонцев угроза того, что сотни тысяч их соотечественников под предводительством Спинолы готовы «истребить коммунистов». Причем

---

[1] Репортаж Гюнтера Вальрафа впервые опубликован 8 апреля 1976 г. в сильно сокращенном виде консервативным журналом «Штерн» и подан им как политический вестерн, в котором были убраны все моменты, выявляющие связи португальских ультра с правыми политическими силами ФРГ, все, что касалось роли церкви в деятельности ультра, роли полиции и т. п.

правые радикалы Лиссабона вновь открыто заявили о своих намерениях. Один владелец гостиницы, недавно вернувшийся из Анголы, сказал: «То, что нам нужно,— это новый Гитлер».

Неофициальное высказывание члена революционного совета, близко стоящего к СП: «Я не думаю, что у ДДОП есть эти сто тысяч человек. Потому что они говорят только о том, чтобы на первом этапе вооружить десять тысяч человек, а при этом из их списка следует, что у Вальрафа они хотят заказать вооружение только для пяти тысяч человек».

На вопрос, насколько сильным может быть ДДОП, он говорит: «Мы знаем, что они крепко укоренились на Севере. И все-таки революционный совет в своих заявлениях нелегальность их положения не подчеркивает, что, однако, не означает, что они на легальном положении, ибо с первого мгновения их деятельность направлена против правительства, ибо они всесторонне показали себя как профилирующая террористическая организация. Разумеется, наше министерство внутренних дел запретило отныне продажу значков ДДОП и АОП. Об этом написано сегодня в газетах».

Он сказал, что не исключены и отношения между ДДОП и членами революционного совета. Это, считает он, естественно, так как многие вместе служили в армии, в Гвинее или Анголе, например. Но совсем другое дело, когда эти товарищеские отношения переносятся теперь на политическую почву.

О том, как легко Вальраф проник в систему ДДОП, он сказал: «Это могло бы привести к расследованиям еще более крупным. Способ, каким Вальраф проник в лагерь заговорщиков, невероятен. К этому уже давно стремятся и наша полиция, и наша служба уголовного сыска. Но всякий раз они наталкиваются на большие препятствия. А настоящей секретной службы у нас нет, так как после революции с сотрудниками ПИДЕ мы работать больше не хотим. Найти новых людей — настоящая проблема. Статья в «Штерне» была полезной в том смысле, что обратила на эту проблему наше внимание».

...О Спиноле: «Вокруг него сложился миф, как, впрочем, и вокруг многих других военных. При этом некоторые из его добродетелей наверняка сильно переоценены, а недостатки преданы забвению. В действительности же Спинола сделал обычную карьеру, продвинут самым заурядным образом. Кошта Гомеш, например, его перегнал: хотя и был моложе, продвижение его шло быстрее. Спинола и Галвау, его мадридский секретарь, совершили большую тактическую ошибку, и не одну. Однако выпячивают только их подвиги».

Он же говорит: «Оружие у них, конечно, есть. Например, то, что исчезло после деколонизации Мозамбика и Анголы. И это оружие находится в частном владении... Утверждение, что их враги — левые — вооружены до зубов, правые и ДДОП используют как предлог, чтобы самим вооружиться до зубов.

Во всяком случае, наши вооруженные силы не нашли у левых никаких складов оружия. Если правые знают, что у левых их так много, то почему же они не оповестили о них своих друзей в вооруженных силах. Мы бы эти склады ликвидировали».

Об опасности правого путча он говорит следующее: «Не все наши политические силы готовы к демократической процедуре. В стране по-прежнему имеются правые круги, которые мечтают о насильственных решениях. И пока наши вооруженные силы окончательно не реорганизованы, пока нет хорошей полиции и хорошо функционирующей секретной службы, возможность путча отнюдь не исключена».

Из донесения французской секретной службы

Во время пребывания Спинолы и Диаша в Париже они находились под негласным наблюдением служб МВД и полиции. В отеле «Георг V» Спинола и Диаш часто встречались с испанскими и португальскими экстремистами... Телефонный надзор показал, что секретарь Диаш, скрываясь под вымышленным именем, искал повторных контактов с посольством США в Париже. Встреча с сотрудниками посольства состоялась на Рю-де-ля-Бути 29 января 1976 года. Спинола и его свита использовали в качестве явочной квартиры резиденцию бразильского посланника. Когда же французская служба безопасности предложила Спиноле покинуть страну в 48 часов, покинуть добровольно, секретарь Диаш вновь попытался установить контакт с немецкими учреждениями в Бонне и дважды звонил в Мюнхен [1].

[1] По всей вероятности, речь идет о контактах со Штраусом. (*Прим. ред. журнала «Блеттер»*.)

Выезд из Франции. 7 февраля 1976 года Спинола и свита были выдворены из Франции. Покинуть страну добровольно Спинола не захотел. Двое служащих МВД и СБИК (французской разведки и контрразведки) проконтролировали их вылет в Швейцарию. В Швейцарии Спинола был задержан, причем последовала попытка отправить его вновь в Париж. Но французские служащие этому воспрепятствовали...

Во время составления протокола Спинола заявил: «Я не политический беженец и убежища не ищу. Я жертва интриг, которым способствовали французы. Я хотел бы значиться здесь как турист, который приехал в Швейцарию на лечение» (цитата из протокольного заявления).

Диаш, его секретарь, во время допроса заявил: «Французы обходились с генералом как с террористом». Целью поездки Спинолы и его свиты была Женева. С этого мо-

мента Спинола исчез из поля зрения швейцарских учреждений.

Западногерманские учреждения БФИ информацию о выдворении Спинолы из Франции получили и, естественно, уведомили об этом западногерманские пропускные пункты федеральной погранохраны 6 февраля 1976 года.

Наблюдение за Спинолой в Швейцарии. Наблюдение за Спинолой в Женеве началось только 26 марта 1976 года на основании информации, полученной из ФРГ. Источник: БФУ [1] в Кёльне [2].

Двое служащих женевского бюро безопасности под руководством господина Кабуцара несколько дней искали на ощупь. Служащие безопасности не могли разыскать в Женеве Спинолу и его свиту. Адъютант Фигейреду пожаловался в службу безопасности в Женеве на то, что генерал Спинола находится якобы под надзором. Адвокат Спинолы из Лозанны заявил официальный протест. После тайного визита в ФРГ 25 марта 1976 года в отеле «Резерв» Спинола больше не появился. Там было его официально объявленное местожительство. Диаш и Фигейреду ежедневно покупали в различных киосках португальские и западногерманские газеты, а также «Геральд трибюн».

Утром 7 апреля 1976 года дальнейшая информация стала поступать из Бадена. Федеральная адвокатура немедленно информировала начальника полицейского участка, женевский департамент, министра юстиции Фурглера и бундесрат. Фурглер потребовал подробностей: «Если в Португалии к власти придут правые, а мы сейчас выдворим Спинолу, то Швейцария попадет в затруднительное положение».

Федеральная адвокатура приняла меры против Спинолы по подозрению в нарушении статьи 229 швейцарского уголовного кодекса. Прецедент Спинолы имелся уже с августа 1975 года, после того как Спинола въехал в Швейцарию и в бундесрат поступил запрос, на каком основании Спинола может находиться в Швейцарии. Из следственного сообщения от 15 сентября 1975 года: «В результате выяснений федеральной адвокатуры и компетентных органов безопасности установлено, что Спинола не занимался в Швейцарии никакой политической деятельностью».

■

В четверг, 8 апреля 1976 года, день спустя после боннской пресс-конференции Гюнтера Вальрафа, швейцарским властям пришлось выдворить генерала Спинолу в Бразилию.

Перевод с немецкого А НАУМЕНКО

[1] Бюро расследований, отделение разведки.
[2] Телефон Вальрафа был под надзором. Подсоединение было отключено 25 марта 1976 года, за несколько часов до прибытия Спинолы, когда Вальраф еще предпринимал отчаянные попытки найти «контрпрезидента». *(Прим. ред. журнала «Блеттер».)*

...Казалось, что и на этот раз мне не повезло: только мы договорились встретиться с Гюнтером Вальрафом, как круговорот событий «оттащил» моего давнего знакомого от обычных дел. Буквально вечером того дня, когда мы беседовали по телефону, по радио передали: в кёльнском бюро писателя Гюнтера Вальрафа возник пожар, уничтоживший часть его рукописей и архива. Причины пожара неизвестны, однако не исключается поджог...

Я сразу вспомнил слова Вальрафа, сказанные им по телефону как бы невзначай:

— Сейчас я заканчиваю полный вариант всей истории со Спинолой. Кое-что еще осталось в записных книжках и на пленке...

Нет, у Вальрафа не бывает спокойной жизни. Порой приходится удивляться — когда он успевает излагать содержание своих поистине удивительных приключений? Но книги выходят одна за другой, и даже буржуазно-респектабельные и весьма осторожные западногерманские издательства включают новые работы писателя в свои программы. Гюнтер Вальраф сумел преодолеть невидимую преграду, отделяющую левых писателей и публицистов от пресловутого «большого рынка». Этот прыжок удается далеко не всем, и — не скрою — приходилось от некоторых слышать скептический вопрос: а не придется ли Вальрафу кое-чем поплатиться за свое восхождение на «книжный Олимп»? Но опасения опасениями, а Вальраф продолжает свою интересную и очень важную творческую работу.

Постоянным читателям «Иностранной литературы» его работа в какой-то мере знакома, хотя деятельность этого литератора безусловно заслуживает более глубокого и пристального внимания, чем мы до сих пор уделяли ей.

Неестественно худой, блистающий неспокойными стеклами очков в модной среди студенческой молодежи тонкой черной оправе, поражающий своего собеседника наивным и даже застенчивым обращением, Гюнтер Вальраф регулярно взрывает «литературные» бомбы. Почти каждая его работа — сенсация, в добром, отнюдь не одиозном смысле этого затасканного на Западе понятия.

Я не хочу отнимать у моих коллег-литературоведов права на определение жанра вальрафовских работ. Я уверен, что они сразу вспомнят о Михаиле Кольцове с его смелыми репортажами из логова белой эмиграции или о его поездках по Москве за рулем тогда еще редких такси. Вспомнят, видимо, и об Эгоне Эрвине Кише. Однако Вальраф сам со стыдом признавался, что не читал очерков Кольцова и даже не слыхал о нем, когда начинал свою деятельность публициста. Да и откуда знать и читать Кольцова молодому рабочему парню (он родился в 1942 году), выросшему в аденауэровской Федеративной Республике?

Уже первые очерки Вальрафа были сделаны по методу «внутреннего проникновения». О том, каково приходится жителям гамбургских ночлежек, Вальраф написал только после того, как сам провел в них несколько дней и ночей. Его первый репортаж об изнурительном труде на конвейере родился только после того, как он сам испытал эту судьбу. Очерки Вальрафа, появившиеся в рабочей и молодежной прессе, сразу привлекли внимание прогрессивных публицистов, заслужили одобрение в левых организациях.

Но это было начало. Метод «внутреннего проникновения» может означать разное: можно просто пойти на завод, можно наняться рабочим. Здесь многое зависит от зоркости взгляда, от умения сойтись с людьми (кстати, Вальраф не производит впечатления «контактного человека»). Однако писатель сделал еще один важный шаг, чтобы действительно проникнуть в «нутро» объектов, которые привлекли его внимание. Так родились его замечательные очерки середины 60-х годов.

Центральным из них стал репортаж о напалме — «Напалм? Да, и аминь». Напомним, что это было время Вьетнама. Вокруг Вьетнама скрещивались острия общественных дискуссий на Западе, Вьетнам был тогда «лакмусовой бумажкой» для определения политической позиции того или иного человека. Не будет преувеличением сказать, что в росте движения общественного протеста среди молодежи ФРГ вьетнамская война сыграла решающую роль. Если старшее поколение еще «переваривало» минувшую вторую мировую войну, то молодежь гораздо острее реагировала на ту войну, которая шла, потрясая мир жестокостью современного империализма. Напалмовые бомбы не только сжигали вьетнамские деревни, они жгли сердца миллионов людей, сталкивавшихся со страшным обликом американских «цивилизаторов».

Вальраф сделал следующее: от имени некоего западногерманского предпринимателя, якобы получившего от американских властей выгодный заказ на напалмовые бомбы, он послал письма видным представителям католической церкви ФРГ. Письма содержали вопрос: может ли сообразоваться производство напалмовых бомб с католической моралью? Не возьмет ли автор письма греха на душу, ежели примет заказ?

Ответы пришли — и так сложился очень простой по своей композиции очерк. Он состоял в основном из подлинных ответов, полученных Вальрафом. Их разоблачительная сила и состояла в том, что они были подлинными и даже не нуждались в особых комментариях. Смысл писем: раз речь идет об уничтожении коммунистов, то господь благословит и производство напалмовых бомб...

Вальраф и позже прибегал к приему «умышленной провокации», которая вызывала его контрагента на нужную автору откровенность. Об этом приеме мы как-то долго говорили с Вальрафом и пришли к единому мнению: здесь мало надеяться на вдохновение. Нужна тщательная подготовка, знание политического ландшафта страны, понимание тонкостей внутренней жизни общества, чтобы «провокация» была принята адресатом как нормальное деловое письмо, требующее делового ответа...

Очерк о напалме был настоящей бомбой. В бессильной злобе епископы и каноники даже не пытались отрицать своего авторства. Тем временем Вальраф готовил «бикфордов шнур» для следующего взрыва. В ФРГ тогда шла острая борьба против готовившегося «чрезвычайного законодательства», призванного предусмотреть механизм возможных действий против демократических сил; при этом здесь сходились интересы многих реакционных групп — политиков, предпринимателей, военных. В то время когда в бундестаге готовились «чрезвычайные законы», предприниматели на ряде заводов тайно приступили к формированию так называемой «заводской охраны» — военизированной гвардии монополии.

Вальраф задался целью разоблачить этот план. Но как? На все официальные запросы, в том числе на звонки Вальрафа, директора всевозможных фирм отвечали отрицательно. Тогда Гюнтер Вальраф предпринял такой маневр: он стал звонить по телефонам, представляясь как «д-р Кревер из министерства внутренних дел». Строгим голосом он предлагал своим собеседникам отчитаться по поводу формирования заводских отрядов. И как по команде те самые господа, которые раньше категорически отрицали наличие отрядов, давали «д-ру Креверу» подробные отчеты. Да, отряды есть. Да, они способны выступить против забастовщиков... Да, во главе стоят бывшие эсэсовцы...

Возмущению разоблаченных не было предела — на Вальрафа даже подали в суд. В декабре 1969 года ему пришлось выступить в качестве подсудимого, и тогда он прямо бросил в лицо судьям свое обвинение:

— Этот процесс является фарсом. Мне инкриминируют «превышение власти» или «клевету». В действительности на скамью подсудимых должны сесть те, кто нарушает конституцию и поспешно готовит «чрезвычайные меры пресечения».

Суд не решился вынести обвинительный приговор Однако с тех пор Вальрафу не раз пришлось иметь дело с местной юстицией. Так, в конце прошлого года кёльнский суд разбирал новое «дело» Вальрафа, который продолжал свои безжалостные разоблачения имущих классов.

На этот раз предметом разбирательства были репортажи Вальрафа о порядках в страховом и банковском концерне Герлинга. Как рассказывал мне сам Вальраф, ему, хорошо знакомому с процессом эксплуатации рабочих (он долго работал на конвейерах кёльнских заводов Форда), захотелось познакомиться с уделом служащих. Когда же один молодой профсоюзник, уволенный из концерна Герлинга, стал рассказывать о полуфеодальных нравах в царстве г-на Герлинга, Вальраф решил заняться этим объектом.

Сказано — сделано. В один прекрасный день в отделе кадров герлинговского концерна появился скромный молодой человек, некий Фридрих-Вильгельм Гис. Он заполнил анкету и вскоре был принят на работу в качестве посыльного. Гис ничем особым не отличался — он только внимательно слушал, что ему рассказывали. Этого хватило, чтобы через несколько месяцев появились рапортажи... конечно, репортажи Вальрафа, скрывавшегося под именем Гиса. Сомнений в аутентичности материала не могло быть — на всякий случай Вальраф закончил свою службу у Герлинга рискованным шагом. Ночью он провел с собой теле- и фоторепортеров, которые сфотографировали Вальрафа сидящим на столе... самого Герлинга!

Очередная публикация Вальрафа (он подготовил ее вместе со своим единомышленником Энгельманом, выпустив интересную книгу «Вы там наверху, а мы — внизу») наполнила душу разоблаченных такой злобой, что они не погнушались помощью неонацистов. Сам г-н Герлинг не подал в суд (его концерн по роковому совпадению в это время обанкротился), а воспользовался пером завзятого провокатора, неонацистского публициста Цизеля. Цизель подал на Вальрафа в суд, вздорным образом обвинив его в «подделке документов» — дескать, Вальраф представил в отдел кадров фальшивую анкету. Однако и этот вздор услужливо стали разбирать кёльнские судьи. В конце 1975 года суд признал Вальрафа виновным и приговорил его к выплате 560 марок.

Однако Вальраф не ограничивается операциями, грозящими их автору в худшем случае судебной тяжбой и штрафом. За последние годы он проявил недюжинное гражданское мужество, подвергнув себя куда более значительной угрозе.

...Майским утром 1975 года журналистам, работающим в Бонне, пришло приглашение на срочную пресс-конференцию, созванную Комитетом солидарности с греческими антифашистами. За длинным столом в отеле «Тюльпенфельд» сидели хорошо знакомые деятели этого комитета, известные западногерманские антифашисты. Они рассказали следующую, почти невероятную историю.

Несколько дней назад Гюнтер Вальраф выехал из Кёльна в Афины, имея в своем чемодане груз листовок, призывающих к свержению «черных полковников». Прибыв в Афины, он отправился на центральную площадь столицы — площадь Конституции,— привязал себя к столбу и стал разбрасывать листовки. Вскоре вокруг него собралась толпа, а потом подоспела полиция. Вальрафа стали избивать. Избитого отвезли в полицейский участок, держали много недель в предварительном заключении, а потом осудили на 14 месяцев тюрьмы.

Греческое «дело» Вальрафа открыло много любопытных аспектов. Западногерманские власти, имевшие весьма приличные отношения с тогдашними хозяевами Греции, не приложили особых усилий к тому, чтобы заступиться за Вальрафа. Безразличие к «делу» Вальрафа проявили и средства массовой информации ФРГ.

Рядом со мной на пресс-конференции сидел молодой парень, друг писателя. Будучи по профессии кинооператором, он согласился поехать вместе с Вальрафом и незаметно заснять всю «операцию» на площади Конституции. Съемки были сделаны, и, как было договорено, оператор помчался на аэродром, чтобы первым самолетом улететь в Кёльн и предложить телевидению уникальные кадры.

— Не тут-то было! — рассказывал мне оператор.— Когда я пришел в редакцию «Последних известий», мне заявили, что для сегодняшнего выпуска уже поздно. А завтра? Нет, завтра это уже будет «прошлогодний снег». Тогда я отправился в другую — литературную редакцию. Там меня похвалили за оперативность и утешили, что смогут включить мои кадры в следующий выпуск, то есть через две недели...

Кадры так и не были переданы по телевидению ФРГ, которое в иных случаях похваляется своей оперативностью.

— Знаете ли,— продолжал мой собеседник,— я вскоре оставил свои попытки. И вот почему. Если бы я мог предложить кёльнскому телевидению кадры о «подавлении свободы в странах Восточной Европы», то их, что называется, оторвали бы у меня с руками и ногами. Любые кадры о пресловутых диссидентах немедля попадают на экран, будь они даже годичной давности или просто фальшивкой. Дело, конечно, было в том, что мои кадры разоблачали греческий фашизм...

Все, что Вальраф пережил в застенках греческой охранки, он описал в книге «Греция — фашизм по соседству». Правда, книга эта оказалась «неактуальной»: она была выпущена уже после бесславного окончания эпохи «черных полковников». Но Вальраф уже был в Португалии.

Все, что изложено в репортаже, публикуемом в этом номере «Иностранной литературы», звучит так невероятно, что сам Вальраф до последнего дня удивляется своей удаче Он рисковал очень многим — и рисковал сознательно. В Португалии он подвергался немалой опасности, а дома — в Кёльне — его поджидали письма и телефонные звонки: мы с тобой расправимся!

Моя последняя встреча с Вальрафом состоялась в закопченных комнатах его дома. Пожар уничтожил почти все архивы, записи, дневники. А чтобы не было сомнения — сразу после пожара пришло еще одно письмо: пожар был предупреждением, теперь мы займемся тобой и твоей семьей! Аналогичные угрозы сыплются по телефону, что не мешает полиции с невозмутимым спокойствием отрицать возможность поджога.

Во время нашей последней встречи Вальраф заканчивал книжный вариант своей португальской «одиссеи». И, как всегда, он попадает в острую ситуацию. На португальском книжном рынке сразу появятся две книги о Спиноле: одна — Вальрафа, другая — самого генерала. Как известно, новое правительство разрешило Спиноле вернуться в страну. Несмотря на решительные протесты левых сил, неудачливый заговорщик остался на свободе и готовит свои мемуары. Вальраф улыбается:

— Не подумайте, что за него кто-то пишет. Спинола считает себя писателем и даже показывал мне свой паспорт, где он так и назван...

Итак, книги Вальрафа снова борются, он снова в центре борьбы. Ему к этому не привыкать. Сейчас он займется большой книгой о Португалии, о ее трудовом народе. Затем приходится продолжать судебный процесс против Цизеля. Надо ездить на литературные чтения в рабочие городки Рура. Недавно вышел сборник всех репортажей начиная с 1969 года. Пора думать о следующих очерках и книгах...

Л. БЕЗЫМЕНСКИЙ

Бонн

◆

КУРСОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

СВИДЕТЕЛЬСТВА ДРУЖБЫ

Год от года множатся и укрепляются связи между культурами народов, избравших социалистический путь развития. Великая цель построения нового общества породила и великую энергию социалистического интернационализма. Принципы интернационализма, навсегда установившиеся в отношениях между странами братского содружества, определяют и отношения их национальных литератур, каждая из которых вносит свой достойный вклад в общую сокровищницу передовой культуры наших дней, в художественное развитие всего человечества.

Многообразны формы контактов между литературами стран социализма: координация планов работы творческих союзов, широко утвердившиеся в практике совместные издания, регулярные обсуждения за «круглым столом» важнейших проблем культурной жизни, непрерывно увеличивающееся количество переводов, прочные деловые связи между редакциями... Все более тесное и многостороннее сотрудничество литературных организаций. издательств, журналов, общность опыта, целей, задач — сегодня это закономерность и норма духовной жизни социалистического содружества. Происходит формирование единой по своей идейной устремленности, многоцветной и опирающейся на лучшие национальные традиции социалистической культуры мира — факт огромной значимости для судеб прогрессивного и революционного искусства наших дней.

Публикуемые ниже материалы почерпнуты из текущей летописи наших литературных связей. Эти материалы относятся только к 1975 и 1976 годам и далеко не исчерпывают всего многообразия совместных начинаний, встреч, творческих контактов писателей даже за этот очень небольшой срок. Они рассказывают о торжествах в связи с 70-летием великого художника современности М. А. Шолохова, широко отмеченным повсюду в мире и особенно в братских странах. О юбилее замечательного венгерского писателя-революционера Мате Залки, который праздновался и у него на родине, и в СССР, и в других государствах социалистической системы. О ширящихся связях с культурой братского монгольского народа. О ежегодно проводимых у нас Пушкинских праздниках поэзии, на которые всегда приезжают многочисленные гости — писатели из стран социализма.

Все эти документы, выбранные из полноводного потока свидетельств растущего единства культур наших народов, позволяют ощутить масштабы и значение развертывающегося сегодня процесса всестороннего сближения социалистических стран, кото-

рый с трибуны XXV съезда КПСС был назван одним из важнейших исторических процессов современности.

Творческие будни и перспективы деятелей культуры стран социализма, как это явствует и из материалов данной подборки, неотделимы от духа и буквы программы международного культурного сотрудничества, выработанной на Совещании в Хельсинки и определяющей существенное направление развития духовной жизни современного мира.

Слав Хр. Караславов

Дань великому художнику

Признанием искренней любви болгарского народа к вашему творчеству, многоуважаемый Михаил Александрович, является решение Софийского народного совета присудить вам Большую литературную премию города Софии.

Эта награда учреждена в 1975 году и вручается в канун 24 мая, Дня славянской письменности, праздника болгарского просвещения и культуры. Первым ее лауреатом назван М. А. Шолохов, удостоенный премии за все свое творчество, внесшее огромный вклад в прогрессивную мировую литературу нашего времени.

Прекрасное братское чувство, и искреннее уважение, и преклонение перед вашими, многоуважаемый Михаил Александрович, неповторимыми творческими свершениями собрало нас здесь, на большой советской земле. Весь ваш писательский путь еще раз подтверждает мысль Белинского: то, что принадлежит Отечеству, не может не принадлежать и человечеству. Бесконечно русский Шолохов, Шолохов-художник и Шолохов-мыслитель,— гордость Советской страны и советских народов и гордость всего прогрессивного человечества, всех, кто борется за новое, коммунистическое общество.

Для таких произведений, как «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за родину», «Судьба человека», не существует понятия границы. Их дорога ведет к сердцам людей, предопределяет судьбы, обогащает души, питает ум, придает смысл жизненной борьбе. И в самые тяжелые годы фашистского бесправия герои «Тихого Дона» и «Поднятой целины» шли плечом к плечу в борьбе нашего народа против реакции и мракобесия. В истории болгарского движения Сопротивления десятки борцов избрали себе овеянное легендой имя Штокмана, ценой своей жизни двигая вперед дело, за которое боролся и он,— дело коммунизма. «Поднятая целина» была той настольной книгой в жизни болгарского крестьянина, которая открыла ему глаза на горизонты невиданного мира, живущего по законам творческой устремленности к идеалам коммунизма.

Непрерывный подъем в экономической и культурной жизни нашей страны неотделим, неразрывно связан с успехами советского народа в экономике и культуре, с их грандиозными завоеваниями в науке и литературе. Наша дружба зародилась в глубине веков, и ей жить столетия. Она — солнце и воздух для нашей страны. Она закреплена в деятельности наших двух братских партий и их Центральных Комитетов во главе с товарищами Л. И. Брежневым и Тодором Живковым. И в этом неостановимом движении вперед, в великом, неостановимом походе в будущее, литература — в авангарде, все более ощутима ее благородная роль зоркого разведчика, который не только всматривается в горизонты, но и завоевывает души, расчищает дорогу великому наступлению коммунистических идей. Путь великой мысли всегда был путем будущего! Богатство советской литературы, ее глубина, ее художественные достоинства ведут к совершенствованию личности, к прогрессу культуры человечества. И в этом великом, неостановимом движении негаснущим сердцем Данко сияет неповторимый талант живого классика советской и мировой литературы, любимого писателя болгарского народа Михаила Александровича Шолохова.

Из речи, произнесенной в Москве при вручении М. А. Шолохову Большой литературной премии города Софии.

Н. Федоренко

Интернационалист Мате Залка

Он был необыкновенным человеком и литератором — Мате Залка. Первую мировую войну он узнал как солдат, на фронте. Тогда его звали не Мате, а Бела. И фамилию он носил совсем другую — Франкль. По метрическому свидетельству родился Залка 23 апреля 1896 года. Когда мальчик подрос, его отдали в коммерческое училище. Размещалось оно в венгерском городке Матесалька. Название этого населенного пункта стало для Белы в революционной России его именем и фамилией.

В австро-венгерскую армию юноша попал не по своей воле. Это было настояние родителей. Его отец не мирился с непомерной увлеченностью сына театром и литературой. Разорившийся помещик хотел видеть в нем процветающего коммерсанта или преуспевающего чиновника. Но мечты юноши были только о литературе. Тогда отец стал добиваться, чтобы Белу досрочно взяли в армию вольноопределяющимся.

Война забрасывала молодого офицера то на сербский, то итальянский, то немецко-французский, карпатский фронты. Под Луцком, трижды раненный, он попал в русский плен, затем — в киевский госпиталь. Начались скитания по лагерям: Нижний Новгород, Вязьма, Вязники и, наконец, Дальний Восток — Краснореченский лагерь для военнопленных под Хабаровском.

«В плену я ознакомился с социалистическими идеями, и они захватили меня так сильно, так наполнили все мое существо каким-то новым чувством,— вспоминал М. Залка.— Я постепенно стал отходить от офицерской среды, которая сделалась для меня совершенно чуждой. Я весь безраздельно отдался тем истинам, которые раньше, казалось мне, лежали где-то в глубине моей души... Я весь отдался служению народу».

Вскоре Залка порывает с офицерской кастой, сбрасывает с себя офицерский мундир вместе со всеми регалиями. За эту дерзость он поплатился взысканием, оказавшись в штрафном лагере.

Великая Октябрьская революция спасла мятежного юношу. Правда Октября стала и его правдой. Залка избрал ту же дорогу, что и Ярослав Гашек, Карой Сигети, Бела Кун. Они, как и другие вчерашние солдаты германской и австро-венгерской армий, испытавшие на себе бессмыслицу и жестокость империалистической войны, стали на сибирской земле воинами революции, защитниками первых завоеваний Октября. Впоследствии Залка пишет об этих днях известный роман «Добердо» — приговор империалистической войне.

Русскую революцию Залка считал своей революцией, которую нужно не только приветствовать — за нее нужно и активно бороться. Защищать и словом, и оружием. В одной из своих речей Залка выразил веру в пролетарскую революцию, убежденность в том, что венгры должны защищать ее как свою родную. Настаивая на активной поддержке Советов, взявших власть в свои руки, Залка говорил, что судьба Венгрии решается здесь, на просторах Сибири, и что мадьярский народ не простит тех, кто отвернулся от русских пролетариев в столь трудное для них время.

Слово у Залки не расходилось с делом. Он организует в Красноярске отряд красных мадьяр, делит с ними все радости и невзгоды. Но превосходящие силы противника захватывают город. Руководители красноярской партийной организации брошены в тюрьму. За решеткой оказался и Залка. На его глазах увели на расстрел видного сибирского большевика Якова Богрда, которого писатель считал своим добрым наставником. Богрд шел на смерть с улыбкой на устах. Это спокойствие и мужество потрясли Залку: «Пуля не покончила с Богрдом. Его улыбка осталась у меня в сознании, и если бы мне пришлось идти на смерть, я бы именно так, только так улыбался».

А на смерть Залке приходилось потом идти не однажды. Напомню «Автобиографическую справку», написанную им для советского справочного издания: «После разгрома наших интернациональных частей... я скитался между тюрьмами и лагерями и в начале колчаковщины, в 1919 году, ухожу в енисейскую тайгу с небольшим отрядом венгерских товарищей к кемчугским партизанам, в рядах которых держусь до прихода Красной Армии в Красноярск».

В биографии Залки кроме Красноярска и Канска фигурирует еще несколько сибирских городов: Иркутск, Новониколаевск, Омск. Старые омичи хорошо помнят, как интернациональный батальон, которым командовал Залка, разоружил шесть тысяч беляков, среди которых было немало кадровых офицеров.

В Сибири Залка проявил себя не только отважным и находчивым воином. Здесь он оставался верен и своей музе — литературе. В Хабаровске, на Красной Речке, в местах, где когда-то томился, а потом вел активную борьбу бывший офицер австро-венгерской армии, ставший большевиком, выросли новые красивые дома, клубы с простор-

Из вступительного слова, произнесенного в Колонном зале Дома Союзов в Москве на вечере, посвященном 80-летию со дня рождения М. Залки.

ными фойе и удобными сценами, библиотеки, в которых суждено храниться произведениям Залки, пользующимся широкой популярностью в нашей стране.

При всех условиях Залка оставался самим собой, и прежде всего интернационалистом. Таким он попал и на Украину, пылавшую в огне гражданской войны. С Украиной Залку связывало многое. Здесь, в рядах красной конницы, он сражался с петлюровцами и был ранен.

«Я человек от природы уравновешенный, спокойный, горжусь этим,— отмечал Залка.— Меня радуют заслуженные успехи одних. Меня печалят временные провалы других».

Залка был человеком, способным в трудной ситуации сохранять ясность мысли, самообладание, умевшим находить верный тон в отношениях с окружающими. Как командир, он бесстрашно вел в бой доверенных ему людей. Как человек — глубоко переживал их потери.

Прогремели первые залпы освободительных сражений в Испании. И так же, как в ранние дни боев за новое, Залка — теперь уже генерал Лукач. И в Мадриде он показал себя неустрашимым воином, коммунистом. Человеком кристально чистой души.

Мате Залка пал под Уэской. Захоронен в Валенсии. А память о нем жива, жива и в Сибири, и на Украине.

Его жизненный, боевой и творческий путь — Дальний Восток, Сибирь, Сиваш, Уэска. Советская отчизна наградила его орденом Красного Знамени и почетным золотым оружием. Его родина, свободная Венгрия, отчеканила памятную медаль с изображением своего мужественного сына Залки-Лукача.

Таким был Залка — воин, писатель, интернационалист. Автор десятков рассказов, романов, публицистических статей. Идеями интернационализма проникнуты жизнь и все творчество Мате Залки. Идеями, которые всегда были дороги советскому человеку и которые с особой силой вновь прозвучали с трибуны XXV съезда нашей партии.

Мате Залка, посвятивший всю свою подвижническую жизнь борьбе за торжество духа интернационализма, и сегодня с нами, и сегодня в строю.

Нерасторжимые связи

Весна 1976 года в Москве ознаменовалась Днями монгольской культуры, проводившимися в преддверии XVII съезда МНРП и в связи с 55-й годовщиной Монгольской народной революции.

Разностороннее сотрудничество литераторов Советского Союза и Монголии давно стало традиционным. Как известно, оно берет начало с середины 20-х годов, когда великий писатель М. Горький обратился к монгольской интеллигенции со словами о путях литературы «страны голубого неба». Впоследствии связи между советскими и монгольскими писателями становились все прочнее и теснее.

Наша советская литература верна интернационалистским заветам Горького, с большим вниманием следившего за первыми шагами писателей новой Монголии. Сегодня эта горьковская традиция приобрела особую значимость в наших разветвленных и многообразных контактах с монгольскими литераторами. Взаимосвязи литераторов социалистической Монголии и Советского Союза развиваются в духе подлинного интернационализма и братской дружбы. Творческие организации обеих стран постоянно заботятся о дальнейшем упрочении и развитии подлинно братских контактов, укреплении эстетических позиций на принципах марксизма-ленинизма, сплочении писателей в борьбе против буржуазной идеологии, всяческих проявлений антикоммунизма, национализма и великодержавного шовинизма.

Нам близко и понятно стремление монгольских литераторов своим трудом активно участвовать в свершениях родного народа, в преобразующей деятельности народно-революционной партии. Мы неизменно ощущаем дружеское плечо монгольских писателей в борьбе за мир, свободу, независимость народов и разрядку напряженности. Отстаивание идейной чистоты литературы, ее партийности, народности, принципов социалистического интернационализма, борьба против всяческих проявлений антикоммунизма, антисоветизма, национализма и великодержавного шовинизма — характерные черты современной монгольской литературы.

В жизни писательских организаций наших стран утвердилась практика регулярных совместных творческих встреч и семинаров, «круглых столов», на которых советские и монгольские коллеги обсуждают насущные проблемы, волнующие литературную и читательскую общественность. Такие творческие дискуссии проводились в Дархане и в Кяхте (в 1970 году). Намечается проведение «круглого стола» в Эрдэнэте — на круп-

---

Из вступительной речи на открытии вечера в Центральном Доме литераторов Москвы, посвященного Дням монгольской культуры.

нейшей совместной стройке СССР и МНР. Традиционными стали также Декады литератур советских республик в МНР и монгольской литературы в СССР. С культурной жизнью Монголии уже знакомились трудящиеся Азербайджана, Белоруссии, Бурятии, Казахстана и Киргизии.

Последние годы были богаты знаменательными событиями в жизни наших народов. 100-летие со дня рождения В. И. Ленина, 50-летие Монгольской народной революции, 50-летие образования СССР и полувековой юбилей провозглашения МНР — эти даты широко отмечались литературной общественностью наших стран, демонстрируя дальнейшее развитие глубокого взаимопонимания наших народов, их братского союза.

Советские писатели принимали активное участие в торжествах по случаю 50-летия Монгольской народной революции. В Москве и других городах Советского Союза были проведены литературные вечера, посвященные юбилею братского народа. С успехом прошли Дни монгольской культуры в Москве, Вильнюсе, Каунасе, Ашхабаде.

К 50-летию Монгольской народной революции наши Союзы писателей подготовили и издали на двух языках коллективный литературно-художественный и историко-публицистический сборник «Книга Братства». Эта летопись полувековой дружбы советского и монгольского народов содержит произведения более 120 авторов. Памятной дате посвятили специальные номера журналы «Вопросы литературы» и «Детская литература».

Постоянное внимание советско-монгольским литературным связям уделяет и печать СССР и МНР. Произведения монгольских писателей, а также советских авторов на темы, связанные с Монголией, помещают центральные журналы и газеты — «Новый мир», «Иностранная литература», «Литературная газета», а также «Бэйкал», «Сибирские огни» и другие периодические издания. В свою очередь на страницах монгольского журнала «Цог» постоянно представлены произведения советских авторов, как художественные, так и критико-литературоведческие.

В последние годы значительно выросло количество переводов произведений монгольской литературы на русский и другие языки народов СССР. Только из последних изданий можно назвать сборники «Современная монгольская новелла» и «Современная монгольская повесть». На бурятском языке вышел сборник монгольской поэзии последних лет «Золотое соёмбо». «Рассказы о Сухэ-Баторе» Н. Надмида вышли на киргизском языке. Список этот можно было бы продолжить.

Трудно перечислить все книги советских авторов, которые переводились на монгольский язык. Мы высоко ценим то внимание, которое уделяется произведениям и русских классиков, и видных советских писателей в переводной литературе братской страны, ценим хорошую традицию — выпускать сборники многонациональной советской литературы. Уже вышли в свет первые тома «Антологии советской поэзии» и «Лирики на 70 языках». Многочисленные издания, несомненно, играют важнейшую роль в области духовного общения читателей Советского Союза и Монгольской Народной Республики.

Говоря о значительных вехах сотрудничества наших литератур за последнее время, необходимо упомянуть о награждении большой группы советских литераторов — среди них Г. Марков, К. Симонов, Б. Полевой, М. Колесников и многие другие — медалью «30-летие победы над милитаристской Японией». Этой награды они удостоены за освещение подвигов советских и монгольских воинов, за заслуги в развитии культурных связей между МНР и СССР.

Взаимополезный и тесный контакт по насущным вопросам, касающимся как внутренних связей, так и деятельности на международной арене, подлинно дружеские отношения — знаменательные примеры повседневного бытия наших писательских организаций. Действующие контакты — прекрасная гарантия того, что сотрудничество будет развиваться и дальше в духе пролетарского интернационализма, на благо дружбы между трудящимися СССР и МНР.

Г. Кунгуров

Академик Б. Ширендыб

...И юнь 1941 года.

Приближались торжественно-напряженные дни: государственные экзамены, выдача дипломов, прощальные вечера. Последние студенческие дни — перед выпуском. Но этот выпуск оказался необычным, и необычным его сделала начавшаяся Великая Отечественная война.

Из воспоминаний.

Среди выпускников Иркутского педагогического института был в тот год и Б. Ширендыб — первый студент-монгол. Он окончил исторический факультет.

Я тогда работал заместителем ректора института по учебной и научной работе. Помню юношу Б. Ширендыба — скромного, застенчивого, старательного. Но что делать — русским языком он владел слабо. На одном из заседаний кто-то из преподавателей высказал сомнение, сможет ли Ширендыб учиться дальше: похоже, суть лекции ему остается неясной. Мы еще просто не знали характера этого человека. Прошел год, и уже никто не упрекнул бы Ширендыба в отставании от наших советских студентов. И институт он закончил вполне успешно.

Первый выпускник-монгол стал гордостью нашего института. Мне приходилось много с ним встречаться впоследствии — уже в МНР, где я часто бывал и бываю. Человек неутомимой трудоспособности, он привлекателен как собеседник, простой и скромный, глубоко эрудированный и увлеченный. Творческие интересы Б. Ширендыба разнообразны: ученый, публицист, писатель, активный общественный деятель, известный далеко за пределами МНР. Один из руководителей ЦК МНРП. Ректор Монгольского государственного университета. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал академиком и в настоящее время возглавляет Академию наук МНР.

Обо всех наших встречах не напишешь, их много — и личные встречи, и встречи с его печатными трудами.

Я давний и усердный читатель его книг, и меня всегда привлекали в них четкость мыслей и лаконизм повествовательных средств, богатство фактов и масштабность обобщений, неизменно смелых и вместе с тем строго выверенных Б. Ширендыб никогда не успокаивается на достигнутом, стремится свои работы уточнять и совершенствовать

Сделано им уже очень много, такие книги Б. Ширендыба, как «История Монгольской народной революции 1921 года» или «Монголия по ленинскому пути», да и другие, содержат в себе летопись полувека героической борьбы монгольских трудящихся за социализм от победы над внутренними и внешними врагами и до сегодняшнего дня.

И всегда в его работах затрагиваются вопросы самые злободневные, самые принципиальные. Вот, к примеру, его рассуждения о «степной цивилизации». Этот термин теперь стал у буржуазных ученых очень модным, выросла целая концепция. А между тем, как показал Б. Ширендыб, это понятие известно давно, и ученый уместно напомнил о том, что «новое — хорошо забытое старое». И забытое справедливо: ведь самый термин «степная цивилизация» условен и уязвим. Под ним, пишет Б. Ширендыб, скрывается «попытка изолировать азиатский регион от исторического развития других народов планеты. В последнее время монгольские ученые много занимаются изучением культурного прошлого своей страны, и их исследования убедительно показывают, что цивилизации, возникшей в наших местах, были присущи те же закономерности, что и иным цивилизациям мира». Остается только добавить, что эти общие для всех цивилизаций закономерности, как и специфические отличия Монголии, глубоко исследованы в трудах самого Б. Ширендыба.

Помню, как он принимал нас, советских исследователей, в Академии наук МНР. Вдохновенно рассказывал об археологических находках; оказывается, монголы в далеком прошлом были земледельческим народом, сеяли просо, пшеницу, имели сохи и мельницы. В словах Б. Ширендыба звучала законная гордость за свой народ. Гордость за его прошлое, далекое и недавнее, и за его светлый сегодняшний день.

Он показал нам неисчислимые богатства библиотеки Академии наук, где хранятся редчайшие древние рукописи, книги на старомонгольском, тибетском, санскритском, хинди и других восточных языках. Книги по величине огромные, весом в несколько десятков килограммов; массивные обложки, на которых отлиты и выгравированы изображения и надписи из золота и серебра — чудо книжного искусства древности. Напечатаны книги способом ксилографии, строчки различных тонов, тонкой росписи. «Печатные краски» — тайна исполнителей, они изготовлены из драгоценных камней, искусно измельченных в порошок. Эффект необыкновенный, краски не только играют всеми цветами радуги, они эластичны, устойчивы, ярки и свежи, будто положены совсем недавно.

А потом мы долго говорили о сегодняшних заботах Академии: об исследованиях в области физики, химии, математики, о сложных проблемах развития животноводства, об агрономических исследованиях, о перспективах освоения Гоби...

И все это — круг ежедневных дел, мыслей и увлечений академика Б. Ширендыба. А ведь для него не менее важна и другая сторона его деятельности — писательская. Вот и в последние годы он, по собственному признанию, занят «циклом рассказов, посвященных прошлому и прекрасному настоящему нашего народа, виденному и слышанному, тем замечательным людям, с которыми довелось встречаться в разное время и в разных точках планеты — в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке».

Все, что делает руководимая Б. Ширендыбом Академия наук МНР,— неотделимая часть борьбы монгольского народа за дальнейший прогресс на путях социализма, за дальнейший расцвет страны, вместе с советским народом, со всем социалистическим содружеством развивающейся по ленинскому пути. Жизнь и труд президента Академии — достойный пример служения родине и народу. Иркутский педагогический институт может с гордостью сказать: это наш выпускник.

Михай Бенюк

В пушкинских краях

22 мая 1975 года я приехал в Москву из Бухареста, повторив путь, который впервые проделал в январе 1946-го. Тогда я был назначен советником румынского посольства.

В те времена были всюду видны незатянувшиеся еще раны войны — от самой границы до Москвы, на Красной площади которой Гитлер мечтал принять парад своей «победоносной» армии. Но именно под Москвой и постиг «непобедимые» войска третьего рейха первый сокрушительный удар.

Как же неузнаваемо преобразилась страна со дня подписания безоговорочной капитуляции в Берлине 9 мая 1945 года! С этих преобразований — с выросших домов и заводов, учебных заведений и новых средств транспорта — и следовало бы мне, очевидно, начать рассказ о поездке в Советский Союз на празднование семидесятилетнего юбилея М. Шолохова. Но прямо на вокзале нас спросили, не хотели бы мы принять участие еще в одном празднике литературы — в Пушкинских днях поэзии. Нам предстояло поехать в Псков и на родину великого русского поэта. Какая приятная неожиданность!

И на этом неожиданности не кончились. Еще до поездки в Псков нас ждал другой сюрприз — для меня, во всяком случае, особенно радостный. После юбилейного шолоховского заседания 23 мая в Большом театре, на котором выступили Николай Тихонов и Ярослав Ивашкевич, мы поехали во Владимир и Суздаль — ознакомиться с частью городов «золотого кольца» Древней Руси. Конечно, как и Псков, Владимир и Суздаль притягивали своими сокровищами искусства и архитектуры старой Руси. Но был тут для меня и особый интерес: в течение нескольких лет я трудился над переводом «Слово о полку Игореве» на румынский язык, и это побудило меня тщательно изучить историю Руси X—XII веков. Пусть мне не довелось повидать своими глазами Новгорода-Северского, Ярославля, Трубчевска, Путивля — но уж поход-то князя Игоря в 1185 году от Десны к Азовскому морю я по карте восстановил в подробностях.

Во Владимире мы застыли в изумлении перед Золотыми воротами. Будто и не бывало жажды, мучившей нас всю дорогу, будто и не было рядом гида, рассказывавшего нам о городе, его жителях, его сегодняшних трудовых успехах. Мы смотрели на этот памятник из белого камня с башней под золотым куполом — памятник, сохранившийся наперекор времени с того дня, когда он был воздвигнут, а это ведь XII век, годы княжения Андрея Боголюбского. И вправду, можно ли себе вообразить Владимир без Золотых ворот, этой своеобразной его эмблемы?

Но крепость переменила свое назначение — какой пример для всех крепостей мира! Там, где некогда звенело оружие, где копья ударялись о щиты, а мечи — о шлемы и латы, где свистели стрелы и на головы штурмующих лили кипящую смолу, ныне расположился музей и никто больше не воюет. Сотни посетителей приходят сюда ежедневно, чтобы в документах, ценной утвари и других памятниках прошлого увидеть свидетельства немеркнущей славы России с древних пор и до нашего времени. Ведь славные боевые традиции граждан Владимира не померкли, они живы, они продолжаются в мирном труде и многочисленных достижениях в области строительства, науки, искусства, которых владимирцы добились за годы советской власти.

Под этими Золотыми воротами проходили победоносные рати Александра Невского, на Владимирской земле родился князь Пожарский, возглавивший борьбу за освобождение России от иноземных захватчиков в начале XVII века. Недалеко от Владимира жил великий полководец Суворов. В дни наполеоновского нашествия в 1812 году здесь было сформировано шесть полков защитников Москвы. Болгары чтят как своего героя земляка владимирцев генерала Столетова, участника боев 1877—1878 годов. Здесь в музее видишь трофеи, напоминающие о боях на Шипке, у Плевны, Гривицы, Рахова и Видина, о битвах, в которых участвовали и наши героические войска, завоевавшие в те дни независимость румынского государства,— она была признана в соглашении, подписанном в Сан-Стефано, а затем окончательно подтверждена на Берлинском конгрессе 1878 года. Наш прекрасный поэт Василе Александри, участник революционных событий 1848 года, а позднее — и борьбы за объединение Молдавского и Валашского княжеств, воспел эти сражения в стихотворениях «Балканы и Карпаты», «Пенешкуркан», «Сержант».

...Город Владимир и Владимирская область прославились героическими делами в годы Великой Отечественной войны. В боях против фашистских захватчиков были удостоены звания Героя Советского Союза 146 владимирцев. Герой-космонавт Валерий Кубасов тоже родился здесь, на этой цветущей в наши дни земле, где бережно сохраняют величественные культурные творения и памятники русской истории...

Из путевых дневников.

Но вот настает 28 мая, и вместе с другими писателями, журналистами, многочисленными страстными поклонниками пушкинского гения мы едем к Пскову, еще одному древнему культурному центру России, любуясь по пути сосновыми лесами, стройными светло-коричневыми стволами деревьев, приветливо тянущих к нам свои вечнозеленые ветви, березовой ратью в серебристых доспехах.

С нами ехал обаятельный Ираклий Андроников, руководитель и неутомимый организатор этой экспедиции в пушкинские края. Его сопровождала жена, Вивиана — существо очаровательное, скромное и прелестное, словно растущие в тени цветы. Был тут и Сергей Михалков, поэт, чьи басни пользуются большой известностью, и другие советские и зарубежные писатели.

Приехав, мы на скорую руку ознакомились с Псковом, а потом нам предстояло осмотреть окрестности города и отправиться в Михайловское — это была главная цель поездки. Времени почти не было, но и того, что мы увидели, было достаточно, чтобы убедиться в верности слов Белинского, предпосланных в качестве эпиграфа к альбому фотографий этого древнего центра России: «Не говорите, что у нас нет памятников, что знаменитейшие события нашей истории записаны только на сухих страницах летописей, но не переданы памяти потомства в произведениях искусства... Они рассеяны всюду, особенно в старинных городах наших, но не всякий хочет замечать их... По одним этим памятникам можно бы прочесть в главных очерках историю Руси...»

Таким городом-памятником является и Псков, а эта история, не только запечатленная на страницах летописей, но и увековеченная в зданиях, скульптурах, полотнах, ныне изучается, восстанавливается с любовью повсюду, во всех республиках обширного Советского Союза. А рядом возводятся современные культурные центры и промышленные гиганты, причем новое не теснит старину, не зачеркивает ее.

Здесь много веков тому назад жила Ольга, ставшая затем женой Игоря и великой княгиней Киевской Руси. Она посетила Византию, откуда вернулась христианкой. Во второй половине XIV века Псков становится независимым городом. Тогда и начался его расцвет. Вся история русского северо-запада написана кровью на псковской земле и под стенами города, подвергавшегося опустошению и вновь воздвигаемого после тяжких сражений с тевтонцами, татарами, армией Стефана Батория, войсками короля Густава Адольфа, а потом с самыми жестокими грабителями всех веков — гитлеровцами. Псков, эта пограничная крепость, в конечном итоге вышел победителем. В XV и XVI веках это была самая мощная твердыня России — стены достигали девяти километров в длину, из тридцати девяти башен одиннадцать, овеянных легендами, сохранились по сей день

Как повсюду в СССР, и здесь развернуты восстановительные работы, исследование археологических пластов приводит к открытию все новых и новых памятников, которым реставраторы возвращают прежний, первоначальный вид. В Пскове просто теряешься среди храмов и монастырей, свидетельствующих, как и другие реставрированные памятники, о широкой торговой и ремесленной деятельности, о неповторимой духовной жизни прошлых времен. Особенно живо я почувствовал ее, знакомясь с величественным Спасо-Преображенским собором; по всей вероятности, здесь и хранился псковский список «Слова о полку Игореве», который позднее, в начале 90-х годов XVIII века, купил Мусин-Пушкин; этот список погиб в московском пожаре 1812 года. К счастью, величайший шедевр древней русской литературы еще до пожара был издан; так началась его блистательная жизнь в литературе Я бы не касался всего этого, если бы сам не был занят в течение пяти лет работой над переводом «Слова о полку Игореве», а это потребовало и изучения русского языка, и ознакомления с историей «русской земли», о которой так часто говорится в поэме «Слово» связывало меня с Псковом и его окрестностями, со всем, что было и есть в этом краю, еще ближе, теснее.

Чувства советских людей к этой древней земле хорошо выражены в песне отважного партизана Ивана Виноградова, с которым я познакомился здесь же. Песня была написана в декабре 1941 года и называется «Клятва». Так как я убежден, что она печаталась в сборниках партизанских песен, воспроизведу лишь две строки:

Скорей умрем, чем станем на колени,
Но победим скорее, чем умрем!

В них тот же высокий дух патриотизма, который пронизывает «Слово».

Читая свои стихи на вечере в богатой городской библиотеке Пскова, мы — узбекский поэт Саян, молодая поэтесса Надя Кондакова и автор этих строк — особенно глубоко ощутили, как гармонично сочетаются в душе советского человека патриотизм и любовь к культуре. Вечер, конечно, посвящался годовщине Пушкина, поэта, который, как никто другой, поднял на вершины поэтического творчества русский стих, взращенный в золотой купели «Слова о полку Игореве».

Мы и приехали сюда на пушкинские торжества. И 31 мая отправились к Пушкинским горам, на родину поэта.

Я ездил по маршрутам Чехова в его родной Таганрог, где стоит дом, в котором он родился, в Гурзуф, в Ялту, где остался его дом, превращенный в музей; в Ялте мы долго беседовали с Марией Павловной, вспоминавшей с горячей любовью своего лю-

бимого брата. Я был в Ясной Поляне, где жил великий Толстой, создавший достойную «Слова» новую эпопею о России Кутузова, Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой, России Платона Каратаева. Проезжая по донским землям, я познакомился с родиной Михаила Шолохова и имел счастье близко узнать автора «Тихого Дона», этой эпопеи социалистической революции. Я видел удивительные по красоте памятные для истории места, которым гиганты литературы посвятили бессмертные страницы. И все же нигде я не испытывал такого волнения, как на родине величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, увенчанного славой мирового гения. Как сказано у нашего Эминеску:

Здесь в стволах дубов столетних, величавых,
в три обхвата,
Словно слышен голос леса, замурованный
когда-то...

Испытываешь чувство, будто ты проник в священную обитель, напоминающую леса древнего мира, куда вход дозволен лишь избранным, да и то не более чем несколько дней в году. Но сюда съезжаются люди со всех концов Советского Союза, чтобы посетить места, где родился и провел часть — возможно, лучшую часть — жизни автор «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и многих других замечательных творений, написанных на прекраснейшем русском языке, волнующих и поныне сердца десятков и миллионов людей. Кабинет поэта, гвоздики на столе, словно дожидающиеся его прихода, рукопись с гусиным пером на ней, книги, свеча в подсвечнике, зажженная невидимой рукой, на стене портрет Байрона, коробка с двумя пистолетами на полке, книги — все говорит сердцу, все сливается с образами столько раз прочитанных пушкинских стихов, которые хранит память. А рядом — домик няни, рассказывавшей ему чудесные русские сказки, и аллея, по которой он прогуливался с Анной Керн:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

И на каждом шагу, пока ходишь по памятным местам Михайловского, Тригорского, Петровского, между холмами, через мосты, парки и речки, вспоминаются стихи или строфы пушкинских стихотворений. Только здесь постигаешь всю глубокую связь между чудесными картинами Пушкинских гор и его поэзией, запечатлевшей их в слове, осветившей их своим сиянием.

Конечно, такие места не подходят для торопливых туристских прогулок — они священны. Здесь жил Пушкин, здесь его могила. Эта земля требует сосредоточенности и высокого парения мысли...

Могила Пушкина в Святогорском монастыре. К ней не спускаешься, а поднимаешься по ступенькам, испытывая чувство, что возносишься к вершинам, увенчанным гением поэта. Памятник, окруженный оградой, удивительно прост; светлым пятном выделяется он среди высоких старых деревьев, обрамленных голубым фоном неба. Стоял ясный июньский день. В самой простоте могильной плиты есть что-во возвышающее. Но особенно потрясло выступление детского хора и нескольких солистов во главе со знаменитым тенором Иваном Козловским, чей удивительный талант не подвластен годам.

Мы встречались с ним и раньше. Увидев меня, он крикнул издали по-румынски: «Трэяскэ!» («Да здравствует!») Я был глубоко растроган.

Но вернемся к празднику. Хор пел под куполами храма на славянском и латинском языках, звучали творения крупнейших композиторов мира. Я человек отнюдь не религиозный и, слушая эту музыку, был полон одной лишь верой — верой в бессмертие пушкинских творений. Не знаю, как поют ангелы, но едва ли их голоса звучат более стройно и чисто, чем этот детский хор, руководимый волшебником Козловским, чем звонкий его тенор, светлый и прекрасный, возносившийся над слушателями, благоговейно внимавшими ему и забывшими обо всем, кроме красоты и искусства. Казалось, сами стены монастыря раздвинулись и воспарили, а Пушкин находится среди нас, в сердце каждого из нас.

После окончания обширной программы в Пскове и в Михайловском, в этих местах, носящих имя поэта, праздник завершился торжественным собранием 6 июня в Зале имени Чайковского в Москве. Душой этого вечера, как и всего пушкинского праздника, был замечательной эрудит, неутомимый Ираклий Андроников. Это ему мы обязаны той атмосферой теплоты и внимания, которая окружала всех нас — москвичей, представителей советских республик и социалистических стран, приехавших отдать дань уважения и любви великому поэту. В тот вечер в стихах поэтов, представлявших многие народы, звучало преклонение перед творчеством Пушкина, чьи произведения перева-

дены на большинство языков мира. Бесчисленные его почитатели, обращаясь к Пушкину, всегда находят у него высокое вдохновение и духовную пищу. К нему не остается холодным ни одно сердце, влюбленное в поэзию.

Нелегко расстаться с Москвой, городом, в котором я провел три незабываемых года. У меня здесь много давних друзей, и город я знаю хорошо, хотя, быть может, и не так хорошо, как мне представлялось. За двадцать семь лет Москва изменилась неузнаваемо, выросла, стала подлинно современным огромным городом. На улицах и в метро так оживленно, что, несмотря на прекрасную — по сравнению с другими столицами — организацию транспорта, все же устаешь. Повсюду масса магазинов, большой выбор товаров, люди одеты гораздо лучше, чем 30 и даже 12 лет тому назад. Чувствуется, что это деловой, рабочий город; все торопятся, у всех сосредоточенный вид: ощущается, что москвичи живут интересной жизнью и что они довольны ею.

Неизменно очарование Красной площади, и купола соборов Кремля сверкают еще ярче, чем прежде, а парк вдоль стен более ухожен. Вот такие мне знакомые Музей Революции, Третьяковская галерея и Пушкинский музей, где в эти дни разместилась выставка произведений Дрезденской галереи, шедевры которой в конце войны были спасены советскими воинами. И улица Горького мне знакома от начала и до конца, как и дома на Садовом кольце. Что и говорить о Большом театре или о Малом!

Но стоит отдалиться — и не очень сильно — от центра, как сразу начинаются гигантские районы новостроек, которые тянутся до окраин, где еще недавно стояли деревни или тянулись поля. Три десятилетия тому назад я представлял себе этот город массивным каменным ядром, окруженным деревянной кожурой — избами, потемневшими от времени, с разноцветной резьбой у окон. А теперь на их месте громады из бетона, обширные районы с зелеными зонами вдоль широких оживленных магистралей; многочисленные прохожие торопятся к станциям метро. Исторический центр города сохранился, но появились и другие центры, они обеспечены всем необходимым для нужд миллионов жителей.

Со времен основателя Москвы Юрия Долгорукова, чья конная статуя высится напротив Моссовета, город претерпел, конечно, огромные преобразования. Враги неоднократно разрушали его, но он каждый раз возрождался из пепла и становился все более красивым и мощным, а ныне это крупнейший мировой центр.

Тот, кто жил три года в Москве, не может не оставить здесь многочисленных друзей. Одни знакомы еще с первых послевоенных лет, с другими встретился позднее, на конгрессах, международных симпозиумах. Не забыть мне тех, кого уже нет среди нас,— Эренбурга, Фадеева, Уткина, Леонидзе, Ольги Берггольц, Чиковани, Вирты, недавно умершего Брейтбурда. Чувство глубокого уважения связывает меня и с живыми. Их много, и я просто не могу здесь назвать всех тех, с кем мы встречались в продолжение путешествия,— председателей, секретарей, работников союзов писателей республик, издателей, редакторов журналов. Вспоминая их всех добрым словом, я хочу упомянуть имена руководителей Союза писателей СССР, помещающегося на улице Воровского в старом особняке Ростовых. Я не могу не поблагодарить товарищей Маркова, Верченко, Федоренко за оказанную нам помощь, за теплую заботу. И добрых, давних друзей, с которыми повидался,— Бориса Полевого, Даниила Гранина, Савву Дангулова, замечательную поэтессу Маргариту Алигер...

Однажды я решил написать книгу о дружбе: я стал разыскивать друзей, с которыми познакомился сорок лет тому назад, товарищей по университету, живущих сейчас в разных концах земли. Почта помогла найти их, и мы очень обрадовались, с нетерпением ожидая встречи в Румынии или у них на родине. Потом мы встретились, уверенные, что в душе остались прежними. Но поговорили, и стало ясно, что нередко наши связи ослабли, а то и вовсе прервались за эти бурные десятилетия, и особенно за годы второй мировой войны; мосты между нами рухнули, и мы очутились на разных берегах. Чувства, может, и сохранились, как сохраняются опоры рухнувших мостов, но перейти реку по этим опорам уже невозможно. Различными стали наши идеи и убеждения, по-разному думаем мы о судьбах человечества. Мы живем в разных мирах, и сойтись они уже не могут. И я ощутил тогда ту остроту противоречий нашего времени, которая исчезает только с революционными социалистическими преобразованиями.

Когда между друзьями рушится мост общих им идей и угасает дружба — это еще более непоправимо, чем исчезающая любовь. Обо всем этом я думал на пути из Москвы в Бухарест. И все же, сказал я себе, я мог бы написать книгу о дружбе. Между мной и советскими друзьями — прочные идеологические мосты, для которых время не страшно. Это самый прочный мост — идеи коммунизма, связывающие наши страны. Я чувствую свою духовную общность с Шолоховым, Симоновым, Фединым, Сурковым, Межелайтисом, Чаковским и с теми, кого уже нет в живых,— Светловым, Маршаком, Кирсановым, Исаковским, Твардовским и многими другими, живущими и ушедшими. Теперь я еще яснее отдаю себе отчет в том, что с советскими людьми объединяют меня общие для нас гуманистические убеждения, общая нам всем вера в светлый завтрашний день планеты.

◆

Антирубрика

ОГДЕН НЭШ

Видеть — значит верить

Перевод с английского АЛЕКСАНДРА ЖУКОВА

МОРАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ, ИМЯ ТВОЕ — ОГОВОРКА

Однажды жили на свете мистер и миссис Пепперлоуф, которые с
минуты венчания составляли две неразделимые половины.
Они друг в друге души не чаяли, иными словами — для каждого из
них на другом свет сошелся клином.
В глазах миссис Пепперлоуф мистер Пепперлоуф в жизни не делал
ошибок, ибо в ее глазах он никогда их сделать не мог.
А он время от времени находил в ней один-единственный порок.
Зато этот порок лишь ценою многих добродетелей мог бы искупиться.
А состоял он в том, что она всегда спрашивала, какое сегодня
число, читая газету, в которой черным по белому сегодняшнее
число было напечатано на каждой странице.
И когда он пытался обратить на эту, наименее восхитительную,
черту ее характера внимание,
Она спрашивала, почему, если он сам не верит газетным прогнозам
погоды, ее недоверие к газетным датам не доходит до его
понимания?
Одиннадцать лет он был разумен и терпелив.
Но в конце концов его терпение лопнуло, как нарыв.
Это случилось седьмого вечером, в пятницу, когда, оторвавшись
от газеты, она спросила его, какое сегодня число.
И он твердо ответил, что ей следует справиться об этом в газете,
и она снова заглянула в газету, сжавшись, как от удара,
от его совета, высказанного так холодно и зло.

Затем они сели ужинать, чувствуя себя отвратительно, ибо до этого меж ними было полное согласие, а случившаяся размолвка могла быть тем началом, за которым следуют другие беды.

Но в девять часов позвонила жена его сослуживца и удивленно спросила, почему они до сих пор дома? Она и одиннадцать ее гостей давным-давно ждут их к обеду.

И мистер Пепперлоуф спросил миссис Пепперлоуф, как это она могла так осрамиться?

И она ответила: она прекрасно помнит, что они приглашены на обед седьмого вечером, но сегодня еще только второе, согласно газете, к которой он сам ей посоветовал обратиться.

И он взял газету, которую она читала, и увидел, что это была старая газета.

И она объяснила, что интересовалась некоторыми, напечатанными в этой газете, рецептами суфле. Что он мог сказать ей в ответ на это?

И тогда, наконец, она открыла в нем первый порок,

Когда, следуя его совету, заглянула в старую газету, и значит, ссора случилась по его вине.

Из чего следует, что, хотя женщины редко ведут себя разумно, правда почему-то довольно часто бывает на их стороне.

ДОКТОР ФЭЛЛ И СТАНЦИИ ЗАПАДА

Ваш поезд отходит в одиннадцать сорок пять, а сейчас одиннадцать тридцать девять, то есть более пяти минут в вашем распоряжении.

И поскольку в очереди за билетами всего один человек, вам кажется, что у вас достаточно времени, но, увы, скоро вы убедитесь, что это не так, простите за предположение.

Потому что перед вами не кто иной, как доктор Фэлл, который всегда преподносит окружающим сюрпризы.

И сейчас он выясняет, как можно добраться до Сиокса, делая остановки в Плимуте, Каменных Горах, Йеллоустонском парке, Ванкувере и на озере Луизы.

А кроме того, его интересует информация о дополнительном маршруте,

Который проходит через Новый Орлеан и Детройт с возможными остановками на день или на два в Миннеаполисе и Бьютте.

И когда кассир собирает все эти данные с помощью холодных примочек и глотка спиртного,

Он заявляет, что раздумал и желает провести отпуск, катаясь на байдарке вверх-вниз по Саскуэханне, и все начинается снова.

Его интересует и местонахождение автовокзала, и достопримечательности Риволи,

И каким образом, если железнодорожные служащие не могут ответить точно и вежливо на простые вопросы, железные дороги еще получают прибыли?

А затем он требует разменять и получает мелочью двадцать долларов, и, оставляя всю очередь с перекошенными челюстями, на время отходит, пока ему в голову не приходит еще какая-нибудь блажь.

И когда, наконец, вы приобретаете билет, ваш поезд не только уже ушел, но оказывается, что весьма опытный носильщик сумел пристроить на него весь ваш багаж.

ГДЕ-ТО В СЕМЬ ИЛИ В СЕМЬ ПЯТНАДЦАТЬ

Ужин в гостях — это мероприятие, куда вы являетесь либо слишком рано,
либо гораздо позже других приглашенных, среди которых
Вы, разбив по дороге очки, никак не можете отличить
знакомых от незнакомых или кредиторов от дебиторов.
И тут же обнаруживаете, что ваше лицо заросло
щетиной, особенно подбородок, еще утром выбритый так, что он
казался прозрачным,
И что вы — либо единственный, кто явился в смокинге, либо единственный,
кто пришел в костюме, весьма невзрачном.
А затем, как будто всего этого недостаточно, чтобы вы скисли,
вдруг узнаете, что вы один не знаете, что пришли на день рождения,
и единственный, кто не принес что-нибудь полезное
или нечто забавное, но с печатью оригинальной мысли.
И только с появлением коктейлей ваше настроение меняется
постепенно —
От отчаянного состояния свежескошенной травы до благодушного
состояния подсыхающего сена.
Но тут вы с горечью открываете, что подверглись новой пытке,
По ошибке взяв коктейль, приготовленный хозяином специально для
своего легкомысленного зятя, известного пристрастием
к чрезвычайно крепким напиткам.
И до тех пор, пока перед вами не поставят салат, задыхаясь, кашляете,
не в состоянии оторвать салфетку от губ.
И вдруг замечаете, что перед вами нет ни одной вилки,
и озираетесь, лихорадочно соображая, лежит ли одна из них
у вас в кармане или обе вилки вы использовали на суп.
А чуть позже земля действительно начинает крутиться у вас в
глазах, как назойливая мошка,
Когда выясняется, что среди всех восьми, или двенадцати, или
шестнадцати присутствующих вы, и только вы, не играете
в бридж, ну хотя бы немножко.
И вам остается только, как эхо, повторить слова поэта, когда,
наконец, вы отправляетесь домой, переваривая по пути все
эти бесчисленные недоразумения и беды.
«Судьба,— утверждал поэт,— больше не может быть ко мне немилостивой,
ибо сегодня я уже пообедал».

НЕ ПОДБРОСИТЬ ЛИ ВАС ДО ДОМА, МИССИС МЕРГАТРОЙД!

Есть одно утверждение, которое в устах каждого, кто имеет к нему
какое-либо отношение, звучит убедительно:
Никогда не следует пускать в свою машину пассажира с правами
водителя.
Ибо, если вы поступаете так, ваш пассажир неизменно становится
на определенную точку зрения,

Из которой следует, что вы — маньяк, помешавшийся на мысли
угробить его в автомобильной катастрофе, даже если при этом
сами вы погибнете вне всякого сомнения.
Он непрерывно вздрагивает, подпрыгивает, дергается, нажимая ногой
на воображаемые тормоза и поминутно ударяя локтем
вам под ребра.
Словом, ведет себя так, как если бы утром, открыв глаза,
он обнаружил, что в его постели — кобра!
Или заводит какой-либо банальный разговор о погоде
или о чем-либо другом в том же роде, который действует
на вас расслабляюще.
И вдруг, меняя тему, делает упор на огромном числе автомобильных
аварий, с каждым годом все более и более возрастающем.
Причем он рассказывает не только об автомобилях, которые попали
в катастрофу, но и об автомобилях, которые чудом ее избежали,
и преподносит все это так обстоятельно и доходчиво,
так нудно и противно,
Что вам совершенно ясно: он считает вас одновременно
и физически и психически дефективным.
А когда в конце концов вы благополучно доставляете его
до нужного места, он дрожащим голосом лицемерно благодарит
вас за все, желая лишь одного — поскорее высадиться.
И покидает вас с таким лицом, как если бы он выходил не из
машины, а спускался с виселицы.
И еще долго идет по тротуару весьма неуверенно, как бы
сомневаясь, что все действительно кончилось, на каждом шагу
поминая вас всякими недобрыми словами.
А вы трогаете с места, бормоча себе под нос массу нелицеприятного
относительно этого лица с водительскими правами.
И клянетесь, как бы ни сложилась ваша судьба, ни за что
не присоединяться к числу тех, кого вы теперь клянете.
Но если завтра кто-нибудь «подбрасывает» вас по пути домой,
вы потеете так, словно с головой погружаетесь в ледяную
воду, когда на ваших глазах переключают
с первой скорости на третью на повороте.
А все дело в том, многоуважаемые сеньоры,
Что все мы прирожденные шоферы.
Иными словами, каждый, кто сидит в автомобиле рядом с водителем,
считает себя мастером вождения, королем,
Который умеет водить машину несравненно лучше того,
кто сидит за рулем.

ВИДЕТЬ — ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ

Когда говорят о людях и об их убеждениях, у меня всегда наготове
собственное мнение.
Я верю, что люди верят, что они верят без предубеждения.
Они отрицают правду или неправду не из-за того, что это
правда или неправда, но, оказывается,
Это происходит потому, что, когда что-то не соответствует их
убеждениям, они сразу же заявляют: «Ничего подобного!» —
и выслушивать дальнейшие разъяснения отказываются.

Точно так же они всем сердцем принимают правду или неправду вовсе не потому, что это истина или ложь в действительности.
А потому, что с самого начала они именно так и считали и, таким образом, это чужое мнение служит лишним подтверждением их собственной сообразительности.
И это миг взаимопонимания, когда по одной и той же водопроводной трубе может бежать поток и холодной воды и горячей.
Когда каждый может гордиться, что по многим вопросам он терпим ко мнению других, хотя у каждого, несомненно, остаются такие убеждения, в которых он непоколебим, и вы гораздо раньше выдохнетесь, чем заставите его думать иначе.
У меня нет ни малейшего желания задираться,
Но я не могу оставить мысли, что двери фанатического разума открываются только наружу и под давлением внешних фактов могут только еще плотнее закрываться.
Нет, я имею в виду не себя, хотя признаюсь, что смысл изречений мистера Икса или любого другого оратора мне гораздо более ясен,
Когда я разделяю с ним свое мнение, чем тогда, когда я с ним несогласен.

А В ВИСОКОСНОМ ГОДУ 366 РАЗ!

Одни люди бреются, перед тем как принимают ванну.
Они считают, что бриться после ванны по меньшей мере странно.
Другие принимают ванну, перед тем как побриться.
И они считают, что садиться в ванну после бритья никуда не годится.
Допустим, вы бреетесь перед ванной, и тогда у вас есть преимущество: не нужно специально смывать с лица пену, ибо она смывается сама, покрывая воду грязно-серой пленкой.
Но есть и недостаток: ваша кожа до ванны такая жесткая и сухая, что щетина сражается с бритвой, как медведица гризли, защищая своего медвежонка.
Допустим теперь, что вы принимаете ванну до бритья, и тогда преимущество в том, что после ванны кожа становится мягкой и влажной и борода сама напрашивается на лезвие.
Но тогда есть другой недостаток: чтобы смыть мыльную пену с лица, вам необходимо умываться сразу же после мытья в ванне, то есть делать одно и то же дважды, вместо того чтобы совершить что-нибудь полезное.
Судьба — это игра в кости, как знакомый крупье выразился однажды.
И у каждого из нас — единственный выбор: ходить весь день с ободранным подбородком или мыть лицо дважды.
И потому сегодня я иду бриться к щеголю в хрустящем белом халате и начисто сотру с его лица самодовольное выражение одним-единственным вопросом (представляю, какая это будет потеха!),
Бреется ли он до ванны или принимает ванну, перед тем как бреется, после чего я неминуемо погибну, если не от бритвы, то от смеха.

НАМ ЕЩЕ РАНО, НЕ ПРАВДА ЛИ? ИЛИ СКОРЕЙ, МЫ УЖЕ ОПОЗДАЛИ!

Одни люди отправляются на вокзал за час до отхода поезда,
хотя им пройти всего ничего.
Другие смотрят на них при этом как на отвратительное существо
И утверждают, что им вполне достаточно пяти минут, и выходят
минутой позже, не сомневаясь, что еще успеют купить билет.
А первые смотрят на них при этом так, как будто у них мозговой
рахит, а все их рассуждения — наивный бред.
Одни люди, если у них есть билеты на вечерний спектакль,
наскоро перекусывают в шесть и выскакивают из дому без
промедления.
А один мой знакомый обычно является на вечерний концерт
к последнему акту дневного представления.
Другие люди в восемь часов только приступают к ужину,
на который было бы не стыдно пригласить вельможу,
И цинично считают, что занавес спектакля, начинающегося в восемь
тридцать, раньше восьми сорока подняться не может.
Единственное, что первые, сидящие в зале ожидания как на иголках,
понять не в состоянии,—
Это несправедливость судьбы, позволяющей всегда опаздывающим
вторым попадать на свое место даже после сигнала отправления,
то есть как они и рассчитывали заранее.
В свою очередь, вторые, натыкаясь на ноги первых, в тот миг,
когда огни рампы наконец загораются, никак не могут
постигнуть логики первых, которые
Постоянно ставят себя в наиглупейшее положение, появляясь в театре
еще до распределения ролей между актерами.
Итак, первые всегда спешат, вторые никогда не торопятся,
все это так,
Но по иронии судьбы именно они вступают друг с другом в брак.

МЫСЛИ НА АВЕНЮ

Я утверждаю, что мужья гораздо реже жаловались бы на семейные
узы,
Если бы отношение их жен к предметам женской одежды не доходило
бы порой до конфуза.
Пожалуйста, поправьте меня, если я неправ, а, впрочем, я не
сомневаюсь, что моя мысль верна,
Каждая женщина мечтает быть одетой как все, но бывает ужасно
огорчена, встречая кого-либо, кто одет, как она.
Ничто не раздражает ее так, как похожая шляпка или платье,
Особенно приобретенные за меньшую плату,
Что вызывает у меня еще кое-какие соображения, и я использую
все свое мужское красноречие, чтобы отстоять их.

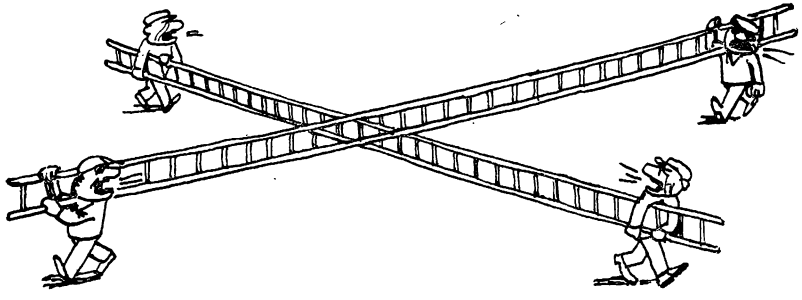
Идеальное одеяние женщины гораздо дороже того, которое может позволить себе она или ее подруга, но которое в конце концов достается именно ей в силу какого-то невероятнейшего стечения обстоятельств.

Психологи утверждают, что мужчины — мечтатели, а женщины — реалистки.

Но, по-моему, женщины и есть самые отчаянные идеалистки.

Впрочем, я готов взять все свои слова обратно, но вы мне должны непременно

Объяснить, как можно носить платье, которое отличается от платья других и которое точь-в-точь такое же, как у них, и которое дороже и дешевле, чем у других, одновременно.



РОЛЬФ ТОТТЕР. Без слов.
Из сборника «Шутки и карикатуры».
Австрия.

НЕЗНАКОМЕЦ В ДОМЕ

РАССКАЗ

Мистер Перкинс, весьма неуверенный в себе молодой человек, чувствовал себя неловко даже среди своих бостонских знакомых, а перспектива визита к знакомым своих друзей, живущим неподалеку от магистрали Мейсон-Диксон, была для него более чем волнующей. Тем не менее, выходя из дома, он обещал навестить миссис Эмброуз и ее мать, и поэтому теперь он все с большим беспокойством ерзал на сиденье такси, по мере того как счетчик неотвратимо фиксировал приближение к намеченному месту. Мистер Перкинс не имел представления, где он сейчас находится. Улицы жилого района не только изгибались и выкручивались до невероятности: время от времени они даже исчезали одна в другой, подобно змее, проглотившей свой хвост. Безо всякого предупреждения Шелковичная аллея перешла в аллею Сосновую, которая, после пересечения с очередным авеню, неожиданно превратилась в Дубовый переулок.

— Какой, вы говорите, номер? — спросил водитель.

— Девятнадцать,— ответил мистер Перкинс и посмотрел в окно.— Тринадцать, пятнадцать, семнадцать, очевидно, этот. Нет, мы его уже проскочили. Это двадцать первый.

— Все в порядке,— успокоил его таксист, останавливая машину.— Девятнадцатый — сразу же за двадцать пятым. Почему? Не спрашивайте. По Дубовому переулку идет двадцать третий, двадцать пятый, девятнадцатый, это все, что я знаю. Говорят, — добавил он,— девятнадцатый был построен первым.

Мистер Перкинс прошел по дорожке к милому, в георгианском стиле, дому, позвонил, был встречен горничной и минутой позже, смущенный, стоял в дверях переполненной людьми гостиной.

— Мистер Перкинс, мадам,— представила его горничная и вышла. Миловидная женщина не старше сорока подошла к нему.

— Прошу вас, мистер Перкинс. Я Луиза Эмброуз. Это мистер Перкинс, мама. Он большой друг Бимисов из Бостона. Это моя тетя, миссис Хэммонд, и мой папа, мистер Стронг, мистер Перкинс.

— Здравствуйте,— промямлил мистер Перкинс.— Очень рад с вами познакомиться.

— Бимисы, Бимисы...— повторила миссис Стронг.— Какой Бимис, Луиза? Крафтон Бимис?

— Нет, мама, Гарри Бимис. Крафтон Бимис живет в Сент-Луисе, разве ты не помнишь?

— Я думала, что Крафтон Бимис живет в Чикаго,— вмешалась миссис Хэммонд.— Это де Графф живет в Сент-Луисе.

— Нет, мистер Перкинс друг Гарри Бимиса, тетя Шарлотта, он живет в Бостоне. Могу я предложить вам чашку чаю, мистер Перкинс?

— В Платсберге у меня был знакомый Бимис,— прервал ее мистер Стронг.— Боб Бимис, а может, Фрэнк. Я знаю, что после он поступил или в Гарвард, или в М. I.T. [1].

— Как поживают Бимисы, мистер Перкинс? — спросила миссис Эмброуз.

— Боюсь, что не очень хорошо. Они выезжали из Ньюберипорта, и громадный грузовик...

— Дадлей говорит, что Ньюберипорт — настоящий дорожный капкан,— сказала миссис Хэммонд.

— Большой Дадлей или Маленький Дадлей? — спросила миссис Стронг.

— Конечно, Большой,— ответила миссис Хэммонд.— В тот раз, когда он проколол шину в Ипсуиче...

— Большой Дадлей — мой дядя,— пояснила миссис Эмброуз.— Маленький Дадлей — мой кузен. Маленький Дадлей на четыре дюйма выше Большого, что звучит довольно странно. Чаю, мистер Перкинс?

— Ничего странного,— сказала миссис Стронг.— Когда Маленький Дадлей был маленьким, он был меньше.

— Это вовсе не Бимис,— сказал мистер Стронг.— Это Биби, Альберт Биби, и он уехал в Лихай.

— Их скорость была не больше сорока,— сказал мистер Перкинс,— но грузовик вылетел из-за холма...

— Сара Сюзен говорит, что грузовики вытесняют железные дороги,— сказала миссис Стронг.

— Большая Сара Сюзен или Маленькая Сара Сюзен? — спросила миссис Хэммонд.

— Маленькая Сара Сюзен,— ответила ей миссис Стронг.

— Большая Сара Сюзен — это моя другая тетя,— пояснила миссис Эмброуз.— Маленькая Сара Сюзен — ее дочь. Вы еще не запутались, мистер Перкинс?

— Обе они теперь одного роста,— сказала миссис Стронг,— но Большая Сара Сюзен и Маленькая Сара Сюзен звучит лучше, чем Молодая Сара Сюзен и Старая Сара Сюзен.

— Большая Сара Сюзен еще совсем не старая,— сказала миссис Хэммонд.— Ей не больше пятидесяти трех.

— Думаю, она немножко старше,— вмешалась миссис Стронг.— Когда родилась Маленькая Сара Сюзен?

— В двадцатом,— ответила миссис Хэммонд.

— В девятнадцатом, не так ли? — поправила се миссис Стронг.

— В двадцатом,— повторила миссис Хэммонд твердо.— Я точно помню,

[1] M. I. T.— Massachasetts Institute of Technology (Массачусетский технологический институт).

как зазвонил телефон, когда Маленький Дадлей спрашивал Большого Дадлея, можно ли ему посмотреть, как Генри убивает поросенка, и Генри сказал, что у Сары Сюзен родилась дочка, а последнего поросенка мы закололи в двадцатом.

— Тот, кто звонил по телефону, был дядя Генри,— объяснила миссис Эмброуз.— А тот, кто заколол поросенка, был цветной Генри.

— Нет, Шарлотта, вы закололи этого поросенка в девятнадцатом,— не сдавалась миссис Стронг.— Вы еще послали нам сосиски, и тете Тэнси взбрело в голову опустить их в кипяток, и это было первым признаком того, что она свихнулась, и на следующей неделе мы уволили ее на пенсию.

— Тетя Тэнси была кухаркой,— пояснила миссис Эмброуз.

— В тысяча девятьсот двадцатом,— сказала миссис Хэммонд.

— В тысяча девятьсот девятнадцатом,— возразила миссис Стронг.— Я могу показать вам корешки квитанций из моей старой чековой книжки.

— У них в Лихае здорово поставлено инженерное дело,— сказал мистер Стронг.

— Гарри пытался отвернуть вправо,— сказал мистер Перкинс,— но грузовик шел слишком быстро.

— А вы помните, как водителя грузовика Гэнди арестовали, когда он переезжал вброд Саскуэханну? — спросила миссис Стронг.— Говорили, что он испортил селедочную икру во время нереста.

— Да, конечно,— сказала миссис Хэммонд.— Гамма заплатила тогда приличную сумму.

— Гэнди была моей прабабушкой,— объяснила миссис Эмброуз.— Гамма была моей бабушкой. Мама, мистер Перкинс не пил чая.

— Гэнди всегда ела икру без соли и перца,— сказала миссис Стронг.

— Молодой Дадлей тоже,— сказала миссис Хэммонд.— И он один из всей семьи унаследовал это от Гэнди.

— Молодой Дадлей — сын Маленького Дадлея,— пояснила миссис Эмброуз.— Его назвали так в честь Большого Дадлея.

— Я бы не отказалась иметь каждый день к обеду хорошую селедочную икру, в особенности если это икра от исландской селедки,— сказала миссис Стронг.

— Грейс отделалась ушибами, но Гарри сломал ногу и получил сотрясение мозга,— сказал мистер Перкинс.— Он пролежит в больнице не меньше...

— Ах! Я совсем забыла сообщить вам новость,— воскликнула миссис Хэммонд.— У Маленького Дадлея и Джейн будет второй ребенок.

— Не слишком ли она стара для этого? — спросила миссис Стронг.— Сколько ей лет, Шарлотта?

— Дайте припомнить,— сказала миссис Хэммонд.— Джейн начала посещать школу танцев в тот год, когда Сара Сюзен перестала ходить туда из-за того, что донашивала Маленькую Сару Сюзен. Так что в двадцатом ей было тринадцать.

— В девятнадцатом, Шарлотта,— сказала миссис Стронг.— Я покажу тебе мою чековую книжку.

Мистер Перкинс встал.

— Сожалею, но я должен ехать. Мой поезд...

— До свиданья, мистер Перкинс. Очень жаль, что вы не остаетесь обедать с нами,— сказала миссис Эмброуз.

— Передайте огромный привет Бимисам. Я так рада слышать, что у них все хорошо! — сказала миссис Хэммонд.

— Скажите, что я обязательно их навещу, когда буду в Сент-Луисе,— сказала миссис Стронг.

— А почему вы не выпили чая? Чарли, почему ты не предложил мистеру Перкинсу виски?

— Бог мой! — воскликнул мистер Стронг.— Я не видел старика Гарри с тех пор, как родилась Маленькая Сара Сюзен.

◆

ПЕТР НЕЗНАКОМОВ

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ЧИНОВНИК АМЕРИГО ВЕСПУЧЧИ, ИЛИ СИЛА ОБМАНА

РАССКАЗ

Перевод с болгарского ЛИДИИ БАША

Есть в истории великих географических открытий факт, который поражает своей вопиющей несправедливостью. Всем грамотным людям еще со школьной скамьи известно, что Америку открыл Христофор Колумб, или, как его называли испанцы,— Кристобаль Колон. Вполне возможно, правда, что до него норманны, датские и норвежские викинги тоже достигали берегов этого континента и даже пытались там поселиться. Но их попытки не нашли никакого отзвука в тогдашнем цивилизованном мире. Это было примерно то же самое, как если бы изобретатель пороха пользовался им только для разжигания костра, чтобы печь картошку. И вот, вопреки всякой логике, открытый Колумбом четвертый континент назван не **Колумбией**, как этого требовала бы элементарная этика, а Америкой — по имени человека, чья жизнь и деятельность остаются по сей день самой туманной, неразгаданной загадкой человеческой истории.

Так кто же он такой — этот Америго Веспуччи?

Вот те на! Нарисовать его действительный портрет не удавалось уже стольким ученым и писателям, что и нам это едва ли удастся. И все же мы предпримем попытку. Мы — не ученые. А литературные критики не считают нас и писателями. Мы — юмористы и сатирики. И быть может, средства, которыми мы пользуемся, помогут нам добраться до истинной сути этой личности, в самом существовании которой многие даже сомневаются.

Итак, кто такой Америго Веспуччи?

Сперва сообщим все известные исторические факты, а затем сделаем свои выводы и обобщения. Фактов, правда, очень мало, но даже те, что известны, так переплелись со множеством фальсификаций, лжи и недомолвок, что едва ли их можно принять даже за пятидесятипроцентную истину. Америго Веспуччи, как этого и следовало ожидать, итальянец по происхождению, но ведь и Колумб тоже был итальянцем, так что одним происхождением мы не вправе объяснять почти патологическую склонность Веспуччи к преувеличению (чтобы не сказать чего похуже). Он родился во Флоренции, в зажиточной семье, но точную дату его рождения, как и всего остального, связанного с ним, можно определить лишь приблизительно. Полагаем, что произошло это между 1451 и 1454 годами. Когда он подрос, его определили на службу к знаменитым флорентийским банкирам из рода Медичи, но на какую именно — неизвестно. Был он, по-видимому, тем, кого ныне называют банковским чиновником. Неизвестно и какое образование он получил. Да и вообще устроился он на работу, используя фальшивый диплом, или же имел где-то сильную руку, как это принято говорить в наше время. Впрочем, сильную руку он действительно имел — это был настоятель доминиканского монастыря Святого Марка. Но когда Америго Веспуччи — этот совершенно сухопутный человек — овладел морским делом, остается абсолютной тайной для всех его биографов. Морскому делу «теоретически» — только по книгам и чертежам — не обучишься. Чтобы стать настоящим мореплавателем,— а ведь впоследствии Веспуччи претендовал на это — надо было в то время протереть на корабельных палубах и реях подметки не одной пары моряцких сапог. «Без труда не вынешь и рыбку из пруда»,— говорит народная пословица. А Веспуччи не только не стер ни единой пары подметок на корабле, но до сорока лет носа из Флоренции не высовывал и моря даже не нюхал. Жил тихо и мирно

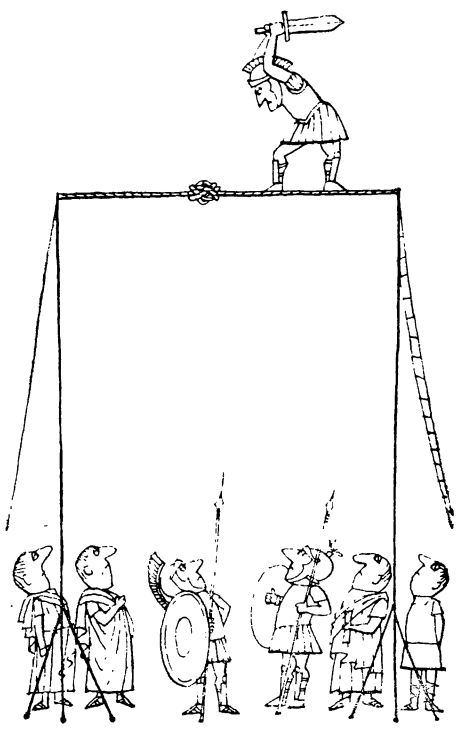
со своей дородной супругой и тремя дочками, просиживал штаны в банковской конторе Медичи и даже вообразить себе не мог (хотя его воображение отнюдь не следует недооценивать), что в один прекрасный день его именем — Америго — назовут целый огромный континент, к тому же континент, открытый совсем другим человеком. Из конторы в таверну, из таверны (правда, без большой охоты) домой, из дома в контору — таковы были будни Веспуччи; по этим маршрутам исхаживал он мир. Но таким же примерно маршрутам ходим по свету и мы, но почему-то никто не присваивает наши имена континентам.

Так кротко, мирно прожил бы Америго до конца дней своих, если бы старому банкиру Медичи не взбрело в голову послать его в Испанию, чтобы проверить финансовые операции тамошнего филиала своего банка. Веспуччи, снабженный необходимыми полномочиями и командировочными удостоверениями, отправился в Барселону, а затем в Севилью. Он впервые прибыл в чужую страну, впервые покинул детей и супругу, и это обстоятельство, видимо, сыграло решающую роль в его жизни. У этого смирного банковского чиновника вдруг появились крылья. Кто пришил их к его хилым плечам? Каталонские гитаны или огненные андалузки? Неизвестно. Известно лишь, что вдруг ни с того ни с сего этот не нюхавший моря человек становится членом экспедиции знаменитого Алонсо де Охеда, направлявшейся к Жемчужному берегу только что открытого Колумбом континента (впрочем, тогда еще никто не подозревал, что это новый континент — все, в том числе и сам «открыватель», верили, что найден кратчайший путь в Западную Индию).

Как же Америго попал в эту экспедицию? Мы можем лишь строить догадки. Вполне вероятно, что он встретился с упомянутым выше Охеда в каком-нибудь севильском кабачке, где они утоляли жажду чудесным андалузским вином, которое, как говорится, развязывает языки даже глухонемым, и побрели пьяненькие — теперь уже до гроба друзья и братья — по узким севильским улочкам (вполне возможно, сопровождаемые подружками легкого поведения) и на следующий день, еще толком не осознав с похмелья, что собственно происходит, оказались в Кадисе, где их ждал корабль Охеда. Вероятно, такое объяснение звучит несколько фантастично, но оно, пожалуй, ближе всего к истине. Ведь всякая другая попытка найти более логичную причину для переквалификации этого потомственного чиновника в мореплавателя, открывающего новые земли, заранее обречена на неудачу. Потому, что во всей этой истории нет ни грамма здравого смысла. За одну ночь человек еще может жениться, но стать мореплавателем — извините! Это вам не фунт изюма!

Как бы там ни было, но Веспуччи, видимо, морская служба пришлась по вкусу, потому что он до преклонного возраста больше не возвращается ни в Италию (это и понятно: там его ждет пожилая супруга), ни вообще на сушу. Он делает это лишь в самом конце своей жизни.

ТИБОР КАЯН. Гордиев узел. Из сборника «Энциклопедия Каяна». Венгрия.



В 1501 году мы видим его уже на службе у португальцев. Но почему он предложил свои услуги королю Мануэлю — неизвестно. Сам он пишет в своих письмах-отчетах, речь о которых пойдет дальше, что король, плененный его знаниями и способностями, «попросил его помочь в открытии новых земель». Так ли это было на самом деле, мы не знаем, но тем не менее Веспуччи на протяжении трех лет плавал под португальским флагом у берегов Нового Света, как в первые годы ее открытия называли нынешнюю Бразилию, полагая, что она не имеет ничего общего с открытым Колумбом побережьем Западной Индии. В 1504 году он снова возвращается к испанцам, опять-таки не объясняя нигде почему, и плавает на их кораблях дважды до Дарьенского залива — между нынешней Колумбией и Панамой. А позже, до самой своей смерти в 1512 году (вот эта дата сравнительно точна), занимает должность главного лоцмана Кастилии (?!). А это уже верх алогизма. Представьте себе банковского чиновника на посту главного лоцмана и к тому же Кастилии! Неужели в Кастилии перевелись опытные капитаны, которые в те времена сделали из бурной Атлантики нечто вроде внутреннего испанского моря?!

На протяжении всей своей морской карьеры Америго Веспуччи так и не организовал ни разу по собственной инициативе и не возглавил ни единой морской экспедиции. Не существует почти никаких доказательств, кроме его собственного одного-единственного утверждения, что он был капитаном какого-то — то ли испанского, то ли португальского — корабля. Неизвестно даже, какие точно должности он занимал во время своих плаваний к берегам Нового Света. То он математик, то астроном и космограф (как он с особым удовольствием любит себя называть), одним словом, он всегда был на административной должности, попросту говоря, оставался и тут чиновником. Исторической науке известен только один мореплаватель, под чьим началом Веспуччи действительно служил,— это упомянутый нами Алонсо де Охеда, но мы, кажется, уже объяснили, при каких обстоятельствах это происходило. Во всех остальных случаях Веспуччи хранит странное молчание относительно своих начальников, и большинство историков сомневается в том, действительно ли он совершил все перечисленные выше плавания или они лишь плод его буйной итальянской фантазии (относительно двух плаваний абсолютно точно доказано, что они из области легенд).

Вот что более или менее известно о странной личности, именуемой Америго Веспуччи. Тогда как же произошло, что его именем назвали четвертый континент?

Попытаемся найти объяснение, хотя нам явно недостает красноречия нашего героя.

Как ни странно, но всемирной славой Америго Веспуччи обязан прежде всего своим... отчетам. Да, да, вы совершенно правильно прочли это слово, дорогой читатель. Действительно тут так и написано.

Еще когда Веспуччи служил в банкирском доме Медичи, чему другому может он и не научился, но в составлении отчетов для вышестоящего начальства поднаторел настолько, что стал поистине мастером.

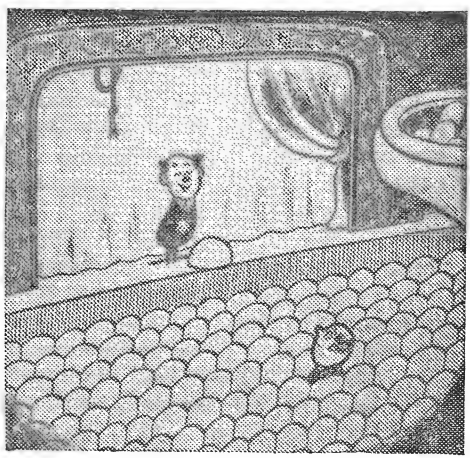
Переквалифицировавшись в моряка, Америго, видимо, не расставался со своим прежним занятием. По-видимому, эту тщательно скрываемую им обязанность он и выполнял во всех экспедициях. И в тех, в которых участвовал, и в тех, где обходились без него, но и о них во что бы то ни стало надо было любым способом отчитаться. Большинство испанских и португальских капитанов были в то время либо вовсе неграмотны, либо же весьма слабы по части письма. Смелые, дерзкие люди, они хорошо владели своим ремеслом, но все их открытия становились достоянием вышестоящих. Легко ли было таким капитанам засесть за пляшущий от качки капитанский стол, взять непривычными, огрубевшими пальцами гусиное перо и сочинять были и небылицы — отчеты о своих путешествиях. Короче говоря, большинство капитанов того времени предпочитали встретиться лицом к лицу со смертью, чем с чистым листом бумаги. И вот именно в такой критический момент появляется наш благообразный флорентиец, назначенный на штатную должность то ли математика, то ли космографа, и спасает положение, беря на себя эту неприят-

ную для них работу. Ну как же было капитанам не улещивать Веспуччи, не поить лучшими винами и не кормить самыми лакомыми яствами, как не отдавать ему львиную долю добычи и самых молодых из захваченных ими туземок? От Веспуччи, в конце концов, зависело, как посмотрят «наверху» на экспедицию, какие награды повесят на грудь и сколько монет отвалят на новые плавания и новые подвиги.

Первый отчет Америго Веспуччи пишет своему хозяину, банкиру Медичи. В нем он отчитывается в своих двух плаваниях, финансированных, как это теперь установлено, банкиром. Все это прекрасно. И в те далекие времена надлежало иметь отчетность и строгий финансовый контроль. Иначе дела, как и ныне, полетят к чертям собачьим. Ну, ладно. Но на основании глубочайшего изучения исторических фактов и подлинных документов уже окончательно доказано, что первое плавание Веспуччи в указанное им время вообще не имело места, совершено было только второе — в 1499 году, под началом Охеда. Тогда куда же делись деньги, отпущенные на первое плавание? Этот вопрос, разумеется, следовало бы задать самому Веспуччи, но он уже давным-давно покоится на севильском кладбище, и нет никакой возможности получить у него красноречивые письменные объяснения. До нас дошел только его отчет, и там черным по белому написано, что совершены два плавания и выделенные для них средства, выражаясь современным языком, освоены. Правда, о первом плавании говорится очень неясно, туманными фразами. Зато отчет насыщен поистине неподдельной восторженностью и поэзией — в нем живописуются красота звездного неба Южного полушария, диковинные птицы и животные, которые ни тогда, ни в наше время так и не были обнаружены нигде на земном шаре. В изысканнейшем стиле он воздает хвалу прелестям местных жителей и особенно жительниц, к которым Веспуччи, видимо, питал нескрываемую слабость. Но о том, кто был начальником этой экспедиции, не сказано ни слова. Говорится только, что испанский король Фернандо (как это, впрочем, сделает впоследствии и португальский король Мануэль) «попросил», видите ли, Веспуччи помочь осуществить это мероприятие. О пройденном кораблем расстоянии, о точном местоположении посещенных экспедицией географических пунктов, о названиях открытых ею земель, островов, заливов и рек, хотя отчет готовил специалист-космограф, говорится столь туманно, с такими недомолвками, что, когда читаешь этот отчет, сразу становится ясно: Веспуччи и в глаза не видел тех мест, о которых пишет. Зато написано обо всем настолько умело, даже можно сказать талантливо, с таким буйным итальянским темпераментом и воображением, что тебя так и тянет поскорее взойти на борт первого же корабля, поднять паруса и умчаться к этим сказочным берегам, где жизнь так легка и приятна, где стоит лишь протянуть руку — и твой голод и жажда будут утолены волшебно-вкусными плодами и соками, дарующими вечную молодость; где нет необходимости носить тяжелые одежды — достаточно одного виноградного или фигового листка спереди; где люди не знают внушенного им с детских лет христианского страха перед грехопадением, а каждый живет согласно своим естественным наклонностям.

Теперь, конечно, трудно высказывать догадки, но все же нам кажется, что престарелый банкир Медичи был весьма до-

МАК. Не могли бы вы подождать немного? У кассы только что видели второго зрителя. Из сборника «Шутки и карикатуры». Австрия.



волен отчетом своего служащего. Он не заметил многочисленных пробелов и несоответствий — ему самому, видимо, очень хотелось, чтобы описываемые Веспуччи новооткрытые берега были действительно такими. Более того, Америго в своем отчете не преминул, разумеется, сообщить, что там, на Жемчужном берегу, золото и драгоценные камни — вовсе не проблема. Достаточно наклониться и слегка разрыть пальцами мягкую землю — и вот они тебе, рубины и сапфиры! Имей только глубокие и крепкие карманы!

Отчеты Веспуччи (как первый, так и второй) были направлены уже на имя директора банка Содерини, замещавшего престарелого банкира Медичи, не могли остаться в тайне. Они получили широкую огласку сначала во Флоренции, потом во всей Италии, а затем и во всем цивилизованном мире, за исключением Испании и Португалии. В этих двух странах об открытии новых земель стало известно еще по отчетам адмирала Кристобаля Колона. Как же огромна разница между восторженно-романтическими отчетами Веспуччи и сухими, деловыми докладами великого мореплавателя. В отчетах Колумба (Колона) все точно, определенно и ясно, вещи называются своими именами: когда находили золото, точно указывалось его количество — в килограммах, а алмазы — в каратах, захваченные туземцы-рабы — мужчины и женщины — оценивались прежде всего с точки зрения экономической: приводились данные об их мышцах, зубах, росте, об их воспроизводительных возможностях. Испанские высшие инстанции вряд ли были довольны этими докладами. Они хранили их в полной тайне, не давая распространяться по белу свету. Вероятно, стыдясь того, что их первый адмирал такой незадачливый — ведь он, мол, ничего особенного и не открыл, а вот человек Медичи, этот флорентийский счастливчик, сообщает о горах золота и алмазов, а захваченные им туземцы по меньшей мере вдвое выше, крупнее и красивее тех, которых так подробно описывает Колон.

И ничего удивительного, что испанские высшие инстанции, а позже и португальские, все больше стараются склонить удачливого путешественника на свою сторону. Как мы уже говорили, после экспедиции под началом Охеда, открывшей Жемчужный берег (нынешняя Венесуэла), португальцы берут верх. Свое третье (а в сущности второе) плаванье, которое приносит ему самую большую славу и известность, Веспуччи совершает уже под португальским флагом. Оно описано в отчете директору банка Содерини. И в этом отчете Веспуччи тоже не сообщает, кто возглавлял экспедицию и в каком качестве он в ней участвовал. По нашему мнению, он снова «помогал» капитану распивать сладчайшее вино и приятно проводить время в безветренные дни. Веспуччи, по всей вероятности, знал уйму анекдотов и всяких забавных историй, которых набрался во флорентийских и севильских тавернах и кабачках, да и в банковских конторах тоже, умел их рассказывать и был поэтому желанным сотрапезником в капитанской каюте на каждом корабле. Знаем мы и каков был Колумб — мрачный и суровый фанатик, который, может, всего-то раз или два за всю жизнь улыбнулся, желчный и нелюдимый старик, испытывавший удовольствие, лишь когда успешно вел дела в защиту своих прав, да еще и завзятый трезвенник. Кто будет рассиживаться с таким за столом, кому приятно слушать целыми днями жалобы, пусть и справедливые?!

Чтобы получить хоть какое-то представление о талантах Веспуччи, предложим читателям лишь один маленький отрывок из отчета, отправленного им Содерини. Вот что пишет он о жителях Нового Света:

«Все женщины у них общие (как и в предыдущем отчете, его прежде всего интересуют женщины), и у них нет ни короля, ни храмов, ни идолов. Нет у них и никакой торговли. Они враждуют между собой и жестоко сражаются. Питаются они человеческим мясом. Я повстречал там одного негодяя, который хвастал тем, словно это делало ему большую честь, что самолично съел 300 человек. Видел я также один город, в котором провел 27 дней. Там кусок соленой человечины висит под крышами домов точно так же, как висят у нас на кухне связки колбас и свиные окорока. Когда мы растолковали туземцам, что не едим своих противников, они были крайне изумлены и уверяли нас, что мясо врагов весьма аппетитно, отличается нежным ароматом и удивительно вкусно».

Так надо ли удивляться тому, что слава этого умелого рассказчика росла день ото дня и распространялась по всему миру, привлекая к новому континенту внимание всяческих авантюристов, желавших вкусить его прелести. И в то же время имя человека, действительно открывшего новый континент, великого адмирала — покорителя Атлантики, все больше покрывалось тенью забвения. В конце своей жизни оба итальянца все еще находятся на испанской службе. Но один из них — главный лоцман Кастилии, окружен всяческими почестями, а другой — с трудом вырвавшись из испанской тюрьмы, вынужден вести нескончаемую тяжбу, чтобы добиться возвращения незаконно отнятых у него прав, прерогатив и титулов, в конце концов доведен до полного отчаянья.

Теперь, по-видимому, ясно, почему и как новый материк был назван именем обаятельного мошенника и фальсификатора Веспуччи, а не именем того, кто его действительно открыл,— Христофора Колумба. Читатель, внимательно следивший за нашим рассказом, уже, вероятно, догадался почему. Но мы все же откроем подлинную историческую правду.

В начале XVI века в маленьком городе Сен-Дье в Лотарингии был создан географический кружок, в который вступили несколько молодых ученых. Один из них — Мартин Вальдзеемюллер, желавший блеснуть своей осведомленностью, написал короткое сочинение, а может быть диссертацию, на тему: «Введение в космографию». Эта диссертация была в 1507 году издана, и, вероятно, на ее основании Вальдзеемюллер получил какую-то ученую степень. Видно, и тогда тоже степени и звания раздавались порой за произведения, не представляющие действительной научной ценности. К изданию, для большей солидности, были приложены и два отчетных доклада «космографа» Америго Веспуччи в латинском переводе. Доклады Колумба, как уже говорилось, хранились в полной тайне испанскими государственными ведомствами, но даже если бы их не держали в тайне, они вряд ли произвели бы впечатление на такого любознательного, энергичного и честолюбивого молодого ученого, каким являлся упомянутый Мартин Вальдзеемюллер. Потому что на-

ТИБОР КАЯН. Ахиллес.
Газета «Мадьяр немзет».
Венгрия.

писаны были сухо и слишком по-деловому.

Так в этом сочинении или диссертации Вальдзеемюллера и в приложенной к нему карте впервые появляется название «Америка», нанесенное на все еще весьма неясные очертания нового континента. Напомнив о том, что «древние народы разделили обитаемую Землю на три части — Европу, Азию и Африку,— нареченные женскими именами», Вальдзеемюллер пишет с вызывающей восхищение логичностью:

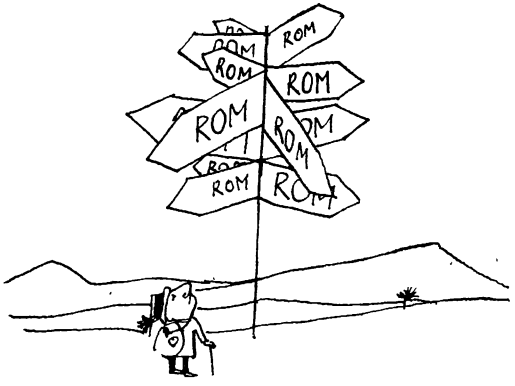
«Но теперь к этим широко исследованным частям света прибавилась четвертая, открытая Америго Веспуччи (и тогда тоже ученые располагали широкой и, что самое важное, глубокой информацией). И я не вижу оснований, чтобы эта часть света не была названа Землей Америго, или же просто Америкой».

В сущности, эти несколько строк представляют собой метрическое свидетельство нового континента. Ошибка совершена, и уже никто не в состоянии ее исправить. Начинающий честолюбивый космо-

граф лишил Колумба права на его открытие так же, как завистливые испанские покровители отняли у него все титулы, имущество и наследственные права.

Название «Америка» необычайно быстро было принято всеми географами и картографами мира. Надо признаться, что звучит оно действительно красиво и легко произносится на всех языках. Но если бы название нового континента носило имя Колумба, кто знает, какие препятствия встретило бы оно и сколько бы тянулось его утверждение в различных инстанциях. Вот так и получилось, что вопреки истине это название сохранилось и по сей день.

Не преминем, однако, сразу же признать, что сам Америго Веспуччи не принимал никакого участия в этом огромном историческом обмане; он никоим образом не настаивал при жизни, чтобы его именем был назван огромный континент. Он жил-поживал в ту пору то ли в Кадисе, то ли в Севилье (мы опять-таки не знаем, где точно) и без устали рассказывал свои невероятные истории в маленьких тавернах, развлекая тамошних завсегдатаев и заставляя их оплачивать крупные счета за обильные возлияния. По всему похоже, что сам он так и не осознал до конца жизни всей своей незаслуженной славы (мы же знаем, с какой быстротой в те времена распространялись новости, особенно в области науки). А может быть, он и не стремился к славе. Он был просто талантливым пройдохой, который хотел нравиться всем своим хозяевам и за их счет жить в свое удовольствие. И в этом он преуспел.



ИРОНИМУС. Все дороги ведут в Рим. Из сборника «Шутки и карикатуры». Австрия.

◆

Наши гости

Эмма Смит

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Эмма Смит пока еще не известна нашему читателю. В Англии ее знают как талантливую детскую писательницу, лауреата премий Блэк Тейт и Ллеввелина Райса — двух литературных наград, свидетельствующих о ее высоком профессиональном мастерстве.

Эмма Смит начала писать очень рано — в шестнадцать лет. Но первый сборник ее рассказов «Канал» вышел, когда автор был уже в зрелом возрасте.

С годами у Эммы Смит сформировался устойчивый взгляд на искусство, который нашел художественное воплощение в таких книгах, как «Не задумываясь» (1962), «Путешествие Эмилии» (1964), «Невозможно рассказать» (1972) и в последнем романе «Удача» (1976). «Художник,— говорит Эмма Смит,— должен всеми силами стремиться выразить в своих произведениях веру в потенциальные возможности личности».

Наша гостья убеждена, что будущее мира — социализм. «Лишь после того как я открыла для себя социализм, я смогла понять мир. Только социализм способен создать такие условия в обществе, когда духовные возможности человека раскроются наиболее полно». Именно поэтому, когда в Англии сформировался Комитет помощи Вьетнаму, Эмма Смит сочла своим долгом работать в нем. «Я многому научилась,— говорит она,— работая бок о бок с этими отважными людьми. Вьетнамцы преподали нам, работникам Комитета, подлинные уроки мужества, благородства, честности, патриотизма. Вьетнамцы вызывают у меня глубокое уважение и восхищение своей мудростью. Столкнувшись с предательством, пройдя через него, они не потеряли достоинства, не исказили своего духовного облика».

Эмма Смит тонкий стилист, чье мастерство постоянно отмечается английскими критиками. Она много размышляет о роли слова в произведении искусства, и не случайно она коснулась этой темы в нашей беседе. «Я чувствую большую потребность быть максимально четкой, найти единственно правильное, единственно верное слово, которое, как бы ни было трудно его обнаружить, обязательно существует. Точность особенно важна сейчас, в наше время, когда язык как средство коммуникации до известной степени теряет свое значение. И сейчас как никогда надо уметь ограничить тебя, не поддаваться потоку слов, нельзя пьянеть от творчества. У писателя всегда должна быть цель — расширить настолько, насколько это в наших силах, знание людей о жизни, их опыт, понимание

природы вещей. Такая мысль звучит как общее место, но тем не менее о сути ее часто забывают, а ведь это одна из главных писательских задач, и задач поистине благородных».

«Творчество — это и радость, и боль, и долг. Для меня творчество существует только в таком триединстве. Писатель должен исследовать, изучать жизнь, он должен пытаться понять, что формирует характер человека, он должен передать как можно более точно чувства и эмоции. Далеко не всегда можно решить поставленную задачу; иногда найти ответ бывает чрезвычайно трудно. Но очень важно поставить актуальную проблему, важно заставить людей задуматься. Мне бы хотелось, чтобы созданные мною книги продолжали жить в умах и сердцах людей после того, как они прочитаны. Творчество — процесс бесконечный: книга должна будить мысль, порождать раздумья, творить новую жизнь».

Эмма Смит недавно закончила работу над романом «Удача», рукопись которого она привезла с собой в редакцию журнала.

«Мне еще очень трудно,— заметила она,— говорить об этой книге.— Она еще слишком «во мне». Нужно, чтобы прошло какое-то время и книга отошла, стала чужой».

«Удача» — роман о семье Скоби, старшие члены которой — миссис и мистер Скоби — типичные представители английского среднего класса.

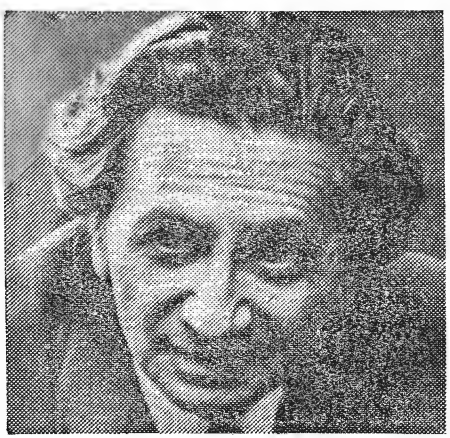
Жизнь среднего класса — традиционная для английского романа тема, на которую часто писали Диккенс, Теккерей, Шон О'Кейси, Джон Голсуорси, Бернард Шоу. Сегодня их традиции развивают Грэхем Грин, Айви Комптон, Бернетт, Айрис Мердок, Мюриэл Спарк.

В предисловии к роману Джеймс Олдридж отметил, что, по его мнению, «Удача» — один из наиболее глубоких, реалистических романов о среднем классе, написанных в последнее время. Он помогает понять многие процессы в английском обществе, например, формирование антибуржуазного сознания у типичных выходцев из буржуазной среды. Главная героиня романа, от имени которой ведется повествование, Нора Скоби. Действие происходит в 1937 году. Семейство Скоби, которое хочет казаться респектабельным и благопристойным, но недостаточно обеспеченное, чтобы поддерживать у окружающих такое мнение, решает провести лето на побережье, у своих дальних родственниц. Это устраивает их в материальном отношении, но своим знакомым они представляют дело так, что им будто бы надо помочь бедным родственницам. Оказавшись у моря, семья Скоби быстро соображает, что побережье — это золотая жила. Надо только превратить его в модный, фешенебельный курорт. И вот мистер Скоби собирается скупить все строения и земельные участки на побережье, однако встречает сильное сопротивление со стороны рабочего Уиллиса.

Судьба Уиллиса складывается трагически. Он гибнет, спасая беспризорного мальчика, которого затравила семья Скоби. Этому человеку свойственны честность, отзывчивость, верность, подлинная жертвенность. «Такие люди, как Уиллис,— заметила в заключение нашей беседы Эмма Смит,— надежда нации, ее завтрашний день».

Е. ГЕНИЕВА

◆



Бхишам Сахни

(ИНДИЯ)

Советские читатели имели возможность познакомиться с творчеством Бхишама Сахни по сборнику «Гнев всевышнего» (М., «ИЛ», 1961) и также по отдельным рассказам, которые за прошедшие 15 лет появлялись в различных антологиях индийской литературы.

Сахни не относится к той категории писателей, которых называют плодовитыми. Внимательный и тонкий художник, он пишет мало, тщательно отделывая каждую вещь, выходящую из-под его пера. Всего им выпущено семь книг. В их числе четыре сборника рассказов, две повести («Окна отчего дома» и «Звенья цепи») и роман «Тьма». Но эти произведения уже обеспечили писателю видное место среди мастеров слова, пишущих на хинди. Его повесть «Окна отчего дома» отмечена премией правительства штата Уттар-Прадеш, а роман «Тьма», ставший заметным событием в культурной жизни страны, удостоен премии Литературной академии Индии за прошлый год.

— В своем романе «Тьма» я стремился показать тот урон, который нанесло господство колонизаторов народам субконтинента,— сказал Бхишам Сахни на встрече в редакции.— Действие романа происходит тридцать лет назад, то есть относится к тому периоду, который непосредственно предшествовал завоеванию независимости. Место действия — небольшой городок в Пенджабе, где многие годы мирно живут представители трех религиозных общин: индусов, сикхов и мусульман. Напуганные размахом освободительного движения, колониальные власти стремятся перевести его в русло религиозно-общинной розни, провоцируя кровавую резню, чтобы затем выступить в роли «миротворцев»... Этот роман не просто кусочек нашей истории, это, если хотите, роман-предостережение.

В ходе беседы Бхишам Сахни коснулся очень серьезной для Индии языковой проблемы.

— Наша страна многоязычная,— сказал он.— В Индии насчитывается 179 языков. Из них 15 официально признаны языками делопроизводства. В этих условиях, как вы понимаете, возникает потребность в языке-посреднике, таком языке, который был бы понятен по всей Индии. Таким языком для нас практически является английский. И хотя официальным языком страны провозглашен хинди, а английский объявлен вспомогательным, именно английский служит для нас средством общеиндийской коммуникации, хотя им владеет лишь около 3 процентов населения страны. Такое положение сложилось в основном потому, что в течение многих лет английский оставался языком государственного делопроизводства. К тому же в современных условиях английский для Индии — это язык естественных и точных наук, язык наиболее влиятельных и информированных органов прессы, язык, связывающий нас с внешним миром. Все это обеспечивает ему высокий престиж.

Правда, положение меняется: отмечается возрастание роли хинди и других индийских языков. Разговорный хинди понятен по всей стране. Хинди изучают в школе. На добровольных началах к нему приобщается население иноязычных штатов. Однако всякая попытка, которая может быть истолкована как навязывание хинди, встречает противодействие, особенно на юге. Сейчас поэтому хинди обычно квалифицируют не как national language («национальный язык»), а как link-language («связующий язык»). По этой же причине, созывая конференции писателей, мы предпочитаем говорить на английском языке, хотя в ряде случаев заранее известно, что аудитория владеет хинди.

Следует сказать, что литература, создаваемая на английском языке,— одна из наиболее развитых литератур современной Индии. На английском пишут многие индийские писатели — и в Северной Индии, и в Южной. Английский — это не только престижный язык, одновременно это язык, который обеспечивает писателю и общеиндийскую известность, и более широкий рынок для сбыта его произведений. Чтобы добиться известности и в масштабах всей Индии, писатель, на каком бы из индийских языков он ни творил, нуждается в переводе своего произведения на английский язык. Однако здесь сразу же встает финансовая проблема: поскольку у писателя нет средств, перевод на английский он должен делать сам. Так, например, случилось однажды со мной: когда один из моих рассказов отобрали для антологии индийской новеллы, мне предложили самому сделать его перевод. Конечно, когда речь идет о рассказе, это не составит особого труда, с повестью или романом дело обстоит гораздо сложнее. Кое-что, правда, делается в этом направлении Литературной академией, но этого явно недостаточно. Причина одна — нехватка средств. В плане взаимного ознакомления приходится ограничиваться теми рецензиями, которые появляются в прессе на английском языке. Поэтому во многих случаях — это звучит курьезно — мы знаем писателя или поэта по имени или даже в лицо, однако имеем весьма смутное представление о том, что создано им на его родном языке, будь то бенгальский, маратхский или какой-либо другой. У нас, к сожалению, нет такого журнала, как ваш «Дружба народов», хотя потребность в таком журнале ощущается давно.

Эта причина — нехватка средств — в огромной степени ограничивает возможности не только взаимного ознакомления, но и простой информации о том, что происходит в индийской литературе.

Кое-что в этом направлении делаем мы сами. В прошлом году, как вы знаете, мы создали Национальную федерацию прогрессивных писателей Индии. Для того чтобы информировать своих коллег и единомышленников по всей стране о деятельности организации, было решено выпускать (кстати, тоже на английском языке) небольшой бюллетень. Уже вышли в свет три его номера. В будущем мы хотели бы превратить его в литературно-художественный журнал, на страницах которого, наряду с критическими статьями и рецензиями, можно было бы публиковать в переводе на английский язык лучшие произведения отдельных индийских литератур...

Интересным было и сообщение нашего гостя о положении в современной индийской литературе.

— По популярности у читателя различных жанров литературы на первое место я бы поставил роман,— заметил он.— Для писателя этот жанр дает возможность показать, а для читателя увидеть жизнь во всей ее полноте. К тому же для публикации романа легче найти издателя. А это в наших условиях — немаловажное обстоятельство.

На втором месте после романа я поставил бы рассказ. Рассказов у нас пишут много, среди них немало отмеченных подлинным талантом.

Из крупных работ последних лет наибольшую известность и популярность у читателей завоевал роман «Дхарти дхан на апна» («Земля — богатство не свое») молодого прозаика хинди Джагдиш Чандра. Он рассказывает о современной индийской деревне, поднимает сложную и болезненную проблему жизни так называемых «зарегистрированных каст» — тех, кого называют «ачхут» («неприкасаемый»); живут «неприкасаемые» за пределами деревни, выполняют самую грязную работу, на них смотрят как на «низший сорт» людей. Правда, в независимой Индии многое делается для фактического уравнивания в правах «зарегистрированных каст»: им оказывается материальная помощь, для них резервируются места в учебных заведениях и т. п. Более того, закон отменил касты и преследует дискриминацию по признаку касты, однако силу традиции, складывавшейся веками, за короткий срок преодолеть трудно...

В поэзии положение складывается несколько своеобразно. Поэтов у нас много. Некоторые из них стали модными. Каждый год появляется много нового, хорошего. Однако, как это ни парадоксально, наибольшей популярностью, на мой взгляд, ныне пользуются стихи Гаджанана Мадхава Муктибодха — поэта, безвременно ушедшего из жизни свыше десяти лет назад. Проблемы, которые поднимались им, язык и образный строй его стихов оказались настолько созвучны современности, что поэзия Муктибодха сейчас как бы рождается заново.

Бхишам Сахни принимает самое активное участие в той борьбе, которая развернулась в Индии против сил реакции, за демократию и торжество справедливости. Этой борьбе подчинена вся жизнь писателя — патриота и интернационалиста, все его творчество и неустанная деятельность по сплочению прогрессивных писателей страны. В настоящее время он генеральный секретарь Национальной федерации прогрессивных писателей Индии. Эта организация была создана на конференции писателей, проходившей в городе Гая (штат Бихар) в мае прошлого года. На конференции был принят манифест организации и избраны ее руководящие органы. Это событие было тепло встречено прогрессивной общественностью страны. С тех пор аналогичные конференции прошли в ряде штатов Индии: организации прогрессивных писателей созданы в Ассаме, Бихаре, Мадхья-Прадеш, Хариане, Западной Бенгалии, Ориссе и других.

— На ряде конференций я присутствовал и могу сказать, что писатели активно принимали участие в их работе,— говорит Сахни.— Конечно, воссоздать организацию прогрессивных писателей в масштабе всей Индии — задача не из легких, но мы упорно движемся к поставленной цели и уже добились определенных успехов. Сама индийская действительность, когда силы реакции объединяются и даже намерены создать блок правых партий, толкает прогрессивных писателей к организации, заставляет их сплачивать свои ряды.

В. ЧЕРНЫШЕВ

◆

БОЛГАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ В «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

Советские читатели хорошо знают имена наших гостей, стихотворения которых неоднократно переводились на русский язык и языки народов СССР и публиковались в «Антологии болгарской поэзии» (1956), книгах «Молодые поэты Болгарии» (1959 и 1968), «Братья» (1967), в журналах «Иностранная литература» [1], «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Звезда», «Дон», «Сибирские огни», в периодике национальных республик СССР. Сборники стихотворений Ивана Давидкова выходили на Украине и в Белоруссии. Его книга «Кусок хлеба для путника» была опубликована на украинском языке в журнале «Всесвіт» (1972).

Димитр Пантелеев — один из известных болгарских поэтов старшего поколения — руководит в Союзе болгарских писателей секцией поэзии. Свой творческий путь он начал в 1923 году, ему принадлежат поэтические сборники «Стрелец» (1924), «Дровосек» (1928), «Осенняя гроздь» (1962), «Раковина» (1966), «Тракийские видения» (1968), «Глиняная чаша» (1971), «Теплая земля» (1973) и многие другие. Он известен также и как переводчик поэзии со славянских языков. В 1950 году Д. Пантелеев перевел на болгарский язык сказку Петра Ершова «Конек-горбунок».

Иван Давидков выпустил свой первый сборник стихотворений «Украинец с белой гармоникой» в 1951 году. Им изданы поэтические сборники «Днепр течет под моим окном» (1960), «Радость на каждом пороге» (1962), «Крылья и корни» (1964), «Холмы под вечерней звездой» (1966), «Тракийские могилы» (1968), «Озарение» (1970), «Танец

[1] Стихи Димитра Пантелеева см. в «ИЛ» № 9, 1962. Стихи Ивана Давидкова см. в «ИЛ» № 9, 1962; № 11, 1967; № 12, 1972.

Димитр Пантелеев

кипарисов» (1975) и другие. Иван Давидков много переводит. По преимуществу его интересует украинская поэзия. В его переводах в Болгарии вышли сборники стихотворений украинских поэтов Максима Рыльского, Андрея Малышко, Дмитра Павлычко. В последнее время он стал писать также и прозу. В 70-е годы увидели свет его книги «Кусок хлеба для путника» (1971), «Вечерний разговор с дождем» (1973), «Белый конь у окна» (1975). Иван Давидков — главный редактор издательства «Болгарский писатель».

Матей Шопкин — автор десяти сборников стихотворений («Двадцатая весна» (1957), «Вечерний снег» (1966), «Потомок» (1967), «Территория» (1969), «Апрельские колеи» (1973), «Расстояния» (1974) и другие), представитель того поколения поэтов, которые начали свою творческую деятельность двадцать лет назад и которых теперь называют поэтами Апреля. В настоящее время он является секретарем Союза болгарских писателей.

Евстати Бурнаского можно по праву назвать поэтом военной и патриотической темы. Он был активным участником борьбы против фашизма, а теперь возглавляет группу писателей при Министерстве национальной обороны Болгарии. Темы борьбы за свободу своей страны преобладают в его творчестве. Большинство его стихотворений изданы в Государственном военном издательстве, а также в издательстве «Болгарский писатель». Е. Бурнаский — автор поэм «Зов тишины» (1970) и «Любовь лейтенанта» (1971), сборников стихотворений «Крутые берега» (1960), «Любовь» (1965), «Шестая аллея» (1967), «Стенопись пуль» (1970). В 1973 году издательство «Болгарский писатель» выпустило книгу его избранных стихотворений «В похищенные минуты».

Жеко Христов в поэзию пришел недавно и написал пока не так уж много. Он живет и работает в Стара-Загоре, городе, который славится в Болгарии тем, что здесь родились многие певцы этой страны, в том числе и такие известные болгарские поэты, как Гео Милев, Николай Лилиев и Веселин Ханчев. Болгары говорят, что в Стара-Загоре даже воздух пропитан поэзией и это создает климат, в котором рождаются новые хорошие стихи. В 1971 году вышел сборник стихотворений Ж. Христова «Между громом и молнией», а в 1975-м — сборник «Судьба простых вещей».

Нашу беседу определил один весьма любопытный вопрос. Известно, что Болгария дает наибольшее количество подписчиков журнала «Иностранная литература» за рубежом. Близость языков позволяет знакомиться с журналом широкому кругу людей. Постоянный читатель мог обратить внимание на то, что болгарская литература всегда занимает достойное место на страницах «Иностранной литературы». Так, за последнее время у нас напечатаны повесть Эмила Манова «Сын директора» в переводе Алексея Собковича, пьеса Георгия Джагарова «Маленькая эта земля...» в переводе Марии Михелевич, подборка стихотворений Слава Хр. Караславова в переводах Риммы Казаковой, в переводе Лидии Баша — документальная повесть Косты Странджева «Мужество жить» и «Колючая роза» Николая Хайтова. В публикации, связанной с юбилеем журнала «Пламк», были представлены и прозаики, и поэты, и публицисты. Поэтому не удивительно, что наши гости заговорили о значении «Иностранной литературы» для болгарских читателей.

Иван Давидков

— Мое впечатление от журнала «Иностранная литература»,— заметил Димитр Пантелеев,— складывалось в течение всех лет его существования. Я являюсь, как и многие другие болгарские писатели, постоянным его подписчиком, выписываю также и другие литературные журналы, «Литературную газету», так что имею возможность сопоставлять и анализировать. Надо сказать, что для всех болгарских писателей, а также для многих читателей «Иностранная литература» является окном в другие литературы, потому что в Болгарии пока еще нет журнала подобного профиля. Лишь

Матей Шопкин

частично функцию такого издания выполняет наш толстый журнал «Современник», который выходит четыре раза в год и в каждом номере публикует отдельные произведения писателей социалистических стран и прогрессивных писателей мира. Мы очень внимательно следим за тем, что «Иностранная литература» переводит из болгарской литературы, особенно поэзии. И хотя вы печатаете стихи болгарских поэтов не более чем два раза в год, это значительный вклад в знакомство с болгарской поэзией, за что мы очень благодарны. Было бы приятно видеть на страницах вашего журнала более широкий круг болгарских поэтов. Очень емкую форму для показа состояния и развития литературы, по-моему, представляет раздел «Культура и современность», который позволяет в специальных обзорных статьях отражать состояние литературной и критической мысли в мире. Мы все помним ту читательскую конференцию у нас в Болгарии, которая была посвящена вашему журналу. Тогда выступили многие болгарские писатели, сделавшие критический раз-

Евстати Бурнаский

бор журнала не только на болгарском материале, но и на материале других социалистических стран. Конференция оказалась очень полезной обеим сторонам.

Димитр Пантелеев имеет в виду обсуждение журнала «Иностранная литература», состоявшееся в Софии в конце 1960 года по инициативе Союза болгарских писателей. Тогда болгарские читатели сделали немало конкретных и конструктивных замечаний в адрес редакции, которые помогли также и в публикации произведений болгарских писателей на страницах журнала. Материалы этого обсуждения были опубликованы в «Иностранной литературе» в 1961 году (№ 3). За годы, прошедшие со времени обсуждения, журнал учел многие критические замечания и советы участников конференции. Сейчас наши гости высказали ряд соображений о работе журнала, которые были с интересом выслушаны участниками беседы.

— Позвольте мне выразить благодарность за все то хорошее, что делает журнал «Иностранная литература» для пропаганды болгарской литературы не только в Советском Союзе, но и в других странах, где читают этот журнал,— сказал Иван Давидков.— Сейчас в болгарской литературе происходят очень интересные процессы. Не только в поэзии, но и в прозе. Я говорю это как главный редактор издательства «Болгарский писатель», который знает все новые книги. Но рамки языка не всегда позволяют этим процессам стать достоянием мировой общественности, получить у нее значительно больший отклик. Журнал «Иностранная литература», как правильно сказал Димитр Пантелеев, это большое окно, через которое литература Болгарии может посмотреть в широкий мир. Чем теснее будут наши контакты, тем большую пользу они принесут делу. Взаимные посещения, переписка, телефонные переговоры, постоянная повседневная дружеская связь всегда дают хорошие плоды.

Евстати Бурнаский и Жеко Христов присоединяются к мнению Ивана Давидкова.

— Я и мои товарищи, пишущие о людях военной профессии,— включается в беседу Бурнаский,— внимательно читаем ваш журнал и очень рады, когда видим на его страницах произведения болгарских авторов, пишущих на военную тему. Это чрезвычайно важная тема, которая никогда не теряет своей актуальности.

— В Стара-Загоре также получают ваш журнал, и нам всегда бывает приятно, когда в нем появляются наши имена,— добавляет Жеко Христов.

— Я уже много лет слежу за журналом «Иностранная литература»,— подводит итог Матей Шопкин,— и на меня производит просто великолепное впечатление, что Болгария то романом, то повестью, то поэзией, то репродукцией картины, то критической статьей или информацией о событиях литературной жизни присутствует буквально в каждом его номере. Все мы заинтересованы в том, чтобы наша страна и ее литература были представлены в вашем журнале как можно шире, и в то же время понимаем, насколько труден бывает процесс отбора.

Мы спрашиваем у Ивана Давидкова как у издателя, какие книги за последнее время обратили на себя в Болгарии наибольшее внимание и что выйдет в ближайшем будущем в издательстве «Болгарский писатель».

— У нас очень много говорят о романе Павла Вежинова «Белые кони в ночи»,— отвечает он.— Это книга с интересной современной проблематикой, заслуживающая

Жеко Христов

того, чтобы быть представленной советскому читателю. Мы ждем также новых книг от Йордана Радичкова, Генчо Стоева и других наших писателей. Издательство готовит книгу статей болгарских писателей о влиянии советской литературы на их творчество. Этот сборник статей посвящен 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции и выйдет в будущем году. Наиболее известные болгарские писатели поделятся на его страницах тем, что дала им советская литература. Я надеюсь, что это будет очень интересная книга. Кроме того, выходит книга интервью болгарских писателей, посвященная Апрельскому пленуму,—«Веяния Апреля». В ней помещены ответы писателей на вопросы литературного критика Атанаса Свиленова. Мне хочется также отметить вышедшую не у нас, а в издательстве «Народна младеж» антологию «Поэты Апреля», в которой представлено более тридцати поэтов, утвердившихся в болгарской литературе после Апрельского пленума 1956 года.

— Я хотел бы добавить,— говорит Матей Шопкин,— что эта антология составлена по возрастному принципу. За ее пределами остались поэты старшего поколения, для которых Апрель также был значительной творческой вехой. В нее не вошли и более молодые поэты. Учитывая это, я взял на себя труд подготовить еще одну антологию — сборник «И продолжается песня», включивший стихи двадцати шести поэтов молодого поколения. Сборник этот выйдет в издательстве «Народна младеж» к концу года. Поэтов у нас, как видите, много, и творческих индивидуальностей тоже немало, так что возможности для выбора имеются самые широкие.

С. ПАРХОМОВСКАЯ

◆

Среди книг

Издано в СССР

ИСТОРИЯ МОЕЙ КНИГИ

Фернандо Намора. Живущие в подполье. Перевод с португальского Е. Ряузовой. Предисловие В. Гутермана. Москва, «Прогресс», 1975.

В связи с выходом на русском языке нового романа одного из крупнейших португальских писателей Фернандо Наморы, хорошо известного и в нашей стране, редакция журнала попросила его рассказать, каков был первоначальный замысел книги, в каких условиях она создавалась и какие отклики вызвало ее появление в Португалии.

У большинства моих книг сложная биография, но роман «Живущие в подполье», пожалуй, превзошел в этом смысле все остальные, претерпев множество неожиданных превращений. Сначала я хотел написать просто историю неудавшейся любви, которая обречена на гибель в деградирующем капиталистическом обществе, где сама жизнь толкает героев на притворство и лицемерие, заставляя их все больше и больше запутываться в паутине лжи. Действие должно было происходить в социальной среде, в которой особенно ощутимы противоречия и неосуществившиеся мечты,— я имею в виду интеллигенцию. Но, закончив первый вариант книги о потайной, «запретной» любви, развивающейся на фоне лишенной всякого величия повседневности, я понял, что эта история могла бы символизировать гораздо более многозначительную «запретность» — «жизнь в подполье», что при фашистском режиме было характерно для всей португальской действительности, основанной на лицемерии и обмане. Ведь фашизм способствовал постепенному отмиранию всего самого хорошего, самого ценного в людях. Его можно сравнить с опустошительным смерчем, сжигающим душу человека и оставляющим после себя лишь видимость покорности. Вот так у меня возникла мысль превратить роман в аллегорию португальской действительности времен Салазара. Мне захотелось также противопоставить молодежь, ведущую активную борьбу против фашизма (таков Алберто), героям, прогрессивно настроенным, но уже склоняющимся к примиренчеству и соглашательству (подобно главному персонажу — скульптору Васко Роше), хотя такие люди не решаются в этом признаться даже самим себе. Поэтому мне предстояло рассмотреть образы моих героев, и в особенности Васко Роши, под новым углом зрения, в новой диалектической и критической перспективе. И первоначальный вариант названия — «Любовники» — я заменил другим, более соответствующим новому замыслу: книга стала называться «Живущие в подполье».

Как правило, герои литературных произведений имеют вначале некоторое сходство с прототипами из реальной жизни. Черты лица, свойства характера, порой всего только запомнившийся жест или интонация голоса могут послужить поводом для создания литературного образа. Но едва эти персонажи переступают порог романа, как они

начинают приобретать собственный облик, собственные черты, мало-помалу освобождаясь от сходства с породившей их моделью. Наконец они достигают полной независимости. Таково одно из магических свойств искусства, одно из его чудес.

Что касается «Живущих в подполье», то прототипами мне служили реально существующие люди. В первую очередь это относится к трем моим друзьям, которым посвящена книга: ведь у каждого из них за плечами был драматический опыт борьбы против салазаровского режима. Их воспоминания и явились основой при создании тех глав, которые посвящены политическому подполью и тюрьмам. Кроме того, разумеется, мне помогали и собственные наблюдения, сделанные во время посещений одного из друзей, отбывавшего срок тюремного заключения.

Появившись в 1972 году, роман «Живущие в подполье» вызвал в Португалии самые противоречивые толки, как это, впрочем, случается у нас довольно часто, поскольку у интеллигентов существует привычка, а иногда и порок дискутировать по всякому поводу (как привычка, это оздоровляет, как порок — может привести к злоупотреблениям). Со стороны критики наряду с неблагоприятными, порой даже оскорбительными высказываниями появлялись весьма благожелательные отзывы. Парадоксально, но факт: потребовавшаяся мне для написания такой книги смелость не нашла одобрения со стороны тех, кто по политическим соображениям должен был бы ее приветствовать,— возможно, так случилось потому, что всегда встречаются люди, желающие обладать монополией на мужественные поступки. Что касается читателей, то три издания разошлись почти мгновенно.

Однако я пишу не для критики и не для успеха. Меня заставляет писать непреодолимая потребность высказаться, выступить как свидетель и участник происходящих в мире событий, а также стремление определить свое место среди людей, чтобы лучше понять их и самого себя.

Известие о том, что роман «Живущие в подполье» переведен на русский язык, принесло мне большую радость. Это не первая моя книга, опубликованная в Советском Союзе. Несколько лет назад были переведены «Записки врача» и целый ряд рассказов. На украинском языке помимо «Живущих в подполье» издан также роман «В воскресенье после полудня».

Попадая к каждому новому читателю, особенно к читателю другой, далекой от тебя страны, книга словно оживает, возрождается вновь, по-новому преломляясь и в сознании автора. Ведь литературный процесс состоит не только в том, чтобы творить, он состоит во взаимодействии писателя и читателя. Каждый читатель истолковывает книгу по-своему, и это всегда обогащает и наши чувства, и наши мысли. Именно искусство дает нам возможность вести плодотворный диалог с читателем.

Кроме того, португальский писатель, в течение долгих десятилетий страдающий от своей изолированности, вероятно, особенно чувствителен к тому, что перед ним начинает открываться весь мир. И прежде всего такие страны, как Советский Союз, сотрудничества с которым мы были лишены вопреки своей недвусмысленной воле.

Однако, как ни препятствовал фашистский режим контактам с вашей страной, лучшие произведения русских и советских писателей проникали и к нам в Португалию. Многие из русских классиков стали нашими учителями, и уже несколько поколений читателей в Португалии искренне восхищаются ими. Среди них, разумеется, Л. Толстой, Достоевский, Гоголь, Горький и Чехов. Из современных писателей назову в первую очередь Шолохова, Эренбурга, Симонова, Евтушенко.

Знакомство с творчеством этих писателей, насыщенным гуманизмом, душевной щедростью, пониманием и сочувствием к угнетенным, послужило нам путеводной звездой для нового видения жизни и для создания литературы, целью которой стало стремление способствовать установлению социальной справедливости и братства между людьми, а также раскрытию тончайших нитей, связывающих психологические конфликты с общественными коллизиями и недовольством народных масс. Книги этих писателей позволили нам более глубоко познать человеческую личность. В каждой из них — боль всего мира.

ФЕРНАНДО НАМОРА

г. Лиссабон

СОПРОТИВЛЯЯСЬ СВОЕЙ ЭПОХЕ...

Роберт Пенн Уоррен. Приди в зеленый дол. Перевод с английского Т. Голенпольского и В. Паперно. «Москва», № 10, 11, 12, 1975.

Роман Роберта Пенна Уоррена «Приди в зеленый дол» вышел в 1971 году, когда лирические строки его эпиграфа: «Любовь, приди в зеленый дол...», сменявшиеся трагической нотой во второй его части («отчаяние — ее отец, а безнадежность — мать»), звучали анахронизмом, неуместным диссонансом. К этому времени американская история миновала «молчаливые 50-е» и «бунтующие 60-е» и вступила в 70-е, породившие сомнения — сможет ли страна пережить затянувшийся кризис.

Как отмечала американская критика, за эти годы, особенно после смерти Фолкнера, центр культурных интересов сдвинулся на север. Поделившись своей правдой об Америке, представители нью-йоркской литературной элиты приучили читателя видеть в писателе нигилиста, изображающего бессмысленные события, происходящие в утратившем ценности мире. Фолкнер назвал со-

временного писателя «простым свидетелем гибели человечества... в чьей тоске нет скорби и чьи раны не оставляют шрамов». В романе «Вся королевская рать» (1946)[1], самом популярном произведении Р. П. Уоррена, широкий читатель усмотрел эту привычную всеамериканскую, в отличие от «южной», абсурдистскую трактовку бытия и всегда импонирующий читателю детективный по своей напряженности драматизм политических и личных коллизий.

Сегодня Уоррену семьдесят один год. С четырнадцати лет он увлекается американской историей. В основе всех его романов лежат подлинные исторические события. И вот свой последний роман, плод раздумий почти десятилетия, трудного десятилетия в жизни Америки, этот мастер посвятил вечной, казалось бы далекой от исторической актуальности, теме. Он подчеркивает это второй частью эпиграфа, явно перекликающейся со знаменитыми строками из пролога к «Ромео и Джульетте»: «От чресл враждебных родилась чета, любившая наперекор звездам».

В основу романа Уоррен положил принцип «негативной актуальности», сформулированный им в речи, которую он произнес в 1970 году в связи с присуждением ему Национальной медали за литературу. Он утверждал тогда, что в поэзии (литературе) есть актуальность особого рода. «Дело в том,— говорил Уоррен,— насколько прочно писатель связан корнями со своим временем, насколько точно он реагирует на него и, как это ни парадоксально, насколько упорно он ему сопротивляется. Писатель обязан сопротивляться своей эпохе...» Увлекшись злободневностью, сказал Уоррен, можно предсказать будущее, но, сбывшись однажды, оно станет историей. Руководствуясь же принципом «негативной актуальности», писатель может в книге о далеком прошлом «распахнуть перед нами будущее, дать анализ человеческой души, в которой мы узнаем свою собственную».

Сюжет романа разочаровал некоторых критиков: любила, убила... «мелодрама, елизаветинские страсти». Этой книге действительно присущи черты елизаветинской драмы. Как и в «трагедии грома и крови», в романе бушуют вечные человеческие страсти, а подмостки его драматического действия столь же символичны, как театральные декорации времен Шекспира. Действие романа Уоррен перенес из «громкого мира» в изолированный микрокосм человеческой души, которая словно смотрит в зеркало своего бытия, взяв на себя роль хора в греческой трагедии. Это высокое нравственное сознание делает роман Уоррена ближе гуманистическому идеалу шекспировской драмы, нежели многим произведениям современной американской литературы, сосредоточившим внимание, по выражению Фолкнера, «не на сердце, а на железах».

История, процесс бытия, говорит в своих книгах Уоррен,— это поток, бегущая река человеческих судеб. И пока человек бессознательно отдается ее течению, его жизнь подобна сну, он погружен в воды небытия. Многие люди так и не «пробуждаются» к реальности, это нищие на дороге жизни. Каждый из персонажей романа погружен в свой «сон». Действие начинается тогда, когда все уже, казалось, научились жить «сейчас» без мучительных «вперед» и «назад».

Героиня романа Кэсси Споттвуд заставила свою жизнь застыть, словно никогда и не было ее первой любви — Сая Грайндера. Единственный человек, который связывает Кэсси с «громким миром» — символ этого мира в романе,— судья Гилфорт. Бывший однокашник мужа Кэсси Сандера Споттвуда по университету, он называет себя его «другом». В действительности его отношение к Сандеру и Кэсси несравненно сложнее. Сандер всегда олицетворял для Гилфорта ту полноту бытия, в которой ему было отказано. Кажется, что отношения героев романа незыблемы. Но вот через двенадцать лет «небытия» поток бытия приносит в их жизнь молодого итальянца Анджело, и его появление вызывает цепную реакцию чувств. Полюбив Анджело, Кэсси убивает мужа и становится причиной казни Анджело.

Главная удача Уоррена — раскрытие процесса «пробуждения», возвращения к жизни. Человек может быть счастливым, лишь обретя смысл жизни. Знание, которое не берется от мира, а рождается от соприкосновения человека с ним. Каждый взгляд, поступок, ощущение меняют человека. Его «знание» складывается из бесконечной череды моментов «застывшего времени». Это медленный и мучительный процесс. Человек с болью сознает свое одиночество, но оно побуждает его выйти из изоляции, а любовь к одному человеку помогает ощутить «паутину земли» [1].

Прагматизм актуален, словно говорит Уоррен, но он не может сделать человека счастливым. Да и человек ли в полном смысле этого слова тот, кто живет только разумом, не зная власти сердца? Уоррен использует излюбленный парадокс Фолкнера — за деньги нельзя купить ничего, за подлинные человеческие ценности можно платить только любовью. Любовь может сделать человека несчастным, но она поднимает его над механическим процессом бытия, его жизнь обретает глубину и богатство.

Читатель постоянно чувствует, что в каждом событии есть символический смысл, в каждом явном мотиве поступка — скрытый, часто не просто иной, а противоположный. Для символической, образной системы мира уорреновских книг характерны многие противопоставления, встречающиеся в книгах других представителей школы «южного романа»: свет и мрак; люди ночи и дня; реальность и «сон», мечта; текущее время и его «застывшие» моменты; незнание и опыт; внешний и внутренний мир.

Кульминацией романа становится суд над Анджело. Талант Уоррена с особой силой

[1] На русском языке роман опубликован в журнале «Новый мир» № 7—11, 1968.

[1] Т. Вулф. Паутина земли. «Иностранная литература» № 7, 1971.

проявляется в умении перевести слова и поступки на «нагой язык эмоциональной жизни». Гилфорту удается убедить суд не верить признанию Кэсси, что она убила мужа. Но в душе все сознают, что отправляют на казнь невинного человека. Невинного, но чужого, непонятного, способного довести эту женщину до полного забвения себя. Обнаженность, сияние ее чувства причиняют боль, притягивают и отталкивают, заставляют почувствовать ничтожность своей жизни, свое одиночество, «горе, которому нет имени», наконец, ненависть к этому проклятому итальянцу, обрушившемуся на их дом, как чума.

Анджело казнили. Кэсси заперли в клинику, где постепенно к ней пришла уверенность в том, что она помогла Анджело уехать и теперь он счастлив. Жители долины долго не могли вытравить из памяти эту историю. Первые годы их тянуло в опустевшую долину Споттвудов, словно вид этого места мог оборвать цепь тягостных мыслей: в их общем доме убили невинного человека, правда, чужого, почти негра, но зачем понадобился этот «северный» стул? Ну, пристрелили бы, как собаку, или повесили; а эта Кэсси, да и сам судья Гилфорт; а беззащитный Сандер — и так без конца... Эти непривычные мысли давили, разрушая гармонию незнания — небытия.

В эпилоге Уоррен, явно пародируя «литературу факта», сообщает подробности жизни долины и главных персонажей романа. Гилфорт поднялся еще на одну ступеньку социальной лестницы и покончил жизнь самоубийством. Сай Грайндер стал богатым, но его жизнь оказалась давно прожитой. И лишь одна Кэсси, пусть в безумии, обрела счастье, которое никто уже не может у нее отнять.

За годы, прошедшие с момента выхода романа, американцы поневоле превратились в историков, размышляющих о настоящем и прошлом своей страны. Уже снят фильм «Вся президентская рать» по журналистскому отчету об Уотергейте. Сегодня можно говорить о расцвете жанра исторической пародии. Но совершенно очевидно и то, что вышедший пять лет назад роман Уоррена «Приди в зеленый дол» предвосхитил резкий перелом в духовном климате Америки. В горькую пору разочарований и глубокого пессимизма Уоррен написал книгу о вечном стремлении человека к любви и красоте, о главных человеческих достоинствах — способности чувствовать. Писатель напомнил о назначении искусства не только отражать общественное сознание, но и оказывать на него существенное воздействие.

Недавняя американская история заставила многих американских писателей высказать мысли и создать книги, близкие идейной проблематике романа «Приди в зеленый дол». В 1975 году сам Уоррен опубликовал эссе «Демократия в поэзии», где утверждал, что именно поэзия-искусство способна отстоять подлинно демократические, гуманистические идеалы. Однако нужно сказать, что в романе «Приди в зеленый дол» мировоззрение Уоррена, поэта и философа, высказано ярче и убедительней.

К сожалению, в русском переводе исчезла праздничная приподнятость и поэтическая глубина подлинника, нарушалась гармония художественной конструкции, спрессовались и обмелели завораживающие глубиной человеческого содержания моменты жизни души Кэсси и других персонажей романа.

Т. РОТЕНБЕРГ

О МЕЧТАТЕЛЯХ И ОДИНОЧКАХ

Сигурд Хёль. Заколдованный круг. Перевод с норвежского В. Беркова и Л. Шишелевой. Предисловие В. Беркова. Москва, «Прогресс», 1975.

Действие романа «Заколдованный круг» норвежский писатель Сигурд Хёль отнес к началу прошлого века, в глухое селенье Нурбюгду. Сюда приезжает новый человек — Ховард Ермюннсен. Он женится на вдове Рённев, хозяйке богатого хутора, и поселяется в Нурбюгде навсегда.

Ховард — крестьянский сын, но для крестьянина он немало повидал на своем веку. Он даже получил некоторое образование в области ведения хозяйства. Кругозор его довольно широк, склад ума независим, и это дает ему возможность сравнить жизнь в Нурбюгде с жизнью в других местах: «Все здесь отсталое, все ведется по старинке, по обычаям двухсот-, трехсотлетней давности... Каждый третий год у них недород, а каждый девятый — неурожай; тогда они голодают, мрут понемногу, потом помногу... Они боятся всего чужого, всего нового, как черта, и даже больше: черт им все-таки понятнее».

Ховард решает изменить эту жизнь — сделать селенье зажиточным, а хусманов [1] превратить в свободных людей. Он вводит в своем хозяйстве разные новшества, давая соседям возможность присмотреться к ним. Он не жалеет сил и времени, он всегда готов помочь односельчанам советом, посевным зерном, картофелем.

Ховард знает, что потребуются годы, чтобы сломить стену враждебности, окружающую его, но он энергичен, убежден в своей правоте и верит, что сможет принести пользу людям.

И хотя Ховард поднял свое хозяйство (которое, впрочем, и до реформ было богаче других), да и соседи кое-чему научились у него, можно сказать, что он все же потерпел поражение: он так и остался для окружающих подозрительным чужаком. Пока жизнь складывалась у него благополучно,

[1] Хусманы — арендаторы-издольщики.

отношения его с односельчанами казались дружескими, но стоило Ховарду попасть в трудное положение, никто из нурбюгдовцев не пришел ему на помощь, напротив — они как будто выжидали, когда он споткнется, и сделали все, чтобы не дать ему подняться.

«Заколдованный круг» — мрачный роман. Колорит его — постоянное чередование света и мрака, причем свет постепенно убывает, а мрак нарастает. Ритм романа размеренно-напряженный; напряженность, как и мрак, нарастает к концу, словно гул от камнепада. В этом ритме возникают повторяющиеся или зеркально перевернутые образы, звучат странные голоса. Жизнь идет по грани реальности с нереальным миром снов, предчувствий, сказаний, легенд. Все это двоится, дробится, опять сливается в единое целое. Заколдованный круг — это и Нурбюгда, которая заманила Ховарда в гору, как рыцаря из старинной легенды, и выслала для приманки Рённев — женщину-тролля с ее эротическим колдовством. Это и обреченность самого Ховарда, предопределенная с самого начала.

Действительно, если проследить жизнь Ховарда с той минуты, как он покинул родное селенье (предыстория героя рассказана в романе «Наследный клинок», 1941 год), может показаться, что жизнь эта — цепь неуправляемых и непредсказуемых событий, ведущих Ховарда к смерти на плахе. Даже счастливые события — не более чем уловка судьбы, не дающей герою избежать ужасного конца.

Судьба предстает в романе как реально существующая сила. Это — голос Хёля-поэта, привнесшего в свое повествование дух древности, античной трагедии, где необдуманное или безответственное деяние героя влечет за собой вереницу последствий, от которых страдает и он, и его близкие. За какой же поступок судьба, а точнее Хёль, казнит Ховарда? Хёль был убежден, что безответственность приводит к страшным результатам и в личной и в общественной сфере. А главным проявлением безответственности считал он предательство, в том числе предательство в любви. Виновен в предательстве и Ховард: он женится на Рённев, а подруга его юности Туне бросается в водопад.

Ховард часто вспоминает о преданной им возлюбленной, и воспоминания эти мучительны. Чтобы хоть как-то искупить свою вину перед ней, Ховард и решает помочь нурбюгдовцам. Он думает: «Если хочешь, чтобы у судьбы был смысл, чтобы имело смысл все, что с тобой происходит, надо самому управлять ею, сопротивляться ей». Но потом картина меняется: «Все сплелось в один запутанный клубок с едва различимой нитью, которую он иногда вытягивал. Но не мог вытянуть до конца. Он понимал, что если бы вытянул нить, то смог бы изменить собственную судьбу». Но Ховард не изменил ни своей судьбы, ни жизни Нурбюгды.

После войны, в 50-е годы, норвежская литература была как бы на распутье. Многие писатели отошли от традиционного реалистическо-психологического направления; появились книги аллегорические, символические, получили распространение стилизации разного рода. Сигурд Хёль был одним из тех, кто продолжал и развивал традиционную линию. В эти годы он написал романы «Я люблю другого», «Свидание с забытыми годами», «У подножия Вавилонской башни» — все они основаны на современном материале. В 1958 году появилась его последняя книга — «Заколдованный круг» (писатель умер в 1960 году). Роман вызвал среди критиков много споров, но большинство признало его лучшим произведением Хёля. Отмечались тонкий психологизм в обрисовке отдельных образов и коллективного образа Нурбюгды, поэтичность, эпическая мощь. Любопытно, что еще в 1939 году один критик предсказал, что Хёль непременно создаст книгу, действие которой будет происходить в прошлом, так как в природе его таланта — доискиваться до истоков каждого феномена, о котором он пишет, в особенности до истоков личности своего героя.

Действительно, Хёль не ограничился романами, где рассматривал юность или детство интересующего его человеческого типа. Он пошел дальше и исследовал среду, в которой этот тип зародился. (Почти все главные герои его романов — варианты одного образа.) Так что романы «Наследный клинок» и «Заколдованный круг» — органическая часть полотна, созданного Хёлем, и Ховард стоит в одном ряду с другими его героями.

«Сами книги жгуче актуальны, и проблемы, которые в них рассматриваются, касаются всех»,— писал норвежский критик Эудун Твиннерейм в статье, посвященной анализу дилогии Хёля.

Писатель развивает в ней темы, постоянные для его творчества. Это — вина и ответственность, личность и общество, особенно — бунтарская личность и закосневшее общество.

Этим же темам был посвящен уже первый роман Хёля — «Грешники на летнем солнце» (1927), принесший ему известность и вызвавший бурные дискуссии в Норвегии. Роман рассказывал о том, как группа молодых людей решила порвать с традиционной ханжеской моралью своего городка и жить по-иному, вооружась новейшими теориями, в том числе фрейдизмом. «Бунтари» потерпели поражение — несмотря на все теории, они совершили те же ошибки, что и старшее поколение, так презираемое ими. Хотя книга эта была светла по колориту и в ней много легкого юмора, по сути своей «Грешники» близки к «Заколдованному кругу» — и там бунтари терпят поражение.

Борьба оказалась гораздо более трудной и длительной, чем это виделось Хёлю — автору «Грешников на летнем солнце». По книге «Заколдованный круг» видно, какой путь прошел Хёль как человек, писатель, общественный деятель. В этом романе проблематика осталась прежней, но предстает она во всей ее сложности, многогранности,

в сплетении интересов личных, общественных, исторических.

Социальный фон в «Заколдованном круге» играет бóльшую роль, чем обычно у Хёля, и коллективный образ Нурбюгды далеко не однозначен: писатель не осуждает Нурбюгду безоговорочно. Да, нурбюгдовцы косны, озлобленны, враждебны. Но будь они другими, и переделывать было бы нечего. Не идеализирует Хёль и Ховарда: он проникает в глубины души своего героя-бунтаря и показывает, в чем слабость этого человека, кажущегося поначалу таким сильным. Ховард не знает не только односельчан, но и самых близких ему людей и потому совершает одну ошибку за другой. Даже методы, которыми Ховард вводит новшества, не годятся здесь. Очевидно, преобразователю необходимо хорошо знать и свое общество, и его законы, и соотношение сил.

Но Ховард не знал даже самого себя. Не знал, что по натуре он не борец, а мечтатель, оттого и не мог «вытянуть нить до конца» и понять, в чем причина его неудач: «Что такое мечта? Так, что-то хрупкое, неуловимое, игра воображения, ничто. Если она разбилась, то с ее исчезновением не изменилось ничего: земля и лес, поля и луга — все осталось прежним». Все осталось в Нурбюгде прежним и после смерти Ховарда — мечтателя и одиночки.

И. БОЧКАРЕВА

Издано за рубежом

ИТОГИ ТРИДЦАТИЛЕТНЕГО ПУТИ

Kopeczi Bela. A magyar kultúra harminc éve. 1945-1975. Budapest, Kossuth Konyvkiado, 1975.

Бела Кёпеци, видный представитель современной венгерской науки, известен прежде всего исследованиями в области истории и теории социалистического реализма, методологии марксистского литературоведения, а также некоторых новейших явлений буржуазной идеологии, в частности гошизма. В своей книге «Тридцать лет венгерской культуры. 1945—1975» он продолжает изучение идейных, идеологических проблем нашей эпохи; на этот раз в центре его работы — процесс формирования в Венгрии социалистической культуры. Книга создавалась в период, когда Венгрия готовилась к XI съезду ВСРП и к празднованию 30-летней годовщины своего освобождения. И автор стремился теоретически осмыслить взаимосвязь социализма и культуры, продемонстрировать результаты осуществляемой в стране социалистической культурной революции, на конкретных фактах доказать плодотворность социалистического строя для духовного роста человека.

Как пишет в кратком введении сам Кёпеци, «книга призвана не только дать информацию, но и заставить читателей задуматься над вопросом, который, по нашему мнению, в условиях социализма никак не может считаться второстепенным. Речь идет о функциях культуры в социалистическом обществе».

Ссылаясь на Маркса, который видел смысл исторического прогресса в движении человека к полному раскрытию своих сил и способностей (смотри такие его работы, как «Капитал», «Критика Готской программы» и другие), Кёпеци подчеркивает, что в анализе культуры нужно исходить из «человеческой сущности», ставить во главу угла самый важный и универсальный критерий — влияние тех или иных явлений, процессов на развитие творческих способностей человека, на движение человечества к полноте и разумности бытия. Этот критерий венгерский ученый называет «реальным гуманизмом», делая, таким образом, акцент на его конкретно-исторической сущности и отличая от гуманизма буржуазного, абстрактного. Отсюда ясно, что при оценке уровня культуры необходимо учитывать не только духовные, но и материальные ее компоненты, в то же время раскрывая зависимость данной системы запросов и ценностей от характера производственных и общественных отношений. Например, для второй половины XX века самым значительным фактором является набирающая темпы научно-техническая революция, которая не только преобразует производство, но и влияет на общественную жизнь. Однако каким оказывается воздействие научно-технической революции на культуру — зависит от общественной формации.

В социалистическом обществе всемерное развитие производственной базы, внедрение достижений научно-технической революции служат прежде всего созданию изобилия материальных благ, без которого человек никогда не станет по-настоящему свободным. Происходящая одновременно с этим культурная революция как раз и помогает использовать достижения науки и техники в подлинных интересах человека, всего народа. Так, эти два процесса, научно-техническая революция и культурная революция, дополняя и поддерживая друг друга, в условиях социализма объединяются, чтобы служить человеку, культуре.

От объективных факторов автор переходит к субъективным, характеризуя политику венгерских коммунистов в области культуры на различных этапах строительства социализма. Он подчеркивает тесную связь культурной политики социалистической Венгрии с теми принципами, которые были сформулированы еще Лениным и опробованы в

практике культурного строительства в Советском Союзе. Кёпеци отмечает также органическую связь культурной политики, проводимой венгерскими коммунистами, с общим политическим курсом ВСРП. Автор не умалчивает о тех ошибках, которые характеризовали культурную политику в Венгрии в определенный период. Как не умалчивает он и о сегодняшних трудностях, встающих на пути формирования всенародной социалистической культуры и нового человека. Методы и принципы культурной политики оттачиваются на практике, в процессе накопления опыта. Однако несомненны и большие успехи культурной политики; одним из реальных свидетельств этого Кёпеци считает то, что в Венгрии созданы благоприятные условия для творческой деятельности, для здорового развития всех видов искусства.

Кёпеци говорит и о той разнообразной поддержке, которая оказывается в социалистическом обществе естественным и гуманитарным наукам. Заслуживают внимания мысли автора о взаимоотношениях общественных наук и политики. Задача общественных наук — описание явлений, нахождение закономерностей, разработка и теоретическое обоснование наиболее правильного в данных условиях пути; в этом отношении общественные науки выступают помощником передовой силы социалистического общества — партии. Политика же ответственна за выбор пути, за использование полученных наукой выводов в интересах социализма, то есть в интересах человека.

Особого внимания заслуживает глава, где Кёпеци анализирует вопрос о том, как выполняли и выполняют литература и искусство возложенные на них культурной революцией функции — воспитательную, познавательную, развлекательную. Вспоминая бурные споры вокруг этих вопросов, характеризуя идейные и эстетические позиции основных направлений в венгерской литературе после 1945 года, цитируя партийные документы, автор, в сущности, доказывает одну мысль: литература и искусство в условиях социализма наиболее эффективно служат прогрессу, интересам человека только в том случае, если опираются на принцип партийности — в ленинском понимании этого слова. Однако особенности исторического этапа, который переживает общество Венгрии, проявляются в том, что при гегемонии марксизма-ленинизма в общественном сознании бытуют и несоциалистические идейные влияния. Ведь и для партийного руководства в культурной политике главной задачей было оптимальное решение вопроса о том, «могут ли и в какой мере могут литература и искусство способствовать формированию социалистического общественного сознания в условиях, когда рядом существуют немарксистские взгляды». Венгерские коммунисты много сделали для решения этого нелегкого вопроса.

В книге Кёпеци дан анализ и таких важных «каналов» распространения и демократизации культуры, как система образования, различные творческие союзы, издательства, средства массовой информации.

Наконец, автор останавливается на некоторых формах общественного сознания, которые являются наиболее чувствительными и точными «индикаторами» роста культурного уровня народа. Эти формы — мировоззрение и жизненная позиция. Возросшее влияние идеологии марксизма-ленинизма и социалистические преобразования, происшедшие в Венгрии за тридцать лет, принесли несомненные положительные результаты. И в общественном, и в индивидуальном сознании прочно укоренились, стали его частью критерии равенства, справедливости, потребность активного участия в общественной жизни. Сознательный подход к формированию общественной позиции и образа жизни выразился, например, в прошедшей недавно широкой дискуссии о «революционности будней», то есть о том, что значит быть революционером в условиях социалистического общества. В ходе споров стало ясно, что революционность в наших условиях отнюдь не исчерпывается, скажем, только честной и добросовестной работой. «Служение общественному прогрессу в наши дни,— пишет Бела Кёпеци,— не просто личное дело каждого: это единственный путь к полной свободе человека».

Таким образом, рост культуры народных масс в Венгрии, который означает и увеличение возможностей для раскрытия «человеческой сущности»,— факт бесспорный. Правда, развитие сознания — процесс медленный и сложный, «но он был бы невозможен, если бы для него не были созданы предпосылки», замечает Кёпеци. И это еще раз доказывает справедливость ленинской мысли о том, что, говоря о несовершенстве человеческой натуры, нужно уповать не на какие-то чудесные способы «выправления» людей, а бороться за преобразование общества. В социалистической Венгрии много сделано в этом отношении, и автор стремится с максимальной убедительностью показать достигнутые успехи в области культуры, науки и искусства, успехи, которыми духовная жизнь обязана прежде всего плодотворному влиянию социалистической идеологии, передового научного мировоззрения.

Добавим, что книга Белы Кёпеци, содержащая серьезный анализ сложной эпохи становления социализма и укрепления массовой базы социалистической культуры в Венгрии, несмотря на всю научную строгость и обилие цифр, написана живо и с гражданской страстностью.

Ю. ГУСЕВ

ЖИЗНЬ ЖАН ПОЛЯ ФРИДРИХА РИХТЕРА, РАССКАЗАННАЯ ГЮНТЕРОМ ДЕ БРОЙНОМ

Günter de Bruyn. Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter. Halle (Saale), Mitteldeutscher Verlag, 1975.

Такое длинное название дано статье неслучайно. Оно передает манеру рецензируемой книги — под-

черкнуто обстоятельную, изобилующую подробностями, неторопливую, медлительную. И притом необычайно увлекательную.

Гюнтер де Бройн, хорошо известный у нас писатель ГДР [1], посвятил это биографическое повествование одной из самых сложных и интересных фигур в истории немецкой литературы — Жан Полю Рихтеру (1763—1825). Современник Гёте и Шиллера, Жан Поль (отбросив фамилию, он сделал имя своим псевдонимом) принадлежит к «меньшим богам» литературного Олимпа, но среди меньших он может быть причислен к самым первым. Когда-то по популярности среди читателей он мог даже состязаться с «великими». Его сатиры, особенно «Избранные места из бумаг дьявола», повести и среди них «Жизнь Квинта Фикслейна», а также романы, самый знаменитый из которых — «Цветы, плоды и тернии...», были широко известны и ценимы. Однако сравнительно скоро интерес читателей к огромному, насчитывающему многие десятки томов, наследию Жан Поля угас. Главным образом его помнили историки литературы. В книге Франца Фюмана «Двадцать два дня, или Половина жизни» Жан Поль назван «наиневестнейшим гением из всех неизвестных гениев». Характеристика выразительная! Но кроме историков литературы к Жан Полю постоянно проявляли интерес весьма различные писатели. Среди видных литераторов, в творчестве которых влияние Жан Поля несомненно ощутимо,— Иммерман, Штифтер, Келлер, Раабе, Гейне; а в наше время — Фюман, посвятивший в только что упомянутой книге множество рассуждений Жан Полю; отчасти Штриттматтер и сам де Бройн. Таким образом, читатели узнавали о Жан Поле косвенно, через посредство тех, кто у него учился. Внимание же к нему историков литературы в последнее время особенно усилилось. Об этом говорит богатая, хотя и не исчерпывающая библиография, приложенная де Бройном к его книге «Жизнь Жан Поля Фридриха Рихтера».

Не подумайте, однако, что книга эта — научный труд. Нет, это художественная биография, порожденная стремлением воскресить образ горячо почитаемого писателя, способствовать пробуждению интереса к его творчеству, короче, рассказать о нем не специалистам, а широкой аудитории.

Замысел благородный и оправданный. Жан Поль — фигура яркая, сложная, неоднозначная. Не примыкая полностью ни к классицизму, ни к романтизму, он по-своему воплотил многие характерные черты этих влиятельных течений в литературе того времени. Своеобразнейшую прозу Жан Поля с ее бесконечными периодами, отступлениями, сложными метафорами, гротесковыми гиперболами можно узнать по любому отрывку. Роман, лирическое эссе, философская притча сплавлены в этой прозе воедино. Когда Жан Поль поучает и наставляет, он кажется не просто учителем, каким он был много лет, но сыном литературы Просвещения. Когда Жан Поль создает сцены, полные юмора и сентиментальности, он заставляет вспомнить английских сентименталистов. Фантастические пассажи его книг говорят о приверженности к романтизму. Основа же его сложного творчества — социально-психологические процессы, происходившие на рубеже веков в среде немецкого городского плебейства и мелкого бюргерства. Его жизнь и творчество озарены французской буржуазной революцией, но омрачены наступлением европейской реакции.

Автор биографического сочинения всегда решает трудную проблему: как сочетать документальный материал и художественный вымысел? Стояла такая проблема и перед де Бройном. Вот что он пишет в послесловии: «Когда много лет назад я начал готовиться к работе над этой книгой, для меня с самого начала было ясно, что я не стану писать научную монографию... Ибо, если меня побудило написать ее наслаждение творчеством (Жан Поля), мне больше всего хотелось воплотить жизнь писателя. Но и план романа о Жан Поле был скоро отброшен. Вымысел не столько бы сгустил, сколько разбавил бы жизнь писателя. Несмотря на тон свободного повествования, который местами преобладает в книге, я следовал за документальным материалом... В мои намерения не входило иллюстрирование прописных истин или защита литературоведческих тезисов. Я хотел на основании имеющегося материала реконструировать жизнь, которая являет собой некий пример. Писателя открывает заново не только каждая новая эпоха, но и каждый отдельный человек. Быть может, мне следовало бы назвать это жизнеописание «Мой Жан Поль».

Обширная цитата точно выражает особенности книги де Бройна. Документальная основа в ней — не сцена или фон для вымышленных персонажей, а сама суть повествования. Художественная субъективность книги проявляется не в беллетристическом сочинительстве, а в отборе и трактовке документально засвидетельствованных фактов. Следуя старым добрым традициям, де Бройн начинает жизнеописание с самого начала — с первого крика новорожденного — и заканчивает книгу последним вздохом умирающего. Короткая историческая справка о том, в каких условиях рождались дети в пору, когда на свет появился Жан Поль, сразу создает ощущение времени. Многочисленные подробности давно отшумевшей жизни занимают большое место в книге де Бройна. Они сообщаются естественно и непринужденно. Атмосферу эпохи ему удается передать без докучливой стилизации.

Де Бройн рассказывает о том, в каких трудных условиях рос Жан Поль. Однако сам он изображал свое детство куда более идиллическим, чем оно было в действительности. По этому поводу де Бройн высказывает любопытное суждение о том, как в

[1] В «Иностранной литературе» были опубликованы его романы «Буриданов осел» (№ 11, 12, 1969) и «Присуждение премии» (№ 3, 1973).

поэтическом сознании происходит переосмысление прошлого. Такие отступления — лирические, публицистические, философские — характерны для его книги.

Уже в отрочестве Жан Поль остро воспринимает социальное неравенство. Ведь семья его находилась почти на самой нижней ступени иерархической лестницы. Де Бройн видит в этом одну из причин его позднейшей жажды самоутверждения. Вот характерный отрывок: «Однажды отец берет с собой сына в замок. Там мальчику, опьяненному красотой зеленых лабиринтов и фонтанов, который бродит по парку с переполненной впечатлениями душой, дозволяют упасть к ногам высокородной баронессы и поцеловать подол ее платья. Запомним этот эпизод, чтобы оценить, как много для него будет значить впоследствии то обстоятельство, что знатные дамы готовы почтительно пасть на колени перед ним».

Индивидуальная психология героя связывается не только с его ближайшим окружением, но и с духом времени, особенностями эпохи.

Едва повзрослев, Жан Поль принимает важное решение, одно из самых трудных, какие только может принять человек: быть всегда самим собой. В его первом, незаконченном, романе мы читаем примечательные строки: «Я кое-как существую среди людей. Я даже боюсь, что стану похож на них и не похож на себя самого». Де Бройн показывает, каким образом его герой избежал этой опасности, не подчинился мудрости: «с волками жить — по-волчьи выть», как он шел иногда на компромиссы в малом, сохраняя и развивая свою самобытность в самом существенном.

С юности одних людей он притягивал, других — отталкивал и всегда вызывал горячие споры. Интересно узнать, что отношение Гёте к Жан Полю никогда не было безразличным и чаще всего оказывалось отрицательным. Писатель, вызывавший Гёте на большие и несправедливые филиппики, должен был быть незаурядной личностью. И Жан Поль безусловно был ею. Олимпийская мудрость и уравновешенность Гёте оставались глубоко чуждыми этому человеку, вся жизнь которого проходила в метаниях и брожении.

Жан Поль был одержимым писателем. Поэтому большая часть жизнеописания—это рассказ о его книгах, о том, как они вынашивались, какую судьбу обретали, выйдя в свет. Они характеризуются совсем не на литературоведческий лад, а изображаются скорее как существа, которые наделил жизнью их неутомимый создатель.

Жан Поль много ездил, правда, не переступая пределов Германии. Де Бройн ведет нас в Веймар, в Берлин, в Мейнинген, в Кобург, в Байрёйт, рисуя запоминающиеся картины каждого из этих городов и жизнь героя в них, передавая чувство раздробленности Германии, которое не могло не ощущаться тем, кто стремился писать не для веймарцев или кобуржцев, а для всех, кто читает на немецком языке.

В личной жизни Жан Поля было много драматического и гротескного. Он долгие годы никак не мог решиться связать свою судьбу ни с одной из тех женщин, которые ему нравились. Не без юмора описывает де Бройн многочисленные романы своего героя, романы большей частью на бумаге; для него было важно не столько реальное чувство, сколько его воплощение в слове. Жан Полю были свойственны странности и чудачества. Он увлекался астрологией, был глубоко убежден, что обладает магнетической силой и способен исцелять людей. Его отличала и поразительная непрактичность. Он вечно рассчитывал на огромные гонорары, в соответствии с ними строил планы на будущее и удивлялся потом, что эти надежды не сбылись. Все эти черты присутствуют в жизнеописании и придают портрету Жан Поля живую глубину.

Книга де Бройна драматична, как драматична была и жизнь Жан Поля. Вот Жан Поль еще молод, но написав уже больше книг, чем иной писатель за всю свою жизнь, он осознает, что по-прежнему безвестен. Творчество не приносит ему заработка, критика не замечает, книги его не оказывают никакого влияния на читателей. С нетерпением, как в остросюжетном романе, ждешь: что же произойдет дальше? А дальше будет работа, работа, работа...

Когда Жан Полю — уже известному — удавалось добиться переиздания одной из своих книг, а с ним это случалось не часто, гораздо реже, чем с современными ему авторами бульварных романов, он не довольствовался простой перепечаткой, а писал новый вариант. Успех и слава дались этому художнику ценой гигантского многолетнего напряжения всех сил. Борьба с тем неподатливым материалом, каким является слово,— важнейший мотив книги.

Высокая творческая одержимость, литературное призвание как страсть, писательство как служение — вот главное в жизни Жан Поля, и таким он предстает в книге Гюнтера де Бройна, книге о счастье и муках творчества.

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ

ПРОЗА ЮЖНОГО ЙЕМЕНА: НОВОЕ ИМЯ

Мифаа Абдеррахман. Бакарамт-альарус. Аден, Муассасат 14, Уктубер, 1975 (на арабском языке).

«А существует ли проза в Южном Йемене?» — такой вопрос еще совсем недавно можно было услышать даже в среде исследователей, занимающихся современной арабской литературой. Тем не менее йеменская проза существует. Больше того, сегодня можно говорить о том, что эта проза играет определенную роль в жизни страны: она по-своему участвует в борьбе за построение нового общества.

В Народном Йемене, расположенном на южной оконечности Аравийского полуострова, все молодо: само государство, его национальные герои и его литература.

Около девяти лет прошло с тех пор, как над Аденом, бывшей английской военной базой, запирающей вход в Красное море, взвился флаг независимой республики. Многое изменилось за эти годы в жизни страны, отказавшейся от капиталистического пути развития. Принципами научного социализма стремится руководствоваться правящая партия страны — Национальный фронт (ОПОНФ) — при решении вопросов социально-экономического развития.

Становление йеменской литературы — прозы и поэзии — происходит под влиянием как арабской литературной традиции и западной культуры, проникающей в арабские страны, так и литературы стран социализма. Основным жанром остается пока новелла, которая развивается параллельно с газетной и журнальной публицистикой. В 60—70-е годы в НДРЙ появились молодые писатели, сразу же заявившие о своей реалистической направленности. Вышедшие в свет в самом начале 70-х годов сборники рассказов «Умолкшие колокола» и «Нарушенное предостережение» Ахмада Махфуза Омара, «Бери землю, Сельма» и «То, что называют тоской» Мухаммеда Абдель Вали, «Вход воспрещен» Али Базиба, как подчеркивалось в аденском еженедельнике «Ас-Саурий», «отражали надежды, тревоги и заботы простого йеменца, его твердую решимость победить вековую отсталость, невежество и болезни».

Современная арабская литература создается одновременно народами многих арабских стран. Несмотря на известную общность языка, культуры и истории, страны эти отличаются друг от друга своеобразием процессов, происходящих в их социальной, экономической, политической и духовной жизни. Именно эти процессы наряду с явлениями, характерными для всего арабского региона, отражают в своем творчестве писатели каждой арабской страны. В то время как в творчестве многих египетских, сирийских или ливанских писателей, определяющих в известной степени лицо современной арабской прозы, в 60—70-е годы наблюдается отход от общественной тематики, рост внимания к проблемам узкопсихологического плана, йеменские литераторы сохраняют верность изображению социальной действительности.

Появившийся в прошлом году сборник рассказов Мифаа Абдеррахмана «Непорочность невесты» объединяет произведения, написанные с 1972 по 1975 год.

Мифаа Абдеррахман — литературный псевдоним молодого йеменского новеллиста Мухаммеда Абдеррахмана Ахмеда. Если основным мотивом многих рассказов Ахмада Махфуза Омара и Мухаммеда Абдель Вали была борьба с английским колониализмом, то в творчестве Абдеррахмана под воздействием социальных и общекультурных факторов на первый план выдвигаются социальные проблемы сегодняшнего Йемена.

Сквозная тема сборника — жизнь страны в эпоху революции, возникновение нового общества. Справедливо пишет в предисловии йеменский критик Али Хусейн Халфа: «Книга эта — голос йеменской революции». Абдеррахман изображает конфликты, возникающие в процессе преобразования общества, раскрывает нравственный смысл борьбы, которая ведется против феодальных пережитков, отсталости, невежества, религиозных предрассудков.

Образ арабского крестьянина, созданный писателем, по своему духу и характеру близок некоторым героям советской литературы. Вчера еще забитый бедняк, слепое оружие в руках помещика, сегодняшний крестьянин учится жить и трудиться по-новому. Образ этот типичен и в то же время психологически убедителен.

Пожалуй, именно в создании нового героя и сказываются прежде всего глубинные сдвиги в йеменской литературе. Перед нами люди, на характерах которых уже отразилась социальная действительность Народного Йемена. В рассказе «Страх бывает желтым» герой гордится тем, что у него в доме, несмотря на недовольство отца, висят портреты Маркса, Энгельса и Ленина. Характерно и его высказывание: «Что касается философии, то сейчас ее уже никак не назовешь книгой за семью печатями. Я знаю, на земле появились люди — коммунисты,— которые не только поняли ее глубокую суть, но и объяснили ее простым, обыкновенным людям, тем, кто придает самой жизни истинный смысл, величие и красоту».

Главное, что удалось показать Абдеррахману, это — пробуждение у людей общественной активности, чувства гражданской ответственности за судьбу революции, за жизнь нового Йемена.

В ряде рассказов читатель найдет и традиционную для арабской литературы проблематику семьи, быта, женского равноправия («Непорочность невесты», «Путь, у которого нет конца» и «Страх бывает желтым»).

Художественному методу Абдеррахмана не свойственна усложненная символичность, в его рассказах аллегоричность органично входит в контекст повествования. Писатель предельно лаконичен и хорошо чувствует, каким выразительным художественным средством является деталь. В его произведениях немало реалий, характерных для сегодняшнего Йемена: кооперативы, объединяющие сотни крестьян, народная милиция, защищающая завоевания революции. Герою рассказа «Положительная примета сегодняшней жизни» предлагают поехать на учебу не в Англию или Францию, куда обычно раньше ездили, чтобы получить высшее образование, а в социалистические страны.

Выступая против устаревших обычаев и традиций, тормозящих движение общества вперед, Абдеррахман утверждает новую мораль, вдохновленную идеей всенародного

счастья. А смысл исторических перемен писатель раскрывает через судьбы людей, неотделимые от общества.

В. ШАГАЛЬ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Al. Simion. Biocul de marmură. Bucureşti, Editura Eminescu, 1975.

«Эпический комментарий», «эпическое эссе», «поучение», роман о «грозовых часах» — так определяют рецензенты новую книгу румынского прозаика Александру Симиона «Мраморный монолит». И определения эти, как правило, вынесены в названия статей, словно критики испытывают настоятельную потребность уяснить с самого начала жанр нового произведения, отличающегося и масштабностью писательского замысла, и своеобразной структурой — тем более что на титульном листе книги не обозначено, к какому виду прозы относит ее сам автор.

Тема книги не нова в румынской литературе. К периоду развернувшейся после 23 августа 1944 года борьбы за народную власть обращались многие писатели. В наши дни, в условиях возрождения интереса прозы СРР к общественно-политической проблематике, эта тема становится одной из ведущих. Выступая на созванном журналом «Лучафэрул» «круглом столе» по проблемам политического романа, Ал. Симион отметил, что в последнее время в Румынии происходит процесс возмужания литературы, в частности прозы, заметно возросло ее внимание к проблемам общественного развития.

Для Ал Симиона характерно то, что, освещая политически актуальные проблемы, он стремится привлечь самые разнообразные средства современной прозы. Но, проявляя особый интерес к интроспекции, писатель уже в романе «Зерно, упавшее в добрую почву» (1974) сделал — во многом успешную — попытку избежать опасностей чрезмерной психологизации, характерной для многих произведений прозы 60-х годов, содержание которых сводилось в основном к саморазоблачению лиц, чуждых революции.

Героиня этого романа узнает от врачей, что она неизлечимо больна,— и все-таки стремится быть рядом со своими товарищами, строителями нового общества. Образ получился убедительным: душевный мир героини не расщеплен, ее отношение к исторической логике эпохи устойчиво и неизменно. Весь ее жизненный путь учит: человек должен до конца оставаться полноценным участником творимой на его глазах истории.

Эта же способность сознательно брать на себя долю ответственности за свое время, слить свою судьбу с судьбой народной отличает и героев «Мраморного монолита».

Писатель поставил перед собой цель раскрыть особенности революционной ситуации, возникшей в результате победы над фашизмом, показать размах, стремительность сдвигов, характерных для этих «грозовых часов». Перед нами — панорама жизни уездной столицы со всеми сложнейшими проблемами того времени.

Но в центре внимания автора — коммунисты, те, кто ясно сознает, что «главная задача теперь — укреплять во что бы то ни стало союз левых сил... начать строительство нового общества». С особым интересом читаются страницы, посвященные выходу партии из подполья, деятельности лучших ее сынов. «Мы не имеем права думать сейчас о себе, о своей личной жизни, здоровье, мы должны всем пожертвовать ради общего дела»,— таково кредо одного из персонажей книги. А другой герой, молодой «утечист» (комсомолец), пораженный тяжким недугом, долго и упорно — по примеру своего любимого героя Павки Корчагина — сопротивляется болезни, не мысля себя вне борьбы за обновление жизни.

Эта естественная готовность к подвигу сочетается у героев Ал. Симиона с наивной верой в то, что «пройдет не более десятилетия — и осуществятся самые дерзновенные замыслы, люди обязательно станут иными, добрыми и благородными, исчезнет вражда и ненависть».

Конечно, ход событий показал, что процесс утверждения нового происходит гораздо медленнее. Да и сама книга румынского писателя свидетельствует о том же. Действующие лица находятся в постоянном поиске, истина вызревает в горячих спорах. Предметом серьезных раздумий становятся проблемы дисциплины и ответственности, чувства реальности и узкого практицизма, необходимой порой суровости и человечности. Зачастую книга не предлагает окончательных решений, читатель как бы вовлекается в спор и должен сам найти ответ на поставленный автором вопрос.

В романе показано, как, преодолевая сопротивление отживающего мира, духовно растут и формируются строители новой жизни, хотя среди них есть и люди, которые по мере утверждения сил прогресса все чаще чувствуют себя во власти «усталого недоумения». «Я чувствую, как давит на нас и мешает двигаться вперед груз прошлого»,— жалуется один из героев в заключительной главе романа.

Но, убедительно раскрывая закономерность социалистических преобразований, автор в первую очередь посвятил свой роман тем, кто говорит, обозревая сделанное за годы революционной ломки, что «какие бы трудности ни ожидали нас, социализм — единственно возможный путь. Путь прекрасный, и, если сегодня он прекрасен еще не во всех отношениях, мы должны сделать все, чтобы он таким стал. Иного выбора у нас нет!»

М. ФРИДМАН

СТРАНИЦЫ АВСТРАЛИЙСКОГО ДЕТСТВА

Alan Marshall. Hammers over the Anvil. Melbourne, Nelson, 1975.

В 1971 году Алан Маршалл приехал в родной городок Нурат, штат Виктория, на открытие нового

здания школы, в которой он учился, и услышал истории... о самом себе, расцвеченные временем,— почти фольклор. Возможно, это усилило желание, естественное в возрасте, когда подводят итоги, вновь вернуться к истокам. Рассказы сборника «Молотом по наковальне» (их двадцать один) примыкают к первой части автобиографической трилогии «Я умею прыгать через лужи» (1955)— обошедшей многие страны и известной советскому читателю повести о мальчике, который, несмотря на парализованные полиомиелитом ноги, живет так, будто «костыли — это пустяки».

Мы опять встречаемся с Аланом, его верным другом Джо Кармайклом, отцом Алана, умевшим с прирожденным педагогическим талантом объяснить, посоветовать, внушить. «Отец сказал мне однажды,— пишет Маршалл,— что, если бы он разорился и умирал с голоду, он постучался бы в двери бедняка. «Ни к чему просить у богача,— объяснил отец.—Он, может, и даст тебе буханку хлеба, но наверняка потребует ее обратно, да еще кусок торта в придачу...»

Рассказывая, как под ударами «молота-опыта» формировалось детское сознание, Маршалл рисует портреты людей, игравших заметную роль в сельском микрокосме и потому оставивших след в душе подростка. «Их часто подозревали, часто боялись, иногда любили,— говорится в маленьком авторском вступлении.— Они были источниками слухов, разносчиками мрачных легенд, искусными разоблачителями тайн, вожаками враждующих партий, обличителями грехов.

Одни из них обладали властью, другие — нет. Но у всех был общий знаменатель: их присутствие ощущалось. Их знал каждый. Они составляли неотъемлемую принадлежность городка — его воздух, его облик, его бремя».

«Character studies», этюды характеров — жанр, распространенный в австралийской новеллистике. В зависимости от психологической глубины это может быть и портрет, и беглая зарисовка, но центр художественной структуры — социальный тип, начиная с классической «Жены гуртовщика» и сценки, примечательно названной Генри Лоусоном «Митчелл. Очерк характера», до произведений К. С. Причард, В. Палмера, Дж. Моррисона. Австралийский рассказ от рождения впитывал суровый быт редко населенных просторов, где люди наперечет и каждый, сосед или приезжий, чем-то интересен.

Алан Маршалл — из числа художников, в творчестве которых автобиографический элемент доминирует. В рассказах сборника «Молотом по наковальне» он даже сохранил подлинные имена, «ибо каким-то непостижимым образом имя становится частью личности и словно отражает ее характер. Если я даю им другие имена, они превращаются в других людей». Тем не менее мы имеем дело не с мемуарами, а с художественной прозой. Описание прошлого подчинено законам развития, но красной линией обозначается не событийная цепь, а детское узнавание, понимание — процесс, о котором хорошо написал Джон Моррисон в рассказе «Ночной человек». «Из таких-то маленьких открытий и состоит детство — это великое путешествие в жизнь. Одно открытие причиняет вам боль, другое — нет. Все зависит от того, чего вы ждали, от того, разрушилось ли ваше представление о чем-то или оказалось самой жизнью».

Аланом Маршаллом написано немало страниц о лучших свойствах человеческого характера, о людях, которые силой нравственного примера направляли его путь. В этой же книге отчетливее видны человеческие слабости. В портретной галерее поселка Турала — щеголь («Герцог Маклеод») и записной враль («Мик Ханраан»), любитель поработать кулаками («Питер Маклеод») и любительница подглядывать в замочную скважину («Мисс Армитедж»), наездник, бравирующий своей лихостью («Ист Дрисколл»), шкодливый святоша («Мистер Томас»), девицы не слишком строгих правил («Джуди Флайшер») и другие. Пристальный взгляд подростка обнаруживает изъяны в репутациях, на его глазах «непогрешимые» перемещаются, если воспользоваться английской идиомой, на «крючок ниже». Чемпион-драчун терпит поражение и вдобавок обманут противником в торговой сделке. Красавец наездник, приковывавший взоры женщин, падает с полуобъезженной лошади и возвращается из больницы другим — поникшим, с отшибленной памятью. Фермер, который гордится тем, что он всегда первым привозит молоко на маслодельню, опаздывая, мчится на приемный пункт с пустыми бидонами — главное, чтобы никому не удалось его опередить («Пэт Корриген»).

Порой тому, кто уже знаком с австралийской литературой, может показаться, что он в привычной атмосфере фольклорных или полуфольклорных былей буша, устных рассказов, где течение обыденного, к удовольствию слушателей, делает комические повороты: «Герцог» Маклеод, новоиспеченный кучер катафалка, красуясь во фраке, цилиндре и перчатках, нарушает траурную церемонию — в ответ на его приветственный взмах и просьбу оставить для него кружечку друзья, выстроившиеся у трактира, издают такой клич, что лошади шарахаются и экипаж с покойным Эдвардом Картером, эсквайром, едва ли не врезается в столб. И завершающий штрих — простецкое, но юмористическое в своей двусмысленности замечание. «Герцог» теряет должность, но, в общем, доволен собой: он все-таки доставил Эдварда Картера, эсквайра, на кладбище — «не будь на козлах парня что надо, старому негоднику пришел бы конец».

Анекдотичен и сюжет рассказа «Знаток страусов». Жена скваттера Каррузерса, землевладельца, у которого все окрестные фермы были в долгу, привезла из Южной Африки десять страусов, чтобы получать доход еще и от продажи перьев, ценимых модницами. Появление на проселочной дороге не-

виданных птиц обратило в паническое бегство мирно пасшихся коров и лошадей; единственный в округе автомобиль, в котором восседали миссис Каррузерс и ее светская приятельница, был захлестнут потоком рогов, хвостов, копыт, залеплен навозом.

Однако близкий к фольклору материал организован, просеян сквозь сито словесного отбора, осмыслен художником. Сама нелепость ситуации развенчивает не только «знатока страусов» — пьянчужку Гудмена, но еще в большей степени всесильную и внушавшую страх миссис Каррузерс, которая «оказывала покровительство церкви, павлинам в саду, жителям Тураллы и работягам-фермерам, доившим коров ее мужа», «благоволила к подхалимам и с подозрением относилась к проявлениям независимости и мужеству». «Я добивался абсолютной простоты на уровне повествования,— говорит писатель о рассказах этой книги,— но есть и другой уровень — социального комментария...», сделанного косвенно, подсказанного читателю: стремление человека к самоутверждению естественно, но какие комические, гротескные формы принимает оно в захолустном мирке Тураллы!

Чтобы сообщить рассказу второе измерение, Маршалл объединяет в стилевом сплаве два голоса — «от автора» и юного повествователя. В рассказе «Мисс Армитедж» героиню, одинокую женщину, которой чтение чужих писем, вскрытых на почте, дает чувство тайного превосходства, представляет трезвый наблюдатель и психолог: «Мисс Армитедж ходила на почту каждый день. Ей исполнилось сорок.

— Я была помолвлена,— говорила она не раз,— но моего друга убили на войне.

Время лишило это признание боли. Теперь оно звучало как доказательство того, что и она была весела и молода, как свидетельство одержанной некогда победы над собственной бесцветностью». С другой стороны, наивность толкования, свойственная подростку, подчеркивает истинный смысл происходящего, интонация, несмотря на искренность, приобретает иронический оттенок. Мальчику не понять, что можно «дружески» наслаждаться чужим горем, и визит мисс Армитедж к миссис Тернер — объекту ее пересудов — он объясняет желанием полакомиться особым печеньем, которым славилась хозяйка,— пряничными человечками с глазами-смородинами. «Не иначе как ей захотелось попробовать тех человечков,— сказал я.— Она видела, как я ел ваше печенье. Она ужас как любит поесть, эта мисс Армитедж».

В некоторых рассказах («Страх», «Рычащий Бернс», «Дома у Джо», «Католический бал») ребенок — не просто наблюдатель, детский мир сталкивается с миром взрослых. Укрупняя деталь, писатель образно и ярко передает самочувствие слабого, приобщает единичный случай к универсальному опыту. Кузнец мистер Томас, церковный староста, сластолюбец и ханжа, запирает мальчишек в кузнице, чтобы задать им взбучку за сквернословие (хотя сквернословят не они, а его сыновья), и царящий там мрак неотделим от парализующего волю страха, сознания безвыходности («Страх»).

Но вот в рассказе «Католический бал» дети — сторона не страдающая, а, наоборот, причиняющая зло. Грубая шалость разрушила долгожданный праздник, который бывает раз в году, и виновники не испытывают ни веселья, ни удовлетворения — им грустно. Рассказ этот помещен в конце сборника — последний удар молота напоминает, как бережно следует относиться к тому, что делает людей счастливыми.

Круг явлений, охваченных книгой «Молотом по наковальне», ограничен — жизнью сельского поселка, возможностями детского восприятия. Но и здесь радует тот «удивительный дар» Маршалла, который еще двадцать лет назад отмечал Вэнс Палмер: «Он как будто не способен написать скучное предложение или взглянуть на другое человеческое существо, не отыскав в нем нечто исключительное и вдохновляющее».

Маршалл любим австралийцами, что само по себе — редкость во времена, «не очень-то склонные к любви», говорится в предисловии. Его автор определяет особенности творчества Маршалла, отталкиваясь от противного,— не претенциозное, не следующее за литературной модой, не подделывающееся под народное. Но, главное, все-таки в позитивном содержании: в отличие от принявших отчуждение за альфу и омегу мироздания, Алан Маршалл исходит из того, что мир должен быть миром для людей, и о чем бы он, писатель, ни говорил — о силе или о слабости людской, он неизменно задевает струны человечности.

А. ПЕТРИКОВСКАЯ

ИСТОРИЯ ГЕНРИ МЕЙРА — ПОЭТА И РАБОЧЕГО

Henry Mair. Alone, I rebel. An autobiography with poems. Irvine. Printed by John Geddes, 1975.

Когда в 1970 году двадцатипятилетний Генри Мейр, работавший механиком на небольшой фабрике в городке Ирвайн, попытался найти издателя для первой книги своих стихов, он столкнулся с, казалось бы, непреодолимыми трудностями. Он обратился в издательства и редакции газет: иногда ему отвечали — неизменным отказом, чаще всего не отвечали. Стихи фабричного механика представлялись издателям делом более чем сомнительным.

Генри Мейр не сдавался. Не без труда скопил он 70 фунтов стерлингов, отрывая их от скудного семейного бюджета,— на них и

была издана его первая книга стихов «Я — бунтарь». Она включила стихи и песни, написанные Генри на протяжении нескольких лет. В нее вошла и созданная во время службы в армии и ставшая популярной в Шотландии песня — ее охотно пели на праздниках и собраниях:

Вот место на земле, где я родился,
В стране сердца и песни,
Ее отыщешь ты на карте Британии,
Люди называют ее маленьким райским уголком[1].

(«Страна Бернса»)

Изданную на собственные деньги книгу предстояло распродать самому автору. Захватив с собой 300 экземпляров, Г. Мейр отправился в Эдинбург и Глазго с тремя пенсами в кармане. В Эдинбурге он ходил по книжным лавкам, предлагая свой товар — с переменным успехом. Все же к полудню пачка книг уменьшилась и уже не так оттягивала руку. В университете ему повезло больше: там не только взяли книги для продажи, но и заплатили по десять шиллингов за экземпляр.

«Я почувствовал себя миллионером,— пишет Мейр,— и наконец-то смог поесть». На обратном пути, в Глазго, ему удалось пристроить остальные экземпляры книги.

Книга «Я — бунтарь» заинтересовала журналистов и читателей. Ее появление отметили местные газеты, в одном из книжных обозрений она была названа «лучшей книгой недели» в Шотландии. Критики отмечали «убедительную искренность» стихов Мейра, называя его «молодым поэтом, за творчеством которого нужно следить».

И они не ошиблись: стихи Генри Мейра приобретали все большую популярность. В 1975 году вышла вторая его книга: «Я — одинокий бунтарь. Автобиография и стихи». В ней Генри рассказал историю своей жизни.

Успех ничего не изменил в жизни рабочего поэта. В ноябре 1971 года вместе с 350 другими рабочими он был уволен с фабрики ввиду сокращения объема производства. «Настроение у меня было подавленное,— пишет Мейр,— я чувствовал себя лишним, мне оставалось только смотреть из окна в сад: желание писать стихи бесследно исчезло. Глядя в глаза жены, я проклинал судьбу и наше общество, где мы вынуждены вести такую жизнь. Желая хоть что-то предпринять, я бродил от фабрики к фабрике, но всюду мне отказывали: «Сожалеем, но работы нет... Извините, нет работы... Наведайтесь после нового года...»

По прошествии нескольких месяцев, в течение которых семья Генри Мейра существовала на жалкое пособие по безработице, судьба вроде бы улыбнулась ему. Его направили на шестинедельные курсы, где он обучался профессии токаря. Однако и после их окончания Г. Мейр не сразу получил работу. По всей Шотландии, рассказывает поэт, бродили тысячи и тысячи безработных, составлявших «легион бедности»:

С надеждой во взоре,
Не оглядываясь назад,
Уставшие от пронзительных криков бедности
И почти уставшие жить...

(«Получая пособие у фабричных ворот»)

Именно в это время поэт задумал создать серию стихотворений, дополняющих и раскрывающих содержание специально подобранных фотоснимков, запечатлевших окружающий мир: рождение и смерть, радость и печаль, красоту и отчаяние. Он работал над этим циклом с увлечением, ночи напролет, успевая порой поспать лишь час-другой перед уходом на работу.

Постепенно накопился материал для выставки, которой Генри Мейр дал название «Фотопоэзия». В конце марта 1971 года выставка была готова и поэт отправился в Лондон, однако в крупных выставочных залах ему ответили отказом.

Но Генри Мейру все же повезло. Бродя по Лондону, рядом со знаменитой улицей газетчиков Флит-стрит он наткнулся на дом с развевающимся шотландским флагом — это был благотворительный центр для шотландцев, находящихся за пределами родины. «Все, что мне требовалось в тот момент,— пишет поэт,— так это свободный кусок стены, и я его получил в благотворительном центре». Уже на следующий день выставка открылась и привлекла внимание многочисленных посетителей и прессы.

В Ирвайн Г. Мейр возвратился с ощущением победы — и с вокзала поехал прямо на фабрику, поскольку его смена уже началась:

Болты — гайки, болты — гайки!
Прессы поднимаются, прессы опускаются.
Болты — гайки, болты — гайки,
Шевелись! — подгоняет мастер...

(«Сборочный конвейер»)

Наступил 1972 год. Казалось, жизнь наладилась. И вдруг маленькая фабрика, где работал Генри, закрылась. Снова хождение от одних фабричных ворот к другим. Снова одни и те же слова в ответ: «Сожалеем... работы нет...» С большим трудом Генри Мейру удалось временно устроиться инспектором по проверке газовых трубопроводов.

И все это время он не прекращал писать стихи. Произведения Генри Мейра уже вошли в английские и шотландские антологии. Выставка «Фотопоэзия» побывала в нескольких городах Шотландии, в том числе в Ирвайне.

Тогда же созрело решение поэта посетить Советский Союз. Кое-кто отговаривал его от поездки: «Не повредит ли это твоей по-

[1] Стихи даются в подстрочном переводе автора статьи.

пулярности?» Но Г. Мейр остался непреклонен. За несколько дней до отъезда ему сообщили, что он уволен с работы. «Мое намерение поехать в Советский Союз сыграло при этом не последнюю роль»,— писал впоследствии поэт.

И вот 2 декабря 1972 года безработный Г. Мейр отправился в Советский Союз. Несколько часов полета — и Генри в Ленинграде. Он бродит по его ярко освещенным улицам, в толпе приветливых, улыбающихся людей:

Дети улыбались, дети смеялись,
Поднимая лица к свету,
А шотландский поэт стоял неподвижно,
Захваченный отцовской любовью
Ленинграда...

(«Ленинград в декабре 1972 года»)

Г. Мейр знакомится с памятниками, музеями, театрами Ленинграда. Затем — три дня в Москве, «рабочей столице мира», как называет ее поэт. Здесь он нашел много друзей, встретился с литераторами, поэтами, переводчиками, побывал в редакции журнала «Иностранная литература», с ощущением счастья слушал в Большом театре оперу «Хованщина». Незабываемым было для него посещение родины Владимира Ильича Ленина — Ульяновска.

По возвращении в Ирвайн Г. Мейр рассказал обо всем увиденном по радио, в прессе. Появились его новые стихотворные произведения: «26 000 футов над землей», уже цитировавшиеся стихи о Ленинграде, о Владимире Маяковском. Вместе с ранее написанными стихами («Получая пособие у фабричных ворот», «Сборочный конвейер», «Стальные королевы», «Страна Бернса» и другими) они вошли и в новую книгу Генри Мейра «Я — одинокий бунтарь», посвященную «всем тем, кто мечтает о лучшем будущем и верит в него».

А. МЕЛЬНИКОВ

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

СБОРНИК ХЭЛА ПОРТЕРА

В издательстве «Томас Нелсон» (Мельбурн) вышел сборник стихотворений Хэла Портера под названием «На австралийском сельском кладбище». Хэл Портер, творчество которого оценивается критикой очень высоко,— автор ряда романов, рассказов, пьес. В книге «Наблюдатель на чугунном балконе», произведении автобиографического характера, писатель живо и непосредственно воскрешает дни своего детства.

Сборник Портера «На австралийском сельском кладбище», по мнению рецензента «Таймс литерари сапплмент» Уильяма Уолша, безусловно заслуживает внимания: стихотворения, включенные в него, хотя и написаны в традиционной форме баллады, но канва старинных мотивов расшита блестками авторской фантазии. Хэл Портер, указывает рецензент, наделен даром, сравнительно редко встречающимся у современных поэтов: он умеет создавать яркие, полнокровные, убедительные образы и «переживать» реальные события на поэтическую почву.

АНГЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН МЮРИЭЛ СПАРК

Новый роман известной английской писательницы Мюриэл Спарк «Сдача позиций», по мнению английских критиков, знаменует начало нового периода в ее сложном и в самобытном творчестве. Эта книга, пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент» Дэвид Лодж,— «первый длинный, полновесный роман» писательницы после «Мандельбамских ворот» (1965). Мюриэл Спарк тогда объявила, что больше не будет писать длинных романов.

Действие романа «Сдача позиций» происходит в среде аристократов и денежных воротил, обосновавшихся в Италии. С этими героями читатель М. Спарк хорошо знаком по таким ее произведениям, как «Баллада о предместье» и «Не беспокойтесь». В традиционной форме, которая раньше не была ей свойственна, писательница рассматривает одну из проблем буржуазного мира — коррупцию как в материальной, так и в духовной сфере жизни человека. Новый роман, как пишет литературный обозреватель журнала «Лиснер» Д. Мэй,— безжалостное обличение современной плутократии, лишенной каких-либо моральных устоев.

Рецензент «Таймс литерари сапплмент» дает роману очень высокую оценку, считая, что он свидетельствует о новых художественных достижениях писательницы.

КТО ВИНОВАТ?

Издательство «Бодли хед» опубликовало новую книгу Уильяма Тревора «Дети Динмута». В этом социально-психологическом романе, пишет Энн Дюшени — рецензент «Таймс литерари сапплмент», рассказывается история пятнадцатилетнего Тимоти Геджа, выросшего без любви и тепла, и показываются трагические последствия такого воспитания. Критик высоко оценивает мастерство писателя. У. Тревор — знаток детской психологии, и образы подростков у него очень убедительны. Иронический комментарий автора, по мнению критика, придает повествованию особую глубину.

Критик отмечает, что в «Детях Динмута» очень заметно влияние Диккенса. Как сказал сам писатель, Диккенс важен для него как психолог, как знаток жизни, как мастер, создавший яр-

С большим успехом на экранах Англии демонстрируется фильм «Барри Линдон», снятый известным американским режиссером Стенли Кубриком, последние годы работающим в Англии, автором таких нашумевших фильмов, как «Космическая Одиссея, 2001 год» и «Механический апельсин».

В основу сценария «Барри Линдона» лег одноименный роман У. Теккерея «Записки Барри Линдона».

На снимке: Мариза Бересон в роли леди Линдон.

(Еженедельник «Обсервер»)

кие образы детей. Проявляется в романе и диккенсовская философия. В мире, где царит зло, где эгоизм возведен в закон существования, единственную положительную силу писатель видит в силе любви, силе добра. Носителями этих начал в романе становится двенадцатилетняя девочка, подруга Тимоти, и жена священника, которая убеждена, что в трагедии Тимоти — он оказался втянутым в убийство — прежде всего виноват не он, а общество, которое его сформировало.

БАХРЕЙН

«ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕЧТЫ»

Багдадская газета «Аль-Джумхурия» опубликовала рецензию на сборник рассказов молодого бахрейнского писателя Халафа Ахмада Халафа «Оборотная сторона мечты».

По мнению рецензента, этот сборник позволяет причислить Х. А. Халафа к авангарду современных арабских новеллистов.

В своих рассказах писатель, гневно обличая гнет и несправедливость, повествует о жизни простых людей.

В рассказе «Оплакивание» Халаф обращается к арабскому средневековью — к истории гибели Хусейна, племянника основателя ислама Мухаммеда. Но события далекого прошлого переплетаются в рассказе с современностью. Обряды, связанные с оплакиванием Хусейна, дают автору повод рассказать о молодом герое наших дней, жертвующем собою во имя правого дела. Герой другого рассказа — борец за свободу народа, которого не могут сломить ни тюрьма, ни пытки. Звон кандалов звучит для него как звуки походного марша.

Как отмечает рецензент, не все рассказы удались Халафу в равной мере. В рассказе «Остановка в начале пути» автор прибегает к нарочито усложненной манере изложения, которая свойственна произведениям многих молодых бахрейнских литераторов. Рецензент считает, что такая зашифрованность их произведений, возможно, оправдывается обстановкой, существующей в стране, однако она ослабляет воздействие этих произведений на читателя.

БЕЛЬГИЯ

ЮБИЛЕЙ АЛЬБЕРА ЭГПАРСА

Журнал «Маржиналь» отметил юбилей своего директора Альбера Эгпарса. Ему исполнилось семьдесят пять лет; из них тридцать отдано работе в журнале.

Имя Альбера Эгпарса, виднейшего бельгийского писателя, широко известно за пределами его родины. На русский язык были переведены романы Эгпарса «Час правды» и «Мы идем за своей тенью».

Статья Жака Крикийона рассматривает поэтический путь Эгпарса от первого сборника «Девять светлых приношений» до сборников, ставших классическими («Чернила цвета крови», «Черный кагор», «Душевные раны»).

«Свидетель агонии» — так озаглавил свою статью Жан Мюно. Речь идет об агонии капиталистического мира, агонии, которую Эгпарс описывает в своих романах. Говоря о налете пессимизма в книгах Эгпарса, Мюно отме-

чает, что в последнем крупном прозаическом произведении писателя «Альбатрос» опаздывает на три часа» побеждает жизнеутверждающая идея братской солидарности.

Юбилей Альбера Эгпарса — заслуженная дань прогрессивной бельгийской общественности таланту писателя и мужеству гражданина.

БОЛГАРИЯ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ХРИСТО БОТЕВА

В этом году, в связи со столетием гибели великого болгарского поэта Христо Ботева, была учреждена международная премия его имени. Первыми ее лауреатами стали поэты Алексей Сурков (СССР), Ласло Надь (Венгрия), Николас Гильен (Куба) и Пьер Сегерс (Франция).

«Присуждение премии имени Христо Ботева — большая честь для меня,— сказал в интервью газете «Отечествен фронт» выдающийся кубинский поэт Николас Гильен,— и прежде всего потому, что она носит имя великого революционного поэта, который духовно столь близок нашему Хосе Марти. Такие люди вечны. История свято хранит и чтит их память. Я горжусь тем, что первым на Кубе написал статью о гениальном болгарском поэте».

Проникновенные строки посвятил творчеству Ботева и известный советский поэт Алексей Сурков. К юбилейной дате он завершил работу над переводом стихотворений Ботева для сборника, который выходит в московском издательстве «Художественная литература».

Много сил и времени отдал переводу произведений Ботева венгерский поэт и переводчик Ласло Надь. Они включены в недавно вышедшее собрание сочинений Ботева.

Французский поэт и издатель Пьер Сегерс впервые услышал стихи Ботева из уст Поля Элюара, переводившего их на французский язык для книги, предисловие к которой написала Эльза Триоле. В то время Пьер Сегерс работал над переводами стихотворений Вапцарова. «Так же, как и Ботев,— сказал в беседе с корреспондентом газеты «Отечествен фронт» Пьер Сегерс,— он доказал, что поэт должен быть борцом и что поэзия — оружие в борьбе за высшую социальную и нравственную справедливость... Есть люди, которые становятся в своей стране легендой. Во Франции это — Виктор Гюго, в Болгарии — Христо Ботев!»

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХУДОЖНИКА

Значительным событием в культурной жизни Болгарии назвала болгарская пресса демонстрировавшуюся в Софии выставку картин французского художника Жюля Паскина (Юлия Пинкаса), болгарина по происхождению. Он родился в 1885 году в болгарском городе Видине и умер в 1930 году в Париже.

Сын богатого торговца, пишет в «Литературен фронт» известный писатель и искусствовед Богомил Райнов, Паскин рано возненавидел благополучный мещанский быт и предпочел ему судьбу художника-скитальца. В шестнадцать лет он тайком уехал в Вену учиться живописи, а затем перебрался в Париж. Он был, пишет Райнов, продолжателем в живописи той линии, которую представляли Ван Гог и Модильяни, и «остался до конца верным единственно великому и благородному сюжету — человеку и его драме».

Соотечественники художника, указывает болгарская пресса, впервые получили возможность столь широко познакомиться с его творчеством.

Паскин, Автопортрет.
(Еженедельник «Литературен фронт»)

ВЕНГРИЯ

ЧТО ЕСТЬ ПОЭЗИЯ?..

Вышла новая книга Агнеш Немеш-Надь, «замечательного мастера поэтического слова», как единодушно называет ее критика, под названием «Лебедь 64». Это собрание своеобразных поэтических этюдов в прозе, раздумья поэтессы о труде поэта, о поэзии подлинной и мнимой, о внутренней культуре читателя и о культуре чтения, о художественном вкусе, который оттачивается только в общении с настоящим искусством.

Сама Агнеш Немеш-Надь в обращении к читателю говорит: «...я не стремилась к созданию литературоведческого труда, тем более я не претендую на роль критика. Я просто хотела поделиться опытом, мыслями человека, пишущего стихи».

Критик Дердь Сабо в еженедельнике «Элет эш иродалом» большое внимание уделяет тому, что Агнеш Немеш-Надь в своей книге стремится познать тайну поэтического мастерства таких корифеев, как Чоконаи, Арань, Костолани, Бабич, Аттила Йожеф, Рильке, С.-Ж. Перс.

Сама талантливая переводчица, Агнеш Немеш-Надь пишет в книге и о проблемах поэтического перевода.

ВЬЕТНАМ

ЮБИЛЕЙ КИНОСТУДИИ

Центральной студии хроникально - документальных фильмов Вьетнама — 20 лет. На счету у нее свыше 1600 выпусков кинохроники, документальных и научно-популярных фильмов. Многие из них были удостоены наград на международных кинофестивалях. В их числе — «Вода приходит в Бакхынгхай» (Москва, 1959), «Стальная крепость Виньлинь» (Москва, 1971).

Среди новых работ киностудии — картина «Юг в моем сердце» (автор сценария Хонг Ха, руководитель съемочной группы Фан Ки Нам) — заключительная часть кинематографической трилогии, посвященной жизни и деятельности первого президента ДРВ Хо Ши Мина и воскрешающей важные этапы истории вьетнамского народа. Первые два фильма — «2 сентября 1945 года — День независимости» и «Нгуен Ай Куок — Хо Ши Мин» — были выпущены студией в прошлом году и приурочены к 30-летию Демократической Республики Вьетнам.

ГВАТЕМАЛА

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ

Исполнился год со дня злодейского убийства фашистами из террористической организации «Мано блаика» в Гватемале известного гватемальского прогрессивного писателя Хосе Мариа Лопеса Вальдисона.

Лопес Вальдисон принадлежал к талантливейшим представителям нового поколения гватемальских писателей. Он родился в крестьянской семье и рано познал труд. Был издольщиком-батраком, работал в лавке. Позднее, получив педагогическое образование, был учителем.

С 1949 года Лопес Вальдисон посвятил себя литературному труду, работал в газете «Сурко нуэво», в журналах «Улсу», «Сакерты», «Пресенсия», «Ревиста де Гуатемала».

Основной и неизменной темой рассказов Хосе Мариа Лопеса Вальдисона была жизнь простых тружеников.

В 1960 году он стал первым латиноамериканским писателем, которому была присуждена премия латиноамериканского континентального литературного конкурса «Каса де лас Американс» за сборник рассказов «Погубленная жизнь». Позднее он побывал в Советском Союзе.

В связи с годовщиной убийства Лопеса Вальдисона кубинская печать отмечает, что гватемальская литература потеряла одного из самых талантливых художников слова, революционного борца.

Венгерские и советские кинематографисты снимают фильм о прославленном командире 12-й Интернациональной бригады, сражавшейся в Испании в 1936—1937 годах,— венгерском писателе Мате Залке, генерале Лукаче.

Фильм рассказывает о подготовке к одному из кульминационных моментов борьбы — штурму Уэски.

Роль генерала Лукача исполняет известный венгерский актер Андраш Козак (на фото), одного из ближайших сподвижников Лукача, Ференца Мюнниха, воевавшего под именем Отто Флаттера,— актер Иштван Буйтор, адъютанта Лукача, Алексея Эйснера — советский актер Олег Видов.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

Еженедельник «Зонntаг» поместил подборку детских рисунков к произведениям Иоганнеса Бехера. Название подборки «Дети открывают Бехера».

Недавно в клубе работников культуры «Иоганнес Бехер» в Берлине состоялась выставка этих рисунков, на которой демонстрировалось около 350 работ (из представленных 9000). Жюри, в которое наряду с художниками входили известные писатели и поэты Гюнтер Дайке, Франц Фюман, Пауль Винс и другие, присудило 60 премий лучшим рисункам.

Выставка была приурочена к 85-летию со дня рождения И. Бехера.

На снимке: рисунок девятилетнего Штеффена Якоба (город Карл-Маркс-штадт) «Икар».

(Еженедельник «Зонntаг»)

ГДР

ЮБИЛЕЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ЗОННТАГ»

Исполнилось тридцать лет еженедельнику «Зонntаг» — органу «Культурбунда» Германской Демократической Республики. Основанный Иоганнесом Бехером, «Зонntаг» был первым культурно-политическим еженедельником, начавшим выходить после разгрома фашизма.

В приветствии «Культурбунда» отмечаются большие заслуги еженедельника в развитии социалистической культуры, в укреплении союза рабочих и интеллигенции. «Своей разнообразной информацией о культуре Советского Союза и других стран «Зонntаг» способствовал укреплению интернациональных связей между народами... Мы надеемся, что еженедельник «Зонntаг» и в дальнейшем будет вносить свой вклад в нашу духовную жизнь и нашу культуру».

Приветствия и поздравления прислали редакторы крупных журналов и газет, различные организации и читатели еженедельника.

ФРГ

О БОРЬБЕ РАБОЧИХ ЗА СВОИ ПРАВА

Авторы книги «Прочь от окна», вышедшей в «карманной серии» издательства «Фишер»,— рабочие. Этот сборник имеет подзаголовок «Об увольнениях и дисциплинарных мерах», но содержание его гораздо шире, отмечает известная западногерманская писательница Ангелика Мехтель, рецензирующая книгу в еженедельнике «Ди цайт».

Она отмечает, что сборник не случайно появился в кризисный момент, когда все больше западногерманских тружеников теряют свою работу, а оставшиеся нередко чувствуют себя беспомощными, запуганными и пытаются удержаться на своем месте любой ценой.

«Солидарность как оружие против страха и приспособленчества — вот главная тема всех текстов, помещенных в этом томе,— пишет Мехтель.— Слово берут люди, которых эта проблема касается лично. Рабочие, служащие, чиновники рассказывают о своем жизненном опыте, о своих переживаниях и размышлениях, о «запрете на профессии», о безработице среди молодежи, о массовых увольнениях. Рассказы, очерки, стихи соседствуют здесь на равных правах».

В сборнике участвуют тридцать шесть авторов. Трезво, деловито, без пре-

На снимке: юный Моцарт из фильма западногерманского режиссера Клауса Киршнера «Моцарт», в основу которого положены письма композитора.

(Журнал «Фильм»)

тезией на литературные красоты повествует Герман Шванк о рабочем, который «вкалывал» и надрывался на производстве, не думая о солидарности, пока сам не превратился в «ненужную рухлядь». Клаус Лустиг рассказывает о преследованиях, которым подвергся фабричный ученик, написавший в профсоюзную газету про злоупотребления на своем предприятии. Керстин Шварц — о том, какие психологические и физические нагрузки несет одинокая молодая женщина с ребенком, ей каждый день грозит расторжение контракта и увольнение. Учительница Эва Вальтер в главе «Запреты на профессии» описывает свой последний школьный день. Хорст Хензель подробно, с иронией, рассказывает о любых зацепках и проволочках, которые делают невозможным для нежелательного лица поступление на государственную службу. Впечатляющим дополнением к текстам на эту тему служит документация, подготовленная «Мастерскими рабочей литературы».

Авторы — не профессиональные литераторы; они поразному владеют языком, замечает Ангелика Мехтель. И было бы неверно подходить к этой книге с традиционными литературными критериями (хотя ей не повредило бы заботливое литературное редактирование, которое могло освободить многие тексты от языковых огрехов и штампов). При всех своих слабостях «Прочь от окна» — важная и необходимая книга. Она не только рассказывает о реальных проблемах рабочих, об увольнениях и связанном с ними страхе за завтрашний день, но анализирует ситуацию на основе конкретных фактов и показывает, что противостоять угрозе может только совместная борьба, только солидарность.

ГРЕЦИЯ

ИЗВЕСТНАЯ АКТРИСА — КИНОРЕЖИССЕР

Прославленная актриса и общественная деятельница Ирена Папас, вынужденная в период власти «черных полковников» жить в эмиграции, возвратилась на родину. Выступая в Афинах перед журналистами, она сообщила о своем намерении дебютировать в качестве кинорежиссера. «В истории, которую я хочу рассказать,— говорит актриса,— речь идет о своего рода социально - психологическом исследовании типичной греческой семьи. В центре сюжета отношение крестьянина, его жены и их двух дочерей к появлению в их доме двух немецких солдат в период оккупации Греции гитлеровской армией.

Фильм будет цветной, снимать его можно в любой греческой деревне, и участвовать в нем будут актеры, лица которых еще не примелькались зрителям. Предположительное название фильма — «Бог создал человека по образу своему и подобию».

О своих дальнейших планах актриса сказала, что думает вернуться на сцену. «Восемь лет политической эмиграции в Италии,— продолжала Папас,— многому меня научили и в жизни, и в искусстве. Я хочу применить на практике опыт, приобретенный в те годы, когда я из-за фашистского режима не могла жить в Греции».

На фото: Ирена Папас.

(Газета «Унита»)

ИТАЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН ФАУСТЫ ЧАЛЕНТЕ

Внимание итальянской критики и читателей привлек новый роман писательницы Фаусты Чаленте «Четыре барышни Визельбергер». Действие этого во многом автобиографического произведения охватывает большой отрезок времени — с начала века до послевоенных лет. Как отмечает в своей рецензии в газете «Унита» критик Энцо Панарео, писательнице удалось слить воедино личные, автобиографические мотивы с событиями истории.

В начале романа действие происходит в принадлежащем тогда еще Австрии Триесте. Здесь прошла молодость матери Чаленте — одной из четырех сестер Визельбергер, дочерей известного музыканта. Здесь на одном из балов она танцевала с еще никому не из-

вестным юношей — Этторе Шмицем, будущим знаменитым писателем Итало Свево, описавшим в своих произведениях своеобразную жизнь Триеста. Мать будущей писательницы вышла замуж за армейского офицера — человека передовых взглядов. Первая мировая война нарушила привычный ход жизни и обернулась трагедией. Страницы, относящиеся к первой мировой войне (на которой гибнет кузен писательницы — Фабио), по мнению критика,— одни из самых сильных в романе. Воспоминания Чаленте, подчеркивает Энцо Панарео, лишены сентиментальности — они критичны и исторически осознанны.

После прихода к власти фашистов Чаленте надолго покинула Италию и отправилась вслед за мужем в Египет. Здесь она воочию убедилась в жестокости колонизаторов. Постепенно жизненный опыт привел писательницу к пониманию сущности фашизма. Вторая мировая война не явилась для нее неожиданностью. Именно фашизм вверг Италию в пучину этой войны — вот вывод, который делает писательница. В 1943 году под колесами немецкой машины гибнет в Риме самый близкий писательнице человек — ее брат Ренато. Чаленте возвращается на родину, где ее ждут многие новые разочарования, но теперь, как отмечает критик, у нее в жизни есть нечто прочное и незыблемое — ее убеждения, ее ненависть к войне и фашизму...

Роман Чаленте удостоен литературной премии «Стрега» 1976 года. Эту премию писательница получает уже во второй раз: пятнадцать лет назад премией «Стрега» был отмечен ее роман «Левантийская баллада».

«ВЬЕТНАМ — СЦЕНЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА»

Так называется новый фильм режиссера Уго Грегоретти и сценариста Романо Ледды.

Уго Грегоретти — один из видных представителей прогрессивного направления «поэтического кино»; постановщик ряда художественных и документальных фильмов: «Новые ангелы», «Омикрон», «Контракт», «История завода, занятого забастовщиками» и др.; Романо Ледда — автор множества статей и книг о странах «третьего мира», один из редакторов теоретического журнала ИКП «Ринашита».

Их фильм — первый кинорепортаж, снятый после освобождения Южного Вьетнама. Снимать свой фильм они начали через два месяца после окончания войны. Лента — цветная, картина длится более полутора часов. Съемки велись от Ханоя до Сайгона—вдоль дороги № 1 протяженностью в 1700 километров. Это взволнованный и вместе с тем объективный рассказ о военных испытаниях, о переходе к мирной жизни, о героических трудовых буднях вьетнамцев, восстанавливающих свою разрушенную войной страну, о проблемах, связанных с периодом восстановления, об отдельных человеческих судьбах.

«Название, которое мы выбрали для нашего документального фильма,— заявили журналистам создатели фильма,— точно выражает его содержание. Мы не рассказывали историю Вьетнама, не пытались воссоздать весь комплекс политических и социальных проблем, возникших после освобождения. Мы стремились сдержанно и без излишних эмоций воспроизвести тот момент вьетнамской истории, свидетелями которого мы явились: настал мир, и Вьетнам приступил к решению самых неотложных послевоенных проблем. Мы старались рассказать об этом без риторики и аффектации прежде всего потому, что всякая риторика чужда нашим вьетнамским друзьям, а также потому, что повседневная жизнь вьетнамцев сама по себе достаточно красноречиво повествует о тяжелых годах и трудовой мирной жизни этого мужественного и мудрого народа».

КНДР

«БЛИЗНЕЦЫ»

На экранах Пхеньяна демонстрируется фильм «Близнецы», снятый режиссерами Пак Хаком и Эм Кир Соном.

Фильм посвящен драме разобщенного народа, которая прослеживается на судьбах двух сестер-близнецов. Одна из них живет в Корейской Народно-Демократической Республике.

Уго Грегоретти и Романо Ледда на съемках фильма.

(Газета «Унита»)

Кадр из фильма «Близнецы».

(Журнал «Фильм»)

Она профессиональная певица и имеет все возможности развивать свой талант; другая влачит существование на Юге страны. Она прошла весь путь унижения, нищеты и позора.

Судя по этому фильму, отмечает рецензент польского журнала «Фильм», «темой номер один» для деятелей искусства КНДР является борьба за воссоединение разделенной страны, за освобождение порабощенных соотечественников.

КУБА

ВЫСТАВКА ВИТРАЖЕЙ

В Колониальном музее Гаваны с большим успехом экспонировалась выставка кубинских художников-витражистов. Искусство витража, пришедшее на Кубу в середине XIX века из Франции и Германии, привилось в стране и постепенно приобрело, по цвету и стилю рисунка, характер подлинно национальный.

В 1970 г. в Гаване была создана мастерская художников-витражистов, в которой трудились такие мастера высокого класса, как ныне покойный Нино Мастельяри, автор замечательных витражей в гаванском дворце «Бальестерос».

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» НА КУБЕ

Издательство художественной литературы Кубинского института книги выпустило в популярной серии «Ураган» роман Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Особенно большой интерес книга вызвала после демонстрации по кубинскому телевидению одноименного советского фильма. Кроме того, по сообщению газеты «Гранма», радиостанция «Либерасьон» подготовила композицию по этой книге.

МАЛАЙЗИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

В Куала-Лумпуре состоялось вручение Государственных литературных премий за 1975 год. Премиями отмечаются наиболее выдающиеся произведения на малайском языке по разделам поэзии, драматургии, очерка и литературной критики, рассказа и романа. Единственным литератором, премированным за творчество в целом в 1975 году, был Мухаммад Хаджи Салех — автор сборника стихов «Путевые заметки чуткого сердца» и стихотворений, напечатанных в периодических изданиях. По мнению жюри, философская лирика Мухаммада Хаджи Салеха, который дебютировал более 10 лет назад как англоязычный поэт, отличается выразительностью, лаконизмом и свободна от псевдоромантизма, нередко присущего молодым малайским поэтам.

Отмечены премией пять стихотворений и один рассказ молодой писательницы Зурины Хасан.

Отметив определенные успехи малайской драматургии в 1975 году, жюри присудило премию известному драматургу Малине Мандже (псевдоним Видина Субари) за трагикомедию «До звезд вышиной».

Поощрительных премий были удостоены рецензии Рамли Исина и литературные портреты, принадлежащие перу Илийаса Зайди. За роман премии присуждено не было, хотя на рассмотрение жюри выдвигалось восемь романов.

МАЛИ

«КУРС НА СЧАСТЬЕ»

Лауреат Большой Национальной премии Мали Исса Баба Траоре закончил новый роман, который он назвал «Курс на счастье». В связи с этим малийская газета «Эссор» опубликовала статью профессора А. Конаре.

Исса Баба Траоре — историк и педагог. Он родился и вырос в деревне, много лет работал учителем в сельской школе, затем был деканом факультета истории и культуры Института общественных наук, а в 1973 году стал советником министерства народного просве-

щения. Одновременно он выполняет обязанности помощника мэра города Кати. Большое место в жизни писателя занимает деятельность по сохранению и пропаганде национальной культуры.

Первая книга Иссы Баба Траоре — исторический роман «Куми Диоссе» — вышла в 1967 году. Она воссоздает образ героя африканского сопротивления конца XIX века Куми Диоссе. Исса Баба Траоре прославляет красоту самопожертвования и презрение к опасности. Окруженный неприятелем, Куми Диоссе предпочел героическую смерть позору. Писатель считает, что страдания и подвиг Куми Диоссе не были напрасны, что и после смерти он «продолжает служить своей стране».

Второй роман — «Тень прошлого» — вышел в том же 1967 году и в 1971 году был удостоен Большой Национальной премии Мали. В романе рассказывается о жизни африканской деревни во времена колониального господства, о подавлении человеческого достоинства африканцев французскими властями и о духовной жизни деревни, которую колонизаторы так и не смогли подчинить себе.

Новый роман «Курс на счастье» посвящен современности.

Деревенский парень Мандиу, как сотни и тысячи таких же молодых людей, отправляется в город «за счастьем». Но несоответствие мечты и действительности, одиночество, цинизм и подлость, с которыми он сталкивается, приводят к утрате иллюзий.

Исса Баба Траоре не навязывает читателю выводов, они вытекают из описанных им событий.

Как отмечает в своей статье профессор А. Конаре, этот роман, как и предыдущие, свидетельствует, что писатель прекрасно знает страну и людей, особенно крестьян, среди которых он прожил многие годы. Критик считает «Курс на счастье» наиболее глубоким произведением писателя, подчеркивая, что в нем затронута одна из острейших проблем современной Африки.

Роман «Курс на счастье» выходит в Бамако в «Народном издательстве» Мали.

НОРВЕГИЯ

КНИГА ПОЭЗИИ

В издательстве «Пакс» вышел новый поэтический сборник «Времена меняются». В него включены пролетарские песни, песни борьбы и протеста, созданные за четыре с половиной столетия — с 1525 по 1975 год.

«Эта уникальная книга содержит ценнейший исторический и художественный материал. Французские, английские, немецкие революционные песни, песни чилийского поэта и композитора Виктора Хары, современные скандинавские песни протеста — разные по стилю, жанрам и эмоциональному строю — составляют интересную мозаику. Издание снабжено подробным историко-литературным комментарием»,— пишет рецензент газеты «Ню даг».

ПАКИСТАН

НОВАЯ КНИГА ФАИЗА АХМАДА ФАИЗА

Издательство Института Галиба в Карачи опубликовало книгу выдающегося пакистанского поэта Фаиза «Наша национальная культура». В книгу включены три лекции, прочитанные Фаизом студентам колледжа в 1968 году, выступление Фаиза по телевидению и небольшая статья, опубликованная в 1975 году в журнале «Галиб». Фаиза занимают такие важные вопросы, как понятие культуры, ее истоки, ее будущее и соотношение различных ее элементов, определяемых этническими, лингвистическими, историческими, географическими, религиозно-философскими и другими особенностями различных областей страны и населяющих ее народов.

Кроме того, в книгу включены вступительная статья Мирзы Зафар уль-Хасана (биографа Фаиза Ахмада Фаиза и редактора журнала «Галиб») и заметки семи видных деятелей пакистанской литературы и культуры, по-разному трактующих высказанные Фаизом положения.

Книга Фаиза стала важным событием в культурной жизни Пакистана, так как благодаря высокому авторитету автора привлекла внимание многих представителей творческой интеллигенции.

ПОЛЬША

«ПЕТЕРБУРГ» ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА

Как сообщает газета «Жиче Варшавы», вышел из печати сборник эссе Ярослава Ивашкевича под названием «Петербург», который, как каждая новая работа маститого писателя, сразу же привлек внимание критики.

Интересна история возникновения книги: первое посещение Ленинграда и знакомство с этим городом произвели столь сильное впечатление на Ярослава Ивашкевича, что он решил создать книгу о польских и русских писателях и поэтах, живших в свое время в Петербурге. Эссе о Пушкине, Мицкевиче, Достоевском, Блоке, Виткевиче воссоздают специфическую атмосферу литературного и художественного мира, в котором жили и творили польские и русские классики.

Архитектура старого Петербурга, его памятники описаны с таким мастерством, что эту книгу, как отмечает критик, можно причислить к лучшим произведениям писателя.

КОНЧИНА ПОЭТА

В возрасте сорока двух лет скончался польский поэт Станислав Гроховяк. Как отмечает газета «Жиче Вар-

На экранах страны демонстрируется фильм «Con amore» Яна Батория. Он посвящен проблемам взаимоотношений среди молодежи, в нем ставится вопрос о человеческих ценностях — подлинных и мнимых.

В главной роли снималась студентка филологического факультета Варшавского университета Малгожата Снопкевич. Это ее первая роль в кино, с которой она, по общему мнению польской критики, справилась превосходно.

На снимке: кадр из фильма «Con amore».

(Журнал «Фильм»)

шавы», это был один из самых интересных поэтов послевоенного поколения. Гроховяк был не только поэтом. Широко известен его антифашистский роман «Тризмус», его пьесы «Хлопцы», «Соло на деревянном инструменте», «Утренние страхи».

Последний сборник стихов Станислава Гроховяка «Бильярд» вызвал широкий отклик в печати. Писатель Войцех Жукровский откликнулся на него большой рецензией в журнале «Нове ксёнжки», где он, в частности, пишет: «В этой книге поэт ведет разговор с читателем мыслящим, каким и должен быть настоящий читатель, а возможно, это попытка диалога с самим народом, диалога, о котором мечтает каждый настоящий поэт».

«МЕЧ СИРЕНЫ»

Так будет называться новая работа Халины Аудерской, автора чрезвычайно популярных среди польских читателей книг: «Птичий тракт» и «Бабье лето».

Халина Аудерская говорит на страницах газеты «Жиче Варшавы», что своей книгой она хочет воздать почести Варшаве, в борьбе за которую она сама участвовала в годы войны.

«Работа мне предстоит далеко не легкая,— сказала писательница,— но в этом городе я училась, здесь прошли многие годы моей жизни, здесь я участвовала в боях за родной город, и мне кажется, я имею право на создание книги о Варшаве. Моя книга будет называться «Меч сирены». Есть нечто удивительное в гербе нашей столицы — сирена с мечом в руке, нигде больше я не встречала такого изображения сирены, наша сирена стала символом Варшавы».

СЕНЕГАЛ

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Важным событием в культурной жизни Африки стало начатое в Дакаре издание иллюстрированных книг для детей.

Сказки и легенды, загадки и считалки всегда занимали большое место в воспитании африканских детей. Вечером, собравшись у очага, дети слушали рассказы старших, и образы национального фольклора входили в духовный мир ребенка с самых ранних лет.

«Детские мечты» — так называется книга молодого сенегальского автора Теодора Н'дока Ндие. Ребенок представляет себе, что бы он сделал, став птицей или рыбой, портным или сапожником, бабочкой или обезьяной, садовником или королем. Текст иллюстрирован рисунками художника Арони Дабо.

Вторая книга того же автора и того же художника «Прекрасное путешествие Бирама по Сенегалу» знакомит детей с семью областями страны, с их природой, животным и растительным миром.

Историческую повесть «Лат Диор» опубликовал писатель Тьерно Ба. Иллюстрировал книгу художник А. Диалло, заслуживший известность гравюрами к «Истории Сенегала».

Критик журнала «Африк литтерэр э артистик» Папа Амет Диоп особенно хвалит повесть Сабины Комбе «Фату в стране бауле». Много приключений выпало на долю маленькой Фату, жительницы столичного города, и ее верного пса Мандарине. Они едут в поезде, потом попадают в лес, долго блуждают там и, наконец, добираются до небольшой деревушки народности бауле. Возвращаясь в Абиджан (действие повести происходит в республике Берег Слоновой Кости), Фату приглашает своего нового друга Бубакара провести каникулы в столице. Вполне возможно, замечает критик, что скоро выйдет повесть «Бубакар в Абиджане», или «Юный бауле в большом городе». Автор статьи в журнале «Африк литтерэр э артистик» отмечает прекрасное оформление повести.

СИРИЯ

РАССКАЗЫ ЛИЯНА ДЕЙРАНИ

Издательство Союза арабских писателей в Дамаске опубликовало сборник рассказов одного из старейших сирийских литераторов Лияна Дейрани «Зеленая стрела».

Дейрани известен не только как писатель, но и как переводчик, публицист и политический деятель. Он был членом первых марксистских кружков в Сирии, активно сотрудничал в прогрессивном журнале «Ат-Талиа», выходившем в Дамаске в тридцатые годы.

В 1936 году на страницах «Ат-Талиа» были впервые опубликованы отрывки из романа Горького «Мать» в переводе Лияна Дейрани, Раифа Хури и других прогрессивных сирийских и ливанских писателей и публицистов. Вскоре после этого Дейрани полностью перевел «Мать» на арабский язык. Тогда же в печати появились его первые рассказы.

«Зеленая стрела» — первый сборник Лияна Дейрани, вышедший отдельным изданием. До сих пор его рассказы публиковались только в периодической печати.

Писатель и критик Наср ад-Дин аль-Бахра посвятил сборнику «Зеленая стрела» рецензию в дамасском журнале «Аль-Марифа» под заглавием «Лиян Дейрани». Сорок лет на поприще политического рассказа». Автор рецензии относит Дейрани к поколению пионеров сирийской новеллистики. Тематика его рассказов тесно связана с жизнью и борьбой сирийского и других арабских народов.

США

В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕГО ГЕРОЯ

Внимание американских критиков привлек роман молодой негритянской писательницы Элис Уокер «Меридиана». Уокер — активистка движения за гражданское равноправие — дебютировала в 1970 году сборником стихов «Однажды». С тех пор вышло еще несколько ее книг. Кроме того, она написала биографию выдающегося негритянского поэта Ленгстона Хьюза.

Меридиана, героиня нового романа Уокер,— простая негритянская девушка, для которой участие в движении за равноправие стало истинной школой жизни. Действие основных эпизодов романа развертывается в начале 70-х годов, когда в движении выявились серьезные внутренние противоречия, вызванные деятельностью левоэкстремистских групп. Меридиана связана с одной из таких групп, однако она не соглашается с тактикой запугивания белых обывателей. Исключенная из группы, она уезжает из Нью-Йорка на Юг, чтобы своим примером пробудить в терроризируемых расистами бесправных черных жителях маленьких городков Алабамы волю к сопротивлению и борьбе.

Путь Меридианы тернист: ей приходится сталкиваться с угрозами и провокациями белых властей и с непониманием товарищей по движению, она теряет человека, который был отцом ее ребенка, ее мать и близкие не в состоянии преодолеть вековой страх перед расистами, и двери родного дома для нее закрыты. Встречая на каждом шагу несправедливость, произвол, горе, Меридиана многое пересматривает в своих взглядах и приходит к пониманию необходимости активного, действенного отпора насильникам, разжигающим расовую ненависть.

Г. Маркус пишет в журнале «Нью-йоркер», что «Меридиана» — одна из самых значительных книг, в которых рассказывается об опыте и уроках борьбы за гражданские права и о том, какое огромное значение имеет эта борьба для становления нового самосознания черной Америки. По мнению рецензента, Элис Уокер сумела создать образ настоящего героя, каких так мало в современной американской литературе.

После шестнадцатилетнего перерыва знаменитый английский актер Лоуренс Оливье снова снимается в США. На этот раз в картине «Марафонец» известного американского режиссера Джона Шлезингера он исполняет роль нацистского военного преступника, который добивается, чтобы немой студент показал, где спрятаны сокровища. В роли студента снимается популярный американский актер Дастин Хоффман, дебютировавший в 1968 году. За исполнение главной роли в фильме «Выпускник» он получил «Оскара» и сразу завоевал известность. После этого он неоднократно снимался, и некоторые из фильмов с его участием, например «Маленький большой человек» и «Альфредо, Альфредо», демонстрировались на международных кинофестивалях в Москве.

Дастин Хоффман признается, что сниматься вместе с Лоуренсом Оливье было его давней мечтой. «Я всегда восхищался им, еще когда работал в театре»,— заявил Хоффман.

(Еженедельник «Пари-матч»)

КОНЧИНА УОЛТЕРА ЛОУЭНФЕЛЛСА

В возрасте 79 лет скончался Уолтер Лоуэнфеллс — выдающийся американский поэт-коммунист, непоколебимый приверженец демократического направления в поэзии США, берущего истоки в наследии Уитмена.

Творческий путь Лоуэнфеллса продолжался без малого полвека. В 20-е и начале 30-х годов Лоуэнфеллс, как и многие американские писатели его поколения, жил в Европе, являясь одним из активных участников художественного движения, рожденного трагически пережитым тогдашней молодежью опытом первой мировой войны. Широкую известность принес поэту изданный в 1934 г. в Париже сборник «Самоубийство», куда вошли стихи, выразившие резкое неприятие буржуазной действительности, чувства глубокого одиночества, «потерянности» и горечи.

Вернувшись в 1935 г. на родину, Лоуэнфеллс непосредственно включился в социальные битвы, сотрясавшие Америку «красных тридцатых», и открыто выступил на стороне пролетариата. Он был редактором газеты «Дейли уоркер», много и плодотворно работал в области политической публицистики, широко вводил в свои стихи злободневную общественную проблематику. В годы маккартизма Лоуэнфеллс подвергся преследованиям за прогрессивную деятельность, а также за поэму «Американские голоса» (1952), прозвучавшую как клятва верности идеалам мира, демократии и человеческого братства.

В позднем творчестве Лоуэнфеллса (сборник стихов «Сонеты любви и свободы», книги публицистики «Письма воображаемой дочери», «Революция — это гуманность») звучат уитменовские мотивы жизнелюбия, веры в человека и в справедливый, гуманный мир, который будет построен на земле.

Велики заслуги Лоуэнфеллса как пропагандиста и продолжателя передовых традиций литературы США, стремившегося сплотить силы молодой демократической поэзии Америки. Изданные им антологии «Поэты-современники», «Где Вьетнам?», «Во времена революции» объединили произведения многих поэтов, как уже признанных, так и начинающих.

Особое значение имела международная поэтическая антология, подготовленная Лоуэнфеллсом к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Последней работой поэта стала антология «Посвящается Чили», изданная в 1975 г.

Жизненный и творческий путь Уолтера Лоуэнфеллса — пример высокого служения идеалам подлинной демократии и искусству поэзии.

РАССКАЗЫ ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС

«Пересекая границу» — так озаглавлена новая книга Джойс Кэрол Оутс, вышедшая в издательстве «Вэнгард». Действие рассказов этого сборника происходит на берегах озера Онтарио, разделяющего США и Канаду. Герои Оутс — молодые американские интеллигенты, которых мучает ощущение неразрешимости стоящих перед ними проблем, как общественных, так и личных. Запутавшиеся, утратившие ориентир люди надеются, что, поселившись в новой стране, они сумеют начать жизнь с чистой страницы. Надежда оказывается тщетной: убежать от себя невозможно.

Долг человека — осознать ответственность за свою судьбу и за судьбы общества. Он не имеет права уклоняться от исполнения этого долга, выбрав иллюзорное бегство от сложностей жизни. К такому выводу подводят лучшие новеллы сборника.

Рецензенты отмечают, что эта мысль не всегда выражена писательницей достаточно отчетливо. Порою она склонна искать объяснение духовных и психологических драм своих персонажей не столько в социальных причинах, сколько в темных, опасных силах, которые гнездятся в подсознании героев и предопределяют их драмы, внушая им ощущение беспомощности перед окружающим миром, страх перед ним.

Критик «Ньюсуик» П. Циммерман пишет, что персонажи новой книги Оутс словно бы совершают «длительное путешествие из психической порабощенности общепринятым к эмоциональной независимости. Далеко не всем им дано ее обрести, и нередко они — да и сама Оутс — ищут независимости на путях, которые вовсе к ней не ведут. Тем не менее Оутс удалось в своих рассказах уловить живые черты современной тревожной эпохи».

ТУРЦИЯ

ДИЛОГИЯ ЯШАРА КЕМАЛЯ

Известный турецкий писатель Яшар Кемаль выпустил новый роман «Юсуфчик Юсуф», который заключает начатую романом «Преступление на Кузнецком рынке» дилогию под названием «Хозяева Акчасаза». На тысяче трехстах страницах дилогии автор рисует картину жизни в одной из плодороднейших долин на юге страны, где он родился и вырос. Действующие лица его романов — крестьяне, издольщики, помещики, кулаки, перекупщики.

Дилогия Яшара Кемаля вызвала большой общественный резонанс. Уже много месяцев вокруг нее ведутся споры в печати, по радио и телевидению.

«Мы видим в романах Яшара Кемаля,— пишет критик Атилла Озкырымлы,— как на смену старой родовитой знати приходит новый господствующий класс. Он завладевает землей... и берет в свои руки власть. Трагедия бея Дервиша (одного из главных героев дилогии) не в том, что он не в состоянии понять происходящие перемены или боится потерять экономическую власть,

Нет, он не приемлет новых отношений, потому что страшится потерять лицо, уронить свою честь, потому что рушатся его представления о человеческом достоинстве. Его противник Махир Кабакчиоглу — богач, вышедший из низов, человек иного типа. Для него дозволено и нравственно все, что помогает ему наживаться. Критик видит удачу Яшара Кемаля в том, что писатель, «изображая развитие истории с определенной позиции, сумел связать социальную действительность с человеческой правдой, правдой характеров». Сам Яшар Кемаль сказал, что его романы — «своего рода плач по тем добрым людям, которые, оседлав прекрасных коней, ускакали и не вернутся назад... Исчезает один тип людей, сменяется другим, непохожим. Мой роман написан об этом... Изменяясь, человек изменяет и природу. Изменяет, увы, к худшему... Во всяком случае, в нынешней Турции, при нынешнем строе, природу эксплуатируют, ее убивают... Я на стороне тех, кто сражается против убийства природы в Турции... Я хочу, чтобы мои романы были поняты правильно: это протест против эксплуатации природы и эксплуатации человека».

ФРАНЦИЯ

НОВЫЙ РОМАН ПОЛЯ ГИМАРА

В издательстве «Деноэль» вышел новый роман Поля Гимара «Непогода». По мнению Бернара Пуаро-Дельпеша, критика газеты «Монд», Поль Гимар нашел оригинальное решение темы, к которой в последнее время обращалось немало французских писателей,— внутренней драмы человека на пороге старости. Роман построен как диалог двух непримиримых, как бы исключающих друг друга личностей, которые, однако, уживаются в одном и том же человеке — главном персонаже романа. Роберу Дюшену — 50 лет, он — директор рекламного агентства, но в нем по-прежнему жив тот пылкий юнец Боб, каким он был 30 лет назад, когда мечтал посвятить жизнь искусству. Боб воображает себя талантливым, как Модильяни, влюбленным, как Жюльен Сорель, окруженным всеобщим восхищением, как кинозвезда. Он вовлекает Робера Дюшена в любовные приключения, досаждает ему тем, что с ужасом и отвращением рассматривает в зеркале его морщины и седые волосы. Боб презирает и ненавидит Робера за то, что он стал обыкновенным человеком без романтического ореола. Конфликт между Бобом и Робером достигает кульминации, когда Робер Дюшен, выйдя на яхте в открытое море, попадает в девятибалльный шторм. Боб решает, что бороться с волнами бессмысленно, лучше погибнуть — дальнейшее сосуществование с никчемным Робером не стоит борьбы и труда. Однако Робер не хочет расставаться с жизнью. Он упрямо отстаивает свое право на существование и одерживает двойную победу: над морской стихней и над Бобом.

Андре Стиль пишет в «Юманите», что смысл духовного становления главного персонажа раскрывается в одной из последних фраз романа, когда Робер говорит Бобу: «Наступает минута — и она уже наступила,— когда созерцание собственного пупа больше не заполняет существования. А разве ты делал что-нибудь другое?.. В мире столько протянутых рук и незащищенных сердец. И вот я иду навстречу моим ближним, к тем, кто так похож на меня. Я предлагаю тебе следовать за мной по этому пути». Андре Стиль относит Поля Гимара к тем немногим писателям, которые создают романы без претензий на языковое новаторство и тем не менее с истинным мастерством. О высоком художественном уровне романа пишет и Б. Пуаро-Дельпеш в «Монд».

На снимке: Анни Жирардо. *(Еженедельник «Франс нувель»).*

ФИЛЬМ — ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ

С большим успехом, по сообщению еженедельника «Франс нувель», во Франции прошел новый фильм кинорежиссера Жан-Лу Бертучелли «Доктор Франсуаза Гайан», главную роль в котором исполнила известная французская актриса Анни Жирардо.

Это фильм о женщине-враче, о ее напряженной работе, о взаимоотношениях с больными и коллегами, с мужем и детьми. Ответственность за жизнь людей, постоянное соприкосновение с человеческими страданиями закалили ее характер, воспитали волю, но в чем-то лишили тепла в отношениях с близкими людьми. Но вот она узнает, что неизлечимо больна: у нее рак легких. Эта трагедия заставляет ее заново пересмотреть свою жизнь.

По мнению критики, фильм Бертучелли вызывает восхищение мужеством этой женщины, победившей страх смерти, ее решимостью преодолеть стену отчуждения между ней и близкими.

Почти документальная точность, с которой снят фильм, придает ему большую достоверность. Успех его, отмечает «Франс нувель», во многом зависит и

от прекрасной игры исполнителей главных ролей: Франсуа-Перье (муж Франсуазы), Изабель Уппер (ее дочь) и прежде всего — Анни Жирардо.

ПИСАТЕЛЬ ВЫИГРЫВАЕТ ДЕЛО

В журнале «Нувель критик» опубликована статья известного французского африканиста-марксиста Ива Бено «Монго Бети, или Реализм против колониализма». Рассматривая творчество Монго Бети начиная с его первых книг 50-х годов и кончая последними романами, вышедшими в 1974 году, критик подчеркивает, что писатель неизменно верен основной линии своего творчества, основному своему творческому принципу — реализму.

Реализм, считает Бено, был избран Монго Бети не как один из возможных литературных методов или направлений, но как действенное оружие против колониализма. Он с самого начала противостоял манере тех писателей, которые представляли жизнь колоний в слащаво-идиллическом свете.

Высоко оценивая творчество Монго Бети в целом, Ив Бено особо выделяет роман «Помни Рубена» (1974), посвященный героической жизни и борьбе национального героя Камеруна Рубена Ума Ниобе.

Ив Бено подробно излагает историю травли, выдержанную Монго Бети, который уже 16 лет живет во Франции и преподает во французских лицеях. В 1972 году издательство «Масперо» выпустило его публицистическую книгу «Грабеж в Камеруне», которая была тут же конфискована и запрещена во Франции. Монго Бети угрожала высылка из Франции.

В защиту Монго Бети выступил ряд известных представителей французской интеллигенции, в том числе Луи Арагон и Жан Сюрэ-Каналь. И вот 1 марта 1976 года руанский суд высшей инстанции официально признал Монго Бети французским гражданином. Остается отдать должное Монго Бети, в полной мере оценив его заслуги как одного из лучших романистов, пишущего на французском языке. С этой целью и написана статья Ива Бено.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«УТРАТЫ И НАХОДКИ»

Так называется новый многосерийный телевизионный фильм Яна Соловича, сценарий которого был опубликован в издательстве «Смена» в 1975 г. Ян Солович — известный драматург, заслуженный художник ЧССР, лауреат Государственной премии Словацкой Социалистической Республики. Наибольшей популярностью в Чехословакии и за рубежом пользуются его пьесы «Меридиан», «Серебряный ягуар», «Авантюра с нищим» (под названием «Загадочный нищий» идет во многих театрах СССР). Тема творчества Яна Соловича — современность, в его произведениях поднимаются самые злободневные и острые вопросы жизни, не оставляющие читателя и зрителя равнодушными. По всей стране прошло немало обсуждений пьес драматурга, в дискуссиях нередко принимает участие и сам автор. (Следует заметить, что Ян Солович — активный общественный и государственный деятель, он — секретарь Союза словацких писателей, депутат Словацкого национального совета.) В одной из бесед с журналистами Солович сказал, что поездки на заводы и фабрики, участие в обсуждениях современных литературных произведений дают ему очень много; в какой-то степени и новый телевизионный фильм был вызван потребностью вновь обратиться к участникам прежних дискуссий и встреч. «Сама проблема гражданской активности, в том смысле как ее понимает один из главных героев фильма «Утраты и находки», буквально требует широкого обсуждения...» Телевидение, по мнению Яна Соловича, создает такую возможность, ибо «зритель, способный не расставаться со своим любимым персонажем неделями (если речь идет о многосерийном фильме), проверяет действия и решения драматического героя современности своей собственной практикой, своим собственным жизненным опытом».

Актер Юран Кукура в роли Рудо в телефильме «Утраты и находки».

Герои «Утрат и находок» органически не приемлют равнодушной, пассивной, безразличной жизненной позиции. Большинство из них — и врач Петер, и автомеханик Рудо — родились и выросли уже при социалистическом строе, однако они понимают, что нужно еще долго и упорно бороться за окончательную победу социалистических отношений между людьми. Драматург выразил эту мысль следующими словами: «Борьба за социалистический характер общества, и прежде всего за человека в нем, была и остается борьбой не с ветряными мельницами, а с людьми».

По отзывам прессы, телевизионный фильм Яна Соловича имел большой успех у зрителей. На адрес телевидения Братиславы приходят многочисленные письма со всех концов страны.

Безусловно, успеху фильма «Утраты и находки» в немалой степени способствовало то, что в нем участвовали такие замечательные словацкие артисты разных поколений, как Ю. Кукура, М. Княжко, М. Вашаркова, Л. Худик.

ЧИЛИ

АНТОНИО СКАРМЕТА О СВОЕМ ПОКОЛЕНИИ И О СЕБЕ

Чилийский прозаик и сценарист Антонио Ска́рмета, автор ряда книг, в том числе сборника рассказов «Голый на крыше» (премия «Каса де лас Американас» за 1969 г.), дал интервью колумбийскому критику Карлосу Ринкону для журнала «Каса де лас Американас».

«Писателей моего поколения в Чили,— сказал А. Ска́рмета, — объединяла солидарность единомышленников. Мы разделяли позиции чилийского пролетариата, хотя наше практическое знакомство с ним было поверхностным.

Воцарившийся в Чили фашизм нанес тяжелый удар передовой части чилийского общества. Наши демократически настроенные писатели подверглись жестоким репрессиям... Тем не менее, как это ни парадоксально, в чем-то чилийские литераторы получили преимущество над писателями других стран Латинской Америки, ибо они оказались свидетелями и выразителями небывалого подъема общественных сил страны в период Народного единства. Сейчас им довелось стать летописцами трагедии Чили, оказавшегося во власти фашистской хунты».

Что касается самого Антонио Ска́рметы, то последний его роман, «Мне снился горящий снег», вышел в начале 1976 г. за пределами Чили. Действие романа развивается в последние месяцы Народного единства, герой книги — чилийский подросток, нравственное формирование которого происходит на фоне острейших социальных конфликтов, характерных для этого периода жизни страны.

ШВЕЦИЯ

СБОРНИК РАССКАЗОВ ФАРЕРСКОГО ПИСАТЕЛЯ

Шведское издательство «Кавефорс» выпустило сборник повестей молодого писателя, уроженца Фарерских островов, Енса Паули Хейнесена «Волны катятся к берегу». Сборник, как пишет стокгольмская газета «Арбетартиднинген — Ню даг», отличается выразительностью языка, а также типичным для фарерских писателей ощущением «слитности с природой». К тому же молодой автор, по мнению рецензента газеты, великолепно владеет искусством рассказчика.

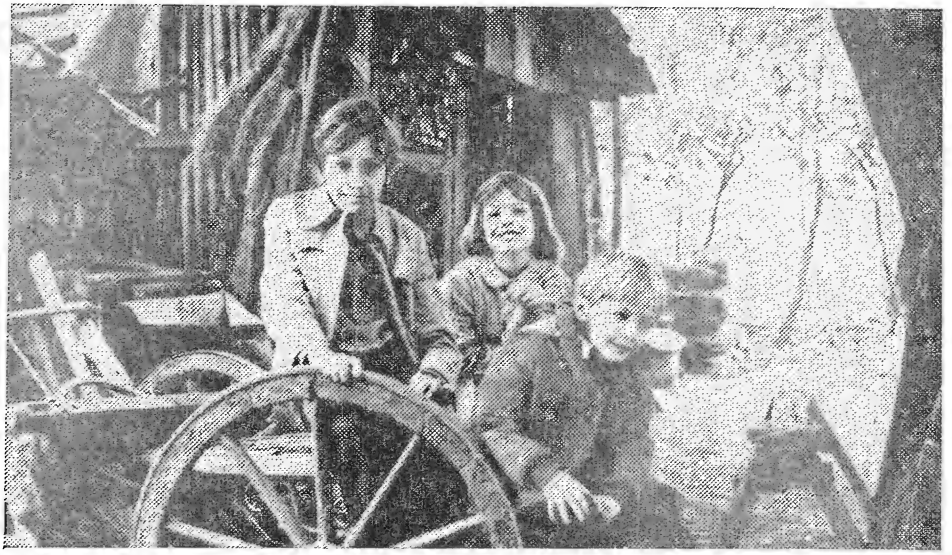
Выход в свет этой книги, отмечает газета,— немаловажное событие в культурной жизни страны. Фарерская литература почти неизвестна за пределами островов. Шведские буржуазные издательства избегают публиковать произведения фарерских писателей, опасаясь, что книги никому не известных авторов, да еще представителей небольшого народа, могут принести только убытки. «Между тем,— пишет рецензент «Арбетартиднинген—Ню даг»,— фарерская литература — самобытное и очень значительное явление, играющее большую роль в жизни 40 тысяч жителей Фарерских островов... Любопытно, что среди фарерцев относительно большой процент писателей и поэтов. Литература фарерцев — это голос малого народа, обращенный ко всему миру. К сожалению, пока голос этот слышат очень немногие. Прекрасный почин шведского издательства, выпустившего сборник «Волны катятся к берегу», вселяет надежду на то, что фарерская литература в конце концов найдет своего широкого читателя».

ЮБИЛЕЙ МАСТИТОГО ХУДОЖНИКА СЛОВА

Известный шведский писатель Ивар Лу-Юханссон отметил в этом году свое 75-летие. К юбилею этого замечательного художника слова, посвятившего свое творчество изображению тяжелой доли сельского пролетариата Швеции, в Сток-

Ивар Лу-Юханссон — на фоне своего портрета работы художника Альбина Амелина, автора многочисленных полотен на темы из жизни шведского пролетариата.

(Газета «Дагенс нюхетер»)



Режиссер Эдуард Галич поставил для белградского телевидения фильм по сценарию Звонимира Майдака «Ночная переправа». Фильм посвящен современной деревне, взаимоотношениям людей во всей их сложности.
Режиссер Драгослав Лазич по пьесе Звонимира Майдака ставит спектакль для белградского телевидения под рабочим названием «Иди туда, где никто тебя не знает». Драматический конфликт в этой пьесе — столкновение отца и сына. Юноша хочет покинуть деревню в поисках лучшей жизни в городе. Отец расценивает поведение сына как предательство.
И в фильме и в пьесе Звонимир Майдак поднимает вопросы о верности земле, о верности крестьянскому долгу.
На снимке: кадр из фильма «Ночная переправа».

(Газета «Политика»)

гольме открылась выставка картин по мотивам произведений писателя, а также иллюстраций к его книгам. Кроме того, вышли две книги, посвященные творчеству Ивара Лу-Юханссона: «Честь, любовь и трудящийся класс» Маурица Эдстрема, «Полномочный представитель батраков Ивар Лу-Юханссон и сельскохозяйственные рабочие» Ларса Фуруланда. Как отмечала в дни юбилея шведская печать, романы о тяжелой судьбе шведских батраков, написанные Лу-Юханссоном в 30-е и 40-е годы, в значительной мере содействовали отмене осенью 1945 г. унизительной системы использования наемного труда батраков в сельском хозяйстве.

В юбилейные дни шведское телевидение показало несколько программ, посвященных юбиляру и его книгам.

ЮГОСЛАВИЯ

СБОРНИК РАССКАЗОВ БРАНКО ЧОПИЧА

В Белграде издан новый сборник рассказов Б. Чопича «Василиса и монах». Действие рассказов происходит в различных местах Югославии (в Боснии, Белграде), в разное время — перед второй мировой войной, во время войны и после нее. Темы их очень разнообразны: автор рисует картины своего детства, пишет о социальных проблемах довоенной Боснии, об участии боснийского крестьянства в народно-освободительной войне. В ряде рассказов («Фараон», «Выбор товарища Сократа» и др.) затрагиваются актуальные проблемы современности.

Рецензент газеты «Борба» В. Марьянович пишет: «В новом сборнике избранных рассказов Бранко Чопича «Василиса и монах» проявились все лучшие качества его прозы».

◆

Авторы этого номера

БУЛЧУ БЕРТА — BERTHA BULCSU (род. в 1935 г.).

Венгерский писатель, журналист. Первый сборник его рассказов «Девушки при свете солнца» («Lányok napfényben») вышел в свет в 1962 г. С тех пор Б. Берта опубликовал несколько романов и сборников рассказов; широкую известность получили его две книги очерков о венгерских писателях, товарищах по перу. Б. Берта — победитель конкурса на лучший роман, посвященный теме освобождения Венгрии от фашизма (роман «Огненные шары» — «Tüzgömbök», 1970); дважды — в 1966 и 1971 гг.— награжден премией Аттилы Йожефа.

В настоящее время — Б. Берта член редколлегии журнала «Уй ираш» («Новая литература»). На русский язык переводились его рассказы «Вилла Теймел», «Генеральская дочь», «Водяная мельница», «Паренек с цитрой» и др.

Рассказ «Влюбленные, сотканные из солнечного света» был напечатан в сборнике «Арлекин и ее возлюбленный» («Harlekin és szerelmese», 1964).

ИШТВАН САБО — SZABÓ ISTVÁN (1931—1976).

Венгерский писатель, новеллист, дважды лауреат премии Аттилы Йожефа. Родился в крестьянской семье, работал трактористом. С 1954 г. его рассказы начали появляться в венгерской печати. В 1956 г. вышел первый сборник рассказов «Бунтарь» («Lazadó»), затем — сборник «Волшебный сад» («Varázslat kertje», 1964). Во многих своих произведениях Иштван Сабо рассказывает о социалистических преобразованиях в венгерской деревне. На русский язык переведены его рассказы «Волшебный сад», «Плач», «Весенним днем», «Ловкая жена и никчемный муж» и др.

Рассказ «На остановке рейсового автобуса» взят из антологии «Влюбленные, сотканные из солнечного света» («Fénytestü szerelmesek». Budapest, Móra kiadó, 1974).

МИКЛОШ ВАМОШ — VÁMOS MIKLÓS (род. в 1950 г.).

Венгерский писатель. Рассказы Миклоша Вамоша регулярно появляются на страницах венгерской периодической печати. В 1972 г. вышел первый его сборник «Предисловие к азбуке» («Elöszó az ábécéhez». Budapest, Magvetö kiadó, 1972), откуда взят рассказ «Чужой дом».

ИШТВАН ГАЛЛ — GÁLL ISTVÁN (род. в 1931 г.).

Венгерский писатель, лауреат премии имени Аттилы Йожефа. В начале своей литературной деятельности писал стихи. В 1954 г. вышел в свет сборник народных сказок в обработке И. Галла под названием «Чернокнижник». Затем писатель выпустил повесть «Крысиная нора» («Pátkányiyuk», 1961), сборник рассказов «Любовь гребцов» («Kétpárevezös szerelem», 1962), роман «Западня» («Csapda», 1966). Два романа И. Галла «Солнцепоклонник» («A napimádó», 1970) и «Старик» («Az öreg», 1975) были удосто-

епы премии на конкурсе лучшего романа, посвященного освобождению Венгрии.

Рассказ «Лейтенант» был напечатан в антологии «Сеп со» («Szép szó». Budapest, Tancsics kiadó, 1974).

■

РОБЕРТ АРТУР ДУГЛАС ФОРД — ROBERT ARTHUR DOUGLASS FORD (род. в 1915 г.).

Канадский поэт. Окончил университеты Корнельский и Западного Онтарио; почетный доктор литературы университета Западного Онтарио. Был репортером монреальской «Газетт»; с 1940 г.— на дипломатической службе. Работал в Рио-де-Жанейро, Лондоне, при ООН, в Москве. Был послом в Колумбии, Югославии, Египте; с 1964 г.— посол Канады в СССР.

Стихи Р. А. Д. Форда печатались во многих канадских, американских, английских журналах, а также выходили отдельными книгами: «Окно на север» («A Window on the North», 1956), удостоена поэтической премии, и «Одинокий город» («The Solitary City», 1969).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Одинокий город».

■

ЧУХОНЦЕВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. в 1938 г.).

Советский поэт. Переводил стихи И. Гёте, Дж. Китса, П. Верлена, а также многих современных поэтов: И. Шимона (Венгрия), Ф. Грубина, Л. Новомеского (Чехословакия), С. Раичковича (Югославия) и др.

■

ДЖУЗЕППЕ Д'АГАТА — GIUSEPPE D'AGATA (род. в 1927 г.).

Итальянский писатель. В семнадцатилетнем возрасте участвовал в движении Сопротивления, что оказало большое влияние на него как писателя и человека. На тему о Сопротивлении написана его повесть «Серебряный рожок» («La cornetta d'argento», 1956), которая была удостоена литературной премии Сопротивления. За книгу «Армия Сципиона» («L'esercito di Scipione», 1960) писатель получил премию Виареджо. Но широкое признание пришло к Джузеппе Д'Агате после выхода его романа «Врач страховой кассы» («Il medico della mutua»), (в русском переводе он опубликован в 1967 г. под названием «Дети Гиппократа»). Затем вышли романы «Клуб Отес» («Il circolo Otes», 1966) и «Тело прежде всего» («Primo il corpo», 1971).

Д'Агата много работает для телевидения.

Мы публикуем несколько первых глав из новой повести Дж. Д'Агаты «Четверо повешенных на пьяцца дель Пополо» («Quattro impiccati in Piazza del Popolo». Milano, Bompiani, 1974).

■

ДОБРОВОЛЬСКАЯ ЮЛИЯ АБРАМОВНА.

Советский переводчик с итальянского. В течение многих лет вела педагогическую работу в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков им. М. Тореза и Московском институте международных отношений МИД СССР. Автор «Практического курса итальянского языка», составитель итальянско-русского словаря. В ее переводах публиковались романы и рассказы А. Моравиа, Л. Шаши, Г. Паризе, Дж. Пирелли, М. Вентури, Дж. Родари и др., мемуары М. Серени «Дни нашей жизни» и А. Черви «Мои семь сыновей». Ю. Добровольская перевела также мемуары Умберто Нобиле «Красная палатка». Как член Правления Общества СССР—Италия ведет активную работу по расширению культурных связей между СССР и Италией.

■

АБД АР-РАХМАН АЛЬ-ХАМИСИ (род. в 1920 г.).

Египетский поэт, драматург и режиссер. В 40-х годах — активный участник борьбы за независимость Египта; один из основателей движения сторонников мира в Египте; подвергался преследованиям за пропаганду идей социальной справедливости.

Стихи Абд ар-Рахмана аль-Хамиси стали появляться в печати в 1937 г. Ныне он автор сборников «Страдания человека» (1958), «Слезы и огонь» (1951), «Стихи Хамиси» (1959), «Книга любви» (1968), «Я отказываюсь» (1972), «Шесть красных гвоздик» (1975), «Песни рыцаря в Междуречье» (1975).

На русском языке вышла книга его стихов «Монолог» (1973).

Публикуемая поэма передана редакции журнала в рукописи.

ГРАСИЛИАНО РАМОС — GRACILIANO RAMOS (1892—1953).

Бразильский писатель. Всю жизнь служил инспектором гимназии. Свой первый роман «Каэтэ» («Caetés»), написанный в 1926 г., опубликовал в 1933 г. В 1936 г. во время антикоммунистического террора в стране подвергся заключению (посмертно опубликованы его «Тюремные воспоминания»—«Memórias do cárcere», v. 1—4, 1953). В 1945 г. вступил в Компартию Бразилии. Написал книгу о поездке в СССР в 1952 г.

К лучшим произведениям Г. Рамоса принадлежат романы «Сан-Бернардо» («São Bernardo», 1935; «Тоска» («Angústia», 1936) и «Иссушенные жизни» («Vidas sêcas», 1938), переведенный на русский язык в 1961 г.

(Подробнее о нем и его творчестве см. во вступлении Л. Бреверн.)

В этом номере мы предлагаем вниманию читателя начало романа Грасилиано Рамоса «Сан-Бернардо».

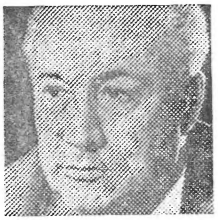
БРЕВЕРН ЛИЛИАНА ЭДУАРДОВНА.

Советский переводчик с португальского, редактор издательства «Художественная литература». В ее переводах публиковались новеллы португальского классика XIX в. Эсы ди Кейроша и современных португальских писателей: Урбану Тавариша Родригиша, Вержилиу Феррейры, Аугустины Бессы Луиш, Илзы Лоза, Алвеша Редола, Фернанду Наморы; а также произведения писателей Бразилии: Грасилиано Рамоса, Лимы Баррето, Алберто Ранжела и Раймундо Моразнса.

ВИТЕЗСЛАВ РЗОУНЕК — VÍTĚZSLAV RZOUNEK (род. в 1921 г.).

Чешский критик и литературовед, профессор и проректор Карлова университета в Праге. Автор нескольких книг по литературоведению: «Реализм и современная проза» («Realismus a soudobá próza», 1973), «Тайны прекрасного» («Tajemství krásna», 1974), «Против течения» («Proti proudu», 1975), за которую В. Рзоунек получил премию издательства «Чехословенский списователь», «Дух социалистической прозы» («Řád socialistické prózu», 1976). За последнюю работу, посвященную проблемам социалистической прозы, автор был отмечен премией на конкурсе в честь 30-летия освобождения Чехословакии Советской Армией.

Статья «Новые черты современной чешской прозы» получена редакцией в рукописи.



НАГИБИН ЮРИЙ МАРКОВИЧ (род. в 1920 г.).

Советский писатель, кинодраматург, автор многих повестей, сборников рассказов, очерков, киносценариев. Наиболее известны сборники рассказов и повестей «Человек с фронта» (1943), «Зимний дуб» (1955), «Ранней весной» (1961), «Погоня. Мещерские были» (1963), «Далекое и близкое» (1965), «Чужое сердце» (1969), «Переулки моего детства» (1971), «Ты будешь жить» (1974), «Пик удачи» (1975). По сценариям Ю. Нагибина поставлено около тридцати художественных фильмов, среди них: «Ночной гость», «Самый медленный поезд», «Председатель», «Бабье царство», «Дерсу Узала» (последний фильм удостоен высшей кинематографической награды США — премии «Оскар»). Перу писателя принадлежит также сборник статей «Размышления о рассказе».

Произведения Ю. Нагибина переведены на многие иностранные языки и языки народов СССР.

КЭНКИТИ ЯМАМОТО (род. в 1907 г.).

Один из видных японских литературных критиков. Председатель правления Ассоциации японских писателей. В 1931 г. окончил литературный факультет университета Кэйо. Работал главным редактором журнала «Хайку кэнкю» («Изучение трехстиший»). Как критик начал выступать в 1939 г., принимал участие в организации журнала «Хихё» («Критика»). В 1943 г. опубликовал работу «О писателях «Повестей о себе». Затем вышли его книги «О подлинных хайку» (1952); «Древность и современная литература» (1960), к 1974 г. выдержавшая 19 изданий; «Второе открытие повести» (1963). Перу Кэнкити Ямамото принадлежат также исследование поэзии Мацуо Басё и работа

о древнем японском поэте Какиномото Хитомаро.

Статья «Кунио Янагида: жизнь и творчество» получена от автора в рукописи.

ОГДЕН НЭШ — OGDEN NASH (1902—1971).

Американский поэт—сатирик и юморист. Учился в Гарвардском университете. Работал в ряде издательств, в рекламной фирме, преподавал. Первую книгу стихов «Свободное кружение» («Free Wheeling») Огден Нэш издал в Нью-Йорке в 1931 г. В последующие годы вышло более тридцати книг его сатирических и юмористических стихов, а также несколько книг для детей. О. Нэш был членом Национального института литературы и искусства США. Начиная с сороковых годов произведения О. Нэша были представлены во многих антологиях современной американской поэзии. В Советском Союзе переводы его стихов стали появляться в начале 60-х годов и печатаются многими советскими журналами, а также представлены в антологии современной американской поэзии, изданной в СССР в 1975 г.

Подборка стихотворений Огдена Нэша взята из его книг «Добрые намерения» («Good Intentions», 1942), «Избранные стихи Огдена Нэша» («The Selected Verse of Ogden Nash», 1946), рассказ «Незнакомец в доме»— из книги «Я не могу не смеяться» («I Couldn't Help Laughing», 1957).

ПЕТР НЕЗНАКОМОВ — ПЕТЪР НЕЗНАКОМОВ (род. в 1920 г.).

Болгарский писатель-юморист. Печататься начал в 1946 г.

Автор сборников рассказов «Снова пятница» («Пак петък», 1947), «Юмористические рассказы» («Хумористични разкази», 1950), «Белое и черное» («Бяло и черно», 1954), «Безобидные рассказы» («Безобидни разкази», 1957), «Как стать героем» («Как станах герой», 1959), повести «В те дни» («В ония дни», 1960), сборников фельетонов «После нас хоть потоп» («След нас потоп», 1959), «Атилла — бич божий» (1961) и др.

По сценариям П. Незнакомова снято несколько комедийных фильмов. В советских периодических изданиях неоднократно публиковались его юмористические рассказы.

Рассказ «Флорентийский чиновник Америго Веспуччи, или Сила обмана» был опубликован в болгарском журнале «Съвременник» № 3, 1975.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 8/IX 1976 г. А 01773. Подписано в печать 6/X 1976 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 29,21.
Тираж 585.000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.) Зак. 2837.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

ГЮНТЕР БРЕНДЕЛЬ (ГДР)
Бригада Раттау

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394